ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[3] 2007

ШВЕЦИЯ XXI: НОВЫЕ ГОЛОСА – РОМАНЫ ЛОТТЫ ЛУТАСС "ГОЛОСА В ПРОСТРАНСТВЕ" И ЮНАСА ХАССЕНА ХЕМИРИ "НА КРАСНОМ ГЛАЗУ" / АНТОЛОГИЯ НОВЕЛЛЫ: СЕСИЛИЯ ДАВИДСОН, МАТС КЕМПЕ, УЛЬФ ЭРИКСОН И ДР. / СТИХИ ФРЕДРИКА НЮБЕРГА, ОСЕ БЕРГ И ДР./ СТАТЬИ О СОВРЕМЕННОЙ ШВЕДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СТАФФАНА СЁДЕРБЛУМА И МАЛЬТЕ ПЕРСОНА / КОМИКСЫ ИНГЕР ЭДЕЛЬФЕЛЬДТ

Основан в 1891 году

Светлой памяти переводчика
Юлианы Яхниной
посвящается

Дорогая Юлиана Яковлевна!

Этот номер, задуманный Вами и наконец увидевший свет, мы посвящаем Вам.

Мы старались сделать его как можно более пестрым и... молодым. Имена некоторых писателей, представленных здесь, зазвучали совсем недавно. Десять лет назад "ИЛ" уже делала небольшую подборку шведской литературы, мы же хотели показать спектр именно актуальных направлений.

Мы долго думали, какой роман взять в качестве головного. И решили взять два головных романа. Совсем новых и совсем разных. Как Вы видите, шведская литература не утратила своей социальной ангажированности.

Нам кажется, что Вы, переводчик Стриндберга, Ларса Нурена и Эйвинда Юнсона, полюбили бы непростой роман Лотты Лутасс "Голоса в пространстве" и его русский перевод.

Вам наверняка понравился бы и хулиганский роман писателя тунисского происхождения Юнаса Хассена Хемири "На красном глазу". Главный герой, Халим, – швед во втором поколении, чьи родители приехали в Швецию из Марокко. Хотя Халим родился в Швеции и другого языка, кроме шведского, толком не знает, в своем дневнике он выступает именно против шведского языка и "шведаков", переворачивая с ног на голову порядок слов, устойчивые выражения, грамматические условности.

Мы включили в этот номер десяток разных рассказов, и в том числе сюда вошли некоторые случаи из женской психологической прозы, которую Вы так ценили в шведской литературе. Кроме того, в номер вошел один текст, который тронула непосредственно Ваша рука. Перевод рассказа "После дня рождения" мы обсуждали еще на нашем переводческом семинаре.

Необычным для этой подборки стало и то, что мы включили сюда комиксы, столь значимые в шведской культуре и так мало популярные в России. Мы выбрали комиксы "Самка" Ингер Эдельфельдт, над переводами рассказов которой мы с Вами вместе работали на семинарах.

При составлении поэтической части мы также старались показать широкий диапазон современной поэзии – от поэта-дебютанта Мартина Хёгстрёма до молодых мэтров Фредрика Нюберга и Ларса Микаэля Рааттамаа, а также звезды эстрадной поэзии и поэтического слэма Боба Хансона.

В разделе "Статьи, эссе" мы представляем два очерка: Мальте Персона, который написал тонкую и остроумную фантазию о шведской литературе и ее дивидендах, и Стаффана Сёдерблума, знакомству с которым мы также обязаны Вам, Хелен Сигеланд и Юхану Эбергу. Спасибо всем вам за помощь и поддержку.

Кому-то может показаться, что молодая словесность – это как мальчишеский футбол, предмет, не достойный внимания читателя. Нам же как раз кажется примечательным, что Стаффан Сёдерблум, известный поэт, литературовед и преподаватель гётеборгской "Школы литературного мастерства", где воспитываются будущие шведские писатели, тренирует по совместительству детскую футбольную команду в местечке Фрёсунда. А большинство переводов, представленных в этом номере, выполнено Вашими учениками, еще несколько лет назад такими же дворовыми футболистами.

Без Вас, Юлиана Яковлевна, этот номер не был бы возможен. Как не было бы многих книг, проектов и людей в русско-шведском культурном пространстве.

Ваши Александра Поливанова и Мария Людковская

Этот номер "Иностранной литературы" посвящается памяти переводчика, просветителя и друга – Юлианы Яхниной.

Юлиана Яхнина долгие годы работала с "ИЛ" и дружила с многими в редакции. Для нас, в Швеции она была уникальным связующим звеном между шведской и русской литературой и культурой, удивительно образованным человеком, досконально знающим и понимающим скандинавскую, французскую, английскую и русскую словесность. Ее дом был открыт для друзей, и она всегда радовалась новым знакомствам – с людьми, словами, книгами и яствами.

Еще в ее таланте содержалось нечто большее, уникальная "критическая масса", смесь знания, трезвого аналитического мышления и безграничного энтузиазма. Она получала удовольствие от литературных открытий, которые делала порой в самых неожиданных областях: в молодой шведской литературе, в развлекательной литературе начала XX века, антирасистской эссеистике 1960-х...

Будучи романтиком, но в то же время современным человеком, чутким по отношению к будущему, Юлиана всю жизнь трудилась над невыполнимой задачей – свести воедино свои собственные эстетические и литературные пристрастия с интересом к политике и демократии.

Она следила за политическими дискурсами и ловко отбраковывала их, исходя из их эстетических достоинств, оставаясь уверенной в важности социальной и политической роли литературы и искусства.

Еще Юлиана Яхнина очень радела о переводческой смене. В течение многих лет она вела семинар для студентов и будущих переводчиков. Благодаря этому шведской литературе в России очень повезло, этот номер "ИЛ" – плод работы ее учеников, учеников, которые теперь стали профессиональными переводчиками и издателями. Состав номера отражает любопытство и интерес Юлианы ко всему новому и экспериментальному.

Юлиана Яхнина сделала больше многих для шведской литературы в России. Спасибо ей, мы помним ее как переводчика и друга и радуемся тому, что молодое поколение продолжает ее дело.

Хелен Сигеланд,
Шведский институт

Юхан Эберг,
советник по культуре посольства
Швеции в Москве (1992–2000)

Номер издан при поддержке Шведского института

SI.
Svenska institutet

[3]
2007

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

ШВЕЦИЯ XXI: НОВЫЕ ГОЛОСА

5 Лотта Лутасс *Голоса в пространстве.* Роман. Перевод Н. Федоровой

98 Юнас Хассен Хемири *На красном глазу.* Роман. Перевод Оксаны Коваленко

Антология новеллы

200 Сесилия Давидсон *Человек-утка. Несчастный случай. Первый снег.* Переводы Натальи Банке, Лидии Стародубцевой, Анны Савицкой

208 Йеркер Вирдборг *После дня рождения.* Перевод Марии Людковской

225 Алехандро Лейва Венгер *Эликсир.* Перевод Марии Людковской и Александры Поливановой

229 Матс Кемпе *Санна.* Перевод Татьяны Доброницкой

234 Ханс Гуннарсон *За стеклом.* Перевод Александры Афиногеновой

238 Ларс Якобсон *Внезапная тишина в большом аэропорту.* Перевод Александры Афиногеновой

240 Ульф Эриксон *Цвет неба, цвет надежды.* Перевод Александры Афиногеновой

260 Черстин Нурборг *Ассизи.* Перевод Елены Ермалинской

267 Нинни Хольмквист *Flower power.* Перевод Анны Фоменковой

Стихи

270 Фредрик Нюберг. Перевод Галины Палагуты

272 Ларс Микаэль Раатамаа. Перевод Галины Палагуты

274 Хелена Эриксон. Перевод Екатерины Чевкиной

283 Осе Берг. Перевод Екатерины Чевкиной

285 Мартин Хёгстрём. Перевод А. Лисина

287 Боб Хансон. Перевод Алексея Прокопьева

Статьи, эссе

289 Стаффан Сёдерблум *Заметки о новой шведской литературе.* Перевод Марии Людковской и Александры Поливановой

297 Мальте Персон *Современная шведская литература: научно-фантастическое эссе.* Перевод Елены Серебро

Ничего смешного

301 Ингер Эдельфельдт *Самка обретает себя.* Комиксы. Перевод Анны Зайцевой

Библиография

305 Шведская литература на страницах "ИЛ". 1956–2006

309 Шведская литература в России. Книжные издания 1994–2006 годов. Составила Александра Поливанова

Авторы номера

315

© "Иностранная литература", 2007

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
Е. Ю. Леонова
А. В. Нестеров
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Лотта Лутасс

Голоса в пространстве

Роман

Перевод Н. Федоровой

В НАЧАЛЕ – только мгла и бесформенность.
Обособление еще смутно и неявственно.
Медленно кружащий, известково-белый сумрак.
Гладкая пылевато-зернистая стена.
Непроглядная муть, пока не закрепится своеобразие.
Нечто неровное, шершавое, уже проявленное.
Объединяющее средоточие.
Гипотетическая линия, исходящая из некой точки.
Мало-помалу набирающая густоту, четкость, готовность.
Дальше, дальше.
Бесконтурность вытравляет даль, растекается, заполняет полость, существовавшую до начала времен.
Бело-серые завесы, клубящиеся и плотные в одном месте и совершенно прозрачные в других.
Вздымающиеся покровы.
А за ними, аморфное, безóбразное, ждет с трепетом, с дрожью в еще не оформившихся руках то, чему суждено вскоре явиться.
Сутулая, бесформенная фигура стоит наклонясь вперед, прислушивается.

Долго-долго все объято безмолвием и недвижностью.
Долго-долго все покоится в пеленах и сумраке.
Мягкие очертания проступают под тонкими покровами.
Глубоко внутри барахтается то, что однажды обретет форму.

© Lotta Lotass, 2006
© Н. Федорова. Перевод, 2007
© Dick Claésson. Фотография

И вот в дремотной бесформенности
оно поворачивается на другой бок,
сгущается в некое подобие образа,
переводит дух, встает во весь рост, делает первый шаг и начинает движение.

* * *

Позднее,
намного позднее,
настолько позднее, что никто уже и не помнит,
земля все еще делает первый шаг
и пропитывается дождем,
горы поднимаются в белесую высь,
ложбины опускаются вглубь,
а земля меж ними раскидывается плоскими, гладкими равнинами.

Райское место, одно из многих.
Рожденные ручьями, текущими из могучих ледников,
из живых, подвижных ледяных рек,
блещут темной, изумрудной зеленью трáвы,
блещут чистой синью озера, синью вод и синью неба,
блещут мясистые, напоенные соками листья деревьев.

Вечные снега венчают пики гор.
Мирно пасутся огромные стада животных,
их пожирают хищники, забредающие с востока.
Изобильно струятся источники.
С певучим басовым плеском утекают воды.
Увядшая трава рассыпается в прах.
Деревья сохнут, оборачиваются пылью.
Могучие игры времен передвигают массивы суши с места на место.
Почва лопается, покрывается шрамами трещин.

Земля иссыхает под гнетом нестерпимого зноя.
Воды, животные, люди исчезают так же быстро, как появились,
оставляя в горах и пустынях свои выбеленные мощи.
Обнажившееся морское дно и разрозненные костные останки.
Все заброшено, отдано произволу страшного, от веку медно-красного солнца.

Временами выпадает короткий ливень.
Дождь, который на самом деле вовсе не дождь.
Атмосфера до того легкая, до того упругая,
до того пористая, что ненасытно поглощает и поглощает воду.
Остатками ее кое-как питаются мескит, креозотовые кусты да пустынные растения, научившиеся убивать собственные отростки, чтобы выиграть битву за скудную воду.

И вот земля эта стала пустошью, изрезанной бессильными, блеклыми, призрачными тенями высоких гор.
Ни одна из ее рек не доходит до моря.

Водные пути в никуда.

А бешеные песчаные бури, раскаленные вихри, словно из доменной печи, делают воздух тяжелым от соли, выстраивают там мираж, который однажды станет соблазном,

мерцающее, обманное обетование,

кулису, за которой во веки веков ждут заброшенность, и одиночество, и бессилие.

Так было изначально, так есть и будет до скончания времен.

Там они бродят стаями, ищут съедобные растения и мелких животных, которых легко поймать.

Бродят стаями и спят, тесно прижавшись друг к другу.

Заплутавшие дают этому месту имя.

Там человек поедал человека.

Там земля пила кровь и раскаяние.

Там безмолвие смерти многие дни, годы, эпохи будет хранить следы тех, что бродили здесь, а потом исчезли.

* * *

Неиссякаемым потоком прибывают самые последние.

И начинается.

1)

Милостивый государь, мое положение в этой стране позволило мне собрать сведения касательно той ее части, каковая поныне была до известной степени сокрыта, не замечена, обойдена вниманием, окутана сумраком. Я имею в виду земли, расположенные к юго-западу от больших соленых озер, к западу от гор. Они пока не используются, однако твердая и умелая рука способна превратить их в плодородные, тучные угодья. В этом нет ни малейшего сомнения. Водных источников там достаточно, и в верных руках земля принесет отрадные урожаи.

2)

Две узкие речушки с прозрачной водой, глубиною четыре-пять футов, быстро бегут из двух необычайно обильных источников. И они, и другие ручьи в низине стремятся к каньону на востоке. Вода вкусная, но все же чуть слишком теплая и оттого неприятная.

3)

Долина просторная и при должном орошении безусловно могла бы стать весьма плодородной. В той речке, что бежит по низине сейчас, наверняка достаточно воды, чтобы вращать колесо мельницы. Вот это вода! На вкус не такая, как все прочие. Цвет тоже совсем другой, и температура круглые сутки до странности высокая. Никто из нас в жизни не встречал ничего мало-мальски похожего на эту воду.

4)

Лагерь мы разбили у бурного источника с прозрачной водою, теплой, как кровь. Чаша у этого источника двадцати футов в диаметре и почти

идеально круглая. Глубина воды около двух футов, дно — зыбучий песок; пробивающиеся из глубин родники заставляют его пузыриться и клокотать, словно густое кипящее варево. Это зрелище приковывает взгляд на долгие часы.

5)

Со здоровьем у нас обстоит терпимо, если не считать общей слабости, из-за которой не удается работать и вполовину столь энергично, как мы привыкли. Главная причина в том, что совершенно нечего есть, кроме черствых хлебных корок, и нечего пить, кроме воды из источника. Но мы не унываем, ибо все еще тешим себя надеждой, что вскоре наступят лучшие времена.

Они пытаются оставить след на пустынной равнине.
Делают зарисовки больших ее участков, определяют их очертания.
Забивают в сухую землю деревянные столбы.
Хаотично, без плана.
Зарисовывают их расположение.
И вдоволь пьют теплую воду.
Пока не исчезают.

* * *

Ослепительно белое, встает на фоне светлого песка здание миссии.
Глина и соломины в саманном кирпиче.
Вереницей они устремляются внутрь, разбегаются по каменному полу.
Ничего не ведомо им о выцветшем, сером столбе, что высится поодаль.
Слова, выброшенные, вышвырнутые в направлении окрестных гор.
Назад возвращаются лишь односложные.
Уходят словно в пустое ничто, словно в вакуум, словно в зыбучий песок.
Будто камни, стучат-громыхают слова, будто камнепад на голом горном склоне.
Голоса сливаются в хор, поднимаются ввысь, обращаются к блеклому небу.
Быстро умолкают колокола на белой башне,
интервалы меж ударами растут,
и стены башни рушатся внутрь, на обломки костей и каменные артефакты.

*

Щелочная земля, недвижные горы, прошитые жилами.
Серебряные жилы — белые; пласты цинка — голубовато-белые, блестящие,
наслоения, сокровища, спрятанные глубоко в недрах,
плотные, ожидающие, уходящие во мрак.
Открытая разработка, открытый карьер, дневная добыча, штреки, проведенные от дневной поверхности, дневная смена.
Руки, роющие землю в поисках серебристо-белого.

Руки, роющие ходы, жилы, полости.
Уже вскоре все заброшено и пусто.
Серо и мрачно.

*

Еще несколько задержавшихся пионеров, первопоселенцев.
Выживают за счет водоемов, сокрытых под пустыней.
Руками ворочают камни.
Извлекают наружу влагу, что прячется в глубинах.

Землемер в одиночку забредает в эти края.
По квадратной сетке размечает шестьдесят четыре участка.
Соединяет линией все точки.

*

Тускло поблескивающие рельсы прорезают равнину.
Кругом поднимаются брезентовые стены. Палатки.
Кибитки на волокушах и полозьях вздымают к небу тучи пыли.
Тишина изгнана теперь окончательно,
стук молотов, звон пил, крики и шум,
тишины не будет уже никогда.

*

Палаточный брезент не выдерживает.
Рвется, перекраивается.
Обмеривается, перешивается и быстро изнашивается.
Деревянные сваи, бетон, тщательно заложенные фундаменты.
Вокзал, ограда, мастерские, холодные ле́дники.
Вагонные и локомотивные депо,
все для быстрой встречи и столь же быстрой разлуки.

[Здесь мне нужны быстрые переходы, чтобы по возможности сжать время. В том виде, как сейчас, все недоделано, придется поискать еще эпизоды той поры, которые можно использовать. У меня нет уверенности, что найдется еще что-нибудь, пригодное в качестве добавления. За последнюю неделю мне вообще было ужасно некогда. Вчера не сумел даже выкроить время и разобрать недавние фотографии, которые кучей лежат теперь на кровати. Это вызывает досаду, и меня не оставляет ощущение незавершенности, нехватки чего-то. Уже сейчас я вижу, что скоро придется сделать выбор, а значит, отказаться от чего-то очень для меня важного.]

* * *

На дне черного каньона меж обрывистых берегов мчит свои воды могучая река.

Темный поток швыряет камни, шлифует их, промывает, очищает, выглаживает.

А они вознамерились подчинить его, поймать в ловушку, усмирить и поставить всю его силу себе на службу.

Маленькие, как спички, люди, крохотные человечки стоят у реки, широко размахивая руками.

Что бы они ни кричали, их голоса тонут в реве воды.

И они говорят жестами, языком тела и даже тогда не понимают слов.

День и ночь грохочут взрывы. Им надо обмануть реку, увести ее прочь от привычного русла.

Тысячи людей собираются в палатках и картонных времянках, чтобы переделать географию и карту.

Восемь миль железной дороги прокладывают, чтобы вывезти речное дно и то, что под ним.

Они направят реку в четыре прочных, блестящих сталью туннеля, каждый шириной в полсотни футов, и упрячут ее под землю.

Стоя высоко на огромных платформах, пятьдесят человек разом бурят скалу, быстро удаляясь от дневного света.

Громадные вентиляторы, чьи острые, как ножи, лопасти ломают и искажают любое отражение, кромсают воздух.

Опускной кессон особого типа отведет реку под землю.

Сотня, а то и больше самосвалов ссыпает в воду тонны земли, камней, мусора, обломков.

Камни поверх мусора. Щебень поверх обломков. Без передышки. Каждые шестнадцать секунд в реку обрушивается новый груз. Ночь напролет.

На рассвете опускают кессон.

Река атакует его яростными бурунами. Вода поднимается. Лишь с восходом солнца удается загнать ее в туннели, она беснуется, ревет, упирается.

Тем временем по стенам каньона висят безмолвные люди, обкалывают, обрубают камень, выравнивают поверхность, чтобы она накрепко соединилась со стенами плотины.

До самой скальной основы выскребут они дно каньона. И на этой скальной основе воздвигнут плотину.

А сейчас прокапываются сквозь толщу отложений, осевших здесь за тысячи и тысячи лет.

Тяжелыми глыбами вывозят этот грунт куда подальше.

Отливают плотину отдельными блоками. Мало-помалу поднимаются к небу цементные колонны.

Другого выбора у них нет. Вздумай они сразу сделать плотину монолитной, бетон остывал бы лет сто с лишним.

Ведь, высыхая, бетон отдает давний жар.

А через сто лет плотина, к тому времени остывшая, треснула бы и бесполезными обломками рухнула бы на дно.

Вот почему отливают ее блоками, рядами и колоннами. Охлажденную воду прокачивают через эти блоки по длинным трубам, которые, исполнив свое назначение, тоже заполняются бетоном, и так, бетон к бетону, бетон к бетону, плотина в конце концов станет монолитом.

Этого бетона хватило бы на постройку шоссе
пятиметровой ширины,
от побережья до побережья.

Этого бетона хватило бы, чтоб залить тротуар
пятифутовой ширины,
от полюса до полюса.

Семьсот двадцать семь футов в высоту.
Сорок пять футов толщиной у гребня
и шестьсот шестьдесят футов — у подошвы.
Тысяча двести сорок четыре фута в длину.
Водопропускные отверстия так велики, что в них мог бы пройти военный корабль.
Водозаборные башни высотой с тридцатичетырехэтажный дом.
Сто шестьдесят миль стальных труб, девять тысяч тонн стальной арматуры глубоко в недрах сооружения.

Когда загрохотали машины.
Когда зарокотали турбины.
Когда тихонько загудели линии высокого напряжения, они сворачивают свое временное жилье, собирают вещи, надевают начищенные башмаки и уезжают прочь.

Затерянный город, пропавший и найденный вновь, опять покоится, затерянный под темными массами воды.

* * *

Гул и грохот. Новые поселенцы прибывают по воздуху.
В металле агрегатов — укрощенный огонь.
Осторожно садятся они на новый асфальт, как мотылек садится на цветок.
Нет. Никаких потерь. Пока они не понесли никаких потерь.

Январский день.
Огненная струя вырывается из башенной платформы.
Диаметр — два—четыре дюйма.
Длина — шестнадцать—двадцать четыре, похожа на факел, на ацетиленовую горелку.
Сперва пламя голубоватое, потом красное.

Снопы искр, пучки искр вокруг ног.
Горький дым и жгучий жар.
Впоследствии отмечают, что дым стал черным, а пламя — красным, когда в конце концов занялись горючие материалы — гидравлическая жидкость и деревянный настил.
Прежде чем первый из них покинул самолет, огонь успел насквозь прожечь фюзеляж перед бомбовым отсеком, под башней.
Все это заносится в протокол.

Вы пострадали?
Да, повредил уши.

Что с вашими ушами?
Их обожгло огнем, который мгновенно распространился за нашими креслами.

Вы пострадали, когда еще сидели в кресле или когда передвигались по самолету?
И когда сидел, и когда передвигался.

Огонь был вокруг вашего кресла и обжег вам уши, или вы получили ожоги, падая через грузовой отсек?
Огонь был вокруг кресла, не считая высоких языков пламени, которые достали до моих ушей.

Давайте уточним. Огонь вокруг вашего кресла был достаточно силен, чтобы обжечь вам уши?
Хочу обратить ваше внимание на то, что уши у меня обожжены сильнее, чем у лейтенанта, и, как я понимаю, по одной-единственной причине: я находился там секунд на десять дольше его. Отсюда можно заключить, сколь силен был жар.

Вы заметили, какого цвета было пламя?
Нет, я вряд ли сумею дать правильное и точное описание.

Вы чувствовали какой-нибудь запах?
Запах дыма, горький, едкий.

А каков был цвет дыма?
Голубой. Вроде как голубой.

Вы отчетливо видели пламя?
Да. Услышав свистящий звук, я обернулся и увидел струю огня.

Но на цвет струи вы внимания не обратили?
Я не запомнил, была ли она голубовато-красной или просто красной.

Каковы были длина этой струи и ее диаметр?
Дюйма два шириной, а в длину — один-полтора фута.

Какую форму имела струя?
Круглая и фонтаном била вверх.

Они приземляются на высокогорном плато.
Осторожно садятся и пробуют перевести дух.
Дым в горле, не продохнуть. Один из них пропал.
Им никогда больше не найти его.

* * *

Залежь серебристо-белого металла средней твердости.

На изломе он грубослоистый, похожий на ближайшего своего родича — цинк.

Нагретый на воздухе до красного каления, он воспламеняется и горит, распространяя ослепительно белый свет, несколько схожий с солнечным.

Свет очень яркий и интенсивный, поэтому металл используют для фотовспышек.

И со всех концов континента съезжаются люди, чтобы сфотографироваться, запечатлеть себя в этом свете; стекаются потоками, сверкающими, шумными, холодными.

Портрет мужчины, первого строителя, — он стоит в своем розарии.

В его розарии.

Мало кто знает, что наряду со многими другими занятиями или, если угодно, наряду со многими другими специальностями он еще и садовник, выдающийся садовод, любитель роз. Да-да, хотя он куда больше известен тем, что руки у него в крови, а не в черноземе, он обладал и недюжинным талантом к выращиванию растений.

Вот он, его прославленный розарий. Розы цветут здесь уже три с лишним десятка лет, и год от года они все крупнее и все багрянее.

Белое как мел оперение фламинго принимает цвет корма и становится розовым.

По слухам, он, используя какой-то секретный рецепт, приготовляет особенное удобрение, чтобы вырастить такие сильные, крепкие розы с окраской столь глубокого красного тона. Вы когда-нибудь видели такой цвет? Говорят, сажая свои розы, он закладывал в почву какое-то важное, во всех отношениях уникальное питательное вещество. И вы спрашиваете: какое такое чудесное вещество? Вспомните. Не забыли тех, пропавших? Тех, кого видели рядом с ним и позади него. Тех, про кого однажды говорили, что они пропали без следа. Ходит слух, что, если стать вот здесь, на этом самом месте, можно в полночь при полной луне услышать, как тихие голоса шепчут: вдохните аромат роз. Чуете аромат наших роз?

День.

Испепеляющее солнце стоит высоко в небе.

Улицы иссушены, зной вздымает в воздух дым и пыль.

Деревья неестественно зеленые, и неестественно голубеют — вода не бывает такой голубой — разлитые по земле лужи, разбросанные далеко в пустыне.

И чистая белизна от этого света вытравляется, исчезает.

Свет обесцвечивает город, обесцвечивает его пастельные краски, делает его блеклым, одномерным, будто созданным из картонных кулис.

Но в сумерки, в смягченном, косом свете, заливающем всю площадь из конца в конец, ландшафт вдруг разом оживает от огненного, медленно тускнеющего цвета, от множества оттенков и форм, теней и полутеней,

набирает чеканной четкости, купается в роскошном блеске, когда свет отбрасывает свою дневную ипостась.

Цинково-металлический, мерцающий, мягкий свет
из несчетных игорных залов,
словно накрытых прозрачным сводчатым колпаком,
многократно отражается от пустыни,
вверх, в беспредельное небо,
где мириады звезд в конце концов дробят его
и он улетает прочь, к окраинам Вселенной.

[Здесь надо бы добавить про то, как город растет. Написанного отнюдь не достаточно, насколько я вижу. В нынешнем виде все слабовато и большей частью поверхностно. Этого попросту недостаточно. Чтобы добиться результата, к которому я стремлюсь, нужно уделить этому больше времени. Может быть, вообще все время. В таком случае от другого я откажусь. Иначе начну разбрасываться, стану рассеянным, а тогда рискую впасть в небрежность. Если б я мог описать словами чертежи одного из самых первых и, вероятно, самых знаменитых отелей. Внешний вид помещений. И как коридоры заканчиваются шахтами лифтов и лестницами. Будь это возможно, думаю, все бы получилось. Но где взять материал? Вот вопрос. Можно ли воспользоваться проектными чертежами этой постройки? В качестве отправной точки? Если так, надо быть готовым отказаться от претензии на правду. Но к этому я не готов. Я хочу, чтобы все совпало до малейших деталей. Надо бы постараться подробнее описать и выявить особенный свет. Все, кто его видел, говорят, что он не похож ни на какой другой. Сухой свет. Вытравленный. Как после знойного ветра или после взрыва. Вот бы увидеть его собственными глазами. По снимкам того времени, какие мне довелось видеть, полного впечатления не составишь. И над большой, как я понял, разницей между дневным и ночным обликом города тоже предстоит еще поработать. И над небом, и над зноем. И над запахами всех этих гигантских строительных площадок. Создать переходы.]

* * *

Занимаясь строительством, они попутно должны были найти способ подчинить себе холод.

Сперва они ловят его и, охладив воду, отводят вместе с нею в туннели, извивающиеся под домами, и по трубам в стены домов.

Этого недостаточно. Зной проникает внутрь, наполняет помещения свинцовой духотой.

Необходимо отыскать иной способ вырабатывать холод и использовать в своих целях.

И с этой идеи в четырехстах милях к северу начинается новая эпоха.

Большой цех.

Железная кровля, сверкая на солнце, слепит глаза тому, кто пролетает над нею.

Изменения, происходящие постоянно, каждую минуту, изменения температуры и влажности в большом цехе, являющем собою целый

мир, ведут к тому, что размеры бумаги слегка меняются, не сильно, однако достаточно, чтобы при цветной печати получались смазанные, дефектные оттиски.

Патент 808897. Аппарат для обработки воздуха.

Решение — сведенное к формуле, оно оказывается необычайно простым — приходит к нему мглистым вечером, когда он ждет поезда. Стоит по обыкновению один на перроне, устремив взгляд на рельсы. И меж тем как поезд с грохотом подъезжает к станции, у него в голове складывается четкая зависимость меж температурой, влажностью и точкой росы.

Новый аппарат создает стабильную среду, мир в себе, и цветная печать тотчас становится надежной и безупречной.

Качество фотопленки, табака, таблеток, текстиля и других товаров постоянно улучшается.

Он продолжает работу, совершенствует технологию.

Новый патент. Центробежный хладогенератор. Со своим центробежным агрегатом, похожим на лопасти водяного насоса, генератор впервые обеспечивает практическую возможность сделать большие помещения прохладными. И намного превосходит поршневые аппараты.

Из больших магазинов, где толпятся покупатели, эта приятная прохлада распространяется в кинотеатры, а оттуда, вместе с симпатичным кондиционером, проникает в частные дома и квартиры.

В пустыне,
вдоль шоссе в пустыне,
вдоль улицы в пустыне,
окаймленной иссохшими горами,
окруженной иссохшими равнинами,
проложенной по иссохшей земле,
погруженной в зной,
можно теперь создать город с прохладными комнатами, прохладными залами, прохладными коридорами,
можно теперь создать город, где мысль обо всем, что вокруг, обо всем, что совершенно иное, быстро исчезает.

* * *

Группа чужаков прибывает на самолете с первым визитом.

Они полны решимости.

Через день или, может, через два после их прибытия далеко на горизонте вспыхивает яркий, до странности резкий, почти слепящий свет и к небу вздымается высокое, необычное облако.

Я был там! Я это видел. Впечатление ошеломило меня. Мало что из виденного мною в жизни внушало такой трепет и одновременно такой ужас. Устройство — не знаю, как еще его назвать, — взрывается, и ты видишь немыслимо белую вспышку, а потом крутящийся сиреневый шар.

Дым как бы вращается вокруг шара, а шар растет, переливаясь всеми цветами радуги, и внезапно тебя настигает звук ударной волны — словно кто-то со всего размаху вмазал тебе битой под ложечку. Не приготовься я заранее, он бы в два счета сбил меня с ног. А тем временем мутное, кипящее облако и огненный шар поднимаются выше и выше, срывая с земли всю почву. Словно чудовищный цветок, засасывают в свой стебель весь грунт и щебень. А на сетчатке горит и горит красный огонь, краснее любого пламени, какое мне доводилось видеть, вишневый, ярко-алый.

Подробно, до мельчайших деталей, они записывают ход первого взрыва.

В пустыне сейчас зима. Резко очерченный ландшафт со снежными вершинами и высохшими доисторическими морями мерцает под хрустально-чистым небом.

Второй взрыв, третий, четвертый.

Если ударные волны окажутся настолько мощными, что во время игры встряхнут игральные кости или шарик рулетки, то практически всегда окончательное решение остается за Игорным домом. Протесты бессмысленны.

Чужаки в белых халатах ходят по городским улицам, останавливают всех встречных, производят замеры, берут пробы.

Да, мы провели там фантастическую неделю! Нас угощали особенным коктейлем. Равные части водки, коньяка и шампанского с капелькой хереса. Атомный, если я не ошибаюсь. Из нашего мотеля будет превосходно видно ослепительную вспышку и грибовидное облако. Так было написано в рекламной брошюре, и, к счастью, мы успели вовремя. Ничем не заслоненный вид на взрыв бомбы из уютного уединения собственного кресла. Так там было написано. Я помню. Фантастика. Я сохранил брошюру. Она где-то здесь. Наверное где-то здесь.

Большие окна помещения, которое зовут Небесным залом, открывают гостям панораму испытательного полигона, расположенного к северу от горы Чарлстон.

И всю ночь напролет, прежде чем рано утром грянет взрыв, они пьют — места́ здесь уже только стоячие, — пьют не переставая. Пьют как рыбы. И без конца одолевают пианиста в баре заявками на одни и те же давние хиты, припевы которых громко горланят хором. Оглушительные, отчаянные голоса. Не забудьте сказать им, когда подойдет долгожданная минута, чтобы они успели захватить стаканы и выйти наружу, где ничто не заслоняет небо.

Длинными извилистыми колоннами тянутся по шоссе, поблескивая габаритными огнями, жилые фургоны — вверх на холм, что возле железнодорожного переезда, или дальше, к какой-нибудь еще более высокой точке.

Вот-вот начнется. По всей округе вспыхивает свет, обитатели, сонно щурясь, выходят на веранды, в халатах, с кофейными чашками в руках. Кое-кто залезает на крышу. Кое-кто задним ходом выводит машину из гаража на подъездную дорожку, а оттуда на улицу, чтобы видеть все как можно лучше. Не заглушает мотор, пусть машина прогреется, пока остальные домочадцы проснутся. Родители щиплют детишек за плечо или играют с ними — нельзя же проспать великое событие.

Такая красота, и ровнехонько на восходе солнца. Вспышка слишком яркая, их простенькие любительские фотоаппараты не способны ее поймать. Скоро они будут напрасно перебирать снимки, на которых ничего не видно — слепящая вспышка лишь засветила пленку.

Внезапно становится светло как днем, свет сияет на много миль окрест, виден пилотам дальних рейсов. Лошади перестают жевать. Собаки и кошки удирают, прячутся где-то по нескольку дней. Неутихающий громовой рык. Двери срываются с петель. Разлетаются вдребезги оконные стекла. Осколки витрин лежат на асфальте. Слушайте, а большая плотина не треснет?

Мы назвали это рейдом свинячьей бригады. Чтобы установить, какие тканые материалы обеспечивают наилучшую защиту от ожогов, мы обрядили сто одиннадцать домашних свиней в полное армейское обмундирование, со швами, с металлическими и пластмассовыми застежками-молниями, точь-в-точь как у обыкновенного солдата. Потом этих свиней подвергли воздействию двух бомбовых ударов, следующих непосредственно друг за другом. Семьдесят две свиньи мгновенно издохли, но мы все же сумели получить ценные, как нам казалось, данные о защите, какую обеспечивало наше обмундирование, о его противотермических защитных свойствах.

Следующее звено в цепи — человек.

Пять тысяч солдат получают вводную: две вражеские армии вторглись в страну и сумели оттеснить наши оборонительные силы далеко в южные районы. Представьте себе такую вот ситуацию. Чтобы избежать потерь, командование приказывает немедля нанести ответный удар, прежде всего, применив атомную бомбу, пробить брешь во вражеских рубежах, а затем начать преследование отступающих сил противника.

Таков сценарий. Такое может случиться. Вполне вероятно. А раз такое вероятно, пять тысяч солдат получают приказ пройти непосредственно через тот район, где взорвалась атомная бомба. Им приказывают идти, а предупреждают лишь об опасных рептилиях, о ядовитых змеях. Будьте осторожны! Им приказывают идти, а твердят лишь об одном: крепкие фляжки должны быть всегда наполнены водой. Следите за поддержанием жидкостного баланса!

Раньше людей не подпускали к эпицентру ближе чем на десять километров. Теперь же войска перебрасывают на расстояние трех километров от этой точки. Затем следуют команды выдвинуться еще и еще ближе к эпицентру, чтобы, дескать, учения прошли в реальной обстановке войны с применением атомного оружия. Предстоящей войны, вскоре предстоящей войны, возможно предстоящей войны. Таким учениям цены нет, а случай провести их подворачивается нечасто. И нынешнюю возможность упускать никак нельзя. Войскам предоставляется уникальный шанс отработать учебные задачи в этих исключительных условиях, тогда как нам дается возможность с близкого расстояния детально изучить непосредственное фактическое развитие данного сценария. И пять тысяч солдат начинают движение через многие мили радиоактивной пустыни.

Я до сих пор помню это. И, наверно, не забуду никогда. По окончании учений наш бригадный генерал гордо заявляет: в нынешних учениях

впервые в истории человечества войска удачно, с успехом осуществили наступательную операцию прямо в районе эпицентра непосредственно после атомного взрыва.

Так что радуйтесь.

И пейте за успех.

Обреченные города вырастают вблизи эпицентра. Строятся самые настоящие жилые дома, которые оснащают всем — от консервов широко известных марок в холодильниках до новейших журналов на столиках возле диванов. Новенькие автомобили стоят в тамошних гаражах, и куклы, одетые по последней моде, стоят и лежат, ходят и сидят в приближенных к жизни ситуациях, согласно стратегически размеченным схемам.

В сумерках они лежат, умирая, в подвалах, в гостиных, в кухнях и спальнях. Смерть, настигшая их, мучительна и страшна. Младенца сразу же выбросило из кроватки, засыпало и пронзило острыми, как иглы, стальными обломками. Мать разорвало в клочья, когда она кормила ребенка. У одного мужчины кисти рук отрезало от запястий, швырнуло вверх и бросило наземь вверх ладонями. Одной женщине снесло голову, которая отлетела назад и на четыре дюйма вошла в стену, где и застряла. Еще одному мужчине осколок стекла вспорол грудную клетку, оставив зияющую пустотой дыру. Раскромсанных кукол инвентаризируют, пересчитывают, собирают, части их тел нумеруют, а их случайное местоположение отмечают на плане города — жизнь и смерть систематизируют и заносят в каталог.

Нет, мы никогда больше туда не поедем. Никогда не вернемся туда, хоть они и предлагали поездки по случаю нашего юбилея. Никогда, сказали мы. И твердо стоим на своем. Нет, лучше не вспоминать. Лучше бы воспоминания, живущие в нас, поблекли и исчезли.

[Уточнить, как именно разбивались тела. Выделить время на то, чтобы отыскать побольше примеров. Что именно происходит с телом? Как оно кромсается на куски? Какие члены не выдерживают первыми? С каким звуком отрывается голова? Пожалуй, стоит вычеркнуть про члены, а вот последнее расписать поярче.]

* * *

Новый человек, тоже одинокий, приезжает в город.

Зовут его так же, как отца.

Он ползал, ходил, летал.

Зовут его так же, как отца, который сколотил большие богатства. Добыл большие богатства буровым снарядом со ста шестьюдесятью шестью режущими кромками, против которых не устоит и самый твердый камень.

Новый человек, тоже одинокий, приезжает в город.

И скупает землю, скупает дома, скупает помещения.

А потом ждет, в помещении, заключенном в другом помещении, тоже со всех сторон окруженном помещениями.

Я хочу, чтобы мне прислали журналы по авиации. Еще четыре дня назад просил выслать их сюда, но, как ни смешно, до сих пор не получил. Я имею в виду "Авиэйшн уик", "Авиэйшн", "Эйро дайджест" и "Флайинг". В нашей стране несметное количество журналов, и за рубежом ничуть не меньше, а я сижу тут четыре дня — целых четыре дня! — всего-навсего с двумя выпусками одного из британских журналов да единственным номером одного из американских. Просто курам на смех! Даже номера "Флайт" не получил. Хоть бы один номер любого американского журнала доставили раньше чем через сорок восемь часов, ведь за это время несложно скатать на первый попавшийся аэродром и обеспечить, по крайней мере, "Флайинг". Это, конечно, совершенно неприемлемо. Сущий скандал. Типичный пример равнодушия, с каким относятся ко всему моему предприятию. Меня это выматывает и ухудшает мою и так уж давно подорванную телесную конституцию. Повреждения моей физиологической системы даже представить себе невозможно. Я и пытаться не буду подробно их описывать. Никакого времени не хватит. Я хочу знать, почему моя контора оказалась абсолютно неоперативной, никудышной, халтурной, равнодушной, некомпетентной, нерадивой, а ведь я, видит бог, отправил заказ еще четыре дня назад.

В это самое время чуть дальше на той же улице показывают слона, которого научили дергать хоботом рычаг игрового автомата и бросать кости. Только вот бросает он их чуть не на середину казино. Иные игроки глядят на могучего серого великана отнюдь не ласково. Он шумит и пугает их, когда гибкий его хобот быстро выскакивает у них из-за плеча, вытягивается вперед, ощупывает. Немного погодя слона увозят, и больше он не появляется.

[Нет. Так не годится. История одинокого недоделана. Надо проработать ее еще разок и, пожалуй, добавить кое-что про безумие. Или получится слишком уж откровенно? Про пластиковые драпировки. Про волосы и ногти. Про белую комнату. Про еду! Все это записано у меня в бумагах. Я собрал обширные сведения о его жизни, и на их основе наверняка будет несложно расширить и дополнить текст. Или это слишком уж просто? Может, вообще наплевать на безумие либо наделить им позднее кого-нибудь другого? Но тогда мне опять же придется делать выбор, поскольку я отступлю от принципа правдивости. Нет, я останусь честным, в полном смысле слова. Хотя бы здесь.]

* * *

Улицы квадратной сеткой тянутся в сторону гор.
На высоту домов поднимаются к небу,
на ту же глубину, что и дома, вгрызаются в сухую землю.
Линии прямые, грани острые,
поверхности до блеска отполированы, асфальт вымыт,
миллионы и миллионы электрических ламп включены и ярко горят.

Чернота — тоже зеркало.

Свет отбрасывается вверх, к небу, и обратно.

Город покоится в долине мрака.

Светится, как горсть побрякушек, брошенных в песок.

Как горсть ярких стекляшек.

Светится, как одинокое, мерцающее скопление звезд переменного блеска,

улей огоньков среди гор.

Много времени минуло с тех пор, как он поднимался на гору замерять давление.

Ставил себе задачу произвести серию замеров на разных высотах.

А в темноте примечает слабое свечение ртутного барометра. Встряхнешь посильнее — барометр светится ярче. И уже вскоре все забавляются новым открытием.

Назовем этот новый газ неоном. Чем меньше размер трубки, тем интенсивнее свет и тем более высокое напряжение требуется для иллюминации. Как обычный источник света неон использовать нельзя, но он насквозь пронизывает и дождь, и туман и притягивает к себе взгляд.

И хотя ныне существует сто пятьдесят разных цветов, получаемых от различных комбинаций криптона, ксенона и прочих инертных газов, можно сказать, в девяти случаях из десяти выбирают только два. Рубиново-красный, огненный, оранжевый неон и мягкий лавандовый аргон, который делается ярко-голубым, если добавить к нему несколько капель ртути. Броминдиго назван так по темно-синей бутылке для сельтерской воды, этот цвет стеклу придает кобальт.

Такова генеалогия здешнего света.

Дома — это стекло, и еще раз стекло, и окна.

Фасады мягко светятся всевозможными красками.

Орнаментика отбрасывает легкие тени.

Лучи света брызжут во все стороны.

Формы дают подвижный образ.

Стальные рамы, приваренные друг к другу.

Помещение на помещении, ярусы и пустоты.

Залы имитируют ландшафты, другие залы, зеркальные залы, атриум, где зрительная точка опоры расплывается, тает высоко-высоко в зените.

Далеко в вышине. Далеко-далеко. Где четкость стирается расстоянием.

Что, если кто-то прикоснулся к ней, к высочайшей точке? Подышал там на стекло, а потом дочиста отполировал? Откуда нам знать. Поставь тут самый большой самолет, а на него еще один, и еще, и еще, и еще, девять штук можно водрузить один на другой, и наверху все равно останется достаточно пространства для человека.

И коридоры тянутся к другим коридорам.

Вливаются куда-то, и снова начинаются, и делятся на большие и малые ответвления.

Лифтовые шахты длинные, как все равно от высочайших горных вершин до их глубинных корней. Точно в бездну, уходят они во мрак.

За гладкими прочными стенами проходят тонкие и толстые трубы, которых хватит, чтобы опоясать весь континент.

А в самом низу тянется под домами и улицами система коллекторов, идет прочь из города в другие места, изгибается под прямыми углами, то прочь от тупиков, то в тупики, где стальные двери без ручек безмолвно стерегут другие помещения.

На периферии дома сокращаются в размерах.

Уменьшаются, становятся ниже и ниже, пока далеко, у самого края, не остаются просто коробочки.

Тулятся друг к другу,

теснятся, разрушаются от ветра, рассыпаются.

Вялые листья, ошметки кожи, обломки плавают на поверхности. Пустые своды. Давным-давно погасшие окна.

[Нет, я не нахожу того, что ищу. Чтобы все функционировало, обросло плотью, мне нужно увидеть это собственными глазами. Читая написанное другими, рассматривая рисунки и фотографии, пытаясь мысленно представить себе, вообразить, как это выглядит, получаешь весьма сомнительную, неясную, незавершенную картину. Сразу чувствуется, что слова не подкреплены опытом. Если я хочу достичь задуманного результата, то сделать можно только одно. Попробовать добиться двух целей одновременно. Это единственное, что я могу предпринять без необходимости делать выбор. Могу взять то и другое — пусть идут рядом, не вынуждая меня к попыткам их разделить. Пожалуй, они в самом деле взаимосвязаны. Пожалуй, их легко и просто переплести. Если я не попробую сейчас, то не сделаю этого никогда.]

* * *

Прежде чем оставить парнишку

(сейчас раннее утро),

я некоторое время лежу, прижавшись к нему, вдыхаю запах его кожи. Провожу пальцем по нежному, светлому, почти белому пушку. Аккуратно укладываю его руки и ноги, секунду-другую держу его, чувствую, как он холодеет.

Теперь он лежит, прижимаясь правой щекой к земле. Глаза закрыты, губы ярче, нежели когда-либо раньше. Щеки побледнели, руки неподвижны.

Тепло быстро покидает его. Он был теплее всех остальных. Ни один из них не был таким теплым. Его гладкая горячая поясница обжигала мне руки. Но сейчас он прохладен и недвижим.

Больше ты никогда не будешь плакать, говорю я ему. Приглаживаю его волосы, выпрямляюсь и с минуту стою, глядя на него. На каменистой земле следы его сопротивления. Я медленно иду прочь, к расщелине, где сложил свою одежду.

Никогда больше ты не будешь плакать. Никогда. Теперь усни и без помех спи до тех пор, пока в конце концов не проснешься от голода.

Я достаю пластиковые пакеты, в которые положил свою одежду. Достаю ее, чистую, без единого пятнышка, одеваюсь и мимо иссушенных скал и вечно блуждающих песчаных дюн иду к машине. Прислонясь к

ней, стоит Клоун. От яркого солнца машина так блестит, что я невольно заслоняю глаза ладонью. Клоун смеется, машет рукой, и белила вместе с каплей пота сбегают по лбу, когда он показывает в сторону города.

Город. Незаменимый. Вечный город. Как искристый блеск, сверкающее, жаркое обетование далеко на горизонте.

И я открываю дверцу. Внутри еще сохранились утренняя прохлада и запах рвоты и мочи. Я делаю глубокий вдох, потом сажусь за руль. Озираюсь по сторонам, бросаю взгляд назад. Сумки-холодильники зияют пустотой, высохшие, грязные. На полу возле пассажирского сиденья кучка ярких оберток от леденцов. Из-под сиденья торчит какая-то игрушка. Больше никаких следов. Мне понятно, что по дороге надо непременно заехать на мойку, проверить сиденья и вычистить багажник, а уж тогда можно и в город ехать.

Некоторое время сижу, собираясь с мыслями. Всегда требуется некоторое время, чтобы оставить чистых. Всегда одна и та же печаль, что надо их покинуть, что никогда больше их не увидишь, никогда больше не ощутишь прикосновения их кожи к своему телу. Что позднее они будут существовать лишь как изображения, как фотографии, как памятка, которая все равно скоро исчезнет. Чистые требуют времени, а чтобы сберечь время, сберечь мысли и силы, мне до́лжно целиком и полностью посвятить себя другим, нечистым. Время — самое ценное мое достояние, и, чтобы сберечь его, я должен определить приоритеты.

Запускаю мотор, медленно выезжаю на шоссе, сворачиваю направо, к городу. И скоро нахожу себе место в бесконечной веренице.

Тяжелые вонючие покрышки вдавливают, запрессовывают в асфальт хребты, кости, черепа. Канюки и воро́ны кормятся здесь, у дороги. Действуют торопливо, один глаз неотрывно таращится на еду, другой — на приближающуюся опасность. Когда она с ревом подкатывает, они мигом взлетают и замирают в воздухе, парят на такой высоте, что их не достать. Потом снова уверенно садятся на дорогу. Красивые. Блестящие и красивые. И я останавливаюсь на обочине и долго тихо сижу в машине, смотрю на них и восхищаюсь уверенностью их движений. Падальщики, думаю я. Падальщики.

Владение — слово, повторяющееся снова и снова. Владение. Владение. Владения. Наверно, в этом что-то есть, сказал Кролик. Во владении, в обладании. Выслеживать их, разыскивать и настигать, владеть ими, конкретно, физически, точно так же, как раньше владел комнатным цветком, картиной или автомобилем. Так сказать, владеть этим человеком, обладать им, чтобы он никогда тебя не оставил.

Нестерпимый зной. Горло саднит от жажды. Семь с лишним часов, семь часов и добрых двадцать минут у меня маковой росинки во рту не было.

Впереди примечаю вывески закусочной и съезд. Подъезжаю, паркуюсь и долго сижу в машине, обдумывая, каким именем мне назваться. Наконец на ум приходит одно. Я раньше его использовал? Как меня звали?

Иной раз кажется, будто мои воспоминания начинают распадаться, будто я начинаю забывать, что делал и кем был. И тотчас наваливается

гложущее беспокойство, тревога, что я забуду свои намерения. И я достаю из бардачка карту и крестиком помечаю город, в который очень скоро приеду, помечаю крестиком, чтобы, по крайней мере, запомнить место, запомнить, где я был.

А безликий, тот, что вобрал в себя всех и каждого и постоянно вбирает все новых, быстро и решительно хлопает меня по плечу, наклоняется, приближает губы к самому моему уху.

Не оставляй узнаваемых следов, говорит он. Они ищут тебя по оставленным следам. Будь всегда новым, всегда другим.

Он говорил это столько раз, и я беру его руку, испещренную голубыми жилками, снимаю ее со своего плеча, вылезаю из машины и резко захлопываю дверцу.

Вхожу в закусочную, сажусь у окна, откуда мне видно машину, и едва успеваю надеть на лицо улыбку, как официантка подходит принять заказ.

Блинчики, говорю я. И кофе.

Блузка у нее голубая, как детское одеяльце, с белыми манжетами и белым воротничком. Белые пуговицы. На груди блузка натягивается, и петелька там разболталась, держит плохо и скоро порвется. Она чистая. Как только встану и выйду из-за стола, я сразу же ее забуду.

Официантка быстро уходит на кухню, я прислушиваюсь, но голосов не слышу. Мой взгляд прикован к машине. Солнце слепит, жжет огнем. Боль неумолимо возвращается, пульсирует в глазах.

Официантка снова здесь, проворно ставит передо мной чашку и тарелку.

Кленовый сироп, говорит она, показывая цветную стеклянную бутылочку.

Только сахар, говорю я. Только сахар, всегда.

Она кивает, медлит, ждет, и я опять улыбаюсь — она исчезает. А я посыпаю блинчики сахаром, сперва один, потом другой, осторожно кладу их друг на друга и режу, быстро, ровно и точно, как всегда.

Ее взгляд ищет меня, пока я ем, и я улыбаюсь и жую, улыбаюсь и жую.

Жарко, говорит она, когда я расплачиваюсь. В город едете?

Да.

Там куда прохладнее, чем здесь, в предместьях. А казалось бы, должно быть наоборот.

Я улыбаюсь.

Здесь никогда не бывает дождя, говорит она.

Я чувствую спиной ее взгляд, когда выхожу из закусочной и сажусь в машину.

Свет изнуряет. Огни города сияют на горизонте. Дома трепещут, растут. Дневной свет странен и враждебен. Изнуряет, вытравливает, сгущается в марево. Краски блекнут, сливаются. Что бы им найти способ удержать ночь в пределах города.

Подъезжаю. Пересекаю рубеж и оказываюсь по другую его сторону. Все знакомо, все так, как я себе и представлял. А одновременно больше, сразу и изысканнее, и мощнее, чем в моем воображении. Характерные приметы, разные штуки и ориентиры, чьи названия мне уже известны, и дороги, изученные во всех деталях. И я не сомневаюсь: вон она, там,

темная, замкнутая, отполированная, зеркальная, мрачная и глубокая стеклянная пирамида. Потоки света, точно воды, сбегают по ее наклонным граням. Точно водяные капли, сбегают по острым ребрам. А вверху, из самого острия, бьет ввысь, в пространство, луч света, толстый, руками не обхватишь. Этот свет — самый яркий в солнечной системе, не считая самого солнца и ядерного взрыва. Мощный, яркий, красивый. Под этим лучом я и буду жить, далеко внизу, под его основанием, где его антипод, тень, гуще всего.

* * *

От земли поднимается пирамида в одиннадцать акров стекла.

Темные ее грани поглощают весь свет, отражая лишь блики и донельзя искаженные образы, которые быстро пропадают.

Свет стремительно струится, сбегает по ее отточенным, острым агатово-черным ребрам.

Темная, подернутая тенью, исполинская громада ее покоится на земле, до того темная, что в ночное время исчезает, теряется, лишь контуры черного-пречерного мрака проступают на фоне тьмы.

На ее черных гранях поместятся многие тысячи тел, стоя друг у друга на голове.

От земли поднимается ее темная конструкция.

Отрицает все и заключает в себе.

Спадается, соединяя острия своих граней в одной точке.

Высоко вверху.

Образуя гладкую тупоугольную вершину.

И с этой вершины блещет ярчайший свет,

свет, в котором время не существует, в котором не происходит перемен и никто более не говорит.

Там, под неизменно надраенным стеклом, пылают, широко распахнув пасти, сорок пять ксеноновых ламп, сорок миллиардов стеариновых свечей, изрыгают свет во все концы мира.

Этот густой, этот тяжелый, этот могучий свет, свет до того плотный и спекшийся, что его луч, прорезая тьму, производит глухой и резкий звук.

Души воспаряют к небу в луче света.

А тот, кто в заоблачных высях летит в самолете, может при этом свете читать свою газету.

Иди вглубь.

Иди к предельному и сокровенному.

Иди по дороге, окаймленной головами овнов.

Пройди меж мощными вытянутыми лапами сфинкса.

Войди в двери потрескавшегося храма,

в океан мрамора и вишневого дерева.

Громадные каменные фигуры безмолвно стоят на страже.

Над ними высится лабиринт лестниц, сводчатые коридоры, балконы, галереи ярусами тянутся друг над другом по освещенным наклонным стенам, все выше и выше во тьму.

Лифты снуют в остекленных, прозрачных шахтах, по наклонной, под углом тридцать девять градусов вверх по стене, и их пассажиры уныло склоняются под тем же углом.

Этажи все теснее и теснее.

Двери всех помещений в их коридорах хорошо видны, они открываются внутрь пирамиды, в ее немыслимо огромный атриум. В са́мой вышине они исчезающе малы и едва различимы — точь-в-точь двери кукольного домика.

И там, наверху, при взгляде через балюстраду кружится голова, и иные бросаются вниз, на кровли храмов, воздвигнутых внутри исполинской постройки. И, падая во тьму, успевают думать.

Двери всех помещений видны из внутреннего пространства.

Ровные ряды совершенно одинаковых дверей.

Плоскостный чертеж, где сознательно изменены направления.

Где страны света скошены и искажены.

Однажды здесь точно подсчитали минимальное время, которое придется потратить с той минуты, когда примешь решение уйти, оставить это исполинское наклонное помещение, и до той, когда сумеешь отыскать выход.

Приглушенные гаммы красок, сумрачное освещение. В полумраке мнимый археологический памятник, гробница, поддельная гробница, узилище, куда засадят бренного, смертного.

* * *

Да, здесь никогда не бывает дождя.

Администратор улыбается, чуть приоткрыв губы. Помада на миллиметр-другой растеклась вокруг в целом четкого контура ее рта. Я не говорю ни слова. Ее губы шевелятся. Помада слишком темная. Медово-коричневая. А при ее цвете лица, глазах, губах ей бы подошла алая, ярко-алая. Темно-алая. Я расспрашиваю ее о других вещах, о том, что и так уже знаю, и не слушаю, что́ она говорит, просто смотрю, как шевелятся ее губы, как они прилегают к зубам, как в глубине рта мелькает язык.

А она улыбается мне, все улыбается и улыбается, и я замечаю: улыбается она на мгновение дольше, чем нужно. Вижу, что она хочет, чтобы я видел, и упорно смотрит мне в глаза. Она видит, что я вижу, и берет карточку, где я написал другое имя, и я вижу, что ногти у нее ухоженные, чистые, без заусениц, одинаковой длины, но и они покрашены в неподходящий цвет.

На стойке стоит телефон. Трубка снята, лежит наискось, поверх диска. Я слышу голос безликого.

Это она, говорит он. Это она. Она. Она.

Не порекомендуете какое-нибудь приличное заведение, где можно пообедать? — спрашиваю я, скользнув взглядом по ее груди и бедрам. — Вкусно и недорого.

Она быстро пишет название какого-то ресторана. Я подношу листок к свету. Почерк у нее неровный, детский.

Может, хотите? Может, мы...

Мой взгляд привычно покоряет крепость.

Сегодня я весь вечер работаю, говорит она, но завтра вечером свободна.

Я протягиваю ей листок, и, хотя не говорю ни слова, она записывает свой адрес. Я улыбаюсь, называю час и вижу, как она сглатывает и как ее руки пытаются за что-нибудь ухватиться. Все будет так, как я хочу.

У меня белые зубы. В моем лице нет ничего особенного, нет отличительных примет. Едва только я отворачиваюсь и ухожу, моя внешность тотчас забывается. Мое лицо может быть любым, каким я захочу. Любым, какое ты хочешь увидеть, и даже более того. Ради тебя я и стараюсь. Нет у меня ни цвета волос, ни глаз, ни губ. Только белые зубы.

Лифт поднимается вверх по наклонной стене. Под углом тридцать девять градусов. И пожилая пара наклоняется, чтобы создать себе ложное ощущение вертикали. Но я этого не делаю. Широко улыбаюсь им, киваю.

Комната у меня маленькая. Да больше мне и не требуется. Ни к чему. Вытянувшись на кровати, я хочу видеть всю комнату, все ее углы, все стены и весь пол.

Все тут зеленое, коричневое, лиловое. Все покрыто жирной пленкой сильнодействующих чистящих средств и грязи, с которой они не справляются. Пленкой, какую оставляют все эти люди. Все постояльцы. И я достаю бумажный платок, смачиваю мыльной водой и несколько раз тщательно протираю пульт дистанционного управления.

На окне плотные шторы, до конца не задергиваются. Сколько ни тяну, между ними остается узкая щелка. Пахнут они пылью и старой одеждой. Под этими шторами висит тонкий грязно-белый тюль — когда проводишь им по щеке, на ощупь как марля. В шкафу я нахожу толстое одеяло и, позвонив администратору, прошу принести еще три простыни.

Смотрю в окно на иссушенный город и дальше — на пустыню, на безмолвные горы. И начинаю сомневаться в этой суши, сомневаться в том, как сделаю свою работу здесь, в таком иссушенном месте. Здесь никогда не бывает дождя. И зной наводит порядок. Высушивает все, скукоживает, крошит и пылью сдувает прочь.

Дождь — тот размачивает, вспучивает, обесформливает все, что было целостным, и в конце концов оно разбухает и лопается. Однако он еще и дочиста промывает, очищает, выполаскивает и уносит прочь.

Я бывал в местах, где почти всегда льет дождь. И в других местах, где словно бы никогда не унимается ветер, в местах сухих, холодных. Но ни разу не забирался так далеко на север, чтобы холод был постоянным. Ни разу не бывал там, где земля промерзает. Не потому, что не терплю холода. Просто он хранит и сберегает, сохраняет все свежим, нетронутым, таким, как оно есть. И пробирает насквозь, а я, не испытывая не-

удобств, могу надеть рубашку, ну, может, еще и свитер, но не куртку. На куртке есть молнии и карманы.

* * *

Снаружи мерцают миллиарды лампочек,
и разноцветные вывески зыблются теплыми волнами света.
Водяные струи бьют мощными каскадами.
Фасады домов истекают всеми цветами радуги,
выплескиваются на жаркие улицы,
горят на стекле, отражающем их снова и снова, в бесконечность.

Я вижу, как мое лицо исчезает,
вижу, как поток света смывает его и растворяет.

Я — часть этого города.

* * *

Блистающая бездна.
Сверкающий провал.
Прибежище для бренных, что скоро станут вечными.
Для гостей, что останутся здесь навсегда.
Для полных надежды, что скоро лишатся всех своих надежд.

Повсюду тени тех, что некогда были людьми.
Руины тех, что некогда жили.
А теперь тщетно изо всех сил цепляются за вонючие останки. Давно уже неспособные учуять собственный тленный запах.
И давно уже день ото дня все более упорно отрицающие, что вообще начался распад.
Хотя кожа лопается, сходит, висит клочьями.
Хотя глаза все глубже тонут в орбитах.
Хотя шкура в пятнах и иные раны, кажется, никогда не затянутся.
Нет! Я еще жив!

Пожилые женщины в ярко-зеленом, бананово-желтом или оранжевом, похожие на сморщенные плоды, кормят прорези мелкими монетками.
А пожилые мужчины с пожелтевшими, клацающими пластмассовыми зубами, в небесно-голубых синтетических костюмах играют в кости по маленькой, играют в блек-джек и покер вообще за так.
Это массы. Толпа, в бездонную мерзость и праздные мечтания которой вбиты опорные сваи этих домов.
Непременные орды, ежедневно заполняющие все залы и тесные проходы.
У них за спиной и в коридорах строем шагают незрячие развалины, дерганой, шаткой походкой.
Опираются на специальные тележки, на трости, друг на друга, узловатые пальцы хватаются за воздух, сухие, нескладные руки машут как сломанные крылья, гнойные, слезящиеся глаза ищут ориентира. И все равно они до последнего вздоха будут отрицать, что надежда иссякла.

Вот идут согбенные, идут скелеты, идут тучные и тощие.

Здесь они будут дожидаться смерти в надежде, что в конце концов выиграют, в надежде на чудо, которое случится и превратит адскую муку в райское блаженство, избавит от бремени долгов и даст место в новом, другом порядке.

И держат в своих дрожащих, усеянных гречкой руках пластиковые стаканчики, наполненные сейчас мелкой монетой.

Держат так крепко, что костяшки пальцев белеют, так крепко, что поздно вечером, без сил падая на свои дешевые гостиничные койки, с трудом разжимают пальцы, сведенные нестерпимой болью.

На правой руке перчатка или рукавица, чтобы мозоли не саднили.

И всякий раз, когда они тянут рычаг и машина издает звуки, напоминающие им лязг старых кассовых аппаратов, аккурат перед тем, как звякнет звонок-колокольчик, слева направо выстраиваются картинки,

апельсины, лимоны, сливы, вишни, сочные плоды, бубенцы, бар, ковбои, объездчик диких лошадей верхом на неукротимом мустанге,

а они таращат свои водянистые глаза, широко открытые, мертвые.

Здесь, на склоне лет, вечные,

пока хоть одна мысль жива в пустой, гулкой голове,

они ищут избавления,

ищут бога, которому поклоняются, ждут, что он выйдет из машины, будто и впрямь живет там внутри.

Генератор случайных чисел в заурядном игровом автомате имеет много имен. Его зовут Мозгом, Сердцем, Боссом и даже Богом, потому что он властен над судьбами людей и выпавшим результатом.

Большинству игроков наверняка известно, что числа выбираются совершенно автоматически, но они не вполне понимают, как эта механика действует. Или не хотят понимать.

А это в свою очередь ведет к уйме недоразумений и мифов, окружающих игровой автомат.

Один из самых распространенных мифов гласит, что машина работает в определенном цикле, а потому игрок может вычислить, когда она выдаст выигрыш. Этот цикл якобы подчинен четкому порядку и в определенное время согласно предопределенной схеме обеспечит игроку победу.

Другое ложное представление заключается в том, что машина якобы вознаграждает тех, кто долго ждал.

Все это неправда.

Внутреннее устройство машины не дает ни малейших оснований для подобных выводов.

Процессор запускает генератор случайных чисел.

Генератор случайных чисел порождает числа.

Числа эти соответствуют визуальным символам.

Символам на катушках автомата.

Генератор случайных чисел никогда не останавливается, он постоянно в движении.

Пока машина подключена к источнику энергии, он каждую миллисекунду выбирает случайное число.

Порождает величины в диапазоне от нуля до четырех миллиардов (приблизительно), которые затем переводятся в специфический ряд чисел, а эти последние в свою очередь отвечают различным символам на катушках.

Таким образом, выпадение того или иного сочетания картинок зависит только от числа, выброшенного генератором случайных чисел.

Число это выбирается в тот миг, когда игрок жмет на кнопку или тянет за рычаг.

Генератор случайных чисел использует формулу, которая называется алгоритмом. Это комплекс инструкций, по которым порождаются числа.

Объем и широта его нам неведомы,

но мы знаем, что правильность его можно контролировать и что этот контроль производят особо избранные лица,

как прямо на месте, у машины, так и в отдельных помещениях без окон,

чтобы максимально точно убедиться, что программа функционирует безупречно и игрока не обманывают.

Игрок ни под каким видом не должен чувствовать себя обманутым, странствуя по этому провалу, по этой равнине,

ни под каким видом не должен сомневаться, добравшись до этого последнего полустанка на долгом, медленном, утомительном пути к могиле.

Звенит звонок, колокольчик свободы,

звенит вечным, беспрерывным, никогда не умолкающим до-мажорным аккордом.

Все машины вызванивают одно и то же.

Ми-до-соль, ми-до-соль, ми-до-соль, ми-до-соль.

Выходы вообще не обозначены.

Нет табличек, указывающих путь к выходу.

И прямых линий здесь тоже нет. Путаный лабиринт проходов и коридоров.

Нет дневного света, нет окон. Нет часов.

Время здесь нарочно маскируется.

Часы прячутся, сумерки задерживаются,

а еще лучше — начисто забываются.

Кислород закачивается в огромные помещения,

подводится по мудреной гигантской системе шлангов.

В воздух подмешивают запахи, повышающие азартный интерес.

Температуру поддерживают на заданном уровне, ни снижение ее, ни возрастание не допускаются.

Коридоры идут геометрически точными концентрическими кругами, причем самые дешевые игры сверкают в наружном круге, а дорогие, неброские стерегут ближе к центру,

где помещается самое дорогое, недостижимое и благородное.

Нуль.

Умирающие предпочитают молчком толпиться возле самого входа.

Толпятся во внешнем круге, кормят монетами лязгающие автоматы.

В сторону же центра тянет тех, кто воображает, что впереди у них еще эоны времени, воображает, что жизнь еще не началась.

Незрячие, слепые, ослепшие, идут они к центру большими шумными компаниями,

однородной, унифицированной массой. Языки облизывают мясистые и узкие губы.

Пронзительные взрывы смеха и тошнотворные духи.

Розовая и синюшно-бледная кожа, где волоски едва заметны, а чуждые отметины поспешно стираются, маскируются, замазываются.

Жирная, блестящая, накрашенная кожа — ее почти невозможно как следует отчистить.

И волосы, покрытые многими слоями искусственного блеска, который будет мутить чистую воду.

Валики жира, складки, выдавленные воротником, синяки, и сизые жилы, и деформированные, неправильно сросшиеся кости под кожей, и побелевшие рубцы, и обгрызенные ногти, тощие плечи, краска, растекающаяся и оставляющая пятна, пожелтевшие зубы, которые отбеливали до тех пор, пока они не стали голубовато-белыми, кожа, которую подтягивали и накачивали силиконом, и налитые кровью, широко открытые, вытаращенные глаза.

Голоса у них у всех звучат одинаково безжизненно.

Все у них вразнобой.

Все невпопад, не на месте.

Они собираются вокруг рулетки, у игорных столов, наклоняются друг к другу.

Оставляют жирные отпечатки на блестящей, благородной древесине, оставляют жирные отпечатки на игральных картах, которые уже через короткое время можно отправить в утиль, перемолоть в конфетти — если бросить его на землю, оно тонкой пылью покроет все и вся, но сейчас вместо этого огромными кучами грузится на бесконечную череду железнодорожных вагонеток и вывозится на хранение в секретные места.

А они теснятся друг к другу и умудряются остановить время, балансируя на остром как нож гребне.

Они цепляются за свою фальшивую, лицемерную защищенность, которая нашептывает им, что они всё те же, нормальные, одинаковые, и не понимают, что эта фальшивая защищенность доказывает: среди них нет настоящих, нет уникальных, нет незаменимых, и случайная брешь, которая возникнет, если один из них будет выхвачен из толпы и исчезнет, тотчас заполнится кем-нибудь другим, новым, но совершенно таким же.

[Не слишком ли длинная получилась глава? Разрывы строк? Как лучше — постоянно рубить строки или же пусть идут сплошняком? Сейчас нет времени решать. Отложу пока.]

* * *

Хожу взад-вперед по самой длинной улице. Отхожу как можно дальше. Вижу границу, где свет переходит во тьму. У этой границы поворачиваю и иду обратно.

По пути в номер останавливаюсь у стойки администратора.

Она улыбается мне, кивает. И я тоже киваю и улыбаюсь, как зеркало. Она склоняет голову набок. И я тоже. Она смеется, и я тоже смеюсь, она краснеет и облизывает губы языком, а меня тошнит, и я ухожу.

Вообще-то мне пока не хочется возвращаться в номер, и я брожу по атриуму, стены которого отстоят далеко-далеко, и незаметно меряю шагами расстояние. Останавливаюсь у подножия огромных каменных изваяний и пробую рассмотреть, как высечены их глаза. Прохожу возле храмов, возведенных посредине атриума. А когда уже не в силах держаться на ногах, сажусь на один из пухлых, гладких диванов.

Продавец за прилавком большого сувенирного магазина не сводит с меня глаз. Улыбается, подмигивает и тоже облизывает языком губы. Он тоже.

Нет, не он, говорит безликий; стоя у меня за спиной, он шепчет мне на ухо. Не он.

Я встаю, вхожу в магазин, становлюсь неподалеку и делаю вид, будто заинтересовался чем-то под стеклом прилавка. На стекле следы пальцев, следы ладоней. Бутылка стеклоочистителя стоит на стеллаже, на нее наброшена грязная тряпица.

А он улыбается и наклоняется вперед, ко мне. Лицо у меня как персик, глаза глубокие. Волосы блестят.

Могу порекомендовать наши фирменные духи, говорит он. Позвольте, я покажу.

Он перегибается через прилавок, сальными пальцами хватает мое запястье и прыскает на него из полупустого флакона.

Особая смесь бергамота, ладана и ананаса, акцентированная морскими водорослями и мягкими бальзамическими обертонами сандала, теплой амбры и сладкой ванили.

Вечером я лежу вытянувшись на кровати.

Я все обошел, все проверил, нашел в сливе ванны кусочек срезанного ногтя и два темных волоса.

Теперь я даю краскам исчезнуть. Пускай пустота опустошает и выделяет.

От плинтуса начинает подниматься волна, ползет вверх по стене, растет, пока вся комната не превращается в эту колышущуюся волну. И я двигаюсь ей навстречу. Ворс ковра оборачивается стерней, тростником, джунглями, которые тянутся ко мне и через меня, и в конце концов я лежу окруженный ими, точно коконом.

Я вмиг просыпаюсь, оттого что кто-то ходит по комнате. Цифры на часах телевизора светятся зеленым. Когда я поворачиваюсь на бок, надо мной неожиданно склоняется Кролик. Сейчас он красно-розовый.

Радио, возбужденно говорит он, радио.

По комнате он двигается так быстро и порывисто, что я успеваю поймать его взглядом лишь в те краткие доли секунды, когда он меняет направление.

Когда они говорят, произносит он, ты должен задавать им вопросы. Они же звонят тебе. С тобой хотят говорить, а не с кем-то другим.

Он машет лапами, жестикулирует, а лапы воняют, на них засохшие бурые следы, и я знаю, что он обшарил на улице все мусорные баки. И теперь намерен всю ночь забавляться.

Радио! — возбужденно кричит он.

И я хлопаю по приемнику. Люди, что названивают и болтают. Болтают.

Прислушайся, говорит Кролик, подняв вверх лапу.

Спроси о чем-нибудь, говорит он. Спроси о чем-нибудь, и ты услышишь, как они отвечают. Услышишь, что говорят они именно с тобой.

И я спрашиваю, и они отвечают, а он смеется. Ну вот, началось, теперь конца-краю не будет. Комната наполняется голосами, визгом, криками, вонью дыхания, пота и мусора.

Сперва мне хочется просто видеть их, стоять в темноте и глядеть в их освещенные окна, следить, как они расхаживают взад-вперед по своим комнатам. Двигаются они куда больше, чем думают. Делают то и это, совершенно безотчетно, по привычке, полагая, что никто их не видит. И мне хочется стоять там долго, допоздна, и видеть все, что они делают. Может, я поглажу ладонью велосипедное седло. Может, спущу шины, а потом дождусь случая предложить помощь. Но вообще-то хочу просто смотреть на них, смотреть в те минуты, когда они думают, что никто их не видит, что они в безопасности, и, расслабившись в одиночестве, позволяют себе что угодно.

Кролик сидит, удобно устроившись в кресле, упершись задними лапами в край кровати, курит сигарету. Одно ухо у него висит.

В одном из лучших моих снов, говорит он, я владею всем нижним бельем и всеми носками, какие когда-либо могут мне понадобиться. Для меня это одна из самых возбуждающих и будоражащих фантазий. Каждый день натягивать новенькие, ненадеванные носки! И я охотно признáюсь, что до сих пор собрал максимум три-четыре дюжины носков. Не спрашивай, где я их добыл. Я всегда остро чувствовал нехватку нижнего белья. Всегда чувствовал, что мне бы вправду повезло в жизни, будь в моем распоряжении все нижнее белье и носки, какие могли бы мне пригодиться. И я повсюду раздобывал носки. Да-да, это правда. Они огромная часть моей жизни и очень для меня важны. Когда они зачитывали длинный список моих вещей. Помнишь? Тогда я испытывал гордость, что владелец всех этих носков не кто-нибудь, а я. При своих носках я чувствовал себя как человек, который, стоя возле дома, окидывает взглядом свои пастбища и стада. Так-то вот.

Он умолкает, сглатывает, и на миг мне чудится, будто он сдерживает слезы.

Смотри, говорит он и хохочет, вот гипсовый слепок моих зубов.

Кролик

Я ужасно стыдился огорода, ужасно стыдился салатного ларька. За то, что растили на земле, выхаживали огрубевшими, натруженными лапами, мы выручали сущие гроши.

А нас было так много. Лишь гораздо позже мне рассказали о родстве, связывающем нас всех, и о том, кто мой отец. Как выяснилось, это был вовсе не тот, кого я звал отцом.

Помню, когда мы ездили на зеленной рынок, мне хотелось спрятаться, чтоб никто меня не видел. Хотелось забиться подальше, сжаться в комочек и не попадаться никому на глаза. Уже тогда я решил, что у

меня будет другая жизнь, более содержательная, более емкая. И один-одинешенек отправился в широкий мир, дав себе зарок никогда не оглядываться назад.

А они, люди, любили меня. Давали мне все те задания и работы, каких я искал. Улыбались мне, предоставляли несчетные возможности изучать их, осваивать надлежащие мины.

То я участвовал в публичных дискуссиях, то был сувениром и талисманом, то затейником и агентом. И всем хотелось гладить меня и ласкать.

Когда я их возненавидел? Не помню. Долгое время я просто испытывал невинное удовольствие, вызывая у них злость и раздражение. Копировал их, а они и не догадывались, что я с ними играл. Направлял их, куда хотел, да так, что они думали, будто действуют по своей воле. Вероятно, и проверял, насколько близко могу подойти, чтобы они не отпрянули.

Дверь открывается, входит кролик. Я — Кролик, говорит он и становится у са́мой стены. Дверь открывается, входит еще один кролик. Я — Кролик, говорит он (с ударением на "я") и становится у са́мой стены, рядом с первым. Оба внимательно, пожалуй с удивлением, меряют друг друга взглядом, морщат нос, принюхиваются. Я — Кролик. Нет я. Нет я. (Все время с ударением на "я".) Дверь открывается, входит еще оди́н кролик. Я — Кролик, говорит он, удивленно глядит на других и после некоторого колебания тоже становится у стены. Двое других обнюхивают его и хором говорят: я — Кролик. А дверь открывается, и входит еще один кролик. Я — Кролик, говорит он и смотрит на остальных. Озирается по сторонам, но затем опять переводит взгляд на троицу у стены. Я — Кролик, говорит он. (На сей раз с легким ударением на "Кролике".) И становится подле других, прислонясь к стене, но не вплотную. Короткая пауза. Дверь снова открывается, входит еще один кролик. Я — Кролик, говорит он. (С ударением на "я".) И тотчас умолкает, заметив других. Кролик — это я, говорит он. И когда он это говорит, остальные нервно переглядываются. Я — Кролик, говорит он. А остальные смеются, но каждый сам по себе, не вместе. Он поспешно становится с ними рядом, жмется к стене. Через несколько минут дверь открывается. Входит еще один кролик. Я — Кролик, говорит он. (Без всякого ударения.) Остальные же невольно переминаются и хочешь не хочешь морщат нос, принюхиваются. У этой стены места нет, и он становится у другой, напротив. Я — Кролик, повторяет он раза три, а может, и четыре. Все они стоят, тщетно стараясь не встречаться взглядами. Дверь открывается. И входит кролик. Я — Кролик, говорит он. [- — -] Я — Кролик, говорит он. В комнате уже совершенно нечем дышать, и они все время толкают друг друга. Дверь открывается, входит кролик. Я — Кролик, говорит он. [- — -] А дверь открывается, и входит кролик. Я — Кролик, говорит он. Вы же видите, Кролик — это я, и я вон насколько больше всех остальных. Дверь открывается.

Сперва я, пожалуй, более всего интересовался их отбросами. Мусорные баки неизменно вызывали у меня щекочущее любопытство. И урны любого типа. Особенно те, что развешены на железнодорожных вокзалах,

а еще лучше те, что стоят в парках, на отшибе, ну а самые замечательные – те, что в общественных туалетах. Пожалуй.

Посудины для сбора отбросов. Контейнеры для объедков и мусора.

Он смеется.

Но лучше всего...

Он наклоняется вперед.

Знаешь, что́ лучше всего, если говорить об отбросах? Незаконные свалки мусора возле шоссе, в старых гравийных карьерах и в лесу. Лучше всего в лесу. Наткнешься в лесу на такую кучу, считай, напал на золотую жилу. Там и старые, поломанные холодильники валяются, и сгнившие, пустые картонные ящики, и автомобильные покрышки, и рваный линолеум. Без всего этого я могу обойтись. А вот между ними и под ними...

Он причмокивает, откидывается назад.

Мелкие обрезки тканей, разрозненные носки, лоскутья одежды, комья влажной бурой бумаги. И самое что ни на есть лучшее...

Он умолкает, закрывает глаза, шевелит ноздрями и долго сидит не двигаясь, потом делает глубокий судорожный вдох.

Самое лучшее, говорит он. Самое что ни на есть лучшее – это матрацы. Старые, замызганные, на которых можно найти волосы и перхоть. Лечь на них и нюхать, погружаться лицом в их затхлое амбре. Чувствовать пятна и затвердения там, где пристали выделения тел. Стоит закрыть глаза, и я чую этот запах.

Он долго сидит не шевелясь, с закрытыми глазами, откинувшись в кресле, заложив длинные уши за спину, чуть подрагивая ноздрями.

Свет играет в его шкурке, теперь апельсиновой и зеленой.

Он открывает глаза, жмурится, закуривает сигарету.

Ну что ж, говорит он. До следующей ступени был всего один шаг. Мне хотелось понаблюдать. Увидеть изменения в цвете кожи, изучить ногти и все такое. Ну, ты знаешь. Увидеть, как определенные части западают и твердеют, другие же, наоборот, вздуваются и размякают. Иной раз я по нескольку дней сидел, вооружившись карандашом и бумагой. Не ел и не спал, сидел на взводе, готовый немедля записать и в меру моих возможностей зарисовать все, что ни увижу. А этого было много. Много такого, о чем никогда не услышишь, о чем надо узнавать самому, проводя опыты, практически осуществляя на месте, в реальных обстоятельствах, определенные игры воображения. Изучая, что́ будет, если сделать так или этак.

Он мечтает о ферме, об акрах смерти, где выращивают уже мертвые тела, чтобы рассчитать период смертного полураспада, чтобы всюду, вплоть до малейшей полости, проследить этапы пути, ведущего от прочного через гниющее к истлевшему. Выяснить, как эти этапы, это развитие, различаются в зависимости от климатических зон и способов действия.

Окруженный несколькими рядами колючей проволоки, за этой оградой и некошеной травой расположен такой вот участок, расположен сад, где сорняки никогда не выпалывают, кусты не подстригают, удобрения не вносят.

Здесь вразброс, по воле случая, покоятся четыре десятка тел. Не больше и не меньше. В багажниках, на солнце, в тени, в неглубоких ямах и под цементными блоками. В пластиковых мешках, одетые и голые, целые и расчлененные. Одни прямо так, на траве, другие на дне прудов. Одни прикрыты ветками, другие — скудной горсткой листьев.

Какие насекомые будут к ним наведываться?

Сколько газа содержит биологическая ткань через несколько дней и через несколько недель?

Что делает солнце с их кожей и что происходит от дождя с сухими костями?

Сколько нужно времени, чтобы черты лица стерлись навсегда?

За сколько времени человек исчезает?

Все изменилось, когда я купил автомобиль, желтый автомобиль. Или, может, не желтый, скорее светло-коричневый, очень светлый. Или песочный. Или, может, бежевый. Светло-горчичный.

Я приобрел автомобиль неопределенного цвета, оттенок которого менялся в зависимости от света и тени, от времени дня и темноты.

И как раз эта модель отлично мне подошла, на лучшее я и надеяться не смел. Пассажирское сиденье легко вынималось и ставилось на место, без проблем, прямо-таки одной рукой, а тогда в два счета возникало полностью обозримое для водителя пространство, довольно большое, но снаружи не очень заметное.

В ту пору я имел свой дом. Небольшой, но там я был сам себе хозяин. Кое-что наворовал в разных местах, так, по мелочи. Телевизор, комнатный цветок. Не много. В самый раз, чтобы создать то, что вы зовете домашним уютом.

Впрочем, дома я бывал нечасто. Обычно сидел в библиотеке, читал горы книг. Или стоял где-нибудь в баре, или слонялся до поздней ночи по улицам, останавливаясь в каком-нибудь удобном месте, чтобы заглянуть в окно.

Но удовольствия, какое я от этого получал, хватало ненадолго. Ведь я уже тогда догадывался, что существует кое-что много-много большее.

Когда впервые влез к одной из них в квартиру, я беспокоился и боялся. Она спала и вообще не проснулась, а следов я не оставил. Повторяю еще раз. Ни единого следа не оставил.

Как она выглядела? Не помню. Думаю, обыкновенно, как все. Мои воспоминания именно об этом случае, о проникновении туда, почему-то поблекли, стерлись. Отчетливо мне помнится только одно — как я играл, забавлялся с ее головой.

Я завернул ее в простыню. Долгое время хранил ее ночную рубашку и чулки. Но потом они куда-то делись.

Число их растет. Одна превращается во многих. Их быстро становится много. Сколько именно?

Он качает головой и смеется, сотрясаясь всем телом. Одно ухо выворачивается, он быстро его поправляет.

Вечно эта одержимость цифрами и числами. Помню, раз меня поймали. Вечно одни и те же вопросы. Сколько цифр? Число двузначное?

Он копирует чужой голос и поднимает вверх два пальца.

Ты только кивни. Ты только кивни, говорит он мне, и я вижу, как он потеет. Вижу тонкую полоску у слишком тесного ворота. Красные метины от небрежного утреннего бритья. Красные метины. Чувствую, что от него начинает пахнуть. Он вправду хочет знать? А он поднимает один палец. Трехзначное? Число трехзначное? Я усмехаюсь, скалю зубы. Слышу, что он вот-вот начнет заикаться, что во рту у него пересохло, язык ворочается с трудом. От него воняет, а в глазах светится восторг, наслаждение, которое он не умеет скрыть.

Кролик наклоняется вперед.

Понимаешь, тихо говорит он, я чую, когда им уже невмоготу. Сперва им просто хочется знать. Сперва у них просто слюнки текут. И ты подбрасываешь им кусочек-другой, а остальное придерживаешь. И они чувствуют себя дельными, гордятся, кивают друг другу. Потом сидят с подброшенными кусочками, начинают складывать свою мозаику, а когда перед ними потихоньку возникает картина, хотя бы ее контуры, во рту у них вдруг пересыхает, и мало-помалу они начинают соображать, с кем имеют дело. А я подбрасываю им другие кусочки, по собственному моему выбору. И задаю контрвопросы, и смотрю им в глаза. Сажусь поближе, и они видят в моих больших, темных, блестящих зрачках свои отражения. И скоро начинают отвечать, и скоро я чувствую, что они в моих руках, и скоро их охватывает усталость. Они делаются вялыми, сонными, а я все баюкаю их моими словами. И скоро глаза у них слипаются. Я всегда сильнее, всегда выносливее, им до меня далеко, и сейчас, и впредь.

Он улыбается.

Давай обойдемся без цифр. Они значения не имеют.

Кролик откидывается на спинку кресла, закуривает новую сигарету. Он всегда держит ее в углу рта. Передние зубы у него до того большие, что всегда на виду. Свешиваются поверх нижней губы, оставляя пространство только по бокам. Цветом они слегка желтоватые, а сам он сейчас голубой с розовым.

Я наношу им удар по затылку ломиком, говорит он. По сути, они подставляют затылок добровольно. И если бьешь достаточно сильно, то хватит и одного удара, чтобы они потеряли сознание и можно было беспрепятственно ими манипулировать. Мне часто представлялось, будто я разбиваю их мысли. Точнее, такое представление возникло у меня после самых первых.

Я сажаю их рядом с собой в автомобиль. Через некоторое время они приходят в чувство, я разговариваю с ними, внушаю, что напал на них кто-то другой, а я добрый самарянин, помощник, который отвезет их в больницу.

Ты нипочем не догадаешься, что́ они говорят. Так и сыплют совершеннейшими нелепицами.

Он меняет голос, изображает девицу.

Вчера я пекла оладьи. Пекла оладьи.

От беззвучного смеха он складывается пополам, задыхается, плечи трясутся, уши колышутся, он держится лапами за живот, стонет, повизгивает.

А другая, говорит он хихикая, от смеха слезы градом текут из его больших глаз. А другая думает, будто я намерен учинить ей проверку пе-

ред экзаменом по испанскому. Она говорит, и все это время кровь и слюна струйкой текут с ее подбородка. Como te llama? Как тебя зовут? Hace calor. Жарко. Leche. Молоко. Кровь заливает ей глаза, а она даже не моргает. Huevos revueltos. Яичница-болтунья. Donde está el baño? Где туалет? Понимаешь? Huevos revueltos.

Он хохочет еще заливистей, слезы катятся из глаз, оставляя полоски на его мехе, он сопит, вздыхает, откидывается назад, утирает глаза тыльной стороной лап.

Ты и не догадываешься.

Кролик опять ненадолго умолкает, словно погрузившись в воспоминания, потом берет вилку с обеденного подноса, принимается ковырять в зубах.

Сплевывает, вздыхает.

Можно сделать из них все что заблагорассудится, говорит он. Ты даже не догадываешься, как охотно они исполняют любое желание, стоит лишь попросить. Надень вот это! Стань на четвереньки! Вытянись на кровати! Не дыши! Лежи как мертвая! Они делают все, о чем ни попросишь, без жалоб. Не издавая ни звука.

Некоторых я сохранял долго. От иных сохранял только голову, а тело выбрасывал. Смотря по тому, каковы они были на ощупь и как выглядели. Я дарил им разные лица. Получше тех, прежних. Дарил им алые губы, красивые глаза, ухаживал за ними, щеткой расчесывал волосы, пока они не начинали блестеть. Но и тех, от кого избавился, тоже не забывал, навещал их снова и снова. Снова и снова. По возможности складывал в одном месте. Навещал их, и лежал среди них, и смотрел на звезды, и, перевернувшись, зарывался лицом в их лона.

Свалки — места упокоения, где они ждут его.

Где всегда ждет любовь.

Где его возлюбленные терпеливо пребывают в безмолвном распаде.

Где зубы белеют из земли.

Он жмурится.

Старое магистральное шоссе номер девяносто — в том виде, как раньше, оно уже не существует — идет от городка вверх, в предгорья. Огибаешь поворот и проезжаешь еще километра два с половиной или, скажем, три. Не забывай, минуло добрых пятнадцать лет. Не забывай ни на минуту. В то время отбойников посредине шоссе не устанавливали, поэтому можно было повернуть через встречную полосу, хоть и с риском штрафа. Там есть небольшая дорога, мощенная гравием. Можно было свернуть налево, на эту дорогу, пересечь овраг, который тянулся между нею и шоссе, снова взять влево и поехать назад, в сторону городка. Над гравийной дорогой проходит несколько высоковольтных линий. А в овраге между нею и шоссе номер девяносто протекает речушка. Метров через четыреста гравийная дорога опять вливается в магистраль. Но если свернуть там, перед самым съездом. Там справа есть еще одна дорожка, тоже мощенная гравием, она ведет в гору, через несколько железнодорожных путей. А за этими путями, метров на двадцать дальше, расположен маленький участок, поросший травой, густым кустарником и старым ольховником. Параллельно железнодорожным путям бежит,

поодаль исчезая в лесу, тропинка, в целом прямиком на запад. Гравийная дорога обходит стороной это место, заросшее, как я уже говорил, пышной травой. Ты слышал? И еще на несколько километров поднимается в гору. Как бы змеится вверх по горе. Неподалеку, метрах в пятидесяти к востоку, в другом овраге, стоит старая, заброшенная лачуга. Там ждут две. Или, может, три.

Глубокая горестная складка возникает меж его настороженных ушей.

На склонах оврага вокруг этой заброшенной лачуги, да и в ней, кажется, тоже, ждут пока не найденные. Одна сидит прислонясь к стене, вытянув руки по бокам. Кажется, она в купальнике. Да. В тонком лимонно-желтом купальнике. Сейчас он, верно, поблекший и грязный. Она сидит там уже который год. И неустанно ждет. На тропинке, ближе к дороге, стоит еще одна, на четвереньках. В коротеньком платье. Платье чужое, ей не по размеру. Слишком короткое, даже бедер толком не прикрывает. Стоит, склонив голову на плечо, навеки устремив взгляд в землю. Длинные темные волосы грязными патлами полощутся на ветру. А дальше по тропинке, по-моему, лежит еще одна. В шортах, в блузке, когда-то завязанной под грудью. Блузка разорвана. Бедняжка, лежит себе там, и открытые глаза пустым взглядом таращатся в небо. Капли дождя падают прямо в них. А она никогда об этом не узнает.

Он встает, начинает метаться по комнате. Превращается в размытое золотисто-розовое пятно, потом краски исчезают, и его шкурка делается серо-белой.

Самое лучшее место, говорит он и скачет от стены к стене. Самое лучшее место — на горе, на горном склоне, на моей собственной горе. Там их много. Так много, что я и не припомню сколько.

Он пляшет по комнате, хлопая лапами.

Ох, все эти мелкие зверушки. Мелкие зверушки там, на горе. Что они делают, эти махонькие зверушки? Что они делают? Что растаскивают по округе? Что гложут?

Он останавливается.

Если я вернусь туда сейчас, мне придется ковылять по снегу глубиной шесть футов, и все равно я ничегошеньки не отыщу. Эти мелкие зверушки. И мои нежные, мягкие лапы замерзнут, копаясь в снегу.

Свет в комнате подвижен, переливается, меняется, от слепящей солнечной яркости переходит в мягкий, кроткий сумрак. Красное ярко горит, заливая стены и потолок. Белое собирается в лужицы, пятнает подушки и кровать.

Он нагибается ко мне, сопит прямо в ухо.

Не забывай, говорит он. Ни в коем случае не забывай делать снимки, фотографировать всё, все подробности. Я не могу ждать.

* * *

Утром я звоню ей и слышу, как она улыбается в телефон. Слышу, как ее губы растягиваются, прижимаются к зубам. Слышу, как растекается помада и как она поднимает кончик языка.

Заезжай за мной, говорит она.

Когда мы сидим за столиком в ресторане, я слышу все, что она говорит. Она выбирает самые обыкновенные слова, и я отлично понимаю, чего именно она от меня ждет. А она делано смеется, встряхивает волосами, крашеными, неестественно блестящими. Выпячивает грудную клетку, отводит плечи назад, так что лопатки образуют заметный угол. Касается ладонью моей руки, и я вижу: тени, которыми она подвела глаза, заполняют даже самые тоненькие морщинки.

Она такая же, как другие. Ест и пьет, совершенно не задумываясь о том, как двигается ее язык. Под подбородком у нее жировая подушечка. Мелкие внешние изъяны у нее не в тех местах. Мне хочется сказать ей, что совершенство или есть, или его нет. Несовершенное становится только еще хуже, еще противнее, еще мучительнее, когда так отчетливо видишь, что она предприняла целый ряд тщеславных попыток быть красивой. Что она вправду считает себя красивой. И думает, что другие считают ее красивой.

После ресторана везу ее в мотель, за город. Здесь, говорю я, тебя наверняка никто не узнает. А она смеется и прижимается ко мне. Лижет мочку уха. Дышит тяжело, стонет, шепчет, как ей думается, мое имя. Пятнадцать минут спустя ее подъязычная кость ломается под моими руками. И биение ее пульса уходит через мои пальцы во Вселенную. Посмотри на меня, говорю я и сам неотрывно смотрю ей в глаза, ловлю ту тысячную долю секунды, в течение которой гаснет взор. И укладываю ее так, как полагается.

Когда я возвращаюсь в гостиничный номер, приходит Кролик. Теперь он голубовато-белый, лежит за моей спиной, близко-близко, и тяжело дышит мне в затылок.

Обнимает меня передней лапой, прижимает ее к моей груди.

Ни в коем случае не забывай про фотографии, говорит он. Я не могу ждать.

Утром я долго стою под душем, хотя накануне вечером тоже долго стоял под ним. В белом, запотевшем от горячего пара зеркале вижу свой силуэт.

К завтраку спускаюсь вниз, в столовую. Боги и богини рядами выстроились вдоль стен. Пальмы тянутся к потолку. Храмовые колонны высоки и прямы.

В одиночестве сажусь за столик у стены. На белой скатерти посредине складка, но я не обращаю внимания. Долго сижу и выбираю, что́ заказать — испанский омлет или цыпленка фри с мясной подливой, сервированного на блюде с глазуньей из двух яиц, — но в конце концов выбираю румяные блинчики с сахаром. Тосты с земляничным джемом. И шоколадные булочки. Кофе и свежевыжатый апельсиновый сок. Не спеша перелистываю две утренние газеты, но там нет ни слова о том, что я сделал. Они не замечают меня, прикидываются, будто это не я, а кто-то другой, случайный.

Обмениваюсь ничего не значащими любезностями с какими-то неясными лицами, с овалами лиц. Те, кто не принимал душ, затхло пахнут вчерашним потом и ночным теплом. На них одежда из материала, который впитывает смрад, насыщается им. Проходя мимо, я с улыбкой задерживаю дыхание, стараюсь, чтобы их "букет" не проник в рот.

Лифтом возвращаюсь на свой этаж. Чищу зубы нитью, потом щеткой, прополаскиваю фтористым эликсиром и тщательно мою руки. Комната сейчас пуста.

Оставляю уборщице щедрые чаевые и по лестнице опять спускаюсь в холл. За стойкой сейчас другая администраторша, одетая точно так же, улыбается мне. Несколько прядей выбились у нее из хвоста и свисают на щеку. А она не замечает.

Выхожу на улицу, некоторое время стою, глядя на самолеты, один за другим заходящие на посадку. Шагаю на север, мимо сказочного белого дворца с голубыми и красными кровлями. Плотный, густой воздух чуть дрожит от зноя. Люди в легкой, светлой одежде прогуливаются взад-вперед по бульвару. Они приемлют всё и постоянно жаждут еще больше, а я, если б они меня не видели, упал бы на колени и поцеловал землю.

Иду по бульвару. Мимо прославленных городов, мимо фантазий. Мимо величайшего, воссозданного в точном масштабе. Воздух над землей дрожит. Зной наваливается на дома. Вторгается меж ними, густеет. Неоновые огни, вытравленные, блеклые, сияют навстречу дню. Пальмы без подсветки тускнеют, становятся сероватыми. А большие здания в дневном свете отнюдь не парят с прежней легкостью. Я иду на север, прохожу целых два с половиной километра, все время по бульвару, плавно сворачивая вместе с ним к востоку. В вышине несякнущим потоком грохочут самолеты.

Поворачиваю к венецианской колокольне — Иль-Кампаниле. Лодки, канал. Иду по брусчатке улиц, что простираются на несколько сотен метров вдоль большого водоема. Вдоль неглубокого канала. Вдоль непревзойденного, несравненного скопища больших и маленьких магазинов и неповторимых рыночных площадей. За отполированными стеклами витрин, которые тянутся по всей длине канала, торговцы выставляют напоказ изобилие самых лучших, самых замечательных товаров. Уникальные вещи из дерева, металла, кожи и стекла. Лизнув палец, провожу им по сверкающему окну. Оно чистое.

Большая площадь открывается глазу — над нею, на высоте семидесяти футов, раскинулся живописный полог, который меняется каждую минуту. Свет падает все новыми и новыми узорами. Некий распорядок воссоздает всякую пору дня, либо творит неизъяснимый сумеречный свет.

На берегу канала играют уличные музыканты. В ярких костюмах. А в самом конце стоит оперный певец, поет. И потеет. Влага пленкой проступает поверх скверного, небрежного грима. Я вижу, как у него зудит кожа под блестящим шелковым костюмом, который ему тесен и сидит чересчур в обтяжку. Мне хочется потрогать его, и я оглядываюсь по сторонам, но Клоуна нигде не видно.

Подхожу к магазину с чистыми маркизами, цвет и фасон которых под стать фасаду. Навстречу бьет забористым, дешевым запахом. Я стараюсь не вдыхать его. Продавщица с улыбкой кивает мне. Лицо у нее безукоризненное, тени на веках не слишком яркие, скулы обозначены не слишком резко, нюансы почти незаметно переходят один в другой, ресницы густые, не слипшиеся, волосы зачесаны вверх и сколоты пряжкой. Посоветуюсь-ка я с ней. Послушаю, что она скажет.

Мне, говорю я, нужна губная помада.

Для вас? — спрашивает она.

Нет, отвечаю, в подарок для близкой подруги, но цвет лица и волос у нас с ней почти одинаковый. Мне бы хотелось светло-красный, матовый тон.

Она достает несколько продолговатых тюбиков. Я отмечаю, что они вовсе не липкие, а как будто бы тщательно вычищенные, блестящие. Самая дорогая помада не для нее. Самую дорогую я приберегу для самой лучшей. Но и самую дешевую, которую покупаю чаще всего, брать не буду.

Хорошей консистенции, жирная, говорю я и беру один из тюбиков.

Не знаете, бобровая струя входит в состав? — спрашиваю я.

Наши клиенты... — начинает она и заливается краской.

Я перебиваю ее.

Нет, говорю, поймите меня правильно. Мне нужна помада с бобровой струей. Я правда люблю этот вкус.

Вкус, говорит она, он же не чувствуется.

Да, на ваших губах, может, и не чувствуется, с улыбкой возражаю я. Но он есть, и тот, кому он знаком, с легкостью его узнаёт.

Я покупаю эту светло-красную помаду и крем, в котором много вазелина.

Иду под аркадой. Вода плещет в фонтанах, волнами бежит по каналу. Не отличишь, где искусственное, где настоящее. Воздух здесь чистый, свежий, прохладный. Он постоянно обновляется, а вода лишь едва пахнет хлором.

Женщина с планшеткой в руке подходит ко мне, улыбается, показывая кривые зубы. Оправа очков совершенно ей не к лицу.

Извините, говорит она. Не уделите нам часок? Очень нужна помощь. Может, поучаствуете в проверочной группе? Надо просто посмотреть отрывок из совершенно нового телесериала, который еще не транслировался, а потом ответить на несколько вопросов. Все займет максимум час. Не больше. Кофе и талон на обед за наш счет.

Кого-то она мне смутно напоминает, и я соглашаюсь и иду с ней, она чуть опережает меня, а я протягиваю руку и незаметно касаюсь ее спины.

Вместе с восемью другими сижу в помещении, похожем на зал ожидания или комнату для допросов. Стены серые, стулья неудобные, продавленные. Кофе водянистый, пирожные раскисшие, безвкусные. Несвежие. Без начинки. По-моему, все это никак не компенсирует драгоценного времени. И вот начинается сериал, какие-то люди в пестрой свободной одежде слишком громко разговаривают и слишком бурно жестикулируют, смех еще не подмонтировали, и в тех местах, где будет соответствующая фонограмма, царит тишина, актеры ждут в неестественном молчании, выдерживая точно отмеренную паузу.

В комнатах нет четырех стен, говорю я. Не чувствуется замкнутости. Хочу сказать прямо сейчас, прежде чем мы продолжим. Куда лучше было бы снимать их с потолка, широким планом, чтобы видеть, как они двигаются по комнатам и как на самом деле малы клетушки, в которых они живут. Сейчас этого совсем не видно. Так что снимать лучше сверху. Насколько мне известно, так никто еще не снимал. Вы бы стали первыми.

Меня сразу же выпроваживают и лишь после прямого вопроса выдают обеденный талон. На этот талон я беру блинчики с сахаром, молочный коктейль и сладкий ореховый пирог со сливками.

Когда совсем стемнело, иду в мотель, где ждет она. Она смотрит недвижным взглядом, и я вынимаю новую помаду, правильного оттенка, показываю ей.

Видишь, говорю я. Вот цвет, который тебе подходит.

С размаху даю ей пощечину, но черты ее не меняются. Крашу ей губы, аккуратно, как только могу. Непростое искусство — ровно наложить краску на холодную, твердую плоть. Чтобы она лежала так же, как на мягкой, теплой и влажной.

Ну, чувствуешь бобровую струю? — спрашиваю я. Чувствуешь, какой у нее вкус?

Приведя ее в порядок, достаю несколько старых снимков и укладываю ее в точно такой же позе. Совершенно особое удовольствие — фотографировать разные, но всегда одинаковые сюжеты, где модель меняется, а поза всегда одна и та же. Теперь и она как другие. Одна из множества моих.

Могу дать тебе максимум три дня, говорю я ей. Три дня буду приходить. Потом я должен заняться другими, они с нетерпением ждут, а тебя я туда взять не могу, при всем желании. Ты начнешь пахнуть, и кожа твоя станет на ощупь слишком холодной и шершавой.

Комната в мотеле душная, затхлая. В плафоне потолочной лампы — темное пятно, там скопились пыль и дохлые мухи. Экран у телевизора грязный. Я остаюсь здесь ровно столько времени, сколько необходимо, ни минутой дольше. Она все-таки уже слишком остыла и окоченела, приходится ломать. Но лучше не становится. Согревать ее в горячей ванне бесполезно. Тепло от воды держится недолго. И в эти три вечера я зачастую уже к полуночи возвращаюсь в свою гостиницу.

В последний вечер я усаживаю ее спиной к ванне, запрокидываю ей голову назад и мóю волосы. Темные волосы, что остаются в ванне, я собираю и засовываю ей глубоко в рот, а срезанный ноготь заталкиваю глубоко-глубоко, насколько достают пальцы. Помаду накладываю небрежно и слишком щедро. Она растекается по морщинкам вокруг губ. И рот делается большим, широким.

В мешке без меток отношу ее в автомобиль. Неподалеку от города сворачиваю на гравийную дорогу, потом съезжаю с нее на пустынную равнину и вскоре останавливаюсь. Раздеваюсь, вытаскиваю ее из машины и уношу за одну из несчетных скал, одинаковых, неотличимых друг от друга. Медленно опускаю ее на землю, в нужной позе. Лицо у нее мертвое, и зубы мертвые, и глаза, и рот, и губы, и шея, и тело, и ноги, и лоно — всё мертвое.

Я ложусь вплотную к ней, повторяю ее позу и руками медлительно ласкаю ее тело, везде.

Ты моя, говорю я. Ты моя, и я утешу тебя.

А земля под нами сухая, всепоглощающая, белая, рядом с нами она делается ярко-красной, потом серо-голубой, и чем дальше, тем голубее.

Скоро, вот увидишь, скоро мы будем у цели. Не бойся. Я такой же, как ты. Как один из твоих. Да, как все.

Ты нечистая, говорю я ей. Да-да, нечистая, и уже никогда чистой не станешь. Твоя ли это вина? Может, да, а может, нет. Спи. Молчи и спи.

Внезапно я теряю к ней всякий интерес. Внезапно она делается тяжелой, неподатливой, и белки глаз у нее уже не белые, а кожа желтая, сизая, шершавая, волосы сухие, ногти беловато-серые, твердые.

Клоун машет мне рукой, стоя поодаль, на обочине.

Многие, шепчет он.

И шепот его летит по воздуху и достигает моих ушей. Многие, другие.

Я встаю, возвращаюсь к машине, достаю свою одежду. Когда я сажусь за руль, ее нет, вообще больше нет, и если кто спросит, то я понятия не имею, кто она. Если кто спросит, у меня найдутся только фотографии, на которых она с широко разведенными ногами и руками, закинутыми за голову, едва ли отличима от других.

Вернувшись в свой номер, я ем шоколадки, некоторые с начинкой, некоторые без. У тех, что с начинкой, внутри ореховый крем, нуга, карамель. Малиновый джем и ананас с сахаром. Дочиста вылизываю оберточную фольгу, разглаживаю и сворачиваю в маленькие квадратики.

* * *

Утром Кролик сидит в кресле, коричневато-песочный, с красным бантом на шее и загипсованной передней лапой. Смотрит на меня, кивает.

Чудесно, говорит он, чудесно.

Снимает гипс, поднимает вверх, разглядывает. Обнюхивает, смахивает несколько отслоившихся кусочков.

Чудесно, говорит он. Каждый раз. И всегда срабатывает. Извините, барышня, вы не поможете мне донести книги? Я повредил лапу. Не поможете ли закрепить лодку на машине? Нет, она не здесь. Но идти недалеко. Я вас не задержу. Извините, вы не поможете мне? Как видите, передняя лапа у меня в гипсе, а я, кажется, обронил ключи вон там, возле машины. Возле желтой машины. Да, вон они, блестят. Будьте добры, помогите мне их поднять. А потом быстрый удар ломиком, в машину и в путь.

Он смеется.

Все они дурехи. Хотя, пожалуй, не стоит мне так говорить. Ведь они клюют на мою улыбку, на мои зубы.

Он вытаскивает из пакета морковку, грызет. Я решаю не оставаться в комнате. Если останусь, придется опять все проверить, все ощупать, все потрогать, отведать на вкус.

Лифтом спускаюсь в холл. Те же люди в другой одежде и с другими лицами расхаживают взад-вперед, глазеют разинув рот. Жир на загривках собирается складками, когда они, запрокинув голову, смотрят в вышину, в зенит.

Подхожу к стойке администратора, к стенду, на котором выставлены туристические проспекты. Беру тот, что мне нужен, с глянцевыми фотографиями огромной плотины. Люди, стоящие подле нее и на ней, выглядят крошечными, как муравьишки на муравьиной куче. Их одежда — не более чем разноцветные крапинки. Если плотина треснет, их смоет, как мошек с оконного стекла. Так они малы. Так малы, что уже не имеют лиц.

Плотина высится исполинской серой стеной. Мощная, ровная, красивая. Гребень окаймлен четким геометрическим орнаментом, отлитым прямо из бетона. Рельефные линии, гладкие поверхности. По одну сторону — острый угол тени. В буровато-сером цвете угадываются белые полосы, которые на ярком свету только подчеркивают ее чистоту. Водозаборные башни — словно высокие глазированные украшения. Словно четыре опущенных в воду, разукрашенных колокола. Всё одинаково серого, напряженно-чистого цвета.

Я плачу за большую экскурсию. Сливаюсь с толпой. Легко нахожу себе место в шеренге. Не отвечаю на жесты и взгляды. Напускаю на себя неприступный вид. Делаюсь недостижимым и невосприимчивым ко всем их намекам.

Лифт опускается на пятьсот футов в глубь горного склона. Воздух остывает. Далеко позади, у самой стены, я делаю свое тело недоступным, нечувствительным к натиску других тел.

Внизу нас ведут по длинному туннелю, пробитому в горе. На сводчатом потолке через равные промежутки укреплены лампы. Не горят только седьмая и двадцать вторая.

Мы попадаем в огромный высокий зал. Свет поражает полной своей неожиданностью. Подняв глаза к потолку, я чувствую, как мысль внезапно омрачается, и мне чудится, будто я сижу там, под самым потолком, и смотрю вниз. На краткий миг в глазах темнеет, я глубоко вздыхаю и невольно опираюсь о стену.

Стены, отсвечивающие желтизной.
Блестящие, желтовато-белые, как старинные изразцы.
Высокие прямоугольные ниши на равных расстояниях друг от друга.
Острые грани.
Потолок отражается в полу.
Свет в огромном зале, высота.
Прямые линии, углы и грани.
Остро отточенные грани.

В огромном зале.
Такая красота — и спрятана здесь, внизу.
Такая красота.
Из числа самого прекрасного, что способен создать человек.
Из числа самого прекрасного, что способна породить мысль.
Идеально ровным рядом,
закрепленные крепкими, мощными костылями,
негромко гудят восемь зеленых металлических машин,
мягко, басовито вибрируют сдержанной мощью, гигантские, до блеска отполированные, раздутые генераторы.

С красным.
С красным в раздутых формах.
Что-то ярко взблескивает высоко над головой.

Я зажмуриваюсь, надолго зажмуриваюсь, чтобы никто не догадался, что́ я чувствую. Задерживаю дыхание, останавливаю биение сердца. Если б я мог положить руку на их гладкую, блестящую твердость. Чувствую, как на лбу выступает пот. Если б я был один. Если б мог ощутить ладонью эту энергию, коснуться ее языком. Иду дальше, но уже не слышу, что говорят другие, не слышу пронзительного голоса экскурсовода, вижу только их лица, неясные, вытравленные.

Вот бы остаться здесь. Жил бы здесь как другие. В помещении, где грязь недопустима, где повсюду чувствуются вибрации энергии, где всё чисто.

Нам пора уходить. Я задерживаюсь насколько возможно, ухожу последним. Касаюсь ладонью острых граней одной из многих ниш. Оглядываюсь по сторонам, все запоминаю. Никогда я этого не забуду. Смогу воссоздать это помещение во всех подробностях.

Мы продолжаем путь по туннелям, где свет зеленый, и дышится мне нормально, и я слышу какой-то басовитый, монотонный, протяжный шум.

Нас приводят в грязное, обшарпанное помещение. Пол застлан грубым половиком, на котором виднеются темные пятна. Ровными рядами расставлены облезлые стулья с ножками из стальных трубок, с мягкими сиденьями и спинками. Им хочется, чтобы это помещение выглядело как другие. Хочется, чтобы мы забыли, что находимся глубоко-глубоко под землей. Лучше бы они оставили стены совершенно голыми. Пусть бы вода собиралась в лужи. Пусть бы потолок, пол и стены так и остались каменными. И воздух пусть был бы холодный, свежий, а они, усадив нас на каменный пол, потушили бы свет, чтоб мы прочувствовали настоящую тьму.

Фильм, который нам показывают, ничего не говорит. Не сообщает ничего нового, ничего, что я мог бы использовать.

Плотину строили из блоков, сочлененных друг с другом. Громоздили их один на другой по мере возведения постройки. Высота каждого блока пять футов. Площадь самых маленьких — двадцать пять на двадцать пять футов, самых больших — двадцать пять на шестьдесят.

Бетон доставляли в бадьях, по восемь кубометров за раз, и после подачи очередной бадьи пять-шесть человек трамбовали бетон внутри блока, чтобы там не осталось воздушных раковин. Этих людей так и называли — трамбовщики.

Трамбовщик. Эти люди — трамбовщики.

Когда бадью опорожняют в самые большие блоки, уровень бетона всякий раз поднимается на два-три дюйма.

Как спрятать тело в бетоне, глубина которого всего-навсего два или три дюйма?

Я задаю этот вопрос вслух, обращаясь ко всем в комнате, но ответить никто не может.

Блоки поменьше заполняются быстрее. С каждой новой бадьей уровень бетона в самых мелких поднимается примерно на шесть дюймов.

Но и шестидюймовый слой бетона, говорю я, не закроет носа и пальцев на ногах, и трамбовщики непременно их заметят. Здесь никаких трупов нет. Разве не так? Враки это, что здесь будто бы упрятаны в бетон покойники.

Вопрос в том, сколько покойников. Вечно этот вопрос. Вечно актуальный. И что же ответить?

Сколько? Ты уверен, что хочешь знать? Может, сорок пять, может, девяносто шесть, сто двенадцать или еще больше.

Мы вновь поднимаемся на поверхность. На яркий свет, что ловится и отражается в разные стороны.

Шагая по гребню плотины, я вдруг вижу Клоуна: он стоит в конце пешеходной дорожки и машет мне рукой. В другой руке у него связка разноцветных шариков. Пот течет по набеленным вискам. Сейчас, шепчу я ему. Сейчас. Он кивает, лижет себе палец, поднимает его вверх, потом перелезает через гребень и исчезает.

На островке высятся огромные тридцатифутовые бронзовые фигуры. Крылатые, сильные, мускулистые руки тянутся в вышину, ладонями вверх. Грудь у них твердая, блестящая, гладкая. Четкое костное полукружье обрамляет сверху живот, тоже твердый и плоский. Бедра прямые, узкие. Человеческое тело, окружающее внутреннее ядро, заключает в себе и оберегает внутренний баланс как искусно сшитая одежда, как тщательно отлитый и отформованный бронзовый доспех. Черты лица у них резкие, чеканно-прямые, а взгляд лучится отвагой, решимостью, силой. Одна из фигур подмигивает мне, скалит блестящие бронзовые зубы. Я краснею, опускаю глаза и вдруг вижу там, под ногами, медленно движущееся колесо времен. И мраморный компас. Он куда-то показывает. И я запрокидываю голову, жмурюсь от слепящего солнечного блеска и замечаю военный бункер, устроенный высоко в иссушенных скалах. Если б мне когда-нибудь умереть.

Вернувшись в гостиницу, иду к игорным столам. Кладу возле рулетки несколько жетонов и жду, когда колесо остановится. Оно все жужжит, жужжит, а я оборачиваюсь, чувствуя, как его взгляд буравит мне затылок, и знаю, что сейчас он ждет меня в номере.

Вокруг молча стоят люди, на миг оцепеневшие в напряженном ожидании. Поднятые руки. Недопитые стаканы. Пустые лица растянуты в неестественной улыбке. Широко открытые, невидящие глаза. Рты, полные горькой слюны.

Возвращаюсь в холл, сажусь в лифт, а когда на своем этаже шагаю вдоль балюстрады, уже издали слышу его голос.

Костюм красно-белый. Левая сторона полосатая, правая — сплошь красная. Посредине, сверху вниз, ряд белых помпонов. Он в белых перчатках, на голове красно-белая шапка, тоже с помпонами.

Он лежит на кровати. Вытянувшись, подложив одну руку под голову. Блестящая ткань клоунского наряда облегает крупное тело. Кролик молча сидит в кресле. Желто-бело-розовый.

Ну что ж, говорит Клоун.

Поворачивается ко мне, и голос его становится бархатным, мягким.

Во-первых, я хочу знать, что́ ты собирался для меня сделать. Ведь как-никак я самый старый и самый лучший твой друг, верно? Мы так много всего пережили сообща, провели вдвоем так много долгих темных ночей.

Он беззвучно смеется, и помпоны колышутся. Потом переворачивается на бок и с наслаждением потягивается.

Я хочу знать, что ты намерен делать, говорит он. Вряд ли я требую слишком многого, ожидая небольшой благодарности за все те вечера, когда я тихонько лежал, обнимая тебя. За все те разы, когда я согревал твою постель, утешал тебя, похлопывал и ласкал, когда тебе не спалось. Это ведь наверное стоит небольшой благодарности.

Он хлопает ладонью по кровати, и с губ его слетает глухой, хриплый, жалобный звук.

Иди сюда, сядь. Расскажи мне, что мы будем делать. Со всеми подробностями.

Клоун

Никто никогда не спрашивает, чем Клоун занимается. Ему многое сходит с рук. Если честно, то всё. И никто не спрашивает, что прячется под красно-белой расцветкой. И подходит ли костюм. Может, на самом деле он на несколько размеров меньше, чем кажется с виду. Может, и рот куда меньше того, что намалеван красным. И руки, может, вовсе не такие мягкие и гладкие, какими выглядят в белых Клоуновых перчатках. А дни летят прочь. Иной раз дни летят прочь, и тебе во́обще не приходится отвечать на вопросы. Я ненавижу вопросы. Любые. А Клоуна никогда не привлекают к ответу. Может, он впрямь таков, каким кажется, каким его видят, может, под внешностью не таится ничего другого. Может, нет под костюмом никого другого. А может, там как раз и есть кто-то другой, вправду есть кто-то другой, настолько другой, что нипочем не поверишь, что это я.

Он подмигивает одним глазом, кладет руку мне на колено, со вздохом откидывается назад.

Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать. Мне кажется, я вообще никогда не был ребенком. Посмотри на меня! Похож я на такого, кто был маленьким?

Он улыбается.

Если я был ребенком, то должен был носить ярко-красную одежду, сплошь красную, ну разве что с черными пуговицами. Сплошь красную одежду, комбинезон, с черными пуговицами, которые можно застегивать. И никакого белья.

На миг он умолкает, поправляет перчатку.

Хотя вряд ли. Вообще-то я помню только, как жил после того, как обзавелся настоящим клоунским костюмом, стал таким, как положено.

Я жил в кирпичном доме, одноэтажном, с чердаком, низким подполом и небольшим садиком. Такой у меня был дом. Родной очаг. И я по нему тоскую. Пусть он был ветхий и не слишком ухоженный, и многое, навер-

но, следовало бы устроить получше, но другого я не имел. Само собой, я бы не возражал жить попросторнее, да что поделаешь?

Он вновь умолкает и некоторое время сидит в задумчивости, широко улыбается, кивает.

С восточной стороны на участок ведет от улицы подъездная дорожка. Она проходит за домом и мимо узкого сарайчика сворачивает к гаражу. Собственно, этот сарайчик и новый кирпичный гараж на две машины составляют одно целое. Ворота белые, а кирпич того же цвета, что и дом. По бокам участок окаймлен высокой и густой живой изгородью. За домом, за просторной гостиной, которую я пристроил собственноручно, расположен кирпичный гриль. Моя гордость. Мясо всегда получается в меру прожаренное, сочное. Какие я закатывал пирушки! Те, кто в них участвовал, после месяцами обсуждали, как замечательно все было устроено — просто сказка! Я всегда выбирал какую-нибудь увлекательную тему, так сказать девиз праздника, и в соответствии с ней украшал дом и составлял меню. Это было одно из ярчайших событий года. По фасаду, недалеко от въезда, стоит старый уличный фонарь. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что об уличном освещении мне известно все мало-мальски достойное упоминания. В свое время я единолично нес полную ответственность за все освещение, за всю городскую осветительную сеть, то бишь за все уличные фонари. Приступив к работе, я первым делом провернул поистине гениальную штуку. До тех пор никто не догадывался снабдить все уличные фонари номерами. Когда один из фонарей гас, люди звонили и сообщали: мол, погас второй или третий фонарь от угла на такой-то улице и прочая. Ни организации, ни порядка. Я же поместил на каждом столбе небольшую табличку с номером, а у себя в конторе повесил карту улиц. Теперь народ звонил и сообщал, что погас, скажем, фонарь номер двадцать один. И я сразу видел, где он находится. Я был самым лучшим, самым профессиональным начальником осветительной сети. Не знаю, но очень может быть, что моя простая, однако светлая идея, если каламбур здесь допустим, нашла ныне применение во многих городах. Ну что ж. Вот так выглядел мой дом, простой и уютный.

Входная дверь открывается прямо туда, где когда-то была довольно просторная общая комната. Сейчас прежде большое помещение разделено на две неравные части перегородкой, как бы случайно поставленной слева от дверного проема. Эта перегородка отделяет от так называемой общей комнаты другую, поменьше, которая, судя по меблировке, служила конторой. Общая комната обставлена весьма экономно, зато полна цветов. На стенах огромное количество живописных портретов — сплошь клоуны. Их так много, что комната похожа на галерею.

Позвольте мне сделать тут небольшое отступление и сказать, что сперва я собирал фарфоровые статуэтки, изображавшие тореадоров. Множество полок ими заставил. Тореадоры в красивых облегающих костюмах, с красной мулетой, складки которой вылеплены точно и подробно. Иные перед огромным, могучим быком. Другие в одиночестве, с поднятой красной мулетой. Третьи в полном одиночестве, на арене, готовые принять зрительские овации. Но я их выбросил, да-да, выбросил, как только обзавелся первыми клоунскими портретами. Нет, я уже не помню, где отыскал самый первый. Однако ж когда начал собирать

всерьез, коллекция росла с каждой неделей. И покупал я только клоунов с печальными лицами, клоунов, что смотрели на мир с тайной печалью, запрятанной в глубине глаз.

Прямо впереди, в комнате, которую можно назвать залом, рисунок обоев броский, абстрактный, желто-коричневый. Слева — кухня, справа — ванная и две спальни. Одна из них — та, какой он, по всей видимости, пользовался сам, выходит на фасад. Здесь он держит в шкатулке свою коллекцию сувениров. За кухней расположено небольшое помещение, служащее прачечной и кладовкой, а в новой пристройке — столовая и гостиная.

В потолок зала врезан люк с лесенкой, ведущей на чердак, совершенно необорудованный, без мебели. На полу матрац, под ним виднеется что-то вроде доски с наручниками по бокам. Судя по всему, пользовались чердаком частенько. Матрац истертый, грязный, пол в пятнах, иные пятна заметны и на доске.

Здесь я хочу сделать еще одно небольшое отступление: вообще-то я собирался привести чердак в порядок. Он достаточно большой, места вполне хватило бы, по крайней мере, на две комнаты, которые я мог бы сдавать жильцам, чтобы срубить немножко деньжат, но в первую очередь чтобы помочь молодым людям, которые оказались в тяжелом положении и не могут жить дома. Мне всегда хотелось им помочь.

В общей комнате, в полу одного из встроенных гардеробов, имеется люк, ведущий в подпол. Подвального этажа в доме нет. Все помещения аккуратно прибраны, там чисто. Жалюзи закрыты, и при экономном внутреннем освещении в доме даже днем довольно темно.

Выстроен дом на болотистой почве. И в подполе стоит вода. Одна-единственная лампочка — вот и все здешнее освещение. Возле лестницы, по которой спускаются в подпол, неторопливо чавкает отсасывающий насос. Площадь подпола — двадцать восемь на тридцать восемь футов. Высота — от земли до толстых балок накатника — меньше трех футов. Воздух пропитан сырым, гнилостным запахом, проникающим наверх и наполняющим весь дом. В тусклом свете одинокой лампочки поблескивают паучьи тенета и водопроводная труба. Луч карманного фонарика скользит по безмолвным продолговатым холмикам, отчасти залитым водой, которая сплошь покрыта сырым ковром какого-то серовато-желтого порошка. Это негашеная известь. Неглубокие впадины, тоже продолговатые, почти овальные, виднеются в мокрой, вонючей земле. Темные, мутные, лиловые лужи, где копошится мелкая живность и плавают жирные белые комья.

Трупный жировоск —

это воскоподобное вещество, образующееся из телесных жиров в процессе гидролиза, при котором выделяются глицерин и ряд жирных кислот.

Как правило, он образуется лишь через несколько месяцев, а иногда уже через несколько недель.

Образование трупного жировоска

может распространиться на все мертвое тело или только на отдельные его части.

Жировоск встречается преимущественно в телах, которые лежали в воде либо в сырых местах или были погребены во влажной среде.

В течение десятилетий, а то и столетий он препятствует распаду мягких тканей.

При этом долгое время может узнаваемо сохраняться не только форма тела, но и черты лица.

В том числе остаются заметны повреждения или болезненные деформации тела, воскообразные, белые.

Я помню последний раз, когда мне довелось видеть свой подпол. Помню так, словно было это вчера. Надо сказать, мне и самому было нелегко заглядывать туда. Приходилось сгибаться в три погибели, и хотя физически я ловкий, даже верткий, все равно при моей комплекции трудновато подолгу ходить согнувшись.

Последний раз, когда я видел подпол, он был поделен на множество четырехугольников. Все, что нашли, они скрупулезно описали и зарисовали с указанием точных размеров. Зарисовали, взвесили, пересчитали, перекопали и перебрали всю землю. А земля там насквозь мокрая, и я думаю, им пришлось прессовать ее и размельчать комья руками.

Конечно, запах я тоже чуял. Но что делать? Это же мой дом — куда бы я иначе пошел? Можно сказать, мне было вполне удобно, и в этом есть доля правды, однако ж другие места, какие я опробовал, оказались по тем или иным причинам совершенно непригодными. И я всегда твердил: устроенный и уютный дом дает человеку опору и силу. Дом, милый дом — вот, можно сказать, мой девиз. Главным для меня всегда был мой дом.

Да я и не располагал временем для того, чтобы всякий раз выезжать за город и искать новые, уединенные места. Во главу угла я всегда ставил работу, и оттого времени у меня постоянно было в обрез. Ведь я имел собственный бизнес, ко мне часто обращались, а вдобавок я занимался целым рядом менее важных дел. Состоял членом, а некоторое время председательствовал в нашем Союзе коммерсантов.

Ну и, как я уже говорил, это был мой дом. А они его снесли. Без всякой компенсации. По их словам, на пустыре так ничего и не растет. Несколько балок, говорят, долго валялись там, забытые, искореженные, на влажной охряной глине. Несколько балок.

Он качает головой, глаза влажно блестят.

Плачущие горлицы роются теперь в гравии моей садовой дорожки. Что тут скажешь? Печально. Да, печально. Никогда здесь уже не будет как раньше.

Он закрывает глаза и начинает медленно напевать.

П — плотвички, которых он ловит.
А — азарт, с каким он рыбачит.
П — поплавок, что в воде играет.
А — алое пламя, что вечно пылает.
Ш — шустрая лодка, которую он обожает.
А... — больше я ничего не помню.
Соедини это все — и выйдет папаша.
Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля.

А... — а это он прячет, глубоко-глубоко, среди старых рыболовных снастей, они лежат себе там и ждут, лежат себе и ждут, лежат и ждут.

Сейчас он стоит на сцене. Видит себя в зеркале, для других незримом. Рисует вокруг белого лица черный полукруг, подкову, разомкнутую внизу, где подбородок. Брови — как два острых треугольника, вершинами вверх. Потом он рисует на белом лице большой, темный рот. Непохожий на те рты, какие видит у себя на стенах. Его рот больше, размазан от носа до подбородка, углы задраны круто вверх, где улыбка ножевым острием сужается у внешних уголков глаз.

Спотыкаясь, он обходит стул

(гнутый венский стул),

открывает дверцу машины, садится

(на венский стул),

сует ключ в замок зажигания, смотрит в заднее стекло, включает задний ход, выжимает газ и быстро выезжает со двора. Выворачивает руль. Резко жмет на тормоз. Его бросает назад, на спинку кресла

(венского стула),

автомобиль на миг замирает, он врубает первую скорость, опять жмет на газ и с ревом мчится по улице к шоссе. Сегодня вечером он собирается в парк. Сегодня вечером тоже. Как и в другие вечера.

Имитирует чей-то голос, высокий, занудный, пронзительный.

Ты что, не видишь знак? Стой!

Там нет знака.

Нет есть. Стой, говорю!

Кто из нас за рулем? Ты или я?

Не видишь разве, что едешь на красный? Стой!

Здесь нет красного сигнала.

Неужто не видишь? Ты проехал на красный. Идиот. Подожди! Глянь вон туда! Видишь вон того парня? Как по-твоему, сколько ему лет? Может, остановимся и спросим, не хочет ли он выпить?

Не мой тип.

Да ты хоть посмотри на него! Ну, как он тебе?

Его руки судорожно сжимают руль, ему неудобно на черном горячем автомобильном сиденье

(на венском стуле),

он смотрит прямо перед собой, в непроглядную тьму. Снова пронзительный голос.

Я же знаю твой секрет. И презираю тебя за эту слабость.

Врешь.

Нет, я знаю, кто ты. Ты из этих.

Врешь! Замолчи!

Ты отлично знаешь, что я никогда не вру. Отлично знаешь. И знаешь, что с тобой я говорить не хочу. Знаешь, с кем я хочу говорить.

Не боишься?

Тебя, что ли?

Он смеется.

Куда мы едем?

В парк.

Вот он. Видишь? Останови!

Нет.

Останови, говорю!

Нет. Даже и не подумаю. Не сейчас. Не сегодня вечером.

Черт тебя побери!

Его голова резко откидывается назад, будто он получил оплеуху.

Мерзавка!

Он двигается быстро, проворно, но движения деревянные, как у робота. Распахивает дверцу, заносит ноги влево, нагибается, вылезает из машины

(поднимается с венского стула)

и встает по стойке "смирно". Дверцу не закрывает. Он на углу улицы. Сейчас холодное, ветреное утро. Он идет налево, к парнишке, который стоит на тротуаре.

Эй ты! Поди-ка сюда! Я знаю, чем ты тут занимаешься.

Не волнуйтесь. Я ничего плохого не замышлял. Просто жду приятелей.

И когда же они, по-твоему, явятся?

Не знаю. Скоро.

Он и парнишка стоят бок о бок на тротуаре. Поодаль от круга света, который отбрасывает уличный фонарь. Одеты оба почти одинаково. Мужчина постарше — толстый, одутловатый. Парнишка — худощавый, спортивный. В потемках их можно принять за одного и того же человека в двух ипостасях, разделенных пятнадцатью-двадцатью годами жестокости. Другие люди — во тьме парка, позади них, сидят в машинах, припаркованных у тротуара. Порой какая-то тень выходит из парка, поспешно направляется к одному из автомобилей. Они шепчутся.

Я знаю, что ты врешь. Никого ты не ждешь. Ненавижу врунов. Придется забрать тебя с собой.

Пожалуйста. Подождите.

Он хватает парнишку, резко швыряет его на капот машины.

Руки-ноги шире!

В парке темно. Мужчина постарше обыскивает младшего, распластавшегося на капоте. Привычными движениями. Если в темноте и есть свидетели, то они молчат.

Садись в машину!

Отпустите! Пожалуйста!

Садись в машину! Живо!

Он заталкивает парнишку на переднее сиденье, идет к водительской дверце, садится за руль

(на венский стул)

и быстро трогает с места. Бархатным голосом произносит несколько дружелюбных слов. Поворачивается к пустоте, широко улыбается.

Мы поедем ко мне домой. Ты парень хороший, я знаю. Пожалуй, тебе не мешает хорошенько закусить, а после мы потолкуем и, возможно, кое о чем договоримся.

Спасибо. Я все сделаю, что вы хотите. Если вам что-то нужно.

Что-то нужно?

Он смеется. Большой черный автомобиль сворачивает на подъездную дорожку, проезжает мимо кирпичного дома и останавливается у ворот гаража. Он открывает дверцу, вылезает из машины

(встает с венского стула),

встает с венского стула в тесном помещении и потягивается, насколько позволяют цепи. Свежее утро, холодное, бодрящее. Полная луна, низко над горизонтом, бросает тени на газон. Тень у него вытянутая, большая, мощная — приятно смотреть.

Ну, пошли, парень, в дом.

Где-то поблизости лает собака. Соседи, что живут через дорогу, просыпаются. Свет из гаража падает на газон, и они могут увидеть, как парнишка спотыкается и падает за кустами на землю. Собака продолжает лаять, скребется в дверь. Просится в дом. Впустите ее. Снаружи им слышно учащенное дыхание.

Слышно учащенное дыхание.

Заходи, парень. Сюда. Снимай куртку. Мы пройдем в гостиную. Выпьем, расслабимся. В бильярд играешь? Давай покажу тебе один фокус. Смотри, вот самые обыкновенные наручники. Надень их на меня — обещаю, через несколько секунд я освобожусь. Гляди! Вот так, все просто. А теперь попробуй сам. Можешь освободиться? Наверняка не можешь! Фокус в том, что надо иметь ключ.

Слышно учащенное дыхание.

Ложись на живот! На пол, я сказал!

Слышно учащенное дыхание.

Он смотрит на свои пальцы. Они растопыриваются и медленно пригибаются к ладоням, пока не становятся похожи на крючья. Крючья из плоти, из плоти крючья. Он скулит. Тихонько постанывает, вздыхает. И смеется.

Сейчас, говорит он, сейчас.

Потом он долго стоит на коленях на жестком голом полу. Склонив голову, будто от усталости и пресыщения. Стоит на коленях, как изнуренный актер, посреди сцены, одинокий, ждущий. Вот сейчас яркий световой круг софитов сузится вокруг него, останется только один луч, похожий на нимб, сверкающе-чистый. Затем тьма и мгновение тишины, пока зрители еще в плену его игры. Краткое мгновение тишины, пока не грянут оглушительные рукоплескания.

* * *

Когда я просыпаюсь, уже вечер. Не знаю, сколько прошло времени, какой нынче день, сколько я отсутствовал. Комната пуста, и я подхожу к окну, смотрю поверх улиц вдаль, на горы. Краски все те же. И небо все то же.

Все лицевые мышцы болят, и голова болит, и я беру полотенце, намачиваю, кладу на лоб. Руки воняют, все тело как склеенное, засохшее и дурно пахнет, я сбрасываю одежду, сдираю с постели простыни, звоню администратору: пусть принесут чистое белье и перестелют постель.

Принимаю душ, самый горячий, какой только могу вытерпеть. Стою не шевелясь под водяными струями, пока кожа на руках не размякает и не сморщивается. Намыливаюсь самым дешевым мылом, пока тело не краснеет, не становится болезненным, не саднит. Влага стекает по кафельной плитке, зеркало исчезает в белом тумане испарений.

Дурнота не проходит, меня опять рвет, и я ложусь на кровать. Потолок углубляется, когда я всматриваюсь в него, стараясь не моргать.

Выпиваю бутылку малинового лимонада, съедаю пачку печенья с кусочками шоколада и орехами. Желудок успокаивается, головная боль отпускает, я сажусь на край кровати и смотрю на горы.

Если б еще и Зверюга пришел.

Уличный свет падает в окно, ползет вверх по стенам, по потолку и пропадает. Луч белого света сгущается в точку, которая прожигает дыры, прожигает насквозь всю вселенную и по другую сторону выходит наружу.

Вон там, на бульваре, они расхаживают взад-вперед, изумленно показывают пальцами, восклицают. Голоса у них слишком пронзительные, слишком громкие. Одежда либо мала, либо велика, фигуры непропорциональны. И цвета эти им не к лицу, и мéста они занимают слишком много и дистанцию не соблюдают.

Временами они останавливаются, поднимают свои фотоаппараты и фотографируют темноту, расцвеченную темноту, глумливую темноту. И я следую за ними на некотором расстоянии и все время стараюсь попасть во все их кадры. Стою на заднем плане и смотрю прямо в объектив, прямо им в глаза. На одном снимке поднимаю руку. На другом — обе. На прочих стою выпрямившись, всюду одинаковый, в одной и той же позе, в одной и той же.

Иду к фонтанам перед огромной наклонной постройкой, останавливаюсь у слегка подсвеченной воды, стою там примерно час. В течение этого часа они снова и снова, четыре раза, прокручивают заданную программу. Каскады воды бьют ввысь, падая в чашу длиной несколько сотен метров. В бассейн. В рукотворное озеро. Опускаются и поднимаются, кружатся и опадают, рвутся вверх струями, гребнями, дугами, контуры которых совершенны и одинаковы. Движутся согласно точному, искусному танцевальному рисунку, под аккомпанемент вечно повторяющихся, закольцованных мелодий. Фонтан — чудо усмиренной воды, победа человека над природой, позволившая ему превратить воду в зрелище. Бассейн — строительно-технический шедевр. Девятьсот футов в длину; максимальная высота струй — двести сорок футов; четыре с половиной тысячи ламп; тысяча двести сопел, выбрасывающих воду. Вода здесь белая, особого состава. Она легче и больше напоминает пену, незаметно и быстро сбегает сквозь пальцы. Глубоко под фонтанами, глубоко в земле неслышно грохочут огромные моторы, гоняющие воду по кругу. И фильтры, густые, массивные, широкие, отцеживают все нечистоты, а длинные рычаги дозаторов добавляют средства очистки. Запах очищающих средств очень слаб, едва уловим. Именно такой, какой создает ощущение чистоты. Я сажусь, подпираю голову руками. Вечер длится, мелодии повторяются, игра света меняется и тоже повторяет саму себя, до предела возможности близкая к совершенству.

Какой-то человек садится со мною рядом. Сперва я хочу уйти. Слишком уж все просто. Он же без слов просит об этом. А у меня болит голова. Но я вижу его ляжки, вижу, как его тело под футболкой волнуется и трепещет, и остаюсь.

Ты один? — спрашивает он.

Да, отвечаю я, ничем не выдавая, что уже знаю его.

И что же такой милашка, как ты, делает тут один в такой вечер?

Жду такого, как ты.

Слишком уж это просто.

Это по-твоему.

Он улыбается; зубы у него желтые, точь-в-точь такие, как мне нужно. Если набелить ему лицо, то даже нетренированный глаз заметит, какие они на самом деле желтые.

Не возражаешь, если я приглашу тебя выпить по бокальчику? — говорит он.

И я понимаю, что нипочем не выдержу.

С какой стати? — отвечаю я, придвигаясь ближе к нему. Мы оба знаем, чего хотим и где окажемся. Зачем тратить время в шумном, прокуренном баре?

Секунду он недоумевает, и мне даже чудится, что он поймет, но все они одинаковые дураки. Простофили. Он хочет поиметь меня. А за какую цену? Это уже другой вопрос.

У меня есть комната, говорит он. Не самая лучшая, зато недалеко отсюда.

В его дыхании я чую тяжелую, неутоленную похоть. Улыбаюсь, киваю, а он кладет потную руку мне на поясницу и начинает подталкивать меня к ближайшему проулку. Мы идем быстро и молча, за спиной я опять слышу зачин песни фонтанов.

Комната маленькая, и чистой ее при всем желании не назовешь. Постель не убрана. Возле подушки пульт от телевизора. Корзина не вынесена, доверху полна грязных бумажных платков. Желудок у меня сжимается в рвотном позыве. Здесь я остаться не смогу. И вернуться сюда тоже не смогу. Слишком грязно.

Хочешь выпить? — спрашивает он.

Нет, спасибо, говорю я и подхожу к нему как можно ближе.

От него воняет.

Ладно, говорит он, потягивается, обнажая в широкой улыбке желтые зубы. Какой ты нетерпеливый. Ладно, в таком разе получишь то, чего желаешь.

Дышит он тяжело, говорит невнятно. Крепко хватает меня за запястья, ведет мои руки по своему телу вниз, к ширинке.

Быстрым движением я высвобождаюсь и, не давая ему опомниться, сгребаю с ночного столика стеклянную пепельницу и обрушиваю на его голову удар за ударом.

Он все время пытается подняться. А я бью, снова и снова. С глухим треском тяжелая пепельница разваливается надвое. В груди у него хрипит, в горле булькает. Он бормочет невнятные слова и, сидя на полу, таращится пустым взглядом. Слюна розовой пеной выступает на мясистых губах. Ногам не на что опереться, и он то и дело сучит ими, сидит, прислонясь к стене, и моргает широко открытыми глазами, а я наношу последний удар, и череп раскалывается.

Поскользнувшись, я падаю навзничь и невольно громко смеюсь. Жаль, они меня не видят.

Встаю. Вонь, распространяющаяся от его тела, скоро наполняет всю комнату. Нет, убираться здесь я не стану. И мыть тебя не стану, и брить волосы на загривке тоже.

Привожу себя более-менее в порядок, иду к администратору.

Можно попросить на время нож? — говорю я. У нас там, можно сказать, маленький неофициальный праздник. Надо порезать закуски.

Я смеюсь собственной шутке, но потный малый за стойкой нехотя отрывает взгляд от телевизора и приносит нож, не такой большой, как я рассчитывал, однако ж вполне подходящий.

Руки у меня устали. Как никогда. Сбросив простыню, в которую завернулся для защиты, я вижу, что у правого плеча ткань промокла насквозь. Почти два часа отмываю руки, чищу под ногтями и вокруг ногтей, чтобы не осталось и следа грязи. Волосы приходится вымыть густым, как сироп, туалетным мылом из настенного баллончика, а после тщетных поисков обувной щетки или суконки я вынужден использовать гардины, потому что все полотенца мокрые.

Его я оставляю в комнате и в туалете, никаких сувениров на память не беру, фотографий не делаю. Этого мне хочется только забыть. Этого я к другим не прибавлю.

По дороге в свою гостиницу захожу в кафе, съедаю кусок фруктового торта с глазированной малиной и два рожка с лимонным мороженым.

Клоун знает, что ты сделал, говорит Кролик.

Он устал, лежит рядом со мной и глядит в потолок, его лиловая голова оставляет на подушке грязные следы.

Пора бы ему усвоить: я делаю что хочу, говорю я, зажмуриваюсь и усиленно думаю о Зверюге и его горячих ладонях.

Плечи болят, и я тоскую по его горячим, сильным рукам. Так хочется ощутить, как он прогоняет всю боль.

Я знаю, о ком ты думаешь, говорит Кролик.

У него красивые глаза, говорю я. Очень красивые глаза.

* * *

Под несколькими брошюрами из тех мест, где я побывал, лежит черно-белая фотография. Старая. Сделанная задолго до моего рождения. Мужчина с накрашенным лицом, в длинных юбках. Он улыбается, между глаз две резкие вертикальные складки. Я знаю, кто он. Добрая фея. Иногда мать. Но всегда добрый.

Это фильм. Черно-белый фильм. Или, может, спектакль. Я сижу перед сценой. В первом ряду. Вижу красиво разрисованные кулисы и истоптанные половицы. Мощные бобовые стебли растут прямо из пола и исчезают в заоблачной вышине.

Мальчик карабкается. Вверх по гладким, мощным бобовым стеблям.

Там, наверху, раскинулась бесплодная, стерильная пустыня. Ни дерева, ни кустика. Ни домов, ни живой души. Только груда разрозненных каменных обломков да тут и там вдалеке небрежно разбросанные земляные холмики.

Человек с фотографии — прекрасная фея с белой волшебной палочкой и золотым павлином. Прекрасная фея. Ее никчемность и бессилие свели отца мальчика в могилу.

Если не станешь слушаться меня, будешь страдать.

Он идет, идет, идет до самого захода солнца и приходит к огромному дому. Уродливая женщина впускает его и велит спрятаться в печке. Курица несет золотые яйца, раскладывает их рядками. Он забирает эту курицу, и много месяцев они с матерью живут припеваючи, продавая золотые яйца.

Но потом мальчика вновь одолевает охота взобраться вверх по бобовому стеблю. На сей раз он прячется в старом сундуке. Денежные мешки тугие, набиты под завязку. И он уносит их с собой. Мать было захворала от тревоги, но выздоравливает, и они много лет живут припеваючи на денежки из этих мешков.

Он способен часами неподвижно сидеть, глядя на толстый, мощный стебель. Тщетно старается перебороть соблазн, тот слишком силен. И он опять карабкается наверх. И на этот раз прячется в надраенном медном котле. До того гладком и блестящем, что он видит в его стенках свое отражение. Арфа сама собой играет музыку, прекраснее которой он в жизни не слыхивал. Но когда к ней прикасаются чужие руки, она отчаянно зовет хозяина. И мальчик поспешно спускается по стеблю, а внизу находит возле хижины рыдающую мать.

Не плачь, говорит он. Дай-ка мне топор.

Он под корень рубит бобовый стебель, который безжизненно падает наземь. Никогда больше ему не вскарабкаться наверх.

Прости его, говорит прекрасная фея.

Мужчина с фотографии.

Прости его. Ведь он был вынужден карабкаться вверх по бобовому стеблю. Это я вложила в его сердце такое желание. Сам он без вины, и ждет его вечное счастье.

Да, говорит мужчина с фотографии.

Это уже в другой раз. И он тоже другой.

Да, говорит он, что правда, то правда. Я же одна сплошная рана. Мог бы показать тебе, только вот пальто, как видишь, зашито на мне.

Дорога к его дому проходит по каменистой пустыне, среди гор, мимо множества одинаковых скал, совершенно неотличимых друг от друга.

Я один в машине. Жарко, и я быстро приканчиваю маленький запас банок с прохладительными напитками. На одной из сумок-холодильников большая, грязная трещина. Опорожняю сумку, опускаю стекло и швыряю ее на обочину. Пускай там и лежит.

Бурный поток машин растет. Автобусы, полные предвкушающих. Пустые лица, глазеющие на дорогу. Цель у нас у всех одна. Мы все направляемся в одно и то же место. В открытый для посетителей дом.

Здание в роскошном испанском стиле, белое, оштукатуренное, под ржаво-красной черепицей. По фасаду сводчатая галерея и веранда. Окна с деревянными переплетами и коваными решетками. Балкончики. Газон из искусственной травы и озерцо, поблескивающее у заднего фасада, немногим больше прудика, тоже не настоящее, а вырытое в сухом

песке. И пальмы, окаймляющие подъездную дорогу, опять-таки привезены сюда давным-давно, на грузовых платформах, с корнями, укутанными в прочные пластиковые мешки. У озерца расположился маленький домик, павильончик. Выдержанный в приглушенных, темных красках. Шезлонг, шкафчик с напитками, граммофон, несколько пластинок, тяжелые драпировки. Ковер, на котором стоит шезлонг, украшен причудливым винно-красным узором. Шезлонг тоже винно-красный, хотя чуть коричневатого оттенка и слегка пахнет ванилью.

Мы уже близко. Рекламные щиты и вывески возле дороги стоят гуще. Впереди виден въезд с высокими коваными воротами.

Следуя знакам охранников, проезжаю к свободному месту на парковке весьма далеко от входа. Паркуюсь в дальнем конце и некоторое время сижу не шевелясь, закрываю глаза и глубоко дышу. В желудке словно бы что-то ворочается, и на миг мне ужасно хочется уехать отсюда, вернуться в город. Но я знаю, что буду жалеть об этом. И что буду вынужден объяснять. Ведь на самом деле возврата уже нет: я должен увидеть место, где он жил, комнаты, по которым он ходил, кровать, на которой он спал.

До входа идти далеко. Я встаю в очередь, жду. На подъездной дорожке стоит его машина, сверкает, всегда свежевымытая и надраенная. Сад ухоженный и выглядит совсем не так, как в ту пору, когда он здесь жил. Среди кустов и деревьев проложены новые, посыпанные гравием дорожки.

Голоса тех, что толпятся во дворе, окруженном живой изгородью, сливаются в назойливый гул. Все они упорно улыбаются. Упорно щелкают фотоаппаратами. Надо закаляться — привыкать к тычкам и запахам.

Двадцать минут ожидания — и меня пропускают за толстые канаты из красного шелка; я быстро оглядываюсь по сторонам — все совершенно так, как я думал. Как я себе и представлял. Стены сверкают золотом, золотые побеги вьются на обоях. Стекла в дверях новые, без трещин, но отшлифованы точь-в-точь как раньше. Ковер на полу красный, пушистый, хотя и затоптанный тысячами ног, что сновали здесь. Лестница на верхний этаж перекрыта, прохода нет, а комнаты отгорожены красными канатами, толстыми, шелковыми, идти нам разрешается только гуськом, друг за другом, останавливаться, ждать и стараться по возможности рассмотреть то, что прячется по углам и закоулкам, что разложено в комнате и что находилось там изначально.

Вон его купальный халат или точная копия оного. Вон развернутая газета. Вон висят его шляпы, целую стену занимают. Вон стеклянный графин с какой-то прозрачной, бесцветной жидкостью. Кочерга с янтарной рукоятью. Его карманные часы на низком столике. Трещинки на стекле издали не видны.

Я читаю все таблички, привинченные к стенам возле комнат. Ничего они не сообщают. Молчат. Диваны продавленные, но вычищенные, опрятные. В той комнате, где у него была игровая, теперь поставили кровать. Спальня расположена на верхнем этаже, а он для посетителей закрыт, заперт. Там хранятся его коллекции, в альбомах, ящиках и картонках, ждут, когда кто-нибудь надумает их открыть, проштудировать

всё, пронумеровать каждый предмет, каждую картинку и фотографию, снабдить названием и разъяснением, сохранить кое-что для потомков, а бóльшую часть сжечь. Все почему-то рвутся увидеть кровать. Вот она и стоит здесь, не на своем месте. Покрывало винно-красное, пушистое, пахнет солью. Яркий блик в зеркале слепит меня. Резкая боль пронзает левый глаз. На краткий миг мир исчезает, и все вокруг стирается.

Сижу в тени, пью апельсиновый сок. Очередь в кафетерий слишком длинная, зайду-ка я лучше в сувенирный магазинчик, посмотрю, нет ли там шоколада. Шоколада не видно, зато в глубине, у дальней стены, обнаруживается бочонок, до краев наполненный серыми резиновыми яйцами. Натуральной величины, из прочной твердой резины. Цена снижена до предела, почти бросовая. Набираю столько, сколько могу унести.

А он глядит на меня. Сейчас на нем передник и крепкие башмаки на толстой подошве.

Пожалуй, никакой другой товар так не подталкивает торговца ко лжи, как яйцо. Знаешь, мне кажется, мы не способны толком постичь яйцо. Есть в нем какая-то хитринка. Оно как бы окутано тайной. Конечно, мы знаем, что яйца бывают трех сортов. Во-первых, яйцо свежеснесенное, какого нынче практически не встретишь. Затем свежее, то есть почти как свежеснесенное, но с добавкой чего-то неуловимого, составляющего большую разницу. И, наконец, просто яйцо. Яйцо с большой буквы. О нем-то я и веду речь. Именно оно причиняет все и всяческие огорчения. Просто небольшой белый округлый предмет, но ты нипочем не докопаешься, о чем оно думает. Как ни старайся. Ты боишься стукнуть его, боишься уронить. У него нет лица. Его не рассмешить. Ты просто смотришь на него и говоришь: яйцо. К примеру, сегодня утром в лавку пришла женщина и спросила: "Как вы продаете яйца?" Я ответил: "Как можно быстрее". Она ушла. На Новый год я дал себе множество превосходных обещаний. Решил всегда говорить правду, что бы ни случилось, никогда в жизни больше не врать и почувствовал себя так радостно, и легко, и приятно, и ангельски безмятежно, испытывал огромное удовлетворение и гордость всем этим, когда утром снял ставни. И что же? Угадай, что происходит! Угадай! Только я успел отпереть дверь, является первый покупатель и напрямик спрашивает: "Яйца свежие?"

Женщина за прилавком с улыбкой смотрит на меня. Одно за другим берет резиновые яйца в руку, перекладывает с одного места на другое и каждый раз пробивает цену, вместо того чтобы пересчитать их и пробить общую сумму. Болтать мне не хочется, и на ее реплики я не отвечаю. Расплачиваюсь и уже собираюсь шагнуть во двор, как вдруг чувствую, что кто-то хватает меня за футболку.

Пройдемте с нами!

Они крепко держат меня, делать нечего, придется пройти.

Они решительно ведут меня в какую-то комнатушку, тычком сажают на стул, а я улыбаюсь, смотрю на охранника и как можно мягче говорю, что сознаю́сь во всем. Сознаю́сь во всем. Я это повторяю несколько раз. Нет больше никакого смысла врать или пытаться скрыть, что́ я сделал. А охранник садится за стол прямо напротив меня, кладет передо мной свою дубинку и говорит, что они смотрят на это вполне серьезно. Да, го-

ворю я, разумеется, я понимаю. Иначе на это смотреть невозможно. Разумеется, то, что я сделал, очень серьезно. Очень серьезно. Я добровольно, без сопротивления проеду с вами в полицейский участок. Не буду скандалить. Можете посадить меня под арест. Вот, возьмите, это ключи от моей машины, говорю я, бросая их на стол. И ключи от гостиничного номера возьмите. Я понимаю, то, что я сделал, непростительно. Охранник смотрит на меня, кивает и железным голосом велит достать ее. И я достаю из кармана большую ложку, бережно кладу на стол. Теперь все происходит очень быстро. Входит один из экскурсоводов. Охранник оборачивается к нему, сообщает, что я сознался. Вот она, говорит он, показывая на ложку. Я сделал много снимков, говорю я. Наверняка несколько сотен. Но они не слушают, им хочется только, чтобы я рассказал, как завладел ложкой. Да пожалуйста, говорю, я просто протянул руку через канат, влево от дверного проема. Я еще раньше знал, что она лежит в вазе на маленьком антикварном комоде. Они качают головой, переговариваются между собою. Все небольшие предметы, находящиеся в пределах досягаемости, надо убрать подальше. Это ж не народ, а сущие крысы. Тащат все, что под руку подвернется. Я улыбаюсь, состроив покаянную мину. В дверь громко стучат, еще один охранник заглядывает в комнату. Прибыли три автобуса. Требуются люди. Я смотрю на них, по-прежнему улыбаясь, и ничего не говорю. Им требуются люди, а кого-то недостает. Кто-то не вернулся после ланча. Считай, сегодня тебе повезло, говорит первый охранник. У них работы невпроворот. Времени нет докладывать. Это же всего-навсего ложка. Всего-навсего ложка, говорят они. И я смеюсь, но внешне не подаю виду. На сей раз дело они заводить не станут. Но чтоб духу моего здесь больше не было. Не беспокойтесь, говорю я. И в последнюю секунду перед тем, как меня выталкивают за дверь, успеваю прихватить пакет с яйцами.

По дороге обратно, в город, меня разбирает такой смех, что приходится ненадолго остановиться на обочине, открыть дверцу и посидеть, наклонясь вперед, свесив голову между колен, дыша как можно глубже.

Достаю из пакета яйцо, держу в руке. Упругое, гладкое, с одного конца покруглее, с другого — поострее. Цельнолитое, без швов. Гладкое и упругое, без шероховатостей. Все купленные мною яйца серовато-белые, совершенно натурального цвета. И не имеет значения, что у меня нет ложки. Ложка мне не нужна.

С глубоким вздохом я сажусь как следует, достаю из бардачка два сандвича. Ломти белого хлеба. С арахисовым маслом и с красным фруктовым желе. Начинки маловато. Выбрасываю их в окно, смотрю в зеркало заднего вида и обнаруживаю на заднем сиденье безликого.

Видал? — спрашиваю я, глядя на то место, где должны бы находиться его глаза. Мне позволяют продолжать. Ни словом не поминают то, что я делаю. Видал, что я делал вчера? И никто не заметил. Я могу делать что угодно, а им трава не расти. Наконец-то я нашел такое место, где признаю́т, что все совершаемое мною столь колоссально и чудовищно, что даже заметить это невозможно.

Он быстро наклоняется вперед, обхватывает холодными пальцами мою шею и жмет с такой силой, что мне становится нечем дышать. На руках у него толстые, сизые жгуты вен.

А ну, помолчи, говорит он. Молчи и слушай меня. Сегодня вечером мы сыграем в добрую старую игру, в "первого попавшегося". Сделаешь все, как я скажу. Сегодня вечером все будет как в самый первый раз.

Я поворачиваю ключ зажигания, выезжаю на шоссе. Он меж тем исчезает.

Даже спустя много времени после того, как он отпустил мое горло, дышать трудно, шея холодная, глотать больно.

* * *

С наступлением темноты он ведет меня на окраины, в обширные районы, где город превращается в низкие, приросшие друг к другу постройки, товарные станции, ангары, скотобойни и газгольдеры. Где на блестящих рельсах длинные составы ждут разгрузки и загрузки.

Огней тут меньше, мрак гуще, в иных местах чистый, нетронутый. Фасады домов проще и лишены красок. Улицы узкие; словно мелкие капилляры, они ведут к широким, прямым как стрела транспортным магистралям. Еда приготовлена, ждет в больших дымящихся мисках.

Вхожу в ночной магазинчик, полный яркого белого света. Точно в аквариуме, под люминесцентными лампами возвышаются стеллажи. Большие окна в жирных пятнах, отпечатках ладоней, клочьях клейкой ленты.

Покупаю пакетик леденцов и журнал с кроссвордами. За дверью ждет безликий.

Пора начинать игру, говорит он. Правила ты знаешь. Она должна начаться в определенном месте и в назначенное время.

Я кладу в рот леденец, озираюсь по сторонам.

Вон там, возле мусорных баков, говорю я. За мусорными баками, пожалуй, вполне подходящее место.

Там слишком мало народу, отвечает он. Ты же знаешь правила. Как только игра начнется, ты вправе отойти оттуда максимум на несколько метров. За мусорными баками можно простоять не один час. Надо начать поближе к центру. Мне ждать недосуг.

Ближе к центру огни снова густеют. Фасады пока без окон и лишь местами расцвечены и покрыты лампочками. Слабое отражение, тщеславная попытка окраин подольше примыкать к городу, походить на город, у границы которого добываешь пропитание, на остатках которого живешь, а взамен за все это приносишь ему другие жертвы и другие нужды. Здесь ставки намного ниже. Ковры вытерты. Иные лампы зияют мертвой пустотой. Аккорды фальшивят. Стулья расшатанные, облезлые. Но и здесь руки, точно мясистые крабы, ползают по столам.

Мы останавливаемся на перекрестке. Он знаками велит мне стать у стены. Я сую в рот сразу два леденца, сталкиваю их друг с другом.

Здесь, говорит он. Будешь стоять именно здесь. Начнем отсчет и будем ждать. Смотри в оба!

Поневоле я вынужден раньше времени разжевать леденцы, и они мгновенно отдают весь свой вкус, к тому же приходится бросить пакетик, чтобы освободить руки.

Некоторое время мы ждем, безликий молча отсчитывает секунды.

Пора, говорит он, начинаем игру "первый попавшийся".

Какой-то мужчина приостанавливается, по пути в битком набитое казино поднимает с земли монетку. А раз он приостановился, то у игорного стола окажется на секунду-другую позже, чем если бы наплевал на монетку, блеснувшую на земле.

А другой мужчина, который входит в казино впереди него, но вошел бы следом за ним, если бы он наплевал на монетку, блеснувшую на земле, — другой мужчина подходит к игорному столу на секунду-другую раньше, чем должен бы.

Игрок, который за своим игорным столом аккурат намеревается бросить кости, краем глаза замечает первого мужчину, когда тот занимает место у стола. У него мелькает мысль, что этот мужчина похож на его двоюродного брата. Поэтому он лишний раз встряхивает кости в кулаке, чего не сделал бы, если бы не увидел этого человека, и комбинация выпадает совсем другая, не та, что бы выпала, если б этот человек наплевал на монетку, блеснувшую на земле.

В результате упомянутого броска или всех прочих, за ним последовавших, а они тоже будут другими, кто-нибудь в конце концов уйдет от этого стола. Переберется к другому столу, сядет и включится в игру, а тем самым изменит весь ход игры и за новым столом, у которого очутился, и за старым, который покинул.

В результате такого изменения игры кое-кто, в иной ситуации оставивший бы игорный стол, не уходит, тогда как кое-кто другой, в иной ситуации оставшийся бы, наоборот, уходит. Куда же они уходят? Это вообще не имеет значения. Куда бы они ни направились, эти места тоже изменятся. Со временем любая игра, происходящая в казино, претерпит изменения из-за той монетки, блеснувшей на земле. И эти изменения будут настолько существенны и настолько всеохватны, что человек, который в иной ситуации сорвал бы огромный куш, проиграет крупную сумму, падет духом, выйдет на улицу, остановит такси, рухнет на заднее сиденье и сердито крикнет таксисту адрес, а тот поспешит свернуть на забитую машинами, узкую улицу и вынудит другое, следующее за ним такси сбросить скорость и оттого опоздать на несколько секунд. Это такси, полное игроков, как раз направляется в другое казино, где все игры опять-таки изменятся, поскольку оно прибудет на место позже, чем должно бы. И другие игроки в этом казино в результате покинут свои столы, выйдут на улицу и отправятся на поиски других столов, где игра опять-таки совершенно изменится.

Один из игроков за каким-нибудь из этих столов проиграет большие деньги, солидную сумму, падет духом, уйдет от стола, выйдет на улицу, чтобы поймать такси, но не успеет он остановить машину, как кто-то подойдет к нему и спросит, который час.

Он лежит у моих ног. Ползает по полу. Одной рукой тщетно пытается что-нибудь нащупать. Пальцы сжимаются на половицах, словно желая оторваться от тела. Я сажусь за кухонный стол, открываю журнал с кроссвордами и жду, когда умолкнет его скулеж.

Средство для посыпания улиц, шесть букв, говорю я.

Он скулит.

Не знаешь? Странник, восемь букв, пятая "г".

Он стонет, одна рука чертит полосы в лужах на полу. Я откладываю ручку, смотрю в окно. Силуэты гор смутно проступают на фоне ночного неба, громадные тени среди черноты. Далеко-далеко на востоке сейчас встает солнце, и где-то начинается утро. Я зажмуриваю глаза, думаю о своей первой игрушке. О плюшевом медвежонке с ключиком на спине. Один глаз у него свисал на ниточке на щеку. Другим он смотрел на меня. Что же он говорил? Зерновые на сухих почвах созревают поздно.

Он опять скулит, и я сажусь подле него. Начинается головная боль, я не в силах слушать его хныканье и быстрым ударом ножа лишаю его дара речи.

Долго сижу, прислонясь к стене, устроив его голову у себя на коленях. В углах рта у него белая пена. Глаза смотрят вверх, на тени под потолком. Я провожу ладонью по его волосам, приглаживаю их.

Знаешь, говорю я, практически нет ничего забавнее разгадывания кроссвордов. Одно тянет за собой другое. Одно перетекает в другое.

Он не отвечает, и скоро мне надоедает слушать собственный голос. Я зажмуриваюсь и разом переступаю острую грань — от света в вечную ночь. Холод бьет мне в лицо. Внезапно мрак становится таким, каким был всегда. Я поднимаю глаза, смотрю на звезды, рассыпанные по небосводу, словно брошенные и забытые блестки. Дом стоит на самом краю. Дальше там, как еще более непроглядный мрак, стены домов и пустые погасшие окна. Спускаюсь по лестнице в подвал, иду из помещения в помещение, из двери в дверь.

Застарелая вонь сырости, затхлости, разрухи ударяет в нос. Вхожу в темное помещение, сворачиваю направо. Потом еще раз направо. Потом еще раз направо, в пустой дверной проем. Там, в глубине, стоит он, прижавшись к стене, спиной ко мне. Ладони и ступни крепко прижаты к серому шершавому камню.

Ты все испортил! — кричит он. Все, все испортил!

Успокойся, говорю я. Ты знаешь, и я знаю, что твои слова давно уже меня не пугают.

Я смеюсь.

И если ты воображаешь, что я стану подтирать за тобой, то ты вконец сбрендил.

Приставляю локоть к его затылку и резко надавливаю, но тотчас сожалею об этом, отворачиваюсь и ухожу. Он сейчас совсем дряхлый. Скелет. Незачем тратить на него силы.

Резкий хлопок — дверца автомобиля. Я открываю глаза. Раннее утро. Рассветные лучи льются в окно, наполняют гостиничный номер. Я лежу на застланной кровати, простыни чистые, будто я вообще ни разу тут не спал. Смотрю на свои руки, но они дочиста отмытые, белые. Футболка на мне чистая, слегка пахнет мягким кондиционером.

Сколько времени прошло? — спрашиваю я.

Понятия не имею. Я сыт, чувствую во рту вкус шоколадного мороженого.

Кролик стоит, прислонясь к стене, глядит в окно, а дым его сигареты красивыми причудливыми змейками вьется к потолку.

Отодвинув лапой штору, он прижимает нос к стеклу.

Они кого-то уводят, тихо говорит он.

* * *

Глубоко-глубоко под землей тянутся туннели, одни под другими.

Высокие своды, где играют конусы света.

Тесные проходы меж сырых стен, которые простираются далеко за пределы освещенного пространства.

Сводчатые ниши, вмятины, где прячутся истертые скамейки.

Запертые облезлые двери в другие туннели.

Под дренажными трубами, коллекторами, забытыми коридорами.

Под бурыми сточными водами канализации.

Под трубопроводами толщиною в древесный ствол.

Дороги пересекаются друг с другом.

На втором, на третьем, на четвертом, на все более глубоких уровнях, под первой системой улиц,

той, что образует город далеко на поверхности.

Тускло освещенные лестницы, блестящие перила, ступеньки,

ступеньки, начинающиеся там, где останавливаются большие лифты.

Пожелтевший кафель.

Там, под землей, человек дышит прерывисто, толчками.

Судорожные, тяжелые вдохи и секундные короткие выдохи.

Вход в помещения.

Круглое отверстие девяти футов в диаметре ведет в зал.

Двадцать один фут под землей. Теперь этот вот уровень.

В залах ожидания здесь, внизу, просторно и светло.

Белый пьедестал. Сухой фонтан. Рассохшийся рояль. Изящные, писанные маслом картины. Зияющий пустотой аквариум для золотых рыбок. Тележка. Мастерок.

Блестящие стальные койки ровными рядами.

Под подвальными этажами.

Скрытые помещения, тайные комнаты.

Сквозь щели меж досками наскоро сколоченной перегородки виднеется орга́н, его тусклые трубы тянутся вверх по стене, исчезая во тьме под потолком.

Пачки газет.

Пустые ящики для инструментов.

Разбитые цветочные горшки.

Ржавая вода собирается на путях между шпалами.

Водяные потоки, которые текли долго, оставляют на стене следы, желтые, зеленые, белые.

Отыскивают прикрытые отверстия, уходящие вниз, в сводчатые гроты.

Бездонные провалы, полные сталактитов и сталагмитов.

Живущий там быстро становится бесцветным и прозрачным.

Тот, что покоится там, на берегу подземного моря.

Я слышу чей-то плач.

Слышу чей-то крик.
В наивысшей точке.
На самом верху той башни, что уходит в стратосферу.
Уходит ввысь сводами белых балок.

Лифты снуют безостановочно.
Этажи, которых нет, они минуют в мгновение ока на пути вверх,
где всё — выдох, и стекло, и окна, и разноцветные лампы.
Где поезд идет зигзагом по раз и навсегда замкнутой схеме.
Где в жаркие дни марево слепящей завесой висит на горизонте.
Где всё — развлечение и увеселение и нет ничего долговечного.

Башня уходит высоко в небо,
и на столько же, а то и больше она уходит в недра земли.

* * *

Утром я сижу, откинувшись назад, на одном из пухлых диванов в гостиничном холле. Затылком опираюсь на округлую спинку и неотрывно смотрю в зенит, в наивысшую точку.

Голоса вокруг — невнятный ровный гул, тела — грязные, сливающиеся в пятно блеклых красок. Скопище темных фигур, сплавленных воедино, абсолютно бесконтурных. А я неотрывно смотрю вверх, в одну точку, и не встречаюсь взглядом с другими, не отвечаю на обращения, как бы не вижу их улыбок, не чувствую их рук.

Воздух в огромном помещении поглощает все, и насосы беспрерывно мощными потоками качают внутрь новую, сухую, лишенную запахов прохладу. Свет одинаков и днем, и ночью, а звуки лишь время от времени ненадолго стихают, чтобы немедля вернуться. Полы неизменно сверкают. Стены неизменно стремятся ввысь под неизменным углом.

Далеко-далеко стоит безликий, указывает на рекламные вывески, плакаты и световые табло по ту сторону стойки.

Там, говорит он, не шевеля губами.

Это место и этот ландшафт,
эти горы, сейчас насквозь просвеченные голубовато-белыми лампами,
эти горные массивы и широкие равнины,
плененные сейчас на освещенной стеклянной стене.
Тихое место, где гулко грохочущий камнепад навеки остановлен в падении,
где световые лучи ни на чем не задерживаются,
неизменно проходят насквозь.
Горизонт там шире и отдаленнее.

Сижу в машине, уткнувшись лбом в баранку. Солнечный свет отражается и преломляется в мириадах направлений, я не в силах их сосчитать. Рекламным вывескам и их формам нет числа, они налагаются друг на друга, сливаются друг с другом. Асфальт серый и в отдалении заслонен водным пейзажем, дрожащим от зноя и вскоре исчезающим. Столбы об-

разуют лес прямых линий. Самые высокие вершины окутаны маревом. Воздух густеет от жара, липнущего к домам.

Вдалеке, у обочины съезда, стоит безликий, указывает на еще более раскаленный ландшафт, на еще более яркий солнечный свет, на еще более отчетливый, выжженный мираж.

Там, говорит он, воздух высасывает из тела всю влагу. За несколько часов превращает его в иссушенную оболочку. Развеивает прахом, который втаптывается в землю. Там суше, чем во всех других местах, где мы бывали.

Я киваю ему, выезжаю на шоссе, смотрю прямо перед собой, а зеркало заднего вида поворачиваю вверх, к потолку.

Воздух насыщается песком и кристаллами соли. Свет бьется о склоны, которые сушь изрезала острыми гранями. Земля расстилается голыми пространствами. Жарче, глубже, суше просто не бывает. Кто-то без умолку болтает, громким, пронзительным голосом. Формации каменных ребер и скал. Двести восемьдесят два фута ниже уровня моря, а они все тянутся без конца и края на каменистом дне, безмолвно искрящемся среди зноя.

Иду к самой крайней точке. Раз за разом останавливаюсь, но волей-неволей шагаю вперед, чтобы никто меня не обгонял, чтобы никто не обрывал мне прямую зрительную линию, не мешал видеть крайний предел. И встаю как можно дальше, у самого ограждения.

Вокруг меня двигаются тела. Некоторые шагают бодро, смеются, и обожженная кожа натягивается, и они не чувствуют камешка, совсем крохотного, а камешек трет и скоро проделает дырку. Далеко позади, ни на миг не задумываясь об этом, они бросили тех, кто оделся слишком тепло и обливается потом. Тех, кто не выпил достаточного количества воды. Тех, чьи тела сейчас поневоле потребляют собственные жидкости. Тех, чьи ткани уже начали усыхать. Их кожа быстро станет пергаментной, щеки провалятся, западут, глаза потускнеют, подернутся стеклянистой пленкой и уйдут глубоко в орбиты, в темные ямы, края которых, резко обозначившись, придадут их лицам черты опустошенности, присущие давно умершим. Все их члены иссохнут, начнут хрустеть при малейшем движении, кровь замедлит свой ток, загустеет, пульс станет редким и едва ощутимым, и они будут с трудом тащиться вперед, чувствуя в глотке и в горле постоянное жжение и непрерывный свербеж. Язык у них распухнет, побелеет, пересохнет. Губы станут синеватобелыми, потрескаются. Глаза быстро высохнут, так высохнут, что даже моргать будет мучительно больно. Они упадут на колени, блюя пустотой, и в конце концов останутся безмолвно лежать на земле. Но сейчас они стонут, и смеются, и говорят, что им нужна вода, что не мешало бы поставить здесь, у крайней точки, киоск с мороженым.

Передо мной, насколько хватает глаз, простирается ландшафт, изрезанный ложбинами, промоинами, ущельями. Ландшафт из расселин и разломов. Весь в сухих струпьях царапин и шрамов. И я приставляю к глазам ладони, точно шоры. Отгородившись от всего того, что рядом и позади, я могу чувствовать себя почти в одиночестве.

Все серовато-белое, дрожащее от зноя. Расстояния здесь, на беспредельной равнине, определить невозможно. Горы тонут в серовато-белом мареве. Небо высокое, ярко сияет тем же цветом, что и земля. Солончаковые равнины белеют вдали, и из жгучего их блеска выходит Апостол, словно блик света, словно сверкающая, ослепительно белая фигура, отделяется он от этой белой поверхности и идет, не отбрасывая тени.

Можешь сказать, что некто приходит
из города-призрака,
из заброшенного, забытого места,
можешь сказать, что стоишь в городе-призраке,
среди рассыпавшихся в прах, дотла сгоревших реликвий,
ходишь там по давним комнатам, над которыми давным-давно провалилась крыша,
по давним комнатам, где полы сейчас открыты дождю,
останавливаешься у забора, который ничего уже не ограждает,
можешь сказать, он приходит,
он приближается
из города-призрака.

Каждая деталь инвентаря, давно уже рассыпающегося от непогоды,
каждая ржавая деталь давно уже неподвижной брошенной телеги,
каждая до блеска отшлифованная солеными ветрами деревяшка, каждый обломок давно развалившегося, забытого дома,
ложка, до половины утонувшая в земле,
пустая стеклянная бутылка с затвердевшим белым осадком на дне —
все это он,
тот, кто сейчас приближается,
давно исчезнувшее,
оно не должно возвращаться и все-таки возвращается,
все эти вещи, эти руины, эти воспоминания,
этот город-призрак.

Он останавливается вплотную передо мной. Сгорбленный, плечи обвисли, точно от тяжкого бремени, ярко-белая суконная куртка в опилках и пыли. Мускулистые руки, прямые, неподвижные, прижаты к телу. Одно веко опущено, и от этого взгляд кажется бессонным. Он небрит, темные челюсти словно что-то жуют.

Здесь совсем не так, как дома, говорит он тягучим голосом. Там земля была плодородная. Все росло. Леса стеной стояли. Где ни копнешь, на любой глубине земля сочная, червяки жирные. Сущий сад наслаждений. Неиссякаемая житница. Если б они не сказали, что остаться мне нельзя, я бы наверняка и сейчас жил там.

От его тела веет влажным холодом, и я придвигаюсь еще ближе к нему. В тяжелом взгляде мелькает улыбка, быстрым жестом он проводит ладонью над землей, у себя под ногами.

Здесь пусто, говорит он. Здесь пусто на несколько саженей в глубину.

Он смотрит на меня, несколько раз топает по земле, словно хочет ее утрамбовать, склоняется к ней ухом, как бы прислушиваясь к слабому эху из какой-то сокрытой каверны.

Когда придет Зверюга? — спрашиваю я.

Невидящим взглядом он смотрит в дальние дали, и я вижу, как его губы складывают неслышные слова.

Зверюга, говорит он, тоже некоторое время жил в изобильном саду наслаждений, где сам я в ту пору жил всегда. Я вовсе не собирался покидать этот плодородный край и тучную землю и никогда бы их не покинул, не увези они меня оттуда со связанными руками. И не отними у меня все.

Он поднимает камень с земли, перекатывает его в грубых, мозолистых руках.

Но Зверюга, говорит он, жил там очень недолго, если память мне не изменяет. Не в том месте, где я, хотя и неподалеку. У большого озера, на самом берегу. А я жил в сердце этого края, где тучные земли. Но кое в чем говор наш звучал сходно. В этом мы, пожалуй, схожи. Да и в другом, пожалуй, имелось сродство. Если не телесное, то конечно же духовное.

И он смеется тихим, грудным смехом.

Если и не телесное сродство, говорит он, посмеиваясь от удовольствия, то некоторое сходство, некоторая одинаковость была в том, что мы делали. Возможно, сходство в еде.

Когда Зверюга придет? — спрашиваю я.

Не сейчас, говорит Апостол, сдвигая со лба ослепительно белую, потрепанную суконную шапку.

Он пребывает во мраке, говорит Апостол. А я оставался один в белизне еще долго-долго после его ухода.

Толстуха в обтягивающей блузке и слишком тесных брюках, с обесцвеченными волосами, которые висят ломкими, сухими космами, останавливается рядом с нами, направляет бинокль на горы. Апостол показывает на нее и беззвучно хохочет, даже плечи трясутся, он кивает мне, и подмигивает здоровым глазом, и невнятно шепчет, что именно так должно выглядеть тело, способное вместить его.

Я неподвижно стою в прохладе его земляного, соленого холода, жду, когда он отсмеется.

У тебя нет слов, говорю я. Нет слов, способных оградить тебя от других.

Он показывает на толстуху.

Как, спрашиваю я, как ты расскажешь о сумеречной жизни людям, которые знают лишь день и прячутся от ночи?

Но он не слышит меня.

На обратном пути в город он сидит рядом со мной, и его тяжелый взгляд следит за всем, что я делаю, он широко улыбается и довольно хмыкает каждый раз, когда я смотрю в его сторону. От предвкушения он дышит тяжело и шумно, поглаживает свое сиденье и пальцем тщательно ощупывает плотно простроченные швы.

У одной из придорожных площадок для отдыха шоссе разветвляется, и я вижу Клоуна, склоненного над столиком. С улыбкой, прорисованной густо-черным контуром, он оглядывает двух парней, расположившихся поужинать. Ощупывает их тела. Зажмуривается, и раздувается, и

растет, и поднимается до неба, и делает прыжок, и разлетается на тысячи кусочков, и падает наземь. От его стонов у меня начинают дрожать ноги.

Я побуду с тобой, говорит Апостол. Составлю тебе компанию и допрошу обо всем, что произойдет, и погляжу, усвоил ли ты урок, выучил ли слова наизусть.

Он кладет руки себе на колени, начинает что-то неразборчиво бормотать, смеется и все время беспокойно ерзает на сиденье, и скоро я перестаю прислушиваться.

Апостол

Отца я помню плохо. Больше всего на свете я любил мать. Любил ее запах, любил кружева на ее салфетках. Мне нравилось, как она понижает голос. Как раскладывает все по своим местам. Она научила меня всему, что я знаю, всему, что мне требовалось знать, чтобы жить как полагается. Она научила меня отличать нечистое от чистого, то, что можно трогать, от того, что ни в коем случае трогать нельзя, то, что можно говорить, от того, чему даже в мыслях нет места. Научила меня всем словам и всем премудростям, какими издавна наделен человек.

После смерти брата мы остались одни. И хотя он лежал распростертый на выжженной земле, на теле его не было ни малейшего знака, что погиб он в огне. Только одежда в копоти, а больше ничего. И кровь на лбу. Но я видел, как он упал в костер. Да-да, видел. На Библии клянусь. Я видел, как он упал. Я его не трогал.

С тех пор она неподвижно лежала в кровати, долго-долго, а я обнимал ее, крепко, изо всех сил, прижимал к себе. Когда они сказали, что она никогда больше не вернется, я сказал им, что это неправда, что они не могут этого знать, ведь тот, кто верует и знает слова, способен пробудить даже тех, чье сердце остановилось.

Лежа в постели, много-много ночей, я закрывал глаза и старался услышать голос матери, но слышал только шорох ветвей, царапающих оконное стекло, да топоток мышей, тихонько бегающих по полу.

Иной раз воздух краснеет и небо наливается влажной краснотой, будто с него содрали кожу и я вижу его сосуды. Вижу его сухожилия, его голые оболочки. Порой я чувствую, что на меня кто-то смотрит, следит за мной взглядом, и однажды, когда я поднял голову и посмотрел на деревья, оказалось, что все листья опали, а голые ветви походили на тощие протянутые руки. И на каждой из этих ветвей сидел, поникнув головою, черный канюк и таращился на меня кроваво-красными глазами. А в кучах листьев мне видятся ухмыляющиеся человеческие лица, и, когда отворачиваюсь и бегу прочь, я долго-долго слышу их смех. Еще и долгое время после того, как их унесет ветер.

Я не хотел, чтобы они умерли. Хотел, чтобы они вновь воскресли к жизни. Это, пожалуй, во-первых. А во-вторых? Ведь было и во-вторых. Я хотел забрать себе все то, что они имели, а я не имел, но считал, что однажды оно должно стать моим, все то, что, как я считал, было изначально предназначено для меня.

Самое мягкое в их телах, мягкое на ощупь. Все, что они обычно скрывали. Я хотел извлечь это, и сохранить, и присвоить. Все, чего мне так и не досталось.

Что ты делал? — спрашивают они у меня. Что ты делал с этими телами? Сохранял, отвечаю я. Сохранял и делал частью себя.

Они уходят из летней кухни, где вниз головой подвешено связанное, белое, освежеванное тело, идут в дом.

Нет, ни отопления, ни электричества у меня не было.

В доме всегда царит темнота. Окна заросли грязью и для затемнения загорожены толем. На скользком полу объедки, крысиный помет, грязные, сальные тряпки, пакеты с овсом, пустые консервные жестянки, картонные коробки, набитые газетами, кучи газет, полупустой мешок алебастра.

Да, пожалуй, сохранял я больше, чем надо бы. Самому приходилось передвигаться там со всей осторожностью. Трудно было пересечь кухню, не ступив в кучу золы и не зашибив щиколотку о большущее ржавое корыто, полное обрывков пряжи, рваной детской одежды и битой фарфоровой посуды. Я вечно забывал вынести его из кухни, и оно так и стояло посреди дороги, и, наверно, щиколотки у меня до сих пор в синяках от ударов о его железные края. Глупо, конечно, что я все время про него забывал.

Вековая грязь. Жирные пятна. Паутина. Облупленные стены. Десяток, а то и больше старых, пожелтевших календарей. Годы, один поверх другого. Оленьи рога на стене, и ржавая подкова, и давно увядший дубовый венок. Такая вот кухня.

Я собрал множество вещей. Для меня они имели особую ценность, но тому, кто сам никогда не собирал, наверно, этого не понять. Я-то знаю, откуда взялась каждая вещица, и могу порадоваться воспоминаниям, которые они пробуждают, могу ими наслаждаться.

Изжеванная жевательная резинка в банке из-под кофе.
Противогаз.
Пакет с пустыми аптечными склянками.
Заплесневелый резиновый мячик.
Три старых радиоприемника.
Картонный ящик, полный игрушечных самолетиков, пластмассовых свистулек и прочей дребедени — сюрпризов из коробок с крупами и хлопьями.
Два комплекта пожелтевших, треснувших зубных протезов.
Таз, до краев наполненный песком.
Бокалы, сделанные им собственноручно.

В его большой комнате.

Моя зала.

Пустые консервные жестянки, пустые картонки, скомканные газеты, какие-то ржавые приспособления, старые музыкальные инструменты, в том числе поломанная гармоника и скрипка без струн, трехфутовая стопка драной рабочей одежды, бельевая веревка, сплошь увешанная грязными носовыми платками, прямо над его кроватью.

Моя спальня.

Кровать, грязный пружинный матрац. Железные стойки, заросшие человечьей грязью.

Такой сиротливый. Еще сиротливее. Самый сиротливый.

Новая обивка на стульях, комья жира еще крепко срослись с изнанкой кожаных сидений. Абажуры (да, они тоже), браслеты (да, и они), барабан (он тоже), ножны (и они тоже). Ремень (он тоже). Шнур от жалюзи, видите? — губы на нем беззвучно говорят.

А другие комнаты.

Нет, не надо!

Запечатанные, заколоченные досками. Гвозди медленно вытаскивают.

Нет, не надо!

Слышишь, как они стонут от той боли, что может излиться вслух. Там внутри светлее, несколько пылинок пляшут на свету. Там спальня и большая комната, в идеальном порядке. Все на своих местах. Все как было. Нетронутое. Кровать и комод, ковры, книжные шкафы, стулья, столы, драпировки и книга на ночном столике, с шелковой ленточкой-закладкой. Белая скатерть. В ящиках комода до сих пор лежат вещи, выстиранные, тщательно сложенные. И на всем пыль минувших лет.

В идеальном порядке.

Они что же, считают этот безупречный, безукоризненный порядок еще более гнетущим, чем беспорядок, через который только что пробрались?

Подъезжают на машинах. С большими грузовыми кузовами. На влажной земле остаются глубокие следы колес. Так они увозят все. Увозят, увозят, и меня больше там нет.

Огнестрельное оружие, старая дубовая бочка, трехлитровые банки, полные густой мутно-бурой жидкости, металлический бак, набор инструментов с деревянными рукоятками, пилорама, шкатулка для денег и кассовый аппарат, старая книга о лекарствах и лекарском искусстве и несчетное количество картонок и мятых коричневых бумажных сумок, содержимое которых нужно взвесить, обмерить, пересчитать. И, наконец, одна из последних увезенных вещей.

Увезенных прочь.

Колючая проволока, три фута, небольшой моток.

Они выкликают мое имущество, жизнь, которой я жил.

Кухонные плиты, шкафы, кастрюли и сковородки, тарелки и кровати, швейная машинка и диван, патефон, лампы и вазы, три батарейных радиоприемника, музыкальные инструменты (скрипка, цитра, губная гармоника, гармошка), кресла-качалки, семейный альбом, секретер с выдвижной столешницей, словарь, ковры, веники, и умывальники, и антикварная мебель, в том числе стол, козетка, комод. Сельскохозяйственный инвентарь, веялка, несколько плугов, грабли, туковая сеялка, газонокосилка, грузовик и легковая машина.

Усадьбу продают на торгах, в две очереди. Постройки (девятикомнатный дом, сарай, зернохранилище, курятник, беседка, надворные по-

стройки и разные навесы-сараюшки) плюс сорок акров земли, практически сплошь пахотной. Это раз. Во-вторых, оставшиеся сто пятьдесят акров земли.

А девять комнат потом сгорят. Сгорят, как сгорит все, что там осталось, как сгорит и земля под ними.

Ну и ладно, с улыбкой говорит он. Ну и ладно.

Маленький человек, что жил здесь
в окружении своей безумной коллекции.
Жил своей маленькой жизнью
в беспорядке и грязи,
которых даже немногие его соседи-животные, наверно, вытерпеть не могли.

Двери его и окна
почти все были закрыты.
Запечатаны тяжелым толем,
а отчасти толстыми и
грязными драпировками, чья ткань насквозь пропиталась жиром и пылью.

Старый дом маленького человека,
запущенный, прогнивший, трухлявый.
Темные его комнаты поблекли,
полные всякого хлама
в таком количестве, что он с трудом мог пройти, хотя был
совсем маленький.

Но он покинул пустые комнаты
на верхнем этаже дома,
пустыми стояли и две комнаты
подле его собственных комнатушек,
запечатанные, посвященные давно ушедшим временам, когда
он имел семью и был не так одинок на свете.

Маленький человек, что жил здесь
в окружении своей безумной коллекции.
Жил своей маленькой жизнью,
маленькой и одинокой жизнью
до того дня, когда его забрали и увезли, и теперь деревья растут
над забытым, глубоко уходя корнями в тучную землю.

Когда приехали за мной, они молчали, говорит он. Долго молчали, не говорили ни слова. Лишь по прошествии времени начали задавать вопросы. И потом уже беспрерывно выспрашивали обо всем, что я собрал. Они же не знали. Откуда им было знать все, что можно сделать. Каким можно стать. И кое о чем я рассказал. Остальное сохранил в тайне. Сохранил в тайне все то, что мама не хотела бы, чтоб я говорил. И я умолчал.

Они не понимали, что́ можно сделать. Не понимали моего искусства, не понимали, как я мог получать от этого удовольствие. Можно кое-что сберечь. То, о чем нельзя говорить вслух. Если осторожно вырезать, обработать солью и хранить в соответствующем растворе. Можно сберечь их, владеть ими, а потом доставать, много-много позже, и использовать для других нужд.

Наряду с тем, что нельзя называть вслух, было и кое-что другое. О чем говорить дозволено. Чистые части тела. Я собирал и лица. Конечно же без глаз. Если б я собирал глаза, сберегал их, ничего бы не вышло. Ведь у меня есть собственные глаза, и я должен иметь возможность видеть. Эти лица я набивал бумагой. Так они не теряли форму. И я придавал им новые краски, чтобы все сочеталось, было под стать готовому платью. В ходе шитья я складывал одно с другим, нечистое с чистым, как полагается телу, тому, какое я хотел иметь, и тогда я становился другим, каким мне надлежало быть.

Здесь многие хотят видеть меня. Коридоры длинные, желтые, с твердым полом. Больше всего мне недостает свежего воздуха. И пахнет здесь нехорошо. Вроде как мясом. Мясом, плотью, кожей. Я ищу себе щелку, возле которой можно дышать.

Ты должен сказать первое, что придет в голову. Понятно?

Да.

Засомневаешься — все пойдет насмарку. Самое первое, что придет в голову. Говори сразу, без колебаний.

Понятно.

Тогда начнем. В стеклянном доме камнями не бросаются.

У всех есть что скрывать.

Снявши голову, по волосам не плачут.

Не вороши старое — сделанного не воротишь.

Чем тише во́ды, тем крупнее рыба.

Иной с виду тихоня, а внутри сорвиголова.

Лучше синица в руке, чем журавль в небе.

Он смеется. Сгибается пополам на стуле, держится за живот, слезы брызжут из глаз. Пытается что-то сказать, но смех не унимается. Он хватает ртом воздух, откидывается на спинку стула, смех мало-помалу затихает, хотя нет-нет и возвращается.

Если синица у тебя в руке, говорит он, и слова опять тонут во взрывах оглушительного хохота, срывающегося на визг. Если синица у тебя в руке, ты можешь ненароком сжать ее слишком крепко и убить.

Он открывает глаза, смотрит на меня, улыбается, вздыхает.

Да, говорит он. Да, пожалуй, вот так все и было.

* * *

По дороге с автостоянки я задерживаюсь у восточной башни. Захожу в галерею с чересчур низкими перекрытиями и быстро отыскиваю большой, сладко пахнущий магазин, где торгуют вразвес мороженым и сластями. Внимательно изучаю ассортимент, хожу от стеллажа к стеллажу, от полки к полке, краски не те, и на вкус не то, мне хочется совсем другого. В конце концов покупаю пакетик разноцветных шоколадных горо-

шин и стаканчик мороженого с нугой, под цвет стен и потолка, под цвет блестящего песочного камня. Сравниваю — оттенки почти полностью совпадают.

Некоторое время сижу в галерее у фонтана. Кругом бурлят людские толпы. Не могу я есть мороженое среди таких запахов. Придется выбросить, потому что оно теряет собственный вкус, приобретает вкус воздуха. Кто-то смотрит на меня, улыбается, кивает, и я осторожно опускаю полный стаканчик в урну и быстро иду дальше, в холл, поднимаюсь на лифте в свой номер.

Когда я открываю дверь, мне навстречу бьет холодным, землистым запахом.

Посреди комнаты стоит Кролик. Уши торчком, он бросает на меня быстрый взгляд, меняет цвет — из красно-бурого становится белым — и поспешно садится. Апостол начинает смеяться и тихонько разговаривать сам с собой. Я протягиваю ему пакетик с шоколадными горошинами, он запускает туда руку, достает целую горсть, отправляет в рот и смеется, а ладонь делается коричневой от раскисшего шоколада, шоколад течет из углов рта на подбородок, на миг пачкает его белую куртку.

Позднее он оставляет нас, уходит совершить молитву, а Кролик ложится рядом со мной, близко-близко, носом прижимается к затылку.

Ты мне обещал, говорит он. Не забудь, что́ ты обещал.

Да-да, говорю я. Помню.

Только мы вдвоем, говорит он. Только ты и я, и больше никого.

Зверюга должен прийти, говорю я.

Придет, но не сейчас, отвечает Кролик. А когда придет, ты увидишь, что он вовсе не такой, как тебе кажется или хочется.

Я закрываю глаза и думаю о многих милях песчаного пляжа, где хожу, не оставляя следов. Двери захлопываются, лампы гаснут, я слышу замирающие голоса.

* * *

На завтрак съедаю мисочку конноли[1] с сахарной пудрой и две поджаристые булочки с шоколадом, пью кофе и апельсиновый сок. Какой-то мужчина улыбается мне, садится за соседний столик, так чтобы все время видеть меня. Я пью свой сок и ни на миг не выпускаю его из поля зрения. Руки он держит ладонями вверх, несколько раз их поворачивает, показывая, что они пустые. Потом не спеша проводит одной рукой за ухом и извлекает большую монету, крутит ее между пальцами, кладет в другую руку — и разжимает обе ладони, показывая, что монета пропала. Я широко улыбаюсь и киваю. Он залпом выпивает свой сок и встает, будто намеревается принести еще стакан, подходит ко мне, наклоняется над столиком. От него сильно пахнет лосьоном после бритья и застарелым табачным дымом.

Вы здесь, наверно, не один? — спрашивает он.

Да, отвечаю, не один. Я здесь с братьями, сестрами и родителями.

1. Трубочки из теста с пряностями и сладкой начинкой. (*Прим. перев.*)

Где же они? — допытывается он.

Наверху, в номере, отвечаю я.

Знаете, говорит он, тут недалеко расположен самый большой на свете цирк. Дальше по этой улице.

Вот как, говорю я, этого я не знал.

Если хотите, говорит он, можно вместе пойти туда, посмотреть на акробатов, которые свободно летают над игорными столами. Без страховочной сетки. Очертя голову летают меж раскачивающимися трапециями. У зрителя просто сердце замирает.

Нет, говорю я, я не могу пойти с вами, потому что еду с Кроликом в парк развлечений, на весь сегодняшний день, я ему обещал.

Так-так, с улыбкой говорит он.

Если я не поеду, с Кроликом случится очередной припадок сумасшествия, а тогда ему конец.

Да ну? — вздыхает мужчина и поспешно встает, как раз когда официант подходит к столику и спрашивает, всем ли мы довольны.

Ладно, тогда отложим, говорит мужчина и исчезает.

Я выпиваю еще один стакан соку, прихватываю с собой пару булочек, поднимаюсь и ухожу.

На улице ждет Кролик, разлегся на капоте машины. Он вишнево-лиловый, левая передняя лапа в гипсе. Очень возбужден, ему не терпится ехать, и я говорю, что надо заскочить в какой-нибудь магазин, купить воды и набить сумки-холодильники едой, путь-то неблизкий. Он спрашивает, помню ли я все, что мы обсудили, помню ли в точности, как все должно быть и что нужно делать, и я отвечаю, что все-все помню, все свои задачи. Он напоминает, что нам необходимы две, но порознь. Что надо найти какое-нибудь уединенное место и по очереди затащить их туда, что он посторожит одну, пока я хожу за другой. Лучше всего, чтоб они были в легких платьях, с длинными темными волосами и белыми зубами. Я киваю, говорю, что давным-давно все запомнил. Что помню все его рассказы. Он с размаху бьет лапой по приборной доске, взвывает и говорит, что все должно быть непременно как в тот раз.

Оставив его в машине, захожу в магазин, направляюсь к холодильнику. Беру банку лимонада, прикладываю ко лбу и несколько секунд стою, зажмурив глаза. Под глазными яблоками пульсирует боль. Ехать до парка развлечений пять часов, еще пять часов в парке и вечером обратный путь, снова пять часов за рулем. Покупаю побольше лимонада в банках, коробку мороженого и несколько "шнуров" ирисок.

Когда я сажусь в машину, Кролик немедля принимается рассуждать об орудиях, которых у нас нет и которые непременно надо добыть. О том, что с ломиком нас нипочем туда не пропустят, а разводной ключ тайком не протащишь. И я говорю, что всегда найдется кусок трубы, камень или доска и что лучше ему вздремнуть, хорошенько передохнуть к тому времени, когда мы доберемся до места. Через несколько миль он засыпает, и я вижу, что ему снится сон: лапы дергаются, и он тихонько скулит.

Парк развлечений — совершенно особый мир внутри нашего мира. Сто восемьдесят акров апельсиновых и ореховых рощ, преображенные, переделанные, перестроенные в многокрасочный, сверкающий край. У

входа я останавливаюсь, читаю надпись над туннелем. Здесь ты оставишь нынешнее время и вступишь в мир фантазий, в мир вчерашнего и завтрашнего дня. Кролик вбегает в ворота, без оглядки. Он голубой и бело-розовый, но быстро меняет цвет, становится иссиня-лиловым и красным.

Начинай поиски! — кричит он. Начинай прямо сейчас! Солнце светит, и все должно быть как в тот день.

Я подхожу к информационой стойке у входа. Женщина улыбается мне, говорит "добро пожаловать", спрашивает, может ли она мне помочь.

Сколько людей погибло, пока строился парк? — спрашиваю я.

Она глядит на меня, улыбка цепенеет, и она говорит, что не знает.

Мне кажется, говорю я, не один работяга сложил здесь голову. При таком размахе строительства это обычное дело.

Возможно, говорит она.

Спасибо, говорю я и прохожу в парк.

По дорожкам и аллеям катит густая людская река. Дети кричат, глазеют по сторонам, куда-то показывают, ни с того ни с сего останавливаются посреди дороги. Я резко толкаю одного в спину, он начинает реветь. Головы у них вертятся туда-сюда. Руки ни на миг не замирают в покое. Ноги двигаются в заранее заданном ритме, чтобы в нужное время перебежать с одной стороны на другую. Голоса у них у всех пронзительные, визгливые, от неестественной горячки ожидания. Глаза хотят заметить все, но не видят ничего. Как тупая вьючная скотина, они сами до предела нагрузили себя, обвешались сумками и теперь идут, сбившись кучами, обливаясь потом, разинув жадные рты, чтобы вкусить пустопорожнюю подделку, фальшивку, которой никогда не забудут, которая станет самым большим событием в их жизни.

Далеко впереди я вижу Кролика, он перебегает с одной стороны на другую. Главная аллея. Родной для всех город. Сердце страны. Сбывшаяся наивная мечта о блестящей, гладко выскобленной кулисе, за которой прячется множество других кулис, а в пространстве за ними лишь пустота над стерильной, утрамбованной землей.

На той стороне как будто бы мелькнула ослепительно белая суконная куртка Апостола, но уже секунду спустя он исчезает в зале, где пестреют искусственные цветы и поют механические птицы.

Я стараюсь идти по самой середине длинной аллеи, возле рельсов. Деревьям здесь позволено достигать лишь вполне определенной высоты. Ни на одном из фасадов не видно ни малейших следов старости. Ничему здесь не позволено жить. Не позволено стареть. Краски совершенно не сочетаются друг с другом, и у неба неподходящий оттенок.

Кролик по-прежнему бежит к замку и мало-помалу окрашивается в его цвета — голубой и розовый. Останавливается перед ним, преклоняет колени на ступеньках, прижимает уши.

Милая, говорит он, ты не умрешь, ты просто будешь спать. Спать смертным сном, пока не полюбит тебя чистый сердцем, пока я не найду тебя. Личико у тебя не желтое и не пепельно-бледное, как у всех покойников. Нет, у тебя личико розовое, как у тех, кто спит безмятежным сном. Время остановилось. Слышен только ветер. Деревья растут. Кусты густеют. Двор зарастает травой, вьющиеся растения оплетают стены

замка. Годы проходят, все тонет в оцепенении. И вот в эти края забредает кролик. Молодой, элегантный, снедаемый вечной тоской, ищущий все то, чего так и не нашел среди людей. Ясность. Добропорядочность. Чистоту. И невинность. Могучий силач, он пробивается сквозь лесные дебри, окружающие замок, входит в его просторные покои и наконец находит комнату, где спит прекрасная принцесса. Такая милая. Такая безмятежная. Такая спокойная и чистая. Сердце говорит ему, что здесь он наконец-то нашел все, что искал. Любовь, которая будет безмолвна и спокойна. Любовь, которая лежит в его объятиях не шевелясь, не коченея, вечно ждет пробуждения и не говорит ни слова, не дышит. Милая, прекрасная, недвижная возлюбленная. В этом большом замке мы проживем много долгих дней.

Он падает на бок, лежит, шевелит носом и дрожит всем телом. Потом вздыхает, открывает глаза, медленно встает, расправляет уши.

Пора, говорит он. Пора начинать поиски.

У нее длинные темные волосы, и я с силой бью ее по затылку молотком, найденным в каком-то ящике с инструментом. В котельной невыносимо жарко, я потею, а Кролик уже начал вонять.

Одного удара хватит, говорит он. Она должна быть в сознании, когда мы притащим вторую.

Каждый раз, когда над нами проезжает поезд русских гор, маленькое помещение наполняется немыслимым грохотом. Я сдерживаю свою руку, и второй удар приходится ей по плечу. А Кролик кричит, чтобы я прекратил, и я привязываю ее к опоре, кое-как вытираюсь и опять выхожу в парк.

Улыбаюсь худенькой брюнетке, которая как раз купила порцию сахарной ваты.

Извините, говорю я. Не поможете мне?

В жаркой котельной сахарная вата начала таять, и я бросаю палочку с розовым ватным комком Кролику.

Лови, это тебе! — говорю я ему.

Связанная кричит, и Кролик заталкивает сахарную вату ей в глотку. Я разбиваю череп второй женщине, кладу ее на пол.

Что теперь? — спрашиваю у Кролика.

Он отпускает первую, которая сейчас лишь тихонько хнычет, хватается за вторую, пробует установить ее на колени, с наклоном вперед. Тело ее обмякло и все время заваливается на бок.

У нас нет времени! — кричу я Кролику. У тебя не получится как в тот раз. Нам еще пять часов добираться домой, а парк закрывается.

Он ворчит, пытается придать ей другие позы и через полчаса добивается удовлетворительного результата; я с силой бью связанную по затылку, она падает на пол.

Заметив, что рубашка моя запачкалась, я стараюсь мало-мальски ее отчистить, но в конечном счете вынужден купить жуткую футболку с какой-то омерзительной, перекошенной, тошнотворной фигурой на груди.

Это из-за тебя, говорю я еще очумелому Кролику.

Глаза у него блестят, нос мокрый, он не слышит меня.

Мы садимся на скамейку, ждем. Мыши, слоны и всякие непонятные звери шагают мимо, машут нам и хихикают. Кролик потихоньку приходит в себя. Я даю ему глазированное яблоко, и он съедает его, после того как я слизываю сахарную глазурь.

На, попей, говорю я и протягиваю ему бутылку апельсинового сока; зубы мешают ему пить прямо из бутылки, приходится прибегнуть к соломинке.

Надо сделать несколько снимков, говорит Кролик. Давай сфотографируемся, на память.

Мы шагаем к нарисованному городу, мимо железнодорожной станции и дальше, к границе парка. Дома словно бы скрюченные, смешные, кособокие. Ни одной прямой линии. Краски неестественно яркие. А глаза у всех обитателей черные как сажа, полные неизбывного отчаяния и беспредельной тоски.

Берегись больших крыс! — кричит Кролик и многозначительно смеется.

Мы идем по кривым улочкам. Все звуки здесь глухие, неслаженные. Все нарисовано пастелью, и за всеми окнами таится иссера-черная пустота, кое-как замаскированная белыми гардинами.

Бедняга, говорит Кролик, читая табличку на стене. Бедняга. Их четверо. Они его поделили. Страна Фантазий, концерт, пароход, зеркальное стекло. Не удивительно, что он страдает расщеплением личности. Вдобавок каждый праздник еще и на гору взбирается и ходит на парад. Рабский труд.

Мы входим в дом, становимся в очередь, которая тянется в комнату, где ждет он. Ну, наконец-то мы проходим вперед, с улыбкой становимся справа и слева от него. Он улыбается, все время улыбается и все время машет жилистой рукой.

Бедный крысолов! — шепчет Кролик в его закругленное ухо. Не давай им помыкать тобой. Разве это жизнь. Добудь автомат и покажи им, кто тут главный.

Он опускает руку, секунду смотрит на Кролика, потом оборачивается ко мне, и я слышу, как откуда-то из недр своей крикливой одежды он пытается извлечь вопрос.

Не старайся, говорю я. Тебе и так слишком жарко.

По возвращении, запарковав машину, я снова вижу человека, с которым разговаривал во время завтрака: он выходит из гостиничного холла и сворачивает в сторону самого большого на свете цирка. Иду следом и, когда он срезает дорогу между домами, в три прыжка настигаю его, делаю захват локтем за шею и крепко держу. Он едва достает мне до подбородка.

Хочешь знать, где мои родители, братья и сестры? — говорю я. Хочешь знать, где они?

Он выдавливает несколько булькающих, жалобных звуков.

Доволен теперь? — спрашиваю я. Нас тут только двое — ты да я.

Немного ослабляю хватку, чтобы слышать, как он скулит и умоляет.

Ты ошибся, говорит он. Принял меня за другого.

Не узнаёшь меня? — спрашиваю я, поворачиваю его голову, теперь его лицо совсем близко.

И счастье, какое я испытываю, столь велико, что я едва обуздываю нетерпение.

Ты ошибся, опять скулит он. Я не знаю, кто ты. Никогда тебя не видал.

Тут все встает на свои места, я сворачиваю ему шею, бросаю его в мусорный бак и ухожу. Невыносимо жарко, я покупаю две большие бутылки оранжада и несу их к себе в номер.

Ночью прохладнее не становится, и Кролик лежит в ванне, до половины наполнив ее холодной водой. Нос у него шевелится и во сне, а сейчас он фыркает и пыхтит, сжимая в одной лапе недоеденную морковку. Он белый как мел, но вода, в которой он лежит, грязно-бурая.

Гашу лампу, ложусь в чистую постель, смотрю прямо в потолок и думаю, что, даже если сейчас засну и просплю целую неделю, этого все равно будет недостаточно, чтобы почувствовать себя отдохнувшим.

Ночью я просыпаюсь оттого, что по комнате бесшумно двигается какая-то тень, и в узком луче света из окна вижу Клоуна, он стоит в изножье кровати.

Не спится? — спрашивает он. Давний сон? Обнять тебя, рассказать сказку?

Он забирается в кровать, обдает меня запахом пота и застарелой земляной сырости, обнимает, прижимает мою голову к своей груди и одну руку кладет на поясницу.

Был когда-то город, который замучили паразиты. Красивый город, только вот кишащий своекорыстными паразитами и мерзкими насекомыми. Что делать? Вопросы-то были, да ответов не находилось. Хоть плачь, одни жалобы кругом. Уехать бы отсюда куда подальше! Опять голова разболелась! Ловушку бы какую-нибудь завести! Вот бы стать кем-то другим! И внезапно слышатся шаги. Стук в дверь. Входите! На пороге стоит незнакомец, в долгополом кафтане, наполовину желтом, наполовину красном, а глаза у него пронзительно-голубые, острые как иглы. Улыбка пробегает по его губам. Кто вы? Я знаю секрет, как избавить вас от всей этой нечисти, от всех и всяческих тварей, что шныряют, плавают, резвятся под солнцем. Есть у меня инструмент да сильные, проворные пальцы. За небольшую плату я очищу ваш город, сделаю его непорочным и красивым, каким он был в первый день. Сказано — сделано. Яркая, разноцветная фигура с улыбкой выходит на улицу, обхватывает губами мундштук большого музыкального инструмента и начинает играть. Глаза его теперь переливаются зеленым и голубым, как пламя, когда в него сыплют соль, и слышится как бы рычанье, перерастающее в глухой гул, в грохот, и из домов стаями высыпает нечисть, собирается вокруг незнакомца, а он делает шаг, другой, третий, идет по улицам, и нечисть следует за ним по пятам, к пропасти, переваливает через ее край и исчезает во мраке. Под вечер остается лишь один живой свидетель, и в свое время он скажет, что ему чудился запах свежеиспеченного яблочного пирога и слышался голос, шептавший, что можно поесть на дармовщинку, сколько влезет и что второго такого случая не будет. Нечисть пропала. Народ возрадовался. Город был очищен. Но получил ли незнакомец вознаграждение? Нет. Они знать его больше не желали,

не желали воздать ему должное, устроить праздник в его честь. Дуй в свою дудку, пока она не треснет! И опять он выходит на улицу, берется за инструмент, показывает свое искусство, и скоро слышится шепот и шорох, нарастающий до скрежета, до грома и бури, а из домов выходят дети, девушки и молодые розовощекие парни с гладкой кожей и ясными глазами, с губами как свежие, сочные плоды, они собираются вокруг музыканта, а он идет, идет себе не спеша, и они следуют за ним, к горам, по ущельям, прямиком к скалистому склону, который разверзается, впускает внутрь горы незнакомца со всей его свитой и смыкается вновь, ни малейшая трещинка не выдаст, куда они подевались. Только паралитик остается и будет долго горевать, что потерял своих товарищей, что лишился места в прекрасном, счастливом краю, куда незнакомец увел остальных. Нету их, пропали. Никто их не найдет. А голоса их не могут проникнуть сквозь наглухо сомкнувшийся камень. Все кончилось, и то ладно.

Клоун легонько гладит меня по волосам, и я сглатываю, чтобы унять тошноту, которую вызывают его запах и его сальное, потное тело, и думаю о глазах Зверюги, о его мягкой одежде, о его горячих руках, о голосе, который говорит, что есть другие места и если когда-нибудь туда доберешься, то счастье переменится.

* * *

Город вздымает ввысь башни с яркими красными огнями.

Ряды огней змеятся, бегут вверх по стенам, окаймленным огнями, к плоским крышам, где в небо светят прожекторы.

Все грани построек сплошь оконтурены лампами.

Все уступы купаются в интенсивных, ярких красках.

Огромные фасады освещены, залиты светом.

Все водоемы освещены.

Все улицы как аллеи огней.

Все слова сложены из огней, сформированы огнем, высечены на фоне красок безмолвного света.

Силуэты площадей со всего мира,

знаки всех эпох тут близко соседствуют друг с другом.

Лампы мигают, неоновые трубки змеятся, создавая разноцветные вывески.

А на больших экранах двигаются люди, живут в коротких немых картинах, произносят там слова, которые невозможно услышать.

Никогда и ничто не останавливается.

Никогда не замирает.

Никогда не бывает мгновений покоя.

В иные дни я дохожу до самого конца бульвара и поворачиваю обратно. В иные дни прохожу из конца в конец поперечные улицы. Сначала одну, потом другую. Руки у меня начинают болеть, и я покупаю резиновый мячик, который можно сжимать в ладони. Дни сливаются в единое целое. Время бежит все быстрее, часы становятся все короче, ожидание — все дольше.

А вечером она, всегда одна и та же, лежит с кляпом из носового платка в глотке, рот заклеен скотчем, руки и ноги раскинуты и привязаны к кровати, не важно к какой, она в сознании и всегда плачет безмолвными слезами, и я кладу ладонь на ее глаза и нос, закрываю ей лицо, а другой рукой обхватываю шею и начинаю сжимать, сжимаю все сильнее, кости ломаются, она перестает дышать, а я неподвижно лежу в грязной постели, развязываю узлы, и крепко обнимаю ее, и знаю, что другого она теперь никогда не полюбит.

Иду по длинным коридорам, залам, галереям.

По огромным отелям и спрессованным городам.
Коридоры вливаются в другие коридоры,
проходы, сводчатые арки, пассажи,
повсюду освещенные слабым желтоватым светом,
а другие коридоры полны мрамора, и искусственного камня, и черных зеркал,
колонн и безмолвных божеств,
скульптурные дверные рамы и проемы ведут к другим дверным проемам, а те — в поперечные коридоры, которые вливаются в пустые салоны, в комнаты, полные декора из других времен,
из другого тысячелетия, в безмолвные залы,
огромные, заброшенные залы с такими пушистыми и тяжелыми коврами, что шаги впитываются в них и ничего не слышно, будто эти коридоры, залы, галереи не впускают ни единого звука,
и все они вливаются в огромный атриум, где я жду тебя,
где я стою перед тобой и жду того, кто придет,
и тот, кто никогда больше не придет,
никогда больше нас не разлучит,
никогда больше не оторвет тебя от меня.

Я могу приходить и уходить когда хочу. Они вопросов не задают. И лица своего я никогда не вижу. И ни строчки о чем-нибудь, что я сделал. Они дают мне исчезнуть. Дают остаться одним из множества других, и я перехожу с южной стороны на северную, с восточной на западную и обратно, снова иду по тем же улицам и встречаю только улыбки и теплые взгляды.

А вечером я стою перед ним, и он, закрыв глаза, ощупывает мое тело и говорит "да", и я лишь секунду держу его, прежде чем он падает на пол и начинает дергаться и биться, а я жду и, когда он затихает, раздеваю его, прикладываю ухо к его сердцу, прислушиваюсь, кладу предплечье ему на горло, нажимаю и одновременно прислушиваюсь, даю ему немножко вздохнуть, и опять жму, и слушаю, когда сердце его остановится, а потом переношу его, укладываю так, чтобы он повторял мою позу, поднимаю его и говорю: ну вот, теперь ты никогда меня не покинешь, теперь мы навеки вместе.

Время останавливается, дни совершенно одинаковы. Я заказываю новые полотенца и простыни, новые полотенца, и простыни, и подушки, и одеяла. А они не задают вопросов. И номер всегда чисто прибран. А

другие ждут, и я делаю то, что должен делать до тех пор, пока дышу, пока не задохнусь от их мерзких запахов. И этим утром просыпаюсь от головной боли и от жгучей точки света, которая примостилась где-то возле моего правого глаза, и слышу, как кто-то говорит, слышу, как голоса их наполняют комнату, и чувствую необходимость покинуть их, хотя бы на один день отправиться туда, где почва в трещинах, а небо вздымается высоко над землей.

И огромный каньон — это дар.
Дар, глубоко прорезающий всякий здравый смысл.
Его безвременье вызывает болезненный спазм,
ведь нам отпущено так мало дней жизни.
В его широком пространстве можно отыскать утешение.
В его игре света и тени
таится вечный образец для подражания.
Длинные тени окутывают острые пики,
ползут по буграм,
собираются в длинном каньоне,
наверху, на горных плато.

Не одолжите ручку?

Подняв голову, я вижу старушенцию, улыбающуюся мне из-под козырька бейсболки.

Не одолжите ручку? Нам с мужем надо написать открытки и отослать их отсюда, с особым штемпелем, а наш автобус через двадцать минут поедет обратно в гостиницу.

Она протягивает руку. На тыльной стороне кожа сухая, туго натянутая. Волосы редкие — сожженные, сухие пряди лишь местами прикрывают белый череп. Тонкие, как спички, ноги подпирают обрюзглое тело, грудь и живот слились в тучную бесформенную массу. За ней я вижу мужчину. Он в очках с опущенными солнцезащитными стеклами. Кожа у него на шее чистая, морщинистая, зато в носу и ушах зáросли густых седых волос. Зубы поблескивают желтоватой грязной пленкой. Я улыбаюсь и спрашиваю их, рассказывал ли им кто-нибудь про большой каньон.

Протяженностью он около пятидесяти миль, а шириной три с лишним мили в самом широком месте. Глубиной же более пяти тысяч футов.

Через рукоятку ножа я чувствую, как удары его сердца медленно затихают.

Каньон прорезает выжженное плато, расположенное на высоте от пяти тысяч до девяти тысяч футов над уровнем моря. Оно сильно эродировано и местами покрыто застывшей лавой, вулканическими породами и грудами камней от рассыпавшихся утесов.

Женщина кричит, и я затыкаю ей рот тряпкой, заклеиваю скотчем.

К юго-западу плато понижается. Климат здесь суровый, с сильнейшими холодами и сильнейшим зноем. Даже дно каньона за летнее полугодие нагревается до невозможности, но зимой редко бывает так холодно, чтобы оно промерзало.

Я прислоняю ее головой к левому переднему колесу машины, сажусь за руль, чуточку подаю назад, а потом быстро вперед и опять назад, вперед и назад.

С северного склона в каньон стекала вода и оставила там промоины. Камни повсюду переломаны сбросами и трещинами, что возникали от веку и способствовали быстрой эрозии огромного каньона.

Расчленяю их на самые мелкие части, какие позволяет подручный инструмент, действую со всей возможной быстротой, небрежничаю с упаковкой и с их одеждой, но я спешу, я устал, силы мои на исходе.

Вот так в общих чертах выглядит геология, говорю я. Интереснее и увлекательнее, чем можно подумать. Камни и формации. Да, кстати, чуть не забыл: одолжить вам ручку я не могу. Увы. Простите, никак не могу.

Ржаво-красные, синие, лиловые горы.
Некогда здесь было морское дно.
И эти пласты, эти слои, один поверх другого,
отложения, донные осадки.
Образуют напластования.
Сверху известняк, под ним песчаник.
Еще ниже — особый сланец,
а под ним формация песчаников и сланцев.
Еще глубже голубовато-серый известняк, кое-где приобретший красный цвет.
Под ним тонкий пласт песчаника.
Затем три плотных слоя каменной породы.
Бурый известняк, зеленый сланец и песчаник.
Под этими тремя пластами,
у подножия склона,
камни, мертвые камни, заброшенные сюда со дна времен.

На плечо ложится чья-то рука, я оборачиваюсь.
Дорогой, говорю я. Любимый. Если б ты знал, как я соскучился.
А он смотрит на меня своими кроткими, глубокими серыми глазами.
Больше тебе не придется скучать, говорит он. Я здесь и никогда тебя не покину.

Зверюга

Ребенком он недвижно лежит на операционном столе. Ему немного лет. Свет болью отзывается в светлых глазах. Под веками мельтешат красные крупинки. Когда глаза закрыты, когда он не может держать их открытыми, все вокруг делается непривычным, будто он в каком-то ином мире.

Спит, говорят они. Нет, думает он, нет, я пока бодрствую. Бодрствую. Разбудите меня или дайте уснуть.

Он чует запахи, которые станут хорошо знакомыми. Чувствует кожей холодный, гладкий металл. Слышит, как гудят вокруг головы какие-то аппараты. Слышит слова, значения которых не понимает. Слышит голоса, рассуждающие о собственных его частях, которые ему незнакомы. Он ребенок. Нет, я не сплю. Он чувствует, как руки в скользких перчатках шевелятся у него внутри. Чувствует легкие прикосновения паль-

цев. Чувствует, как они берутся за что-то внутри. Неужели они думают, что он когда-нибудь забудет?

У него есть собственная страна. Собственная земля, владения, знакомые ему до мелочей. Он знает все тайники, все укромные места, откуда можно все видеть, оставаясь незримым. Знает стволы деревьев, знает шершавые и гладкие поверхности камней. Знает, как растет трава, знает всю живность, что копошится глубоко в земле.

Как-то раз, прогуливаясь у внешних пределов своего царства, он выходит к какой-то длинной кирпичной постройке. Фасад испещрен тонкими трещинками. Черепица на кровле побита, лежит сикось-накось. Дом кажется пустым, заброшенным, обветшалым. На крыльце — дохлые мыши и крысы. Он отворяет дверь. И видит, как пол шевелится, вскипает волной, надвигается на него валом шерсти, плоти и лапок.

Игра. Игра в Стране Бесконечности. Вон сколько там простеньких, нарисованных человечков, и все они рассыпаются. Теряют руки, головы, тела, двигаясь по закрученным спиралям, плотным-плотным спиралям, которые уходят вниз и увлекают их за собой.

У меня была большая коллекция насекомых. Поначалу я, само собой, собирал в основном дохлую мелочь, найденную под камнями, где у них свой собственный мир. Если припасть щекой к земле и смотреть на них, можно вообразить, каково это — жить там, внизу, и с какой быстротой ночь оборачивается днем, когда камень поднимают. Потом я начал собирать насекомых покрупнее. Самых крупных, каких удавалось поймать. Потом бабочек, я бережно расправлял им крылышки и клал под стекло, чтобы не выцвели. Изучив насекомых, узнав изнутри и снаружи, я их забросил и вместо этого стал собирать задавленных животных. Ездил на велосипеде по окрестным дорогам, подбирал задавленных и складывал в коробку. Потом я их вскрывал, знакомился с их нутром и помещал в банки, которые держал в сарае с инструментами. Я называл его бараком, не знаю почему. Отдельные части тел лежали в растворе, который мало-помалу становился темным и мутным. Через несколько дней я уже ничего не мог разглядеть. И тогда я устроил для них кладбище, которое изредка посещал. Мне всегда хотелось знать, как устроены вещи. Почему тела двигаются и что делает их живыми. Что есть жизнь, а что нет.

Однажды он ставит на кафедру банку, до краев полную головастиков. Это бесценный подарок учительнице, которая спрашивала его о пропущенных уроках, о времени, когда он не появляется в школе. И вот теперь она получит подарок, который будет расти и жизнь которого она сможет изучить с самого ее начала и до полного взросления. Она отдает банку с головастиками другому мальчику, лучшему его другу, и ни о чем не спрашивает, ничего не говорит, ей нет дела до жизни, полученной в подарок. Тем же вечером он идет к другу домой и наливает в банку, где плавают головастики, машинное масло — скоро все там превращается в густую, вязкую жижу.

Отец с матерью поделили наш дом. Отец соорудил что-то вроде защитной сетки из веревок, увешанных ключами и прочими дребезжащими

вещицами, чтобы сразу услышать, если мать зайдет на его половину. Меня пускали и туда, и сюда. Моя комната была как бы за пределами установленного ими порядка. Но я запирал ее на замок и их туда не пускал. Сидел один, занимался своими делами. Когда они разъехались в разные стороны, а я остался, в доме воцарилось спокойствие, только съестное было иной раз найти очень трудно.

Он так часто сдает кровь, что они поневоле берут на заметку его ногти.

В ту пору я частенько изображал шута. Никто не умел заставить других так много смеяться. Но скоро я заметил, что от этого возникало ощущение пустоты. Когда смех умолкал, ничего больше не оставалось, они отворачивались и даже не спрашивали, кто я такой.

А когда их, лучших из них, собираются фотографировать, он украдкой пробирается в комнату. Становится в самом заднем ряду, и они не видят его глаз до тех пор, пока не начинают печатать снимки. И тогда маркером поспешно замазывают его лицо. Но он все равно остается на фото, как пустое пространство, и останется там навсегда — как пустое пространство меж двух улыбающихся горделивых лиц.

Той зимой, когда он записывается в армию, никто уже не смеется. Больше никаких фокусов. Никаких шуток, никаких дурачеств.

Когда они повышают голос, он уходит в снег и холод и отсутствует четыре часа. В конце концов возвращается — взбудораженный, сбитый с толку, растерянный, очки куда-то пропали. Он вовсе не продрог и, похоже, не зябнет. На руках еле заметные следы крови, и он долго-долго их отмывает. И говорит, что совершенно не помнит, где был и что делал.

По возвращении он уже не тот, каким они его оставили. И никогда больше не станет тем, кого они оставляют. Он удержит их, не отпустит. Заставит остаться навсегда.

Раз за разом он видит лики смерти. И донышком стакана, тяжелого, исцарапанного, с отшлифованными гранями, которые, как призмы, преломляют свет, растирает в порошок пригоршню мелких таблеток.

Работал я на шоколадной фабрике. На "Амброзии". Смешивал ингредиенты. В ночную смену. С одиннадцати до семи. Работа моя заключалась в том, что я отмерял сахарную пудру в четыре здоровенных чана. Каждый емкостью примерно пять тонн. Сахар тонкой пылью висел в воздухе. Наполнив чаны, я запускал механизм, управляющий большим смесителем. Вспарывал мешки с какао, высыпал порошок в смеситель и заливал туда же соевый сироп. С виду он похож на кленовый, но на вкус почти как машинное масло. Затем я добавлял растительное масло и ждал, когда все это смешается в густую коричневую массу. Тогда я выключал машину и подавал сигнал рабочим, находившимся этажом ниже. Они открывали днище смесителя, и масса вываливалась из него большими комьями. Эти комья раскатывали тонким слоем, потом подвергали целому ряду технологических процессов, и в результате получался готовый шоколад. Конечно, приходилось таскать тяжести и вспарывать множество мешков, однако плохой эту работу не назовешь, и шоколада нам разрешалось есть сколько влезет. Впрочем, близко я ни с

кем не общался, но так уж выходит, когда работа очень тяжелая, а ты стоишь у своей машины и ничего не слышишь, из-за наушников.

Они долго медлят, сглатывают слюну, закрывают рот носовым платком, кивают друг другу и только потом открывают его шкаф в раздевалке.

Вот здесь я жил.

Коридор, уходящий в бесконечность. Полный дверей. Совершенно одинаковых. Одна напротив другой, на равных расстояниях. На каждой — рядок штампованных латунных цифр. Двойка—единица—тройка. Квартира номер двести тринадцать. Снова и снова этот коридор, полный дверей, без начала, без конца, как зеркало, отраженное в зеркале, вокруг-сквозь-обок бесконечности. Начинается и исчезает в бесконечности. В беспредельности.

Этих помещений больше не существует, говорит он, отпирая один за другим дверные замки.

Вечно будет открываться эта вот дверь, дверь квартиры двести тринадцать. Вечно. Снова и снова. Во веки веков некий человек будет в последний раз переступать порог.

Глаз камеры быстро просыпается, поворачивается к двери. Не обращая внимания на свое пустое нутро. Не обращая внимания на свою слепоту. Охранная система ровно светится маленькими красными огонька-ми. Вскоре устает, но не мигает. Вскоре устает, а закричать не может.

Вот здесь я жил, говорит он и улыбается.

Большая комната и кухня в одних и тех же стенах. Между ними стол. Пивные банки, открытый пакет с чипсами, пепельница с окурками, порнографический журнал, аквариумные причиндалы. На стене изображение подземного царства. Под ним консоль с цилиндрической лампой темно-синего цвета. Рядом с закрытым окном — черный стол

(вот этот черный стол).

У меня был чертеж, как оборудовать этот черный стол, сделать его таким, как задумано.

А на нем стоит аквариум, стодвадцатилитровый.

Однажды мне довелось видеть иглобрюхов. Круглые такие рыбы. И глаза у них смотрят вперед, прямо как у человека. Они подплывали к стеклу и глядели на меня. Прозрачно-голубыми, человеческими глазами. Будь у меня выбор, я бы занялся именно этим. Разводил бы их, строил их мир, их ландшафт, посвятил себя их разведению. Сидел бы и наблюдал, как они там плавают. Тигровые барбусы. Африканские цихлиды. Спинороги. Может, и другие виды. Фильтровал бы воду, следил, чтоб содержание солей и аммиака находилось на должном уровне. Вот тут я был мастер.

Рядом с черным столом стоит низкий кремовый диван, испещренный темными пятнами. Возле него — коричневый сервант, заваленный разным хламом. Контейнеры с отбеливателем, пустые пивные банки, пепельницы, электрическая зубная щетка, дрель, набор сверл, диаметром от одного до шести с половиной миллиметров, пустая коробка от носовых платков, спрей с дезинфицирующим средством.

Прямо напротив, у стены, дополнительная морозилка.

(Та самая морозилка.)

И вмерзшие в лед...

Ее, говорит он, закрывая крышку, они опечатали и увезли. Больше я никогда ее не видел.

Кухня. Мойка у стены. Над нею несколько полок. На полу четыре ящика соляной кислоты. Справа — холодильник.

(Тот самый холодильник.)

Холодильник тоже увезли, говорит он.

На всех полках в холодильнике расставлены открытые банки с разрыхлителем для теста. Он поглощает скверные запахи. Крышка морозильного отделения не закрывается. Там в отдельных пакетах...

Разрыхлитель, разрыхлитель, разрыхлитель, тихо говорит он и смеется.

Спальня, ванная, гардеробная с раздвижной дверью, запертой на задвижку.

(Та самая гардеробная в спальне.)

Постельное белье, инструмент и стальные тросы, большая супница, наполненная...

(Та самая супница.)

Больше всего мне нравился красный свет, говорит он.

Шкафчик, полный...

Обычно я набрасывал на лампу носовой платок.

У дальней стены — сосуд с хлороформом, бутыль с формальдегидом и еще одна, с этиловым спиртом, а рядом стеклянные банки, где в мутной жидкости плавают...

Пусто теперь, говорит он и закрывает дверь.

Спальня в темных пятнах. На кровати, на стене, на наволочке. На комоде — телевизор, пивная банка, порнофильм. В верхнем ящике семьдесят четыре фотографии. Глянцевые, старые, затертые. А на них...

Каждый раз, когда собираюсь сделать снимок, говорит он, я вынужден сделать перерыв, пойти и вымыть руки.

Тела, руки, одни поверх других.
Лица, одно подле другого.
Возле пряностей в кухонном шкафу.
В раковине мойки.
Рядом бутылка посудомоечного средства.
Разделанные, нарезанные.
Аккуратные, искусно разложенные.
Лица поверх рук.
В супнице и в морозилке.
Раскрашенные золотом, разложенные по порядку.

Они мои, говорит он, переворачивает снимки, складывает в пачку, словно карточную колоду.

Снова спальня. На кровати поляроид, под кроватью пивная банка, охотничий нож и пенопластовый ящик, заполненный до краев

(тот самый пенопластовый ящик),

и толстый фотоальбом. Рядом с кроватью металлический архивный шкаф.

(Тот самый архивный шкаф.)

На нем радио с часами-будильником, пульт от телевизора, пепельница с сигаретами. В верхнем ящике архивного шкафа на черном или, может, темно-синем полотенце...

Иногда звонили соседи, говорит он.

А в нижнем ящике...

И порой я думал, что надо бы уехать, но, пожалуй, было уже слишком поздно.

Возле шкафа две бумажные сумки, доверху набитые...

Здесь было лучше, чем у многих других.

Видеофильмы разбросаны по полу. В одном углу...

В одном углу — бочка.

(Та самая бочка.)

Синяя бочка. Синяя бочка емкостью добрых две сотни литров. Бочка с черной крышкой.

(Та самая бочка.)

Полная до краев. Ее они выносят медленно, бережно, осторожно, все в респираторах и в белых облегающих комбинезонах, в сапогах и резиновых перчатках.

Потом они записывают мою жизнь, составляют длинные описи.

Фотоальбом, черный керамический бокал, пустая пивная банка, пустая бутылка из-под рома, бумажная сумка, кружка с отбеливателем, бутылка дезодоранта, курительные палочки, пачка конвертов, пятьдесят штук, тюбик крема, бритвенные принадлежности, электрическая зубная щетка, договор о найме квартиры номер двести тринадцать, читательский билет из библиотеки, пара черных подштанников, визитные карточки, медицинский шприц, жидкость для контактных линз, две гротескные пластиковые фигурки, защитные перчатки, пластиковые бутылки с соляной кислотой, шесть ящиков чистящего средства, электрическая дрель, молоток-гвоздодер, пила, Библия, четыре книжки по аквариумистике.

Как ты мог дышать?

Я только хотел любить кого-нибудь, хотел, чтобы кто-нибудь остался, вот и все.

Как ты мог дышать, есть, спать?

Я только хотел, чтобы кто-нибудь любил меня и никогда не уходил, вот и все.

Он садится на самый край дивана, слегка покачивается, взад-вперед, и тихонько напевает.

Во-первых. В последнее время мне стало пусто и одиноко.

Верно.

Во-вторых. Определенные мысли все время возвращаются, я не могу от них отделаться.

Верно.

В-третьих. В последнее время жизнь вообще внушала мне уныние и горечь.

Верно.

В-четвертых. Оглядываясь на свою жизнь, я сознаю, что причинял другим такие же огромные страдания, какие испытывал сам.

Верно.

В-пятых. У меня по-прежнему есть странные мысли, от которых я хотел бы избавиться.

Верно.

Мой отец
всегда тяжко трудился.
Самое раннее воспоминание об отце —
как он уходил на работу.
Когда отец возвращался домой,
я радовался.
Когда домой возвращалась мать,
я сидел перед телевизором.
Я огорчился,
когда умерла моя собака.

Он выслушивает тела, сердца, желудки, кровь, которая шумит. Хочет сделать себе кого-то, кто останется навсегда. Кто никогда его не покинет.

Одному из них он просверливает в голове отверстие и впрыскивает внутрь то ли кислоту, то ли кипяток. Этот кто-то должен как можно дольше быть таким, как при жизни, и выполнять простые команды, не прекословя и не сопротивляясь.

Одному из них он дает прожить день. Вот так далеко заходит. А вечером обнаруживает его мертвым, с открытыми глазами.

Хочет заморозкой высушить тело и таким образом сохранить его. Думает присоединить к голове электрический провод и сильными разрядами тока поддерживать в ней жизнь.

Полностью избавиться от мертвого тела очень трудно. Это известно всем, кому приходилось решать такую задачу. Сам я расчленял труп и дважды проваривал. Если не ошибаюсь, использовал всякий раз четыре коробки чистящего средства. Два часа варил верхнюю часть и столько же — нижнюю. Чистящее средство, которое я использовал, превращает плоть в студенистую растворимую массу, которую легко спустить в унитаз. Потом я клал чистые кости в слабый раствор отбеливателя, оставлял там на сутки, а затем раскладывал на ткани или на газете и целую неделю сушил. Снятую кожу помещал в холодный соляной раствор. Но через три недели она начинала растворяться.

В тюрьме ему сидеть почти тысячу лет.

Однажды ночью мне снится старик в черном пальто. Он всплывает со дна пруда и говорит: клееная фанера, которую ты распиливаешь, краденая, ты ее стащил. Я бросаю пилу и поспешно бегу прочь.

Он лежит, уткнувшись головой мне в живот. Волосы у него мягкие, песочного цвета.

Не трогай меня, говорит он. Лежи и не двигайся. Как мертвый.
Он вслушивается в мое нутро.
Одной частицы во мне недостает. Вырезана, удалена.
Я люблю тебя, говорю я. Люблю тебя во веки веков.

* * *

Мы идем по саду среди пустыни. Четыре акра сада, разбитого на иссохшей земле. Вода струится в проложенных по ниточке каналах. Камни громоздятся штабелями. Кактусы — словно человеческие фигуры. Прямые, короткие тела, голые черепа.

Рядом с ними шумит живая машина, заглатывающая неиссякаемые порции грязной, серой, жирной воды и превращающая их в текучий кристалл.

И наши руки соприкасаются, и я чувствую, как глубокий, темный жар распространяется по моей руке и по всему телу.

Поодаль расположена фабрика, ее большие прозрачные окна отражают свет, отбрасывают его на землю. Гигантские стекла и играющие на них световые блики придают ей сходство с дивной небесной постройкой, парящей низко над землей.

Мы входим внутрь, нас пересчитывают и включают в первую группу.

Это самый мой счастливый день.

Сквозь прозрачные, во всю стену, окна мы можем заглянуть прямо в машинный зал.

В первом помещении перед нами кухня, где готовят и варят все начинки. Исполинские порции пекановой нуги шлепаются на большие столы-холодильники, раскатываются громадными скалками из блестящей нержавеющей стали. Это лишь одна начинка из пятидесяти разных, но одинаково изысканных сортов.

Во втором цехе особые длинные машины облекают конфеты в шоколадную одежку, а в других машинах формуется оболочка потверже для конфет с мягкой серединкой. В маленькой кухоньке покрывают шоколадной глазурью миндальные орехи. Все как на подбор превосходного качества, целые, без повреждений.

В последнем цехе высятся стопки тонкой бумаги. Сквозь стену сюда по конвейеру подают на больших противнях готовые конфеты, и каждую заворачивают здесь в металлическую фольгу и в шуршащие бумажные фантики, и бережно, аккуратно укладывают в красивые, разноцветные коробки.

Тут совсем не так, как в "Амброзии", говорит Зверюга, совсем не так, как у нас на шоколадной фабрике. Там было неопрятно, китч, никакого сравнения с тем, что здесь.

Мы заходим в магазин, и нам предлагают снять пробу. Я беру несколько конфет, пробую лимонный крем и миндальный грильяж. Объедение и то и другое, и я покупаю оба сорта. Еще покупаю смесь, с ореховой и карамельной начинкой. И подарочную коробку с двумя плотно уложенными слоями конфет. Австралийские орехи, крупный жареный арахис, отборный миндаль, глазированный карамелью пекан и карамельный крем — все в оболочке из густого темного шоколада.

Кроме того, покупаю семейную корзинку, чтобы угостить остальных. Там красиво уложены пакетик миндального грильяжа, пакетик с сердечками-ассорти, и еще один — с желейным горошком, и третий — с маргаритками в шоколаде, потом три плитки шоколада и еще полкило разных конфет, а сбоку в этой прелестной корзинке сидит игрушечный медвежонок, из мягкого синего плюша. Его я оставлю себе, сохраню.

Когда мы идем к машине, я осторожно касаюсь руки Зверюги, но он отшатывается, молча садится в машину и долго сидит, глядя в окно, не говоря ни слова, потом оборачивается, смотрит назад, на большие ворота, которые закрываются за нами, зажмуривает глаза, засыпает и спит всю дорогу до города.

* * *

В холле огромные каменные мужи, выпрямив спины, вытягиваются вверх по колоннам, другие каменные мужи сидят, отдыхают, положив руки на колени, глядят в пространство.

Повсюду горят лампы, тусклыми точками. Песочный блеск пола перемежается черными ромбами и серыми трещинами. По стенам покоятся друг над другом огромные галереи, клонятся внутрь, стремясь к наивысшей точке.

Здания, выстроенные внутри помещения, безмолвны, как плененный поселок, забытое селенье, случайно расположившееся здесь на отдых.

У длинной светлой стойки топчутся посетители, ждут, чтобы их отвели куда надо. А в сторону гробницы они двигаются безостановочно, потоком, не иссякающим ни на миг.

Здесь, говорю я, осторожно касаясь плеча Зверюги.

Его старая фланелевая рубашка на ощупь мягкая.

В номер мы поднимемся по лестнице, говорю я. Из моего окна открывается вид прямо на горы.

Комната переполнена, воздух тяжелый, удушливый. Свет от софитов падает прямо на Кролика, который сидит в кресле, перекинув одну заднюю лапу через подлокотник, и курит. Он серый и грязно-белый, одно ухо висит. Дым вьется к потолку, ненароком попадает в яркий луч софита и тонет в темноте. Рядом с Кроликом на диванчике, сейчас тоже повернутом к двери, сидят Клоун и Апостол. Клоун улыбается, сидит совершенно неподвижно, чуть склонив голову набок. Апостол смеется, словно над какой-то шуткой, слышной ему одному. На квадратном столике меж диваном и креслом — две пустые бутылки. С одного боку сценического пространства, наполовину в темноте, стоит узкая кровать. По другую сторону — комод. Зверюга проходит вперед, садится на кровать, облокачивается на колени, подпирает руками голову. Я ставлю корзинку с шоколадом прямо на пол.

КЛОУН [*встает, пошатывается, но тотчас восстанавливает равновесие*]. В родном городе я был одним из самых успешных коммерсантов. Удачливым во всех предприятиях. От обувных магазинов до продажи рождест-

венских елок. И ресторанов быстрого питания. Там я был лучшим. Меня любили. От моих приглашений никто не отказывался.

[*На миг он замирает, делает легкий поклон и снова садится.*]

Короткая пауза.

КРОЛИК [*тушит сигарету, встает, откашливается*]. Мне деваться некуда. Я мягкий, нежный, пушистый. Очень стараюсь соблюдать чистоту и хорошо пахнуть. Никто мне ни в чем не отказывает. Дерзну утверждать, что из всех описанных коллекций моя — одна из крупнейших. Значительную ее часть еще предстоит обнаружить.

[*Он опять садится; встает Апостол и, запинаясь, начинает рассказ, прерывает его, поворачивается к Клоуну и Кролику, неловко улыбается, кивает в пространство и начинает снова.*]

АПОСТОЛ. Мне известно много такого, что человеку знать вовсе не положено. Как ерзает тело. Как плоть сползает с костей. Стряпать я так и не научился, питался большей частью консервами и всякими остатками. Мне нравилось там, где я жил, а в то же время хотелось куда-нибудь уехать. Многие, наверно, сказали бы, что я лишний, но все же я принадлежал к их числу, и они, конечно, не хотели обходиться без меня. Так мне кажется.

[*Некоторое время он стоит, щурится в пространство, потом оборачивается и, улыбнувшись Зверюге, Клоуну, Кролику, садится.*]

Короткая пауза.

[*Хором.*]

КРОЛИК. Камин и несколько горных склонов.

АПОСТОЛ. Пригорок, где мы всегда сжигали хворост и мусор, моя спальня, моя кухня, моя летняя кухня.

КЛОУН. Мой подпол, перво-наперво мой подпол, и пол в гараже, и река, вернее речка, текущая чуть поодаль.

[*Они умолкают.*]

КРОЛИК [*с сомнением*]. Камин надо бы вычеркнуть. Можно, я его вычеркну? В тот раз все пошло наперекосяк, и мне сейчас не хочется ставить его в один ряд со всем остальным.

КЛОУН. Я ничего вычеркивать не стану. Все мое пускай останется.

АПОСТОЛ. Я не знаю. Не помню толком.

[*Зверюга неприступен и красив. У него сильные руки.*]

Пауза.

АПОСТОЛ [*как бы про себя*]. Помню, у стены росли высокие деревья. Не знаю, как они назывались. Но они были вечнозеленые.

КРОЛИК. Я лежал на склонах, усыпанных хвоей, и смотрел прямо в небо.

КЛОУН. Я содержал дом в чистоте и опрятности, а к запаху привык. Вдоль дороги была живая изгородь из боярышника.

АПОСТОЛ. Никогда.

КРОЛИК. Никогда.

КЛОУН. Никогда.

[*Все вместе.*] Никогда мы не сможем поведать другим о том наслажденье, какого так страстно желаем.

Пауза.

Зверюга вытягивается на кровати.

КЛОУН. Если б мне хоть раз еще тронуть ту мягкую точку, где волосы тонкие и мягкие, как шелк. Если б хоть раз еще разложить доску и пока-

зать мое искусство. Но у меня отняли все инструменты. Лишили меня укрытия, где я мог отдохнуть.
[*Он разражается слезами, грим течет.*]
АПОСТОЛ. Они сожгли мои дома и сараи. Сожгли все, что я прятал, о чем не говорил, а теперь уже забыл и никогда не смогу рассказать. Мать никогда не узнает, как велика была моя любовь.
КРОЛИК. Я сберег очень многих. И предложил отдать им, только они не захотели. У меня болели лапы, и я сказал, что, если получу мазь, отдам всех, кого сберег. А они поглядели на мои лапы, встали и ушли, и больше меня не допрашивали.
Короткая пауза.
КРОЛИК [*запевает*].
Увидишь меня по дороге идущим
и лицо в руках несущим,
прошу об одном: понять постарайся,
кто я такой, когда счастье меняется.
Любовь — вещь странная, она
так часто пропадает без следа.
Все развеялось вдали —
отвернись и прочь беги.
КЛОУН [*подхватывает*].
Круглый, красно-белый клоун,
и лицо его сокрыто.
Закопает тело мертвое,
и оно уже забыто.
Пустая белая любовь
сбивает со следа,
и счастья гнусен ритуал —
не заходи сюда.
АПОСТОЛ [*тихо*].
Тот человек, что в глубину копнет,
сокрытое найдет.
Словами воскресения
забытому он жизнь вернет.
Любовь — немногих достояние.
Притворись, изобрази понимание.
Испробуй на них, к чему можно прийти.
Не смотри, прочь уходи.
[Музыка продолжается, и все они, напевая, под руку уходят со сцены, световые конусы софитов сливаются в один круг, который ползет в сторону Зверюги, недвижно лежащего на кровати, он поворачивается спиной к сценическому пространству и прячет лицо от света; музыка быстро умолкает, а на заднике в глубине сцены проецируется фильм, с удвоенной скоростью: внутреннее помещение шоколадной фабрики; вот я стою, посылая в камеру воздушные поцелуи, потом беру свежую конфету и целиком отправляю в рот; следующий кадр: сад среди пустыни, я танцую, пригоршнями зачерпываю из живой машины воду, подбрасываю ее вверх, бегу прямо на камеру; изображение становится нечетким, все более размытым и пропадает.]

Смеркается, и теперь посреди комнаты стоит безликий.

Сегодня последний раз, говорит он. Больше я никогда не вернусь. Но впереди ждет величайшее. Ваши дни наполнятся. Вы будете считать себя счастливыми, если вам дадут поспать хоть несколько часов. Вам брошен величайший вызов. Предъявлены огромные требования. И я советую вам хорошенько запомнить то, что я сейчас расскажу. У вас не будет возможности наверстать упущенное. Если хотите записать, блокноты и ручки к вашим услугам.

Он сплетает руки, негромко откашливается и делает вдох, который опустошает комнату.

Одна из основ Теории, одно из фундаментальных положений, на которых базируется данный анализ, это число индивидов или, как мы предпочитаем говорить, число разных групп интересов, участвующих в игре. Форма анализа и весь характер ситуации зависят от этой цифры. Существует три разных множества, имеющих особое значение: во-первых, однокий индивид, во-вторых, два индивида, в-третьих, множество, включающее больше двух индивидов, то есть группа.

Однажды я играл как группа, вставляет Кролик. Я и двое других, которых я одного за другим притащил с озера. День выдался солнечный, и вода была солнечная, теплая, и песок тоже теплый, и я сказал, что у меня есть лодка, только не там, а в другом месте. Простите, барышня, как видите, я повредил лапу, и сильно, пришлось даже наложить гипс. Не поможете мне с лодкой, с маленькой парусной лодкой, надо поднять ее на машину. Нет, не здесь. Машина запаркована на подъездной дорожке, недалеко от летнего домика моих родителей, вернее сказать летней норы, вон там, рукой подать, максимум в километре отсюда. Поможете?

Безликий откашливается, призывает к тишине и продолжает.

Игры, в какие играешь сам с собой, с точки зрения Теории неинтересны. Решения в таких играх сравнительно несложны. Одинокий игрок сам выбирает, какие действия быстрее всего приводят к наилучшему результату. Если в одинокой игре есть элемент случайности, игрок выбирает действия, которые в среднем — повторяю: в среднем — обеспечивают наилучшие результаты. Впрочем, надо сказать, что игры, в какие индивид играет сам с собой, можно рассматривать как специфическую форму парной игры, где одинокий индивид играет против Природы.

Так было со мной, говорит Апостол. Я почти всегда играл с природой, если угодно назвать это так. Каждый раз, когда я рыл могилу, я учился властвовать природой и изменять ее. В особенности форму, какой она наделила меня. Мне хотелось стать другим, иметь мягкие, гладкие формы, а не шершавые и угловатые, какие у меня были.

Он шмыгает носом и умолкает.

А безликий воздевает руки к потолку и, не разжимая губ, бурчит, и звук этот мало-помалу нарастает до рыка, слагающегося в слова.

Настоящая парная игра весьма интересна. Это обыкновенная игра. При тех ресурсах, какими мы располагаем и в смысле логики, и технически, решение ее, как правило, лежит в пределах возможного. Такая игра сводится к обычной конфликтной ситуации. Как игрок ты имеешь противника, надо полагать умного и рассчитывающего победить тебя,

положить на обе лопатки. Если ты выберешь линию поведения, которая представляется тебе выигрышной, он в свою очередь может разгадать твои намерения и устроить ловушку, извлекая преимущества из твоего специфического выбора. А если в игре участвует больше двух игроков...

Мы, собравшиеся здесь сегодня, перебивает Клоун, как правило, одиноки или разве что играем против кого-то одного.

А безликий продолжает.

В той же мере, в какой слово *персона* для нашей Теории имеет особый смысл, до некоторой степени отличный от бытового, слово *стратегия* тоже имеет особый смысл. В обычном употреблении это слово прежде всего наводит на мысль об особенно хитроумном или мастерском плане. В Теории оно обозначает законченный план, все равно какой. Я хочу подчеркнуть здесь понятие *законченный*. Стратегия – план настолько законченный, что он будет функционировать независимо от действий противника или Природы. А получается так потому, что все действия, какие может выбрать противник или Природа, вкупе с комплексом ответных действий со стороны игрока, суть лишь часть описания стратегии.

Это верно, говорит Клоун. Они пытались обмануть меня своими стратегиями и тайными умыслами. Пытались помешать мне, подставить ножку, используя мои пристрастия, но я все время опережал их на шаг. И в определенный момент они оказались связаны по рукам и ногам. А когда добрались до чердака, возврата уже не было.

Он продолжает, но меня неудержимо клонит в сон. Как я ни стараюсь держать глаза открытыми, они упорно закрываются. Его слова и голос только сгущают атмосферу в комнате, дышать становится все труднее, в углах мало-помалу собирается тьма.

Я крепко держу Зверюгу за руку, а он стискивает мою руку и не выпускает ее.

Я играл в одиночку, шепчет он. Был так же одинок, как ты. Не имел ни друзей, ни семьи, никого, кто бы спросил, где я провожу время. Именно одиночество толкнуло меня к поискам. Пустота внутри, гулкая пустота, жаждавшая заполниться. И больше ничего.

А я закрываю глаза, засыпаю и вижу во сне коридоры, по которым брожу из одной комнаты в другую; комнаты все четырехугольные, все покрашены в тусклые, блеклые цвета, и койки там сплошь белые, и свет отмерен скупо, заключен в большие белые плафоны, и я захожу в большую комнату, а там за столами сидят люди, раскладывают пасьянсы, играют в нарды на красочных досках, и телевизор работает на полную громкость, и посреди комнаты разглагольствует сумасшедший, и на блюде лежат два надкушенных пирожных, и цветы в горшках поникают, и я думаю: реальность ли это?

* * *

Стальные каркасы скрежещут.
Лязгают, падая наземь.
Пыль часами клубится в воздухе,
прежде чем осядет грязным налетом,
который десятки лет останется не потревожен.

Разбитые лампы всех цветов и оттенков.
Открытые шахты — ныне врата в подземное царство.
Лопнувшие, провисшие трубки,
еще мерцающие огнем в тех местах, где сохранился газ.
Рекламные вывески с обломанными консолями, в падении увлекшие за собою другие.
Рельсы, вздыбленные, скрученные, точно мертвые стальные змеи, торчащие в небо.

Огромное машущее металлическое крыло.
Машущее теперь напрасно.
Умолкшие водяные струи.
Высохшие рукотворные озера.
Колеса, прекратившие свой бег.
Опустевшие улицы.
Звуки, утратившие гармонию и оттого фальшивые.

Нам выпало счастье жить, глядя на все это.
Нам выпало счастье видеть опустошение и безотрадность.
Нам до́лжно счи́тать себя счастливцами, ведь мы можем стоять, уткнувшись лбом в оконное стекло, глядя на огонь и клубы дыма, валящие в небо.

* * *

Я не хочу сглотнуть, но глотаю.
Хочу сглотнуть, но не глотаю.
Не хочу жить, но живу.
Хочу жить, но не живу.
Хочу грезить, но не грежу.
Не хочу грезить, но грежу.

Кафельные стены трескаются.
Ржа съедает ограды.
А серо-белый бетон, тяжелый как жизнь, выветривается, и линии высокого напряжения умолкают.
Испарина на запертом окне остается, точно пленка, прилипшая к стеклу.
Окна трескаются.
Металлические двери распахиваются, как только ржа подчистую съедает петли.
Картины падают со стен.
Цепи, легонько покачиваясь, опускаются наземь,
нет больше никаких заграждений.
Заплутавшие, в белых одеждах, бродят взад-вперед,
непривычные к вновь обретенной свободе.

Мокрый от дождя асфальт смягчает свет,
до сих пор никогда не смягчавшийся,
а каньон расширяется и поглощает город, исчезающий в глубинах мрака.

Долго еще видны горящие огни.

И падут последние сумерки, серые и холодные.

Последний человек перешагнет через заиндевевшие рельсы, сядет и станет ждать.

Дорога будет тянуться в обоих направлениях,

совершенно пустая.

Пучки соломы выпадут, обивка станет мягкой и дряблой.

Лед разрастется и взорвет все сосуды,

а звезды будут неумолимо пылать,

пылать с гулом много мощнее того, что наполнял пространство в начале времен.

* * *

Невозможно, говорю я, невозможно прикоснуться к тому, что было. И попытки манипулировать тем, что было, тщетны. Оно нереально. Всего лишь грезы, мифы, догадки, плоды фантазии. Не более реальные, чем возможное будущее. При желании можно этим заняться и извлечь из него все что угодно.

Я выпрямляюсь, делаю глубокий вдох. На мгновение солнце слепит меня, и я невольно громко смеюсь, и мои очертания начинают расплываться. Скоро я пропаду. Скоро меня станет совсем не видно. Скоро они при всем старании не смогут увидеть меня.

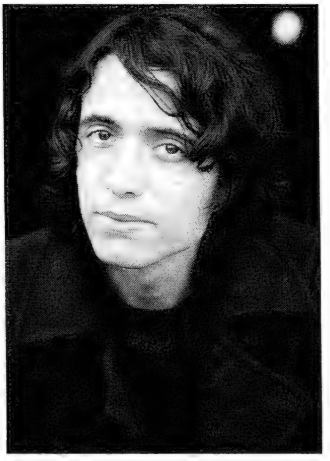
Не хочешь освободиться от груза? — спрашивают они.

От какого груза? Нет у меня никакого груза. Я сейчас, как никогда, легок и свободен.

И я смотрю на них, и улыбаюсь, и невольно их жалею.

Но если вы хотите оказать мне услугу, то мне нужна новая ручка.

Юнас Хассен Хемири



На красном глазу

Роман

Перевод Оксаны Коваленко

Спасибо Г. и Х.

1

Будь рад всему, что жизнь дает,
услуг медвежьих горек мед.

СЕГОДНЯ последний день летней каникулы, поэтому я помогал папе по магазину. Сначала мы благоустраивали витрину и клеили уцененные ценники, а потом разбирали новый товар. На складе магазина нереальный хаос, кругом царит пыль, а по углам развешена паутина. Я помогал убирать и нашел упаковку старых термосов с черепахами-ниндзя и несколько коробок с пинцетами и щипцами для ногтей. Еще нашел гнутых коробок с петардами, а совсем глубоко — старую пожарную машину, которую я выиграл на школьной лотерее, давно это было (наверное, в среднюю школу). Папа понаставил термосов и пожарную машину на витрину и понавесил там слюнявчиков со Снупи. Я говорил ему, что это перебор, но папа сказал, что товар надо видеть снаружи лицом. Он попросил меня сочинить рекламу для картоновой вывески.

Потому что утром мы нашли за дверью ворованный велик. Он лежал в кусту совсем заброшенный, шина дырявая, а педали вообще увели. И вдруг прозрение снизошло на папу, мы решили сделать велик нашим рек-

© Jonas Hassen Khemiri, 2003
© Оксана Коваленко. Перевод, 2007
© Leif Hansen. Фотография
Переводчик благодарит Аркадия Гриднева за помощь в работе над переводом.

ламным носильщиком. Взяли забитый велосипед и приладили у магазина вместе с вывеской, которую я написал: "У нас есть ВСЁ!" (Папа сам придумал.) Я накрасил стрелку, а то неясно, что дело идет о нашем магазине. Фломик я припрятал в карман, потому что лишний не помешает.

И вдруг шел мимо Нурдин. Нес покемономат в старой детской коляске и стучит в дверь такой счастливый. Что ли в мае этот автомат сломался, и желтый покемон сидел за стеклом неподвижно. И хотя люди кидали ему монеты, ничего не отдавал. Нурдин обещал починить и все лето говорил: "Он почти уже готов, послезавтра, на следующей неделе, совсем скоро..." Но аппарат стоял у Нурдина в комнате и накрывался пылью.

Папа открыл дверь, и мы помогли детской коляске переехать порог, потому что аппарат был не по-детски тяжелый. Нурдин намазал маслом все механизмы и причесал желтый мех во все стороны. Аппарат стал почти новым, с булавочки (жаль, царапины по стеклу).

— Ну как? — закричал Нурдин, его переполнило счастье. — Что скажете?

— Верящий в камень камнем исцелится, — пробормотал папа с глубоким удовольствием.

Покемон качался туда и обратно, как ему и положено, и даже издавал правильный звук, а когда папа попробовал дать ему пятак, зажужжал, но шарик выкатил. От благодарности папа подарил Нурдину две сотни крон и термос с черепахами-ниндзя.

После обеда я сказал, что мне надо в город — купить книжек по школе, и сел в метро до Шерхольмена[1]. Воскресенье настало совсем солнечное, и площадь наполнили толпы народов. Даланда сидела на своей привычной скамейке и смотрела на всех прижмурившись. Как только я увидел ее, наступила радость. Рядом с ней на скамейке сидели пакеты с овощами, но когда она меня увидела, то всех убрала. Она размахнулась, чтобы обнять меня сильно, и отвесила тройной поцелуй. Потом села назад и забрала себе мою руку.

Мы молчали и сидели, а рыночные торговцы кричали про бананы со скидками и про дешевые огурцы. Еще дальше негры хором играли по африканским барабанам, а голуби развевались вокруг скамейки, потому что хотели еще хлеба. Возможно, вам это звучит странно, что мне не западло разговаривать на скамейке со старой женщиной? Я может и сам частично стыдился, когда первый раз говорил с Даландой. Но вы бы очень передумали, если бы прочувствовали ее могущество. Даланда знает про арабов всю историю, это она рассказала мне, что у нас самые крутые философы, самые крутейшие математики и самые наикрутейшие воины. Она еще сказала, что мы, арабы, не такие, как все черные, мы значительно цивилизованнее, и когда она это говорит, почти каждый раз у меня мороз по спине бегает.

Сегодня Даланда начала рассказывать мне про большое количество арабских писателей, про таких чуваков, как Гассан Канафани, Фатхи Ганим и Нагиб Махфуз, которые получили лучшую шведскую Нобелевскую премию. Она еще сказала, что все евреи, которые умели писать, уже давно перевелись на шведский, а вот арабов среди них почти нет. Плюс есть еще такой еврей, зовут Салман, который совсем загнобил Коран, а книги его все шведы на руках носят.

1. Район в пригороде Стокгольма, заселенный преимущественно иммигрантами с Ближнего Востока. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Ведь это мы изобрели алфавит, разве отец тебе не говорил? Когда древние египтяне писали свои папирусы, европейцы были полудикими варварами.

— Значит, они все у нас слизали?

— Можно сказать и так. Эти старинные письмена сохранились до наших времен и несут в себе то же послание, которое было заложено в них с самого начала. Ведь слова не такие, как люди, они не меняются и не забывают. Вот почему я... я купила небольшую...

Она поковырялась в сумочке и достала толстую тетрадь с твердой красной обложкой. Краснота была разукрашена золотыми узорами, среди которых я заметил звезду и полумесяц, они сияли как солнце.

— Это... это тебе... Я обещаю, что если ты научишься использовать ее по назначению, то в голове у тебя будет порядок и ты не станешь таким, как мой проклятый муж.

Я значительно кивнул и забрал тетрадь в руки. Как только я увидел пустые листы, Сила засочилась в меня через концы пальцев.

— Я дарю ее тебе с условием, что ты пообещаешь мне примерно учиться. Я же обещаю тебе взамен, что однажды ты научишься писать по-арабски. Ну что?

— Да будет так. Клянусь.

Даланда улыбнулась своими коричневыми зубами и погладила мою голову.

— Мой маленький мечтатель. Ты ведь знаешь, как говорят в Египте: Человек без языка что...

— ...что верблюд без горба — никому не нужен.

Даланда довольно кивнула.

— Это точно. Ты хорошо говоришь по-арабски, и я уверена, что с помощью Аллаха ты скоро сможешь писать по-арабски так же хорошо. Инша Аллах!

— Инша Аллах! — ответил я и с тоской подумал о своих занятиях с Сафой. Даланда смотрела гордо. Все остальное время мы собеседовали о последних сплетнях Шерхольмена. Даланда рассказала, что Хуан вернулся от папы из Чили, а Алонсо получил работу на аварийной машине. Еще Даланда сказала, что ее беспокоят боснийцы, которые понаехали в наш старый подъезд.

— С югославами я не ладила никогда, — объяснила она. — Я люблю повторять: дважды подумай, прежде чем доверить народу, который затеял войну и напал на своих соседей.

Я кивнул, чтобы показать ей знак согласия. Когда мы обнялись на прощание, мне запахло чадрой и немного хной, а внутри завибрировало от разных воспоминаний, но скоро опять все стало на место.

Вечером я долго сидел в комнате и думал, что бы такое написать. Сначала я попробовал навалять историю про наркоманщика с Плитки[1], который купил у югославской мафии палёное фуфло, а потом пошел за оружием для мести. Но скоро я потерял нитку повествования, потому как ну что я могу знать из жизни этих наркоманщиков с ихним палёным фуфлом? Плюс я никогда не стрелял из настоящего пистолета "глок". Поэтому я оборвал страницу и начал просто писать обо всем, что случилось за день. Ведь должно же быть все реально. Ясное дело, Нагиб Мах-

1. Сленговое название центральной части площади Сергельсторг, выложенной большими каменными плитами.

фуз никогда бы не стал писать ни о чем другом, кроме как о самом себе и самой своей собственной жизни.

* * *

Сегодня по пути в школу я почувствовал в воздухе новое изменение. Я поднялся по лестнице, где всегда била в нос пьяная моча, пересек по мосту Лонгхольмсгатан и увидел школу, которая выпендрилась, как замок на холме. Даланда крутилась у меня в голове, как радио. Она говорила, что я никакой не пацан, а потомок Ганнибала, который загнобил римлян своими слонами, и аль-Хорезми, который дал имя алгебре. Началось это конечно давно, уже после первого разговора с Даландой, но теперь взыграло сильнее, чем когда-нибудь.

В школе все зависали у шкафа и ждали Карин. Кристофер сидел на подоконнике и пытался привлечь тёлок рыганием. Потом показал Йессике свою болячку, которая образовалась у него на чартерном туре после аварии с мопедом. Всем было наплевать, и тогда Анна рассказала, что была на Кубе и еще они сделали ремонт на даче в Сандхамнене. Так все и перетирали насчет летней каникулы, а я ушел в кабинет профориентации читать доску объявлений с рекламами для школ. Затем за спиной звякнуло и из учительского лифта вышел Курре, поскрипывая впереди себя тележкой. По-моему, он конкретно увеличился в габаритах, и по-моему, он похож на дебильный боулинговый шар — большой, круглый и черный. Знаете, эритрейцев все часто считают стройными и костлявыми, но клянусь, Курре весит больше ста двадцати кило, а может и все сто сорок. (Это потому, что он сюда переехал еще маленьким и здесь разожрался.) За слуховым аппаратом в его кудряшках запутался зеленый фломастер, и сколько я ни помогал ему прошлой весной, он меня, кажется, вообще не узнал. Несколько секунд он только таращился на мою руку, но потом наконец сфокусировался и засиял улыбкой.

— Ты вернулся... ты снова в школе... вот здорово, я так рад, что ты вернулся... ты снова в школе, здорово...

— Спасибо, парень. Увидимся.

Мне пришлось вырвать свою руку, чтобы отсвободиться из его рукопожатия, ведь подо всем этим жиром у Курре, ясное дело, куча мускулов. Плюс я себе уяснил, что как только Курре начинает заговариваться, надо валить.

К нашему кабинету шла Карин вместе с Алексом, из учительской. Когда она открыла и со всеми поздоровалась, Алекс просочился вовнутрь, сел в углу и сделал вид, что наблюдатель. Сегодня он явно перебрал со своим гип-гопом, пришел весь такой рэперский, в спущенных джинсах и в новой сиреневой майке от баскетбола.

Потом весь день было дико скучно. Шведский, история и куча новых книг. На еду давали мясной суп и можно было взять только два куска хлеба. Я спидорасил пять кусков, пока Алекс не видел, а те, что не смог употребить, снабдил маслом и прилепил под стол. После обеда была химия с Анитой, а потом рисование с новым учителем, у которого губищи блестели и вид был гомосексапильый. Нас отпустили пораньше, потому что жара стояла нехилая, а кондишен вообще не кряхтел.

Вечером у нас на ужин был Нурдин. Вот прямо сейчас они с папой на кухне играют в шахматы. До этого с ним играл я, а Нурдин за папин чак-чак благодарно мыл посуду. У папы болела голова после тяжелой ра-

боты, поэтому он сделал перерыв, чтобы растворить колеса в стакане с водой. Нурдин едва не ударился головой об кухонную дверь, но в последнюю секунду удержался и воскрикнул:

— Бум! Иногда головная боль приходит внезапно!

Нурдин прямо так и сказал, как в рекламе, и захохотался. Папа ему улыбнулся. Он говорит, Нурдин всегда громко смеется, их в театральной школе так научили, потом сложно отвыкнуть. А я думаю, он смеется громко, чтобы его услышали, хочет быть в эпицентре внимания, вдруг про него забудут. Иногда мне кажется, это раздражительно, что он все время балдеет тут у нас дома, с тех пор как мы сюда переехали. Нет, ну понятно, что он устал от гостиницы, но надо же и самоличную жизнь тоже устраивать, не до бесконечности ему торчать тут у нас или в "Штуке".

Папа вернулся к шахматам с шипучим стаканом, помешивая в нем пальцем. Потом проглотил шипучку и атаковал слоном. Нурдин бросил посуду и стал прикидываться шведским медведем Балу:

— Ой-ой, Халим, начинается: внимательно следи за отцом...

Папин слон застал меня в полном расплохе и открыл королеву на левой стороне доски. Папино лицо было непроницаемым, но я все начал понимать, потому что Нурдин так и смотрел на доску под напряжением.

Возможно вас удивляет, почему Нурдин прикидывается медведем Балу, а все потому, что он играл эту роль в детском самодельном театре на Хурнстулле. Много воды протекло с тех пор, года два, спектакль был почти сразу после того, как Самир впервые представил Нурдина и папу друг другу. Спектакль-то устроили для детского сада, но мы с папой все равно пришли посмотреть. Нурдин в сером гриме, со зверскими усами и в костюме-утолстителе выглядел настоящим медведем. Говорил он прекрасно, прямо как в мультике. Когда он накладывал фрукты на лапу и танцевал с королем обезьян, дети хохотали просто невероятно.

Я повёлся в папину западню и ладьей съел его королеву. Как только королева загремела в шахматный ящик оливкового дерева, я увидел, что уголки папиного рта радостно вздрогнули. Нурдин вернулся к раковине и пропел:

— Будь рад всему, что жизнь дает, услуг медвежьих горек мед...

Я понял, что проиграл. Папа стал нападать конем, а я хоть немного пытался защитить себя другой ладьей. Но король стоял весь зажатый, и через три хода стало ясно, что я провафлил. Довольный папа с треском откинулся на спинку стула и радостно щелкнул шейными позвонками. Нурдин торжественно прокричал по-арабски:

— Отман, тебе надобно объяснить сыну, что королева — не главное в этой жизни...

Потом Нурдин вдруг услышал свои слова, и они как будто повисли в воздухе. Папа стал серьезным, и атмосфера сразу изменилась. Прошло достаточно много времени, пока атмосфера не изменилась обратно. Сейчас я слышу, как на кухне Нурдин ругается, что он все время проигрывает папе. Не знаю, о чем еще написать, поэтому пока все.

* * *

Я сижу один за письменным столом, а внутри у меня типа нереальный хаос. Мне сложно писать, но надо, потому что иначе голова просто лопнет.

Сегодня среда, утром у нас были уроки столярного труда. Все как обычно: опилки, клей для дерева, наждачная бумага. На первом уроке все девки хотели делать дебильные ножи для масла и разделочные доски. Не созданы бабы для столярного труда, разрази меня понос, так почему они выбирают, не понимаю. Кристофер сечет получше, но тоже не фонтан. Пытался заныкать в рюкзак болванку для сюрикена, но Алекс застукал его и сдал Ниссе, а тот сделал ему большой втык и выпер из класса.

На втором уроке пришла Карин и помешала. Она помахала мне рукой и крикнула (а то кто бы услышал ее в таком шуме):

— Халим, не мог бы ты выйти на минутку для разговора.

— Можешь подождать здесь, мы ненадолго. (Это она уже Алексу сказала, который сидел на стуле в углу.)

Разговор случился в классе у Карин, и уже пока мы туда шли, на меня напало раскаяние, я реально почувствовал себя виноватым, хотя был невинен, как последний агнец. Карин молчала, и я молчал. В кабинете я понял, что дело серьезное, потому что там и директриса сидела. Мне стало немного жаль ее стул, потому что он был ей сильно мал, подлокотники выпирались наружу, а ножки могли в любой момент обломаться. Рядом с ней сидела кураторша, как мелкая стрёмная мышь в помятом женском костюме. Она все время теребила свою драгоценность из серебряной бабочки на игле. При виде меня все замолчали. Карин села с другой стороны от директрисы, и все трое, как по команде, залыбились. Своими блескучими деснами директриса сказала, что как прекрасно меня видеть, и внутри у меня зашевелились мурашки.

Потом все было быстро мне даже показалось что сразу после как они это сказали наступил тихий хаос и поэтому я не уверен что все понял правильно но помню голос Карин говорил о сокращениях и что они должны расставлять приоритеты потом куратор говорила что изучение родного языка долго было под угрозой а директриса захотела чихнуть но взяла себя в руки потом опять Карин что мне не стоит волноваться за Сафу она получила работу в Блаккеберге и передает всем привет. Потом голос кураторши что Алекс в принципе первый тьютор который нашел на нас управу а потом опять Карин что в прошлом полугодии все было просто чудесно.

Я напомнил себе о красоте и спокойствии, о Красоте и Спокойствии, только без паники, никаких проблем. Глубоко вздохнул и посмотрел в глаза этим паскудам. Они гордо сидели в ряд.

— Кто так решил? — спросил я. — Кто? Кто так решил?

Кураторша посмотрела на Карин, которая посмотрела на директрису, которая посмотрела на кураторшу. Ясное дело, кто захочет наложить на себя ответственность, и Халим подумал, что они как будто футболят друг другу мяч. Халим настаивал свой вопрос снова и снова, пока директриса не потеряла терпимость. Выше всех ее подбородков зашевелился маленький рот:

— Послушай, Халим, ты же не станешь утверждать, что для тебя это новость. Твое пребывание в школе создает массу проблем. И факт остается фактом: у школы нет средств и на Сафу, и на Алекса. Приходится выбирать.

Потом толстая рука директрисы похлопала по папке имени Халима, а Халим все дышал и повторял в голове: Красота и Спокойствие.

— К тому же ты должен помнить, что для тебя это возможность подтянуться. Алекс здесь ради тебя, ради Карин и ради всего класса.

Потом она удовлетворенно посмотрела на Карин и всеми своими подбородками сделала вывод:

— Да. Вот, пожалуй, и все.

Карин сказала, что я могу вернуться на труд, и я свалил от них сломя шею, а хаос рос за мной по пятам. Словно огромная волна катилась к берегу, где босоногий Халим бродил в лучах солнечного света. Но прежде чем волна накрыла его с головой, Халим обнаружил, что кабинет домоводства открыт и пуст.

Даланда гладила его по голове, пахла хной и шелком и повторяла шведские пословицы, типа слово у них — серебро, а молчание — золото, и рыбу из пруда без геморроя не выловишь. Но мы, арабы, говорим иначе: "Мужчина без мужества — не мужчина".

В загробной тишине Халим достал из кармана фломастер и на белом экране для слайдов нарисовал сатирическую картину: стоит директриса раком с лошадиным членом во рту, а рядом облачко говорит: "Я глотаю!" Потом нарисовал нереальную звезду и рядом полумесяц — вообще нереальный. (Жалко, месяц получился немного косым и похожим на банан, но все равно был могучим.)

Клянусь, эти паскуды еще пожалеют о том, что захотели сделать из Халима безгорбого верблюда, отныне я объявляю всем тотальную войну, потому что потомок Ганнибала и Саладина *никогда* не сдается. Перед тем как вернуться в класс, я напал на два туалета рядом с кабинетом труда, зачеркнул все дебильные надписи на стене и на каждой плитке изобразил черную звезду с полумесяцем.

Потом еще Алекс пытался уговорить меня своей болтовней:

— Привет, Халим. Какие дела? Есть проблемы?

Его слова тяжело вонзились в землю, подобно нераскрытым парашютистам. Алекс заволновался и, ясное дело, замигал своими китайскими глазками.

— Но ведь ты... хотя бы... Короче, осенью мы с тобой еще поднажмем. Заметано? Как тебе такой план?

Я смотрел молча, и Алекс, хотя и старался вести себя как ни бывало, быстро раскололся. Зачем я должен уважать человека, который, если я молчу, сразу моргает всем лицом? Я включил режим молчания в своей голове, и Алекс понял, что проиграл.

* * *

Уже поздно вечером, но я никак не могу заснуть, поэтому я сварил мятный чайник и сижу за письменным столом. В гостиной из кресла храпит папа. Около шести папа вернулся домой из винного магазина и принес две хорошие новости:

1. Нурдина будут прослушивать на роль в настоящей театральной пьесе. Нурдин сегодня по дороге домой увидел объявление, и режиссер ему так прямо и сказал, что он, возможно, подходит к самой главной роли!

2. Велосипед, который мы нашли и сделали рекламным носильщиком, работает просто нереально. Несколько дней подряд в магазин заходит больше народу, чем обычно, и многие даже делают себе покупки.

Папа умыл руки средством для посуды и прокричал, что последний покупатель перед закрытием купил кучу всяких вещей для своей фирмы.

— Помнишь те мыльницы с лосями, которые ты забраковал? Так вот, он купил четыре штуки. А еще — девять или десять полотенец и две коробки с пластырем. И все за наличные!

Папа улыбнулся целым лицом и воскрикнул это отпраздновать.

На ужине папа выпил несколько стаканов вина, а потом продолжил перед теликом. Все время я сидел рядом на диване и думал, когда бы лучше начать. Все время я думал, момент получше настанет попозже. По третьему передавали "Скорую помощь", а когда я свалил из гостиной, то услышал, как папа сам себе обсуждает происходящее в телике.

Во время последней рекламной паузы я собрался с мужеством и рассказал, что в школе отменили родной язык. Сначала папа как будто не слышал. Я повторил громче, но папа прилип к экрану как ни бывало.

— Ты что, не слышишь? Уроки арабского отменили. Говорят, денег на это нет.

Прошло довольно много секунд. По телику началась реклама туалетной бумаги, и тогда наконец папа перевел глаза на меня.

— И чем тебе не нравились те мыльницы с лосями? Я же говорил, что их купят.

— Прекрати. Ты что, не понял? Все кончено, кранты. Навсегда.

Папа глубочайше вздохнул.

— Это ты не понял, Халим.

— Чего я не понял?

У папы на губах и на усах были засохшие следы вина.

— Ну... Сын мой... На каком языке говорят ну... скажем, в Греции? А? Угадай!

— Перестань.

— Кажется, ты сказал, на греческом? Десять баллов. А на каком... ну... например, во Франции? А? Время вышло... ответ? Правильно! Двадцать баллов. На французском! А в Швеции говорят на... не упусти свой шанс... десять тысяч крон за правильный ответ!

— Но ведь это не так.

— В каком смысле?

— Мы же не...

Папа снова уставился в телик. Жирный повар в пидорской прическе сказал, что моющее средство "Йес" эффективнее, чем все остальные. В телике еще три минуты вещали всякие новости, а потом показали какого-то чувака из Карлстада, у которого в Швеции самая большая коллекция крышек от газировки. Папа пощелкал каналы, и я сделал новый заход:

— Папа, ну мы же не говорим только на...

— Не только, но все потому, что мы можем перескакивать с одного языка на другой: немного на арабском, немного на шведском. Для нас это не проблема, мы же... Смотри, это же... как их там?

Мы посидели молча. Потом папа стал радостно тыкать в экран, потому что по четвертому начали рассказывать о "Френдах", которые летом дали чуть ли не шестьдесят концертов, а осенью собирались выпустить новый альбом. Плюс они участвуют в "Песне года" и все такое. Они разыграли немного отрывков со своего нового альбома, и папина нога отбивала такт.

— Интересно, а молодежь их слушает? Нет, наверное? "Пожирая взглядом"... Что они имели в виду? Со взглядом все понятно — он смотрит, но как он может пожирать? При чем тут это?

Папа улыбнулся во всю ширину и показал клык, который тоже был красный от вина, но как сложно на него не думать плохо после такого, вот я и свалил из гостиной. Внутри у меня все закипело, мне хватило секунды. Я увидел *ее*, время идет и надо снова подтыкать под нее подушки с обеих сторон дивана, чтобы она не упала, а изо рта текут слюни. Папа снова их вытирает, и шлепается на пол мокрая бумага, потому что она себя контролировать уже не может. Она опять открывает рот, таблетка лежит на месте, потому что и мускулы для глотания, и все остальное уже почти рассосалось, а папа поднимает глаза и видит меня — далеко, наверное, рядом с дверью, почти на пороге. Мгновенная секунда, и я сфокусировал себя обратно. Я долго смотрел на фотку с Хассаном Вторым, который сидит на золотом троне в черном костюме, с черным галстуком и спокойным лицом, рядом с красной звездой на заднем плане. Потом я пытался уснуть — довольно долго, но заместо этого наконец сварил чай и достал тетрадь.

* * *

Идет воскресный вечер, я сижу за письменным столом совершенно чистый. Воздух пропитан покоем, тишина собралась такая, как бывает только вечером в воскресенье, когда выходишь один после ванны.

Еще утром мимо заглянул Нурдин. У него с собой был текст пьесы, в которой он, наверное, получит роль. Еще у него в пакете было две пачки новых сигарет и полкило фисташек. Папа выставил пепельницу и закрыл жалюзи от солнца. Нурдин закатил рукава и сделал дыхательные упражнения, пыхтя, как телка, которая сейчас родит. А мы с папой пока что помогали ему перевести сложные шведские слова. Пьеса называлась "Пер Гюнт", но я думаю, лучше бы назвать ее "Пер Хер". Один норвежский писатель написал ее сто лет назад, поэтому язык там дико странный. Среди действующих лиц, например, какие-то "три пастушки" и "пуговичный мастер". Когда один хочет оскорбить другого, то говорит ему "да ты сумасброд!", а тот отвечает ругательствами типа "болван", "горлопан" и "сума переметная".

Иногда папа был разочарован, что я не знаю всех сложных слов. Но после некоторых размышлений и словарей мы чаще всего понимали, что они хотят сказать. Нереально странная пьеса. Этот Пер Хер клеился к разным телкам, потом связался с семейством троллей и встретил парня, котого звали Бёйгеном (не путать с Ёбгеном). Потом он побывал на море, в пустыне и наконец вернулся домой взрослым мужчиной и пожалел обо всем, что с ним случилось.

Пока Нурдин был в туалете, я спросил папу, почему он так обрадовался этой роли дебильного викинга. Папа только вздохнул и уткнулся листать словарь. Я сказал Нурдину, что, по-моему, пьеса немного тупая, а он рассмеялся.

— Тут, Халим, выбирать не приходится. Дают — бери. Не всем же играть Эстрагона! Я тебе рассказывал, как объездил весь мир с пьесой Беккета? Мы играли в Берлине, Милане, Париже...

Нурдин сел. Он закинул ногу на колено и неслабо шлепнул рукой по своей подошве[1].

— Понимаешь, Халим, "There is nothing to be done"[2], послушай меня: "There is nothing to be done"!

— Спокойно, давайте все-таки перейдем на шведский, — перебил его папа. — Пусть Халим послушает твое произношение.

Нурдин лез из кожи наружу, старался прочитать эту сложную пьесу как последний дебильный викинг. Иногда ему это и правда удавалось, иногда он застревал на каком-нибудь хитром слове, а еще папа напоминал ему, что не надо так часто изображать из себя медведя Балу.

Они репетировали сцену, в которой Пер попадает на короля троллей. Папа читал за короля, а Нурдин выставился посреди комнаты и изображал Пера. Суть в том, что сам Пер не хотел быть троллем, но король его уговаривал, соблазнял золотом и телками, и в конце концов Пер выпил с троллем пива, вырядился как тролль и даже нацепил на себя маленький хвост, чтобы стать конченым троллем. Но потом все-таки обдумался, кинул короля и свалил обратно как ни при чем.

Лично я был уверен, что Пер этот полный придурок, и никак не врубался, почему Нурдин так хочет прижиться в этой роли. Одновременно я не мог понять, чему собственно Нурдин так радуется, ведь раньше он играл роли гораздо более настоящие. Однажды два года назад он сыграл шоферюгу в одной короткометражке, которую показали на кинофестивале в Дании. А еще он играл продавца кебабов в одном шведском сериале (мы записали его на видео). Сначала он там стоит на совсем заднем плане, но потом высовывает голову из киоска и спрашивает этого Даниеля: "Острый соус желаете? Картошку фри посолить?" По моему взгляду, такие роли подходят Нурдину больше, потому что, несмотря на все, они для него натуральнее, чем играть какого-то норвежского дебильного Пера.

Ближе к обеду я свалил от этого представления и сигаретного дыма, сделал руки на турникетах и погнал по красной ветке. Даланда сидела на своей привычной скамейке и кормила голубей. После как я рассказал ей про первую школьную неделю и родной язык, она сильно погорячилась и сразу начала говорить об Интеграционном плане.

— А что такое Интеграционный план? — спросил я ее, и тогда она посмотрела на меня такими глазами, какими люди обычно смотрят на маленьких больных птичек.

— Твой папа что, даже об этом тебе не рассказывал? Он никогда не говорил, что шведские политики решили превратить всех иммигрантов в шведов?

Но хотя папа разочаровывает меня все чаще, я не люблю позволять другим опускать его как попало.

— Конечно, рассказывал, просто это было давно. Поэтому я забыл. Вот.

Даланду все равно не отпускало сомнение.

— А твой папа... Он вообще правоверный? Молится ли он пять раз в день? Часто ли читает Коран?

Я дважды кивнул, но потом почувствовал, что для одного раза слишком много вранья, и на третий вопрос качнул головой.

1. Упоминание о подобном жесте можно встретить в пьесах С. Беккета.
2. "Ничего не поделаешь" (*англ.*).

— Но и шведскую бурду он тоже не читает, — быстро добавил я, чтобы она не подумала, будто папа склонен к шведофилии. — Обычно он читает арабских писателей. И поэтов.

— Каких? — спросила Даланда, пережевывая апельсин.

— Омара. Он обожает Омара Хайяма. Раньше он читал и много других книжек, иногда даже шведских. Но сейчас читает практически только Омара.

Даланда так исказилась в лице, будто только что по воле несчастного случая проглотила кусок шведской кровяной колбасы.

— Омар? Ты разве не знаешь, что Омар не араб? Халим, дорогой, он же перс. К тому же пропащий алкаш. Твой папа что, тоже пьет?

— Только в особо экстремальных случаях, — сказал я и попросил себе апельсин. Она дала один, а потом несколько раз безмолвно рыгнула.

— Хочешь знать мое мнение? Мне кажется, твой папа из интеллигентов. Я думаю, он, как хамелеон, готов приспособиться к любой среде. Хочет начать с чистого листа, забыть свою историю и традиции. У нас в Ливии есть пословица, которая гласит, что интеллигенты во многом похожи на хромых верблюдов. Знаешь почему?

— Нет. Скажи.

— Потому что ни те, ни другие не способны совершить революцию.

Даланда позволила пословице засиять во всю свою красоту и только потом заговорила снова.

— Кстати, как продвигается твой дневник? Ты ведь не бросил его?

— Что ты, конечно нет. Я продолжаю писать. У меня хорошо получается.

Даланда довольно откинулась назад и стала бормотать о том, что вести дневник полезно для производительности мысли. А я сосредоточился на апельсиновых дольках. Когда она заснула, я подсел ближе, чтобы понюхать ее. Она говорила, что всегда такая сонная, потому что в жизни ей пришлось преодолеть много временных поясов. Сначала она родилась в Лулео[1], хотя родители ее приехали в Швецию из Ливии, давно это было, почти что в средневековье. Потом, конечно, родители раскаялись и отправили дочь расти вместе с родственниками, за Триполи. Там она встретила саудовского дипломата, который увез ее сначала в США, а потом в Австрию. Потом они снова вернулись в Швецию, и даже семья ее брата смогла подкупить себе вид на жительство. Все жили счастливые, пока шофер дипломата не врезался рядом с Карлапланом в такси, которым правила самая злая и красивая из всех шведских телок Стокгольма. Она прямо как увидела мужа Даланды в дорогом костюме и дипломатическом мерсе, так сразу вцепилась в него всем своим маникюром и уговорила на суперлюбовь без Даланды. Муж конечно повелся и даже написал заявление в полицию, потому что Даланда уперлась в дипкорпусе. Тогда ее для начала полечили в психушке, а потом отправили к брату в Шерис[2]. Даланда говорит, что до сих пор испытывает дрожь всякий раз, когда видит такси (особенно под вывеской "Такси Стокгольма").

Она проснулась от своего храпа и, думаю, заметила, что я перебрался поближе. Она заговорила о еврейском Шароне, который недавно отправился на прогулку к мечети "Купол Скалы". Главным образом чтобы

1. Город на севере Швеции.
2. Сокращенное название Шерхольмена.

повыделываться перед палестинцами, — и, конечно, в ответ началась потаскуха. Массы арабов уже погибли, и Даланда сказала, что их неудовольствие можно понять.

— Засиделся Шарон, вот все и возмущаются. Ты ведь знаешь, что именно он допустил резню в Сабре и Шатиле? Ты же знаешь о Сабре и Шатиле?

— Конечно знаю.

Даланда продолжала, она говорила, что Шарон — величайшая угроза миру, который пойдет псу под хвост, если он получит еще больше власти. А я пока вспомнил, что мама с папой раньше тоже говорили о Сабре и Шатиле. Ясное дело, я знаю. Тогда было забито, наверно, тысячи две арабов (в основном женщины, дети и немного пенсионеров), потому что евреи оккупировали, а потом, когда ООП разогнали, они впустили фалангистов. Все знали, даже США предупреждал. Я помню снимки искровавленных тел, кучи мертвых детей, беременная мама лежит мертвая (почти голая). Еще я помню парня, которого били до самой смерти, заместо лица у него остался мясной фарш и обломки зубов. Папа разозляется и говорит, что я слишком мал, но мама еще сильна, она отталкивает его вон и показывает мне много снимков, она говорит, что я в самый раз взрослый. Конечно, я знаю, но если никто не напомнит, то память покрывается плесенью.

— Ах ты маленький мечтатель! Тебе понравился апельсин? А наклейку с надписью "Яффа" ты на нем видел?

Я, понятное дело, сразу просек, что Даланда ни за что не купит апельсины из Яффы, и мы долго и вместе смеялись. Она еще держала меня за руку, и внутри было очень тепло.

Около четырех пришла девчонка, которая была замужем за племянником Даланды, и забрала ее. В желтой куртке на желтой майке и с желтыми лампасами на ногах (хотя сумка была скорее оранжевая). На меня она не смотрела, только взяла Даланду и сказала:

— Собирайся давай, домой пора.

Потому что мне показалось, что она немного неуважительно оборвала беседу, я сказал: "Бешуайа, бешуайа[1]", но девчонка как будто не слышала. Взяла пакеты Даланды и повела ее на парковку.

Когда я появился домой, папа и Нурдин уже покончили с репетициями. На столе возлежала гора из фисташковой чешуи, они смотрели "Кто хочет стать миллионером".

— Да это же ваш сосед! — заорал вдруг Нурдин и уставил палец на Бенгта Магнуссона.

Папа прослушал вопрос на десять тысяч крон и ничего не ответил. Я же заместо того, чтобы предаваться шведскому телику, откисал в ванне, погружался в пузыри и медитировал: надул ли нас тот штрих, с которым мы поменяли квартиры, или нет. Вы же знаете, все считают, что шведаки всегда честнее, чем мигранты, и немного поэтому, я думаю, мы ему доверились, когда он сказал, что соседом с нами будет телезвезда Бенгт Магнуссон. Папа покидал Шерис с большим напрягом и реально оживился, когда услышал про это и увидел на табличке его имя. Первое время папа часто мечтал о том, чтобы встретить Магнуссона у помойки или в лифте, но до сих пор мы даже тени его не видели. А табличка так и висела на почтовом ящике, и один раз папа сказал, что слышал за две-

1. "Спокойно, спокойно" (*арабск.*).

рью заядлый никотиновый кашель. Может, нас и надули, но может, и нет. Какая мне собственная разница, подумал я и долил горячую воду, потому что не заметил, как ванна остыла.

* * *

Сегодня в школе я нафилософствовал теорию про шведаков и чурок.

Скажем так, среди шведаков можно выделить три вида. Сначала шведаки первого сорта, которые разыгрывают из себя мафию, хотя и на свой шведский манер. Они носят фирмовые бренды, которые стоят дорого, но лейблы у них все равно меньше и видно их не так хорошо, как дорогие черномазые лейблы. (Чурки играют богатых честнее.) Шведаки первого сорта одеваются в мажорные наряды с родным "Лакосте" и никогда не носят дизельные джинсы, сделанные в Эстонии. Как пример приведу Филипа, который часто таскается в школу в белом поло, или Анну и Йессику, которые обувают только девчачьи сапоги и не щеголяют грязными волосами. Лену и Педера тоже можно сюда привести, они никогда не посмеют носить одежду, которая бросается в глаза.

И все-таки шведаков первого сорта довольно мало, потому что почти все в школе хипуются как могут, напяливают себе бродячие тряпки типа протертые кожанки и рваные джинсы из сплошных дыр. Волосы у них часто всклокочены как попало, а девчонки иногда еще носят квадратичные чулки и длинноногие юбки из красного бархата. Хочешь быть одним из них — говори, что русские пишут стихи лучше всех в мире и слушай "Боба Хунда"[1] заместо Снуп Догги Догга[2]. Плюс будь готов, когда Давид, Стефан и Карро с гордостью скажут, что купили себе вещи в секонде! Да, с ними ни один черный не станет путаться, ясное дело, разве что Мортен (потому что родители его из Польши). Николь тоже из этих, хотя хипари кидают на нее косяки, когда она вдруг припрется в школу на резиновых сапогах и в оранжевом типа комбезе (и у хипарей есть свои приличия). Я даже начинаю подозревать, что вся эта шайка только прикидывается сбродом, а на самом деле они всегда при лаве, и никто из их предков никогда не сидел в будке возле турникетов метро и тем более не работал дворником.

Третий сорт шведаков — это шведорасы из танцевального класса, хотя обычно их в школе как ни бывало, они вечно зависают в балетном зале и тренируют свою растяжку. Девчонки-танцульщицы все из себя маленькие и прически свои носят в узлах, а парней там всего штуки четыре или пять на весь класс, на школьных фотках они вечно лыбятся, как настоящие педики. Все танцульщики, когда ходят, расставляют носки в разные стороны, а спины у них прямые, как будто кол в одном месте торчит.

Черных в школе немного, но они тоже бывают двух розливов. Номер один, обычные чурки: мудаки, лохи, ворьё, недомерки. Как пример приведу Себастьяна и Анджело. В Шерисе хороший пример Алонсо, ведь это он научил Хуана, как покупать жвачки за пятьдесят эре в "Сладкоежке", чтобы напрятать полные рукава "сникерсов" или "райдерсов". Именно благодаря ему я научился вычислять в толпе копов под покрытием и переделывать пуливеризаторы в настоящее оружие. Номер два — это способные парни, которые зубрят экзамены, говорят умные слова и

1. "Боб Хунд" — шведская группа, играющая музыку в стиле панк-рок.
2. Снуп Догги Догг — американский рэпер, продюсер и актер.

никогда не делают руки на турникетах и не смываются. Как пример возьмем двойнецов Фуада и Фади плюс всех остальных иранцев, которые подмасливают учителей и хотят стать самыми зубными врачами или инженерами. Они думают, что их уважут, а на самом деле все учителя над ними смеются, потому что понимают их как заблуждение.

А вот сегодня я нафилософствовал третий тип мигрантов, совсем отдельный, шведаки его больше всего ненавидят: революционный мигрант, султан мысли. Такой видит всю ложь насквозь, такой не позволит себя обмануть. Примерно как Аль-Кинди[1], который взломал все коды и написал сколько-то тысяч крутейших книг про астрономию и философию, а еще — про музыку и математику. В прошлом полугодии я был полным лохом, но теперь, клянусь, я стану султаном мысли.

Сегодня на перемене Христо хотел показать, что он настоящий мигрант (подумаешь, папа его из Болгарии). Себастьян и Анджело и все, кто закончил школу весной, а Христо рядом с ними — просто ублюдок с футбольным шарфом "Хаммарбю"[2] и жвачным табаком. Теперь он уже учится в гимназии, которая в Осё, но все равно приходит в нашу игровую как самый старший тупан. Производит вид, что крутой, плюс хочет сделать впечатление одной телке из 9 "Б", с сосучим ртом.

Самая бычка началась, когда я унизил его в пинг-понг кривой ракеткой. Христо кричал, что я играю как баба, потому что кручу на подаче. Его уродина заржала, и я с ходу наехал:

— Что такое, очко заиграло? Ставлю двадцать крон, я тебя сделаю. Играем до трех.

Халим говорить не любит. А если Халим говорит, люди знают, что он не шутит. Иногда Халим чувствует, что люди смеются ему в спину. Но он не шутит и слов никому просто так не бросает. Когда Халим смотрит на Христо, раздается чужой смех. Халим оборачивается, но все равно чувствует, что смеются ему в спину. Ничего, ничего, этот болгарский перец еще запоет.

Христо сорвал с себя куртку и дыхнул на ракетку (можно подумать, это поможет!). Он кивнул — типа готов. Первое очко выиграл он, но потом три раза подряд — я. Утрись, падла!

— Гони лаве! Ты пролетел, с тебя двадцать крон!

Я кричал громко, пусть и в бильярдной услышат, что султан мысли выиграл свой первый бой. Христо положил ракетку на стол, улыбнулся своей телке, обнажил дохлый бицепс и начал корчиться мускулами. Я бы не повелся, но в игровой все вдруг засмотрели на нас, засмеялись и запоказывали пальцем, а телка его ржала, как кобыла:

— Будет тебе двадцать крон, сейчас получишь!..

Христо улыбнулся, он понадеялся, что я проиграю, потеряю контроль, опять стану как обычный чурка. Он хотел, чтобы я оказался таким, как все. Но я только улыбнулся, как тысячелетний фараон на золотом троне, будто меня обмахивают пальмами и у меня целый гарем телок, а живу я в роскошной пирамиде. Я медленно произрек:

— Слушай, парень. Мне жалко тебя. Все знают, что мама твоя сосет у скинхеда с кабельного.

Я не успел договорить, как Христо озверел и погнался за мной вокруг теннисного стола — с ракеткой, чтобы избить. Глаза горят злобой,

1. Аль-Кинди Абу Юсуф Якуб бен Исхак (ок. 800 — ок. 870) — арабский философ, врач, астроном, математик, автор первого метода дешифровки.
2. Шведский спортивный клуб.

бритый череп блестит под лампой дневного света. Почти в угол он меня загнал и пожалел бы об этом, если бы на его спасение не явился Алекс.

— Эй, парни, хорош! Break it up! А ну прекратили!

Он ухватился за Христо и потащил его взад. Христо вылупился на меня как убийца и кричал, что мне не жить. Я плевал на его слова, он больше в нашей школе не учится, этот дебил-переросток. Скоро я избежал от Алекса и его бздительного контроля и разрисовал звездами и полумесяцами все туалеты в коридоре, где кабинеты иняза.

* * *

По четвертому в новостях рассказывали о новых эффектах от прогулки Шарона к мечети "Купол Скалы". Сорок двое уже погибли: тридцать три палестина, семь арабских израильтянцев и два еврея. Это новая интифада, палестины жгут израильские флаги и палят из рогаток, солдаты льют слезоточивый газ, прятаются за углами, а танки въезжают прямо в дома и сносят оливковые деревья. В секторе Газа нереальный хаос: двух палестинских шоферов со "скорой" убили, и еврейский министр говорит, что они будут отвечать силой против силы, потому что с арабами иначе нельзя. Потом ведущая шведская телка с блестящими губками предупреждает из студии, что сейчас будут совсем жуткие кадры.

На экране показывают папу и сына. Видимо, израильские пули загнали их за бетонный блок, и сын плачет, а папа кричит, чтобы перестали стрелять. Он из отчаяния смотрит прямо в камеру и пытается защитить сына своим телом. Сын сворачивается, чтобы стать как можно меньше, но только уже поздно, пули уже попали, и папа плюс мальчик сначала вздрагивают, а потом затихают, и видно, как медленно течет кровь. Мухаммеду Джамалю Аль-Дуре было двенадцать, он умер, но его отец, возможно, еще будет жить.

Папа вздохнул и переключил канал. Его указательный палец запрыгал по кнопкам пульта, как по клавишам рояля. Сначала крупным планом мелькнул зеленый жук, затем какой-то русский жахнул кувалдой. Потом появился любительский видеоролик с датой в углу экрана: коричневая собака в темных очках раскрывала пасть под песню "Пет шоп бойз". Потом прогнозно-погодная девица предупредила о низком давлении, а телепродавец восторженно заорал: "My God, this is truly amazing!"[1] Ведущий программы забился в экстазе: "Are you impressed? I'm impressed!"[2]

Они пытались впарить кому-нибудь хитроумную швейную машинку, которую можно держать в маленьком ящичке и использовать когда угодно, например в поезде. Папа смотрел с интересом, его указательный палец больше не двигался. Я хотел уже было крикнуть: "Переключи!", но как тут крикнешь, если одновременно надо показать уважение.

Помню, в другое время в другой квартире, когда папа переполняется хаосом, диван стоит в углу и пахнет иначе — например, свежим хлебом. Жарко от духовки и от солнечного вечера, пока мама не говорит, чтобы открыли балкон, а то мы расплавимся. Потому что я играю в углу в динорайдеров, я помню, как папа бешено кричит, и мама прибегает в гостиную, а пальцы все в муке и тесте. Она стоит в дверях, ладони

1. "Боже мой, просто потрясающе!" (*англ.*)
2. "Вы потрясены? Я — да!" (*англ.*)

обращены к потолку, как будто перед молитвой, на лбу немного муки, она смотрит в телик, где показывают кадры из Бейрута, а там дом превращается в порошок, муку, пыль, и женщины плачут, и все молчат, и только папа говорит самые арабские ругательства. Потом в конце какой-то американос говорит что-то, мне непонятное, экран гаснет, а пульт долго летит в окно. На кухне уже меньше жары и больше тени, я помню, мама стучит по хлебам снизу, чтобы проверить их готовность. Мои ноги болтаются, пока я сижу на стуле, я помню, мама смеется и спрашивает папу, не пора ли уже оставить эту затею. Папино лицо наполняется смехом, и когда он вынимает батарейки, пульт у него в руках рассыпается, я помню, папа смеется еще громче и сдается. Он берет микросхему с проводами и дырявую панель для кнопок и сбрасывает всю эту дрянь в мусорную помойку, он говорит, что паршивое качество должно быть у таких пультов, которые даже легкого полета со второго этажа не выдерживают.

Когда я пошел к себе в комнату, папа наконец заговорил. И хотя я знал, что это неправда, что он валяет шута, должен признать, что на несколько микромгновений я охватился паникой и подумал, он это серьезно.

— Теперь ты знаешь, что́ подарить мне на день рождения, — сказал папа и кивнул на телик, где ведущий все еще показывал ящички с минимальной швейной машинкой.

Он улыбнулся, чтобы показать мне шутку. Хотел бы я ответить ему такой же улыбкой, но получилась дебильная гримаса.

— Я пошел спать. Спокойной ночи, — сказал я.

— Спокойной ночи, — ответил папа.

* * *

Я, кажется, сегодня на большой перемене видел в игровой пуховик Христо. Чтобы избежать нежелательного столкновения, я купил в киоске жвачку и пошел сидеть на трубе. Вообще говоря, это уже не совсем школьная территория, но пока Алекс не видит, всем по барабану. Раньше, пока не запретили, здесь все дымили, а девятиклассники копошились со своими телками в кустах. Теперь здесь можно просто сидеть и не париться. Я сидел, болтал ногами и чувствовал себя как Ибн Рушд, когда сначала философствовал о том, что надо быть целым идиотом, чтобы торчать в своей старой школе, после как ты уже перешел в гимназию. Затем я стал философствовать дальше — о том, как странно это получается, что туркам принадлежит так много шведских слов. Например, про киоск рядом от школы говорят "турецкий магазин", хотя хозяин его из Боснии. А еще говорят "турецкий душ", когда не моются, а только мажутся дезодорантом, и "турецкий шуз" про кроссовки на толстой подошве, хотя на самом деле такие носят все мигранты.

Был самый солнечный, почти летний день, пели птицы, щеки нагревались. Морриса я не видел, но окно его было немного открыто, и иногда из подпольной студии играла бас-гитара. Было клево, я не обломался даже, когда услышал, как идут шаги и шуршат штаны, и увидел Курре, который подошел и уселся рядом на трубу. (Не парься, приятель, Курре, конечно, огромный, но и труба тоже из стали.) От него пасло потным перегаром, пуговицы на фланелевой рубашке он застегнул так криво, что черное брюхо выпендрилось наружу.

Прошлой весной Моррис только появился в студии, он иногда тусовался с девятиклассниками на трубе, угощал сигаретами и типа клеился к девчонкам. Он заливал, что не всю жизнь писал музыку для телевидения, что раньше он лабал на бас-гитаре с такими группами, как "Тото" и "АББА". Понятное дело, ему все верили, потому что Моррис был по возрасту как мой папа и с длинными жидкими волосами. Плюс только реально дебильная группа может выбрать себе название "Тото".

Моррис сказал, что знает Курре еще с восьмидесятых, он был лучшим режиссером звука в городе. Потом Курре впарили палёное фуфло, у него был передоз и одозначно поехала крыша. Один раз он набычился на негра, который играл на маракасах для Брюса Спрингстина, и в клубе после концерта заехал ему по яйцам. В другой раз Курре наплел, что парни из "Эббы Грён" обчистили его кошелек, и придумал из мести поджечь их концертные костюмы. Приехала полиция, и ясное дело, больше Курре никто работу не предлагал. Тогда он пристроился на пароме в Финляндию, он там занимался караоке, пока однажды ночью не уснул возле колонки и не проснулся от нереального звона, потому что голова его наполнилась шумом в ушах. Спустя небольшой перерыв он получил работу в школе — за то, что зарплата его будет ниже, чем у остальных уборщиков.

Курре все равно был счастлив, сидел себе на трубе и жиром покачивал.

— Говно на входе — говно на выходе, — повторял он, улыбаясь во все губы и прислушиваясь к почти неслышной музыке из студии.

В Шерхольмене народ бы сказал о таком, как Курре: "Нет, этот негр, мать его так, просто придурок ненормальный". А здесь, на Сёдере[1], люди скажут скорее как Моррис: "Что ни говорите, но этот Курре очень оригинальный тип". Оригинальный? Вроде как джинсы "Левис"? Давайте обзывать вещи своими именами: негр этот больной на всю голову, хуже не бывает. Зарплату ему явно переплачивают, потому что глухой он как пробка и все чаще залипает в школьных коридорах. На прошлой весне это случалось немного, иногда, а теперь я уже два раза от начала полугодия видел, как он встанет и стоит несколько минут будто отмороженный, как последняя статуя, даже плавниками не шевелит, хоть семиклашки вокруг него шепчутся и пальцами показывают.

И все же в Курре есть что-то немного могущественное, разрази меня понос. Не знаю что, но когда я вижу, как он вот так залипает, я подгребаю и бужу его. Хлопну легко по плечу, и вот он уже очнулся, уже улыбается, продолжает уборку и гонит опять про старые концерты, и шепчется со своим невидимым дружбаном, которого он называет Плюра. Это у него такой типа словарный понос, вроде как было сегодня на трубе, пока я выдувал из жвачки розовые пузыри и философствовал.

— ...нет... никаких правил... Это Плюра еще в Эскильстуне сказал... по-моему, в восемьдесят четвертом... да, точно... а потом еще... никаких правил, одни только принципы... никаких правил, говно на входе — говно на выходе...

В конце перемены Кристофер прошел от киоска мимо нас. Курре сел на измену и ломанулся было бежать — с таким шорохом, что я сам чуть не рухнул с трубы. Но Кристофер угостил нас лакричными конфе-

1. Сёдер — сокращенное название Сёдермальма, крупнейшего из стокгольмских островов, который принято считать районом творческой интеллигенции. Здесь располагается множество дизайнерских магазинов и галерей.

тами и рассказал, что Христо пообещал всем при следующем шансе размазать меня на стене. Халим подумал: "Пусть только попробуют, падлы, пусть только сунутся, изведу всех до самой мамы. Срал я вам всем на завтрак, обладал я вас сидя и лежа!"

Ничто Халима не тронуло, он так и остался сидеть на трубе, когда Кристофер побежал на урок (ничто даже коснуть его не могло).

Курре стоял уже далеко, прятал свою тушу за тонкой березкой. Он высматривал окошко студии Морриса и отбивал ногой в такт. Наверное, даже немного себе подпевал. Потом Моррис его, конечно, заметил и закрыл окно, потому что, думаю, он и сам устал от этого идиотизма. Раньше он иногда разрешал Курре потусоваться в студии, но потом заметил, что после этого исчезают шнуры и диски. А один раз Курре угораздило и он присел на очень ценную бас-гитару (нечаянно) — и она, понятное дело, разделилась на две части.

* * *

Я сижу за столом с тетрадью, а в ушах до сих пор раздается шум эха от разбитого стекла. Папа замел все осколки и снова уселся в кресло. На полу — пакет с вином. Папа не обращает значения на мое раздражение и продолжает читать вслух Омара Хайяма.

— Вот послушай, Халим...

Сегодня после школы я заехал в наш магаз. Самир грелся на табуретке под солнышком и читал кроссворд, а дырявый велик стоял на тротуаре, картоновая вывеска уже немного загнулась. Не знаю почему, но мне внутри было жаль смотреть на него. Все ценное у него отобрали, и вот он теперь стоит как рекламный столб около магазина, где продается всякая дрянь, — заместо того, чтобы катить по дорогам на красный свет и тормозить на гравии с широким заносом. Со своей стороны Самир выплюнул на тротуар огромную плевотину.

В магазине папа уже распаковал киндер-яйца, купленные по спеццене, потому что срока годности от них почти не осталось. Сейчас папа лепил ценники на новые рубашки-поло от "Ральфа Лорена", а Нурдин сидел и смотрел. Я сразу понял, что случилось событие, потому что папа разрешил Нурдину курить в магазине.

— Как дела, Нурдин? Как прошло?

Нурдин потеребил себя за родинку около рта, было видно, что он готовится распахнуться в широком жесте на тему того, как прекрасно прошли его актерские пробы. Ясное дело: он использовал каждое слово по максимуму, чтобы доказать свой крутейший актерский талант. Когда он закончил, все промолчали несколько секунд. Потом весь театр встал и захлопотал в ладоши, и заликовал, а режиссер не выдержал и закричал "браво". Вся публика разревелась слезами, другие актеры стали поздравлять его с назначением. А конкуренты услышали, какой восторг, похватали свои бумажки и погнали в метро, чтобы избежать унижения. Даже рабочие сцены прослезились, потому что его отрывок был нереально крутой!

Нурдин сел обратно на стул, а папа посмотрел на меня.

— Короче... — сказал я.

— Не дали мне эту роль.

— Почему?

— Тому, кто никогда не работал в театре, Халим, этого не понять.

— Но почему?

— Такова жизнь. В этом мире почти все зависит от связей. Если ты никого не знаешь, то... Никто никогда не рискнет взять незнакомого человека.

Я подумал, вот шведопяты, расисты поганые, и пока папа раскладывал зажигалки по цвету, я попытался утешить Нурдина.

— Да забей! Какая разница? Подумаешь, какая-то дебильная пьеса. Дебильная пьеса и роль дебильная. Ты должен играть эту... как ее? Которую ты в Бейруте играл. А потом — по всему миру.

В глазах Нурдина словно заново зажглись лампы.

— "Годо", "В ожидании Годо". Ты прав, вот это настоящая драма. Я тебе рассказывал, как мы гастролировали по всей Европе? Ты знаешь, что Ингмар Бергман видел нас в Париже? Да? Рассказывал? Ему так понравилось, что он пришел потом за кулисы и благодарил меня лично! Правда! Он даже много чего у нас позаимствовал, когда ставил "Годо" в Драматене[1].

Я подумал, что этот Бергман самый ничтожный из всех плагиантов и Драматену дико не повезло, что Нурдин у них не играет. Тем временем Нурдин поднялся со стула, расправил спину и заговорил во весь свой театральный голос:

— Ты прав, Халим! Мне бы стоять на сцене, играть Эстрагона! Эта роль для меня. Вот так: "Pale for weariness. Of climbing heaven and gazing on the like of us"[2].

По-английски Нурдин говорил вполне превосходно, как старый аристократ, который пьет чай маленькими глотками и живет во дворце. Я сказал, что у него до сих пор остался акцент от театрального училища в Лондоне, и несколько секунд из самых глубоких глубин Нурдина сияла улыбка. Но потом все кончилось, и он снова сел. Некоторое время продолжалась тишина.

— Ты не знаешь, Халим. Тебе не понять.

— Ты о чем?

— Тебе не понять, что происходит с человеком, который живет без работы месяц за месяцем, год за годом. Ты загибаешься. Становишься все меньше и меньше, как засыхающий плод. Превращаешься в ничто, а потом... потом умираешь.

Он яростно затушил сигарету об пепельницу, и наши с папой взгляды снова пересеклись. Мы оба подумали об одном: она нас оставила, я помню, но не хочу помнить, и никто больше об этом ничего не сказал.

Вечером папа принес домой две рубашки-поло: одну "эль", одну "эм". Если смотреть невнимательно, то можно не заметить, что всадник на логотипе скачет в другую сторону, и тогда майка кажется как родная. Непонятно, почему папа все равно принес "эм", если даже "эль" на моих мускулах сидит плотно.

Когда я натянул рубашку и вернулся на кухню, я вдруг подумал, что папа становится понемногу не таким, как раньше. Сначала он поднялся на цыпки, чтобы дотянуться до новой бутылки с оливковым маслом, а потом, чтобы прочитать этикетку, вздел очки на лоб. Пар клубился от плиты, майка повисла у него на плечах, и зеленые треники тоже. На

1. Драматен — Королевский драматический театр, крупнейший театр Швеции.
2. "Не потому ли ты бледна, что глядючи на нас свой путь свершать должна" (*англ.*). Эта реплика Эстрагона — слегка измененная цитата из стихотворения П. Б. Шелли "К луне".

майке было надписано: "Just another source of inspiration"[1], буквы J и C красные (реклама "Джей Си").

— У Нурдина такая живая фантазия, — сказал папа.

Но я его толком не слышал, потому что в голове у меня сменилась картинка, я видел, как папа стоит против света, речь его уже закончилась, но он все еще смотрит лицом к публике. Вся площадь теснится в толпе, аплодирует и кричит: "Буш убийца! Буш убийца!", машают плакатами и флагами Палестины. Папа стоит на цыпках, перегнувшись через перила, подбадривает людей и тоже хлопает руками, а мама сидит рядом на инвалидной коляске, солнце светит на Плитку по полной программе, и мама пока еще может сама поправить чадру, но хлопнуть у нее хватает сил только пару раз в самом начале. Потом мускулы отказываются. Халим смотрит на папу, у которого, наверное, самые сильные руки в мире, потому что никто не хлопает так громко и так долго. По-моему, это как град в солнечный день или как африканский барабан, я пытаюсь тоже так хлопать, я очень стараюсь, пока ладони не начинают щипать и краснеть, мне больно, но папа не замечает, он хлопает и хлопает: "Хлоп-хлоп! Буш-Буш! Хлоп-хлоп! Убийца!" У меня слишком маленькие руки, ему даже в подметки не годятся.

За едой папа выпил вина, а около семи засел в кресло. После телешоу "Своя игра" он начал читать Хайяма, и я понял, что вечер будет долгим. Папа читал про звездные небеса, про то, что надо пить больше вина и мечтать заместо того, чтобы страдать несчастьями. Все это время я лежал в своей кровати с учебником физики в роли подушки.

Из кресла затрещало, я подробно знал, как папа встает, а ноги его не слушают, губы пересохли и треснули до крови, очки съехали на край носа. Растягивая слова, он сказал, что вино — это вечная жизнь и прекрасное счастье молодости.

А все этот проклятый Омар. Раньше, я помню, папа читал другие книги. На старой квартире лежат огромные горы книг, и мама иногда теряет терпение, и это понятно, потому что даже в шкафу и в сумках на чердаке и на балконе — книги, и через несколько времени мама взрывается и выгоняет папу на барахолку, чтобы он продал их, потому что места уже нет. А как только папа уходит, она говорит мне, что Отман думает, будто книгами можно жить, поэтому он такой тощий. Потом папа возвращается, мы почти сталкиваемся в коридоре, и, понятное дело, мне не надо кричать "уалла!"[2] или клясться честью, что я не сдам папу, который прячет новые купленные книги на шляпной полке. Мама совсем не понимает, почему и Халим, и папа смеются в разных комнатах, когда она говорит, как прекрасно, что у нас стало больше места.

Вдруг по квартире раздался дикий звон. Так бывает, когда вываливают помойку со стеклом. Потом наступила глобальная тишина. Мы с папой от звона одновременно ломанулись на кухню. На полу лежала лампа от потолка, она разбилась на маленькие блестящие дребезги. Кругом стоял полумрак, и единственным доказательством, что лампа совсем недавно висела на крючке, был обломанный кусок черной пластмассины. Папа сказал, что это не удивительно:

— Лампа была слишком тяжелая для такого крепления. Я сразу сказал Мустафе, как только мы ее купили: этот пластик такую тяжелую лампу не выдержит. Ну да ладно, ничего страшного.

1. "Новый источник вдохновения" (*англ.*).
2. "Клянусь!" (*арабск.*)

А я все равно не мог оставить мысли о люстре, которая висела себе отвисала год за годом, а потом в один прекрасный день сдалась и разлетелась на стеклянные дребезги. Папа сказал, не беда, тихо запел и достал из чулана щетку с совком.

Теперь он опять сидит в кресле, но заместо Хайяма у него по телику работает передача про ска́чки.

* * *

Сегодня по пути в школу я листал газету "Метро" и увидел маленькую заметку, которая подтверждала слова Даланды про начало Интеграционного плана. Между статьей про веганов и рекламой трусов журналисты попытались упрятать новость, что многие домовладельцы обещают выкинуть на улицу всех мигрантов, у которых на балконе есть спутниковая антенна! Среди прочих упоминались АО "Свенска Бустедер" и "Дротт", которые рассылали письма с угрозами. И вот мигранты организовали контрорганизацию и провели демонстрацию на Плитке, потому что, ясное дело, они вам не какие-нибудь суки переметные, чтобы мириться с домовладельцами, которые решили поиграть в расистов. В той же газете был репортаж, что полиция скоро ожесточит меры, направленные против нелегальных таксистов. Ясное дело, я понял, что это тоже нападка на нас, мигрантов, потому что когда это видано, чтобы шведорасы занимались нелегальным извозом.

Я сохранил газету, хотел показать папе. Это красноречистое доказательство, что политики делают все возможное, лишь бы превратить мигрантов в шведьё. Пока я тайком проникал во все новые и новые туалеты и разрисовывал стены и зеркала звездами и полумесяцами, я клялся, что всегда буду против шведофикации. Никогда не стану есть их тухлые анчоусы под рюмку шнапса в Скансене[1] или отплясывать в деревянных башмаках "Маленьких лягушат" вокруг их долбаного майского шеста. Я никогда не позволю политикам запретить шузы и майки в обтяжку или повысить цены на гель для волос. Когда Даланда говорила со мной, я ей поверил, но все же не думал, что признаки так сильно налицо.

В столовке, как обычно, я сел за отдельный столик — главным образом чтобы пофилософствовать. У меня был немного плохой аппетит и болела голова от испарений фломастера. Скоро ко мне подсел Мортен с подносом и спросил, не хочу ли я сока. Пока он ходил за соком, я подумал, что все-таки он нормальный парень, хотя дома его стригут криво и он вечно тусуется с какими-то мутными телками. Ну а поскольку он заблудший поляк с пирсингом на брови, который любит значки "Депеш мод", я почувствовал, что нужно возбудить в нем жажду знаний об Интеграционном плане.

Когда он вернулся с двумя стаканами сока, я протянул ему газету "Метро" и сказал, что он должен прочитать эти статьи. Мортен их прочитал, и я понял, что он проникся. Но только я собрался говорить ему об Интеграционном плане, как он посмотрел на выход и стал лицом как маленький мальчик.

1. Скансен — стокгольмский этнографический музей под открытым небом. В Скансене часто проходят народные гулянья и отмечаются национальные праздники.

— Знаешь... Мне пора, — пробормотал он и двинулся с подносом к другому столу. Я сразу все понял. Христо собрал десять чуваков, Себастьяна и Анджело из своего старого класса — тоже. Все сели по кругу вокруг меня, я заметил, что многие были в куртках с эмблемой "Хаммарбю". Христо удовлетворительно сказал:

— Ты уже подумал о своем поведении?

Прошло немного мгновений, пока он прикидывал, как бы покрасивше начать.

— Прикольная у тебя бейсболка. Выходит, ты у нас фанат "Рейдеров", да? Ну ты и пидор.

Христо харкнул плевотиной и чуть было не схватил меня за бейсболку, но я все-таки увильнулся и сунул его руку в картофельное пюре, потом быстро кинул бутером в Себастьяна. Я почти уже обрадовался, что все получилось. Но Анджело зашел сзади и вцепился полицейским ухватом.

— Потащили его! — закричал Христо и вытер пюре об мою футболку. — Тащите отсюда это сыкло.

Ноги и руки мне обхватили стальным сцеплением, их было больше, чем я думал: несколько восьмиклашек, которые сидели за столиком рядом, тоже им помогали, а еще, кажется, Стив, Самуэль и Андерс. Кто-то прокричал:

— Дайте этой суке, дайте ему!

Они донесли меня до выхода, но я все время показывал дикое сопротивление, рвался и кричал, чтобы отпустили, иначе пожалеют. Буфетчица все видела, но даже пальцем не повела, прямо как в седьмом было. В коридоре я едва не перепугался, потому что их было так много и, кажется, они затеяли капитальную разборку со мной. Поэтому я бешено закричал, чтобы они отпустили, потому что иначе я реально потеряю терпимость.

— В сортир, — сказал Христо. — Тащите его в сортир.

Унитазный дух и мои самые громкие угрозы их, кажется, совсем не запугали. Но вдруг все остановились, потому что из сортира с ведром, тряпкой и моющим средством в руках вышел Алекс. Он стал, как статуя, только его кадык ходил вверх и вниз, как какой-нибудь лифт.

— Во двор! — заорал Христо, пока Алекс не успел ничего сказать. — Во двор его!

Но если вы когда-нибудь пытались стащить Халима по лестнице, вы уже знаете, что это быстро становится тяжело (по причине его большой мышечной массы). Султаны мысли ловят каждый шанс, вырываются и плюются, а когда вы стараетесь вытащить их на улицу, правая нога освобождается. Два мощных удара в грудную клетку, одна нога на земле, другая рука свободна, и сейчас вы получите третий, прямой удар в челюсть.

Я согнул колени в ногах и обрушил всю свою мощность на Себастьяна, плюс треснул по зубам восьмиклашку — и помчался со школьного двора на пятой скорости. Кровь стучала в щеках, а в зеркале лифта я увидел, что над бровью у меня остались следы двух маленьких зубов. И еще в этой разборке я, видимо, потерял свою газету.

* * *

Много раз мы собирались взять машину и съездить в Шерхольмен. Но все время папа сожалел и говорил, что вот именно в эти выходные ему

надо немного поработать, или там убрать на складе, или починить кассу, или покрасить прилавок. Но сегодня мы наконец отправились в путь, потому что папа согласился, когда я напомнил, что самые дешевые лампы можно купить на барахолке в Шерисе.

После завтрака я поторопил папу, и к Нурдину в общагу мы приехали на пять минут раньше. Но Нурдин уже стоял на тротуаре вовсю готовый, через плечо перекинут серый пиджак, и лысина подробно зачесана волосами. После короткой схватки с кривой дверью со стороны пассажира он уселся на переднее сиденье, с громким смехом, и я подумал: "Отлично, он тоже все понял".

На Лильехольмском мосту солнце светило жарко и мотор перестал подозрительно жужжать. Я сел посередине и поставил кассету с Умм Кульсум[1]. Нурдин подпевал, кривлялся с пачкой "Мальборо", как в микрофон, и отчаянно махал каким-то блондинистым морковкам на ауди. Потом опустил стекло и крикнул:

— Шве-дки! Конфе-тки!

Папа сидел прямо, держался за руль, который казался немного слишком большим для него, и громко смеялся всем шуткам Нурдина. Много раз я подумал: "Так и надо, пусть все так и будет, наконец они поняли, мы на верном пути. Трясемся в нашей ржавой развалюхе, и плевать нам на вашу Йотгатан[2], и в гробу мы смотрели ваш вонючий "Хаммарбю", и подавитесь вы своими ауди. Можете засунуть весь этот Сёдер в самую глубину своей бледной задницы!"

Когда мы припарковались в центре Шерхольмена, было типа полдесятого, и у входа на барахолку царил нереальный хаос. Мы проскочили без очереди и не стали давать за вход десять крон, потому что папа объяснил, что мы в ближнейшем родстве с иракцами, которые всегда арендуют столик 345.

На барахолке мы разделились и начали кружить вокруг прилавков. Папа хотел найти новую лампу, а Нурдин — новый мобильник. Я же искал идеи для подарка папе на день рождения. Возле прилавка с теле- и видеотоварами меня посетило гениальное озарение: конечно же, папе в подарок нужна спутниковая антенна, лишь бы она была достаточно свежекраденой, тогда вряд будет стоить дорого. К сожалению, чувак за прилавком сказал, что у них свежекраденых тарелок нет, плюс, если они появляются, их раскупают сразу. Он посоветовал мне мотануться на Сёдер, там кореш его дяди нашел спутниковую тарелку в электротоварах рядом от Осё. Я знал этот магазин, там я купил мою "Супер нинтендо", давно это было — кажется, в седьмом я тогда учился.

На обратной дороге рядом с индусами, которые торговали пиратскими фильмами, я прошел мимо столика 345, где Маджид собственноручно сторожил кассу. Там продавали скалку, горелые кастрюли, пакеты "лего", плюс старинный мультфильм про доктора Снаглса. У Маджида была маленькая отвертка, которой он пытался вскрыть поцарапанную сумку.

— Халим! Иди сюда, не надо покупать, просто посмотреть. Чемодан нужен? Или новый шланг для пылесоса?

1. Умм Кульсум (наст. имя Фатьма Ибрахим) — египетская певица, солистка Каирского радио.
2. Йотгатан — одна из главных "ночных" улиц Стокгольма, где расположено множество модных баров и ресторанов.

Хотя лет ему типа девяносто, дома у него не все и сидит он на инвалидном кресле, но глаз у него все равно зоркий и может уговорить зубы кому угодно. Я хотел уже пойти дальше, но вдруг увидел красную феску навроде тюрбана, которая лежала немного под коробкой с игрушечными солдатиками. Тканью она была из нежнейшего шелка, а фирма называлась "Жасмин" (как та телка из "Лампы Аладдина"). Маджид закатил глаза и начал по привычке разводить покупателя:

— Жемчужина наших ассортиментов. Сам видишь, ни разу не использованная. Совсем с иголочки. Для тебя, дорогой, всего за тридцать крон. Только для тебя.

Я сторговался за десять и гордо пошел показывать остальным. Папа запал на люстру со многими хрустальными фонарями, издалека я увидел, как он приступает к делу. Если папа решил, никто не сможет остановить его поперек пути. Во всяком случае, не семья шведотёпов, которые арендовали столик на барахолке, наверное, первый раз в жизни. (Даланда называет таких праздными ландышами.)

Я смотрел на папину разминку и думал, что иногда он бывает совсем как прежде. Папа издевательски хохочет, когда слышит первую цену. Затем указывает на все сто недостатков люстры, не упускает ни единственной царапины, ни самого чистого пятнышка грязи. Потом в самом разгаре он прекращает торги и называет предложенную цену оскорблением чести. Он идет прочь с криком про то, что шведам следует понимать разницу между барахолкой и пупермаркетом. (Он всегда нарочно говорит "пупермаркет" или "супер-пупер-маркет".) Когда они зазывают его обратно, он еще пару секунд и пару шагов изображает глухого. Затем возвращается и называет свою — первую и последнюю — цену. И даже когда папа достает пачку купюр, внутри которой невидимо спрятаны двадцатки, они все равно не понимают, что их надули.

Потом мы с папой перекусили кебабами с пюре, возле выхода. Одновременно мы заметили Нурдина, который пытался сбить цену с "нокии" у какого-то югослава. Но с югославами нужна другая стратегия, на их чувствах играть бесполезно. Я показал папе свой свежекупленный красный тюрбан, а он в ответ стал — типа спортивного комментатора — рассказывать, как торгуется Нурдин.

— Какая непростительная ошибка — нельзя так долго рассматривать одну и ту же модель! Надо делать вид, что тебе совсем не интересно.

Нурдин сравнил разные телефоны, помычал, когда увидел, что серийный номер стерт, и назвал первую цену.

— Слишком рано, — сказал папа. — Гиблое дело.

Нурдин с небольшим презрением нацарапал в блокноте свою новую цену, на что югослав ответил собственными цифрами. Они обменяли свои предложения со злобными улыбками, и было нетрудно понять, что разница слишком велика, чтобы они могли принять друг друга серьезно. Но Нурдин уже нажал на газ, он стал дико размахивать руками и тыкать указательным пальцем. Продавец быстро выдернул у него свой телефон и положил обратно под прилавок.

— Нурдин способный актер, — сказал папа. — Но торговаться он не умеет. У Самира и то лучше получается.

Нурдин так и остался стоять у прилавка, но через десять минут они решили устроить перерыв. Нурдин угостил югослава сигаретой, и они обсудили матч английской лиги, который показывал продавец мебели. После перекура они перешли к еще более жестоким переговорам, в ре-

зультате которых Нурдину удалось наконец купить телефон. (Причем и Нурдин, и югослав много раз повторили, что оба они дико недовольны.)

Обратно в машине Нурдин попробовал телефон папиной симкой и увидел, что половина дисплея ни нуля не показывает. Звонить и разговаривать еще можно, а вот эсэмэсы писать и заносить номера в телефонную книгу много сложнее. Правая сторона экрана была какая-то мутная, и, когда Нурдин включил телефон, заместо двух рук, которые обычно тянутся друг до друга внутри каждой "нокии", протянулась одна левая. От правой остались только несколько точек. Папа захотел утешить Нурдина и напомнил ему, что главное, чтобы телефон работал:

– Да ладно, не переживай! Подумаешь, экран. Раз сам телефон работает, значит... К тому же разве это не символично... я про руку. Правда, Нурдин, ты только вникни! Откуда этот сюжет. Мы протягиваем руку и... то-то же...

Я понял не совсем, но папа был таким довольным, как будто здорово пошутил. Чтобы утешить Нурдина еще сильнее, я сказал:

– И вообще нельзя доверять народу, который насилует и убивает своих соседей.

Папа с Нурдином замолчали и переглянулись друг другу. Я заметил, что папа сжал зубы.

– Ты что сказал, Халим?

– Ну, нельзя доверять...

– От кого ты такого набрался?

– Чего?

– Это Даланда тебе такое внушает? Я же запретил тебе разговаривать с этой сумасшедшей старухой.

Папа уже многие дни и годы не раздражается, и вдруг это произошло так неожиданно. Я даже не знал, что ответить. Сейчас, когда я все это записал, я вспомнил, что на самом деле папа произнес – по-арабски – еще более ужасное слово, чем "старуха".

Папа нажал на газ, и мы торопливо отчалили с парковки. На выезде папа сказал, что Даланда чокнутая фундаменталистка. Я не собирался спорить в машине, тем более что с нами ехал Нурдин. Я хотел найти в бардачке какую-нибудь клевую кассету. Но как только я вставил кассету с Файрузой, папа сделал "стоп" и заместо Файрузы поставил "Винил 107". Я что, я ничего. Нурдин решил немного порадовать папу и занялся проверкой звуковых сигналов. Но и они тоже работали не совсем.

Папа ехал быстрее, чем обычно, и около Бредэнга мы чуть не врезались при обгоне. Но папа бибикнул так, что почти спугнул прочь с дороги польский автомобиль с прицепом.

* * *

Сегодня утром я нашел новую статью, которая опять доказывала, что Интеграционный план уже на полном скаку. Шведские политики не дают мигрантам вид на работу, чтобы не строить новые мечети, а королева Сильвия одновременно говорит, что хорош уже палестинским мамам использовать своих детей, чтобы кидать камни в израильских солдат. Все взаимно связано, а кто не видит, тот слеп, как летающая мышь (Халим – настоящий собака-поводырь).

Чтобы воплотить мечту, нужны миллионы

Строительство мечети в Бутчюрке недалеко от Стокгольма приостановлено. Заложен фундамент, возведена часть надстройки – но денег нет. Турецкое общество исламской культуры, по заказу которого было начато строительство, задолжало подрядчику около четырех миллионов крон. Общая стоимость проекта, согласно полученным сведениям, составляет двадцать пять миллионов крон. Первоначально предполагалось, что в качестве подрядчика выступит турецкая фирма. Однако турецкие рабочие не получили разрешения на работу в Швеции, а услуги шведских строительных компаний обходятся гораздо дороже. Чтобы завершить строительство мечети, Турецкое общество исламской культуры вынуждено обратиться к членам своей общины с просьбой о пожертвованиях.

Долго я стоял перед зеркалом, чтобы выбрать между привычной бейсболкой и новым тюрбаном. В тюрбане я производил нереально могущественный образ. А когда в лучах солнца я пошествовал к школе, стало только круче, и мягкая красная ткань лелеяла мой лоб.

Первый урок у меня проходил в одиночестве с Алексом, потому что он должен был дополнительно рассказать мне о Холокосте. Думаю, Соня просекла, что документальностью меня не запудришь и что заместо фильма я крошил кусочки ластика в кучку, чтобы атаковать Кристофера. Для начала Алекс взял паузу, потому что из громкоговорителей раздался сигнал, а за ним эхом прозвучал голос директрисы. Она объявила, что вандализму пора положить конец, и с этой целью из туалетов теперь будет изъято мыло: "Туалетное мыло, очевидно, стало роскошью, которой многие злоупотребляют".

Алекс посмотрел на меня, а я в ответ не спеша почесал глаз средним пальцем. Ясное дело, он не заметил, как я его унизил.

Потом Алекс стал говорить о шести миллионах жертв, о газовых камерах, о крематорских печах и товарных поездах. Он показывал на проекторе фотографии женщин и детей, большую комнату с кучами выбитых золотых зубов и вырванных волос. Но только поздно, потому что Даланда уже рассказала мне, что почти все цифры немного раздуты и главным образом нужны для пропаганды Израиля. Плюс погибли тогда не только евреи, но и массы поляков, цыган и педиков. А всех, кто теперь говорит правду, сажают в арест, как Ахмеда Рами. Понятное дело, я не повелся и даже картинки с братскими могилами не стал принимать близко в голову. Заместо этого я просто отключил звук и направил свою мысль против политиков, которые остановили строительство мечети в Бутчюрке. В конце урока Алекс сказал, что с этого дня будет пасти меня с дополнительной бдительностью.

– Не надейся – ты от меня так просто не отделаешься. У Кристофера своя жизнь, у тебя своя. Каждый сам за себя. О'кей? Если мы с тобой сейчас поднажмем, все будет путем, я уверен. Ты наверняка получишь "удовлетворительно" по всем основным предметам, если только бросишь все силы на учебу. Знаю, это звучит немного как "make-me-proud"[1], но я серьезно. Обещай, что будешь стараться!

Я кивнул – главным делом потому, чтобы поскорей свалить из спецкабинета[2] с его дебильными зелеными стенами и партами, которые Се-

1. "Я хочу гордиться тобой" (*англ.*).
2. Кабинет воспитательной работы.

бастьян и Христо расписали еще в предыдущем году. И прямо в тот момент, когда я уже выходил в коридор, Алекс крикнул:

— Да, слушай, клевая шапка!

Понятное дело, он дико завидует моим вавилоновским корням. Примерно как Кристофер, который тоже завидует, но скрывает это и потому спросил, не ограбил ли я по дороге в школу какую-нибудь тетку. Он понял, что девчонки смотрят на меня более теплыми взглядами, и заявил, что это у меня женский убор, он сказал, что у его бабушки точно такой же, только синий. Я улыбнулся ему улыбкой Хассана Второго, чтобы показать, что я выше, и пошествовал далее как ни бывало.

После школы я все равно снял шапку, потому что прическа дико вспотела и парфюмерный аромат прежнего владельца приставал что есть сил. (Маджид, понятное дело, соврал, что шапка с булавочки.) Я рванул в банк, снял все деньги, которые заработал летом, и пошел на Медис[1]. Там несколько русских держат магазин со свежеворованным барахлом, хотя они, конечно, это скрывают, и всем говорят, что оно дешевое, потому что бэушное. Теперь русские установили новую сигнализацию, чтобы магаз казался еще легальнее. Но все равно на многих видаках можно разглядеть затертые надписи, а на компьютерном мониторе в углу до сих пор написано "Собственность Бромской гимназии". Кроме морковки за кассой, в магазине был только я сам и шведопятский папаша с двумя детьми.

Прямо как только я вошел, чувствую, кассирша эта глядит за мной в оба. Вид у нее был немного блудливый, кроме очень красных губ на лице росла бородавка. Она быстро сняла трубку, но я-то не лох и сразу понял, чего сейчас будет. Около полминуты спустя нарисовался коп в форме охранника. Он поздоровался и прошелся по магазину, чтобы играть мускулами и показывать крутого.

Но на этот раз Халим удержал себя в руках. Насрать на копа, пусть себе зырит, ты здесь для того, чтобы купить тарелку, так что выбирай подешевле, тащи в кассу и шурши бабками, чтобы знали они, с кем имеют дело, не с воришкой паршивым, а с настоящим революционным мигрантом.

Я нашел несколько антенн и выбирал из них довольно долго. Потом взял самую дешевую (потому что знал, на другую мне не хватит). Она была клевая, даже не очень поношенная, только несколько пятен от синей краски на шнуре и на вилке. Потом я немного посмотрел на удлинители и протиснулся мимо папаши с детьми.

Возле прилавка я почуял запах победы. Сучка за кассой удивилась, а коп не знал, куда себя деть, когда я надменным шведопятским тоном произнес:

— Заверните, пожалуйста.

Кассирша сразу стала лапочкой, приволокла со склада картоновую коробку от видеокассет, завернула ее в подарочную бумагу и перевязала кучерявой ленточкой. Потом запихала все в большой пакет, мило улыбнулась и даже пожелала мне приятного просмотра. Все было так замечательно, что по пути к выходу я даже немного раскаялся. Но потом вижу, коп все-таки начеку. Тогда я раскаялся о своем раскаянии, вышел за дверь, перешел дорогу и равнодушно уселся на остановке. Понятное дело, коп обломался и двинул к "Рингену"[2], поджав хвост между ног.

1. Сокращенное название площади Медборгарплатсен.
2. "Ринген" — торговый центр в районе Сканстуль.

И тут из магаза вытряхнулся шведский папаша с нереально огромным пакетом. Дети побежали вперед, а потом испуганно остановились, потому что запиликала сигнализация. Коп ломанулся обратно. Папаша тем временем с красным лицом ходил мимо турникета туда и сюда, и каждый раз у него пищало. Минут пять они все искали, пока не нашли у папаши в кармане маленький ценник с металлической пластиной. Папаша орал на детей, они не понимали о чем, а Халим шел себе к метро. Иногда люди видели, как Халим опускает руку в карман и щупает удлинитель для антенны в упаковке без ценника и как лицо его озаряет улыбка.

* * *

Дни шли медленно, ждать было дико тяжело. Многие разы я открывал шкаф, только чтобы немного пошуршать пакетом и подумать: скорее, скорее бы. Сегодня наконец время пришло. Вечер начался, когда Нурдин надел фартук и заставил всю плиту котелками. В них булькало так, что даже окна вспотели, папа налил себе маленький виски, он закусывал арахисами, а я почти выиграл шахматы, потому что мне удалась шикарная рокировка в свою защиту. В воздухе пахло жареным овечьим сыром, красными специями и свежей питой. Нурдин снял прихватку и деревянной ложкой попробовал соус:

— Вау, такой божественной пищи я не пробовал никогда, — сказал он голосом медведя Балу и предложил попробовать нам.

Папа стал рассказывать о знаменитом первенстве мира между двумя русскими, в начале восьмидесятых.

— Если мне не изменяет память, это был Каспаров. Он хорошо изучил все слабые стороны своего противника. И случайно узнал о том, что... нет, все-таки это был американец. Не помню точно, американец или русский... Как бы то ни было, он разузнал, что у его противника аллергия. Жуткая аллергия на... кошек.

Чтобы усилить эффект, папа выдержал небольшую тишину, во время которой он смаковал виски и жевал орехи.

— Приближается решающий день. Противник тоже серьезно тренировался, и вот он уже готов к встрече с великим маэстро Каспаровым. Но...

На этом месте его перебил звонок в дверь. По пути в коридор папа избегал от моих глаз. Из прихожей понеслось шуршание и хихикание, и сиплый женский голос сказал:

— Надеюсь, мы не слишком рано.

Затем послышался папа:

— Нет, но... Нет, нет. Что ты. Проходите, прошу вас. Добро пожаловать. Какие вы сегодны нарядные. Серафина! С новыми косичками! Ты сама их заплетала? Просто прелесть!

— Ну что же ты, не молчи, дорогуша... Она всегда поначалу немного стесняется. Я сама заплела. Ей идет, правда?

— Конечно. Чудные косички, просто заглядение. Серафина, ты прекрасна, как картина!

Папа вернулся в комнату с нереально уродским букетом, а за ним шкандыбала Черстин, как если бы утку смешали со свиньей. Она постригла волосы в прическу с чубчиком под Тантана, местами с красными пятнами клочьями, и от этого стала еще уродливее, чем обычно. На шее у нее висела темная деревянная статуя, она выглядывала из промежности ее огромных, как дыни, грудей.

– Привет, Халим, – Черстин помахала мне рукой, а Нурдина чмокнула по щеке. Рядом с ней даже Нурдин выглядел мелким карликом.

– Привет, Черстин, – ответил я и оставил свое лицо без улыбки.

– Как давно мы не виделись! А что это у вас тут такое вкусное варится? Мм... выглядит восхитительно. Это вам к столу.

Она выудила из сумки бутылку вина, сразу видно, самого отстойного, даже сеточку задрипанную с бутылки не сняли. Чуть погодя вошла Серафина. Она встала прямо рядом с холодильником и немного со страхом посмотрела на протянутую руку Нурдина.

– Поздоровайся, Серафина. Как я тебя учила?

На косичках у нее были жемчужины – красные, немного желтых и зеленых. Вообще это странно, что все белые жены негров ходят в просторных одеждах и носят африканские бусы, они похожи на жирных бледных свиней, но дети у них все равно рождаются самые красивые во всем городе. Серафина села рядом со мной, и я помог ей забраться немного на стул.

– Так что Каспаров? – спросил я папу по-арабски.

Папины мысли рассеялись, но скоро он ответил шведским голосом:

– Кошачий свитер. Он надел свитер с рисунком в виде большой кошки на животе. Ну что, Черстин, плеснуть тебе вискаря?

Я ждал более интересного финала, даже Нурдин не засмеялся.

На закуску были пироги с булгуром и начинкой из говяжьего фарша и салат с сыром халуми. Потом Нурдин устроил нам жареную курицу на самой нежной подкладке из изюма, овощей и орехов. Во рту у меня стало влажно, и я ел до тех пор, пока едва ли мог нормально вздохнуть. Нурдин очень гордился, когда все сказали, что замечательно вкусно, но вообще было видно: ему бы больше понравилось, если бы Черстин стало поменьше. С тех пор как они с папой случайно встретились летом в библиотеке, она забила себе в голову, что она такая же, как мы, что она будет нам лучшим другом семьи.

Она весь ужин трепалась без перерывов, сказала, что сдает комнату туристам, а иногда скрывает у себя беженцев, плюс работает над новой феминистской статьей, и еще кучу всякой скучной белиберды. Папа смотрел большими глазами и мычанием изображал знак согласия:

– Мм... мм... мм... мм.

Прямо как в рекламе шоколадок "Марабу".

Чтобы прекратить этому конец, я нюхнул из папиного стакана и сказал по-шведски:

– Блин, какое гадкое вино! Мама такое никогда бы не стала пить. Правда, папа?

Папа крякнул, а Черстин заковырялась в своей пите. Скоро Нурдин предложил, что пора уже наделять подарками нашего новорожденца. Я убрал со стола и протянул Нурдину коробочку с зубочистками, а Черстин ущипнула Серафину в щеку и сказала:

– Неужели ты так устала, дорогуша?

(Серафина забралась к ней на колени и стала сосать большой палец.)

Сначала папа развернул подарок Черстин, там была книжка какого-то штриха по имени Эдвард. Хотя, быстрее всего, он все-таки был арабом, потому что носил фамилию Саид. Папа изобразил радость, но видно было, что он ждал чего-то более любопытного. В подарке от Нурдина оказался кошелек коричневой кожи, из благодарности папа похлопал Нурдина по спине. Потом я принес из комнаты свой подарок, и когда папа увидел размер, он сразу улыбнулся всем своим лицом. Он осторожно встряхнул его.

— Это... ролекс? Или "порш-каррера"?

Я подумал, что папа еще не совсем старческий. Его усы подпрыгивали, как детский кораблик на быстром ручье, было видно, что он вот-вот расхохочется.

— А может... может, это джакузи?

Папа принюхался к пакету, а потом еще и прислушался, как будто там была бомба.

— А-а, меня не обманешь. Я догадался. Там... пони?

Нурдин громко захохотал, как настоящий актер, но мне эта игра уже надоела.

— Не томи, открывай.

Папа порвал ленточку, отодрал скотч и открыл коробку. Когда антенна оказалась на столе, Нурдин присвистнул, как будто увидел самую прекрасную телку, которая пролетела за окном.

— Но Халим. Это... Это слишком дорогой подарок, — сказал папа.

— А что это? — спросила Серафина и помахала слюнявым пальцем.

— Понимаешь... С этой штукой мы попадем куда хочешь! В Марокко, в Алжир, в Ливан...

— Сколько ты за нее отдал?

— Мам, а что это такое?

— Это спутниковая антенна. Для телевизора.

— ...в Ливию, в Катар, в Саудовскую Аравию...

Я гордо перечислял, но папа, казалось, не слышал. Нурдин несколько раз повторил, что это на самом деле просто королевский подарок, и было заметно, как Черстин озабоченно поглядывает на свою книгу и чувствует полный облом. Тем временем папа стал вертеть и крутить антенну, хотел найти ценник.

— Я и удлинитель купил.

— Да, но ведь... не лучше ли было бы... ну... Сколько ты за нее заплатил? Ее можно сдать обратно?

Конечно, это был очень дорогой подарок, но я видел, что папа в самой глубине ужасно обрадовался. Позже вечером Нурдин, папа и Черстин ушли праздновать дальше, а мы с Серафиной остались смотреть мультики. Она сидела у меня на коленях, держала в руке плюшевую игрушку и сосала палец, и это тепло плюс сосание кончилось тем, что у меня сильно встало. Может, если вы страдаете педофилией, то захотите использовать такую возможность, но я, к счастью, здоров и просто подрочил в туалете на скорую руку.

Когда я возвернулся обратно, Серафина лежала, почти спящая, на подлокотнике. Я решил немного обучить ее о проблемах мигрантов, потому что все-таки нелегко человеку, если папа свалил обратно в Нигерию и только открытки на Рождество присылает.

— Слушай, Серафина, не спи. Серафина? А, Серафина? За тобой скоро Черстин придет.

— А я и не сплю!

Она села и протерла глаза, и я почувствовал, как у меня внутри опять потеплело, потому что ее карие глаза были похожи на блестящие бархатные светила.

— Значит так. Мама тебе говорила о знаменитом Интеграционном плане? Говорила или нет?

В телике шагали парадом толпы покемонов, они пели песню о подводном мире. Заместо ответа Серафина взяла мою бейсболку и натяну-

ла себе на голову. А потом снова уставилась в телик и засосала палец. Я остановил пульт на паузе, чтобы она поняла, как я серьезно.

– Хочу мультик! Включи мультик!

– Слушай меня внимательно. Это важно. Ты знаешь об Интеграционном плане?

Заместо того, чтобы слушать, она разозлилась и стала обзывать меня какашкой и обосрашкой, примерно через раз.

– Мне жаль тебя, Серафина. В действительности Интеграционный план придумали шведопятские политики, чтобы мы путали...

– Чтобы вы пукали!

– Чтобы мы перепутали все на свете! Чтоб мы забыли о своем настоящем происхождении.

– Халим пукает! – закричала она и попыталась пощекотать мой живот. – Весь вечер сидит и пукает!

– Прекрати.

– Зачем ты напукал?

Как вы могли заметить, она не сказать чтобы добрый ребенок, хотя ходит еще только в детсад. И как вы понимаете, ее мозг еще не вырос достаточно, чтобы понимать передовую философию. Я оставил свои попытки и включил видик обратно. Тем более что я никогда не пукаю.

* * *

Особо писать неохота. Я, конечно, мог бы рассказать о том, как прошла профориентация, или о Стефане и Давиде, которые устроили на музыке концерт на синтезаторах, так что колонки задымились, или о том, как на уроке шведского Николь читала мучительский доклад о рыцарских книгах. (Выпендрилась как эльфа с луком и дополнительными ушами.) Но только нет сейчас никакого желания. Папа поставил антенну в чулан, как только будет время, он ее установит, так он сказал. В ответ я пошел прошвырнуться вокруг Танту[1], без всякого беспокойства, ведь папа слова на ветер не выбрасывает. Сказал, что установит, значит, так и будет.

Когда солнце ударило против глаз, я чихнул, как делаю обычно от неожиданного солнечного луча. И как по заказу явились воспоминания – летний день, короткие шорты, бегу я мокрый и близко к земле. В ушах почти тихо внутри все трясется земля иногда исчезает потому что трава мелькает вверх-вниз вверх-вниз но я не останавливаюсь а у других в небе они плывут высоко и веревок не видно. Понятное дело папа все сделал сам он стащил колышки из маминых цветочных горшков и ябедничать я конечно не буду потому что иначе никакого воздушного змея этим летом и не было бы. Папа смеется еще немного Халим осталось совсем чуть-чуть и он взлетит у тебя за спиной но взлетать он не хочет. Последний раз изо всех максимальных сил я бегу как сумасшедший за спиной шуршит на несколько секунд змей поднимается взлетает заваливается набок и резко падает об землю. Я подхожу к подстилке там мама она все еще сама может ходить с палочкой она меня утешает она не показывает что смешно она гладит по голове и говорит: "Это все папа, папа не смог сделать змея почеловечески, ему непременно понадобились кривые цветочные колышки, все в земле", а перед ней лежит ее палочка она меня утешает от этого только больнее чем нужно потому что кто же расстраивается из-за каких-

1. Парк в районе Сёдермальм.

то паршивых воздушных змеев но она меня обнимает она вокруг она везде ее никогда больше не будет так много. Она говорит по-арабски с такими переливами в голосе как будто поет колыбельную а она всего лишь разговаривает и говорит это папа во всем виноват, все из-за папы. Папа хочет утешить, он открывает сумку и достает шоколадный бисквит, потому что в те времена шоколадный бисквит был самым вкусным.

Я побежал дальше по Танту, везде — скользкие клочья травы или пожелтевшие кучи листьев, я погнал еще быстрее, разогнался до задыхательства, и когда деревья подворачивались поближе, я бил по стволам, так что ободрал костяшки на пальцах кулаков, но крови было немного. Все получалось почти как во сне, когда вы можете бежать до бесконечности, и не задыхаться, и в любую минуту могут возникнуть пришельцы на тарелке, или звери в человеческих одеждах, или целый автобус телок, или руки сейчас превратятся в крылья, но заместо этого я просто бегу дальше и нарезаю круги вокруг горы Танту.

Во рту чувствовалась кровь и пот лился градом, я побежал к стадиону Цинкен и засунул руку по локоть в сугроб рядом с крытым хоккейным катком. Внутри все жгло и болело, я хотел засунуть туда и голову, как какой-нибудь полярный страус, если бы это не было так тупо. Потом джинсы намокли от снега, но я, когда вытащил руку из сугроба, почувствовал себя лучше.

По дороге домой нашел открытую раздевалку и разрисовал все стены, окна, зеркала, душевые, скамейки, стульчаки, раковины и двери. Даже некоторые забытые кеды удостоились звезды и полумесяца.

Странно получается. Вообще мне писать не хотелось. А потом как начал и остановиться не смог. У меня такое часто бывает с этой тетрадью. Вы, наверное, читаете и думаете, да он просто гонит! Что вам на это сказать? Я обо всем пишу честным образом, и если вам приятнее читать чьи-то враки, милости прошу, возьмите себе книжки отстойных шведских философов. Но если вы на самом деле так думаете, то пошли вы все в жопу (со всем своим родом до седьмого колена).

Обладал я вас куда надо!

P. S. Пишу немного потом. Я просто хочу, чтобы вам было понятно: я считаю, очень важно, чтобы все было по правде, так и надо думать, когда пишешь. Но, понятное дело, я согласен, что пишу здесь не ВСЕ. Я, например, не пишу о том, как дрочу. Не потому, что мне стыдно, а просто потому, что в таком противном случае вся книга будет посвящена одной только дрочке.

P. S. 2. Еще больше потом. Я просто перед сном хотел еще вот что сказать: помните, я писал про сигнализацию в том магазине с антенной? Вообще это не то чтобы самая стопроцентная правда, потому что настоящей сигнализации у них нет. Просто для вида стоят такие дуры на выходе. Но если бы они на самом деле работали, я бы, ясное дело, так и сделал, как было написано.

* * *

Воскресный вечер. Я сижу свежевымытый за письменным столом и пахну шампунем. После тяжелых выходных прихожу в стабильное состояние. Передо мной учебник по истории, потому что на следующей неделе у нас и уроки, и нехилая мега-контрольная. (Типа шестьдесят страниц, Соня — уродина недоделанная.) Все выходные мне этот учеб-

ник действовал на совесть. Плюс Алекс еще сказал, что будет меня во вторник допрашивать, чтобы проверить, как я подготовился. Хотя шел бы он в жопу со своими угрозами, потому что мне просто по кайфу сидеть у него в кабинете и поражать его своими знаниями. Это же просто смешно, какой-то карликовый узкоглазый воспитатель с таким коротким происхождением, что сам себя негром считает, будет допрашивать меня по истории — меня, султана мысли.

Вчера я искал Даланду на площади в Шерисе. Потом зашел на барахолку, присмотреть товары для нашего магазина. Сейчас задним умом я думаю, что день был немного бессмысленный. Даланда так и не появилась, хотя я ждал ее на скамейке почти два часа.

Сегодня утром я рано проснулся, от самого себя. Нурдин пришел к нам на завтрак, и пока папа брил щеки, он рассказал, что они сегодня встречаются с Черстин и идут на выставку по художествам, около Хургатсбаккен. Видимо, один из приятелей Черстин сделал новое произведение искусства и сегодня будет премьера. Я ничего не ответил и прямо после завтрака ломанулся обратно в Шерис. Торговля на площади шла полным ходом, и когда я увидел Даланду, которая сидела на скамейке и подкармливала хлебными крошками голубей, я почувствовал, как внутри распространяется тепло. Она увидела меня еще на длинном расстоянии, но хотя я радостно махал, она только смотрела.

Я подошел быстро, но с отдышкой, она меня долго обнимала и произвела тройной поцелуй. Волосы ее подбородка кололись как обычно, но в целом она изменилась. Она погладила меня по руке и помолчала.

— Как поживаешь, Даланда? Все в порядке?

Даланда обняла мое лицо и прижала к себе, глаза у нее были как у побитой собаки. Она нежно погладила меня по щеке обратной стороной своих сморщенных пальцев:

— Мой любимый Халим, маленький мой мечтатель. Старинная поговорка гласит: "У всего есть конец, а у колбасы — даже два".

Она сделала самый глубокий вздох и поправила чадру.

— Что с тобой? О чем ты?

Даланда долго теребила черствую корку, пока не ответила:

— Возможно, мне скоро придется покинуть Стокгольм. Мой племянник нашел работу, слава Аллаху. Но больница, куда его взяли, находится в Сконе.

Почти все, что было дальше, я помню в виде оборванных картинок. Я сидел на скамейке и немного дрожал, потому что дул осенний ветер и стояла тень. Даланда пыталась облегчить настроение вопросами о моей письменности в красной тетради:

— Надеюсь, ты не сдаешься. Ведь я всегда говорила, написанное будет жить вечно, тогда как память изменчива. Тебе кажется, что ты будешь помнить об этом до конца своих дней, а на самом...

Она не договорила, потому что к нам подошли какие-то обдолбанные чуваки, они хотели впарить нам сломанный самокат. Чтобы отпугнуть их, Даланда сказала им на грязном арабском:

— А ну валите отсюда, козлы вонючие... Итак, на чем я там остановилась? Ах, да, все с годами забывается. С моим мужем так и случилось. Да простит ему Аллах, ведь это большой грех — забыть свою родину...

Больше я слушать не мог, потому что меня немного накрыло. Когда Даланда стала рассказывать, как мама Хуана и Алонсо сошлась с плотником из Сёдертэлье, я ее перебил и сказал, что мне надо срочно пойти

поучить историю. Быстрое объятие, "пока", "береги себя", "мы наверняка еще встретимся", "приятно было поболтать", фальшивые поцелуи в щеку — и в город на метро. Спокуха, без хаоса, да будет пустота.

Нурдин, папа и Черстин были в гостиной. Нурдин смотрел в телевизор, а папа сидел на диване лицом к Черстин. В квартире пахло микроволновым попкорном, а по телику повторяли "Робинзона"[1]. Нурдин закричал, что надо голосовать за Бубу, потому что все равно он вкалывает больше всех. Я сказал, что мне по барабану, за кого они там проголосуют. Папа с Черстин не слышали, потому что обсуждали выставку художеств.

Я взял себя в руки и пошел в ванную. Но там меня накрыло по полной. Стены вокруг как будто немного покачивались, и я подумал даже, что сейчас упаду, потому что пол тоже вдруг покосился. Но потом я наполнил себе ванну пеной и самым горячим теплом, от пара вспотело окно, и я поцарапал ногу, когда сдирал одежду, но ничего не почувствовал. Я осторожно опустил сначала только ступню потом остальную ногу было горячо а пар обжигал нос и мозг и глаза ничего не видели и болели а когда я опустил в воду член меня обожгло нереально но в конце концов я заставил тело хотя оно колотилось а я дышал дышал и потом сполз вниз с головой и даже волосы под водой и внутри меня кровь закипела я зажмурился иногда я подплывал к шлангу и тогда в ушах гудело как на подводной лодке на дне я свернулся в клубок на боку обжигало уже не так сильно. Скоро воздух подошел к концу и я подумал вот и прекрасно я подумал все равно все девки шлюхи я подумал прошмандовки и суки и в ногах забарахталось и свело но я остался лежать ситуация под контролем а тело далеко далеко и тепло обняло меня и закачало и я не шевелился... пока мама наконец не погладила меня по голове и не сказала, что если я не проснусь, то она треснет меня сковородкой по лбу, потому что нельзя мне больше опаздывать, она подняла жалюзи, она говорила с мамой Хуана, и, конечно же, ну конечно, ему не разрешили ездить в школу на велосипеде, так что давай, вылезай из постели, мой маленький соня, это все папа твой виноват, и зачем только он подарил тебе дурацкий будильник со снузом[2]. В третий раз она садится на край кровати и гладит меня по щеке и я чувствую запах шелка и хны и повсюду это тепло и моя старая комната и одеяло с джунглями и красные занавески и мне сложно уже притворяться когда наконец она склоняется надо мной и шепчет я знаю что ты не спишь.

Потом вода от волнения перелилась через край ванны, на полу налились большие лужи. Я сидел в горячей воде, вокруг поднимался пар, а я дрожал. Внутри заскребло и больно заныло, когда в легкие снова вошел воздух. Именно так все и было.

2

Небо из бирюзы, говоришь? Да лучше я сдохну!

А потом все воскресенье как будто два голоса спорили у меня в голове. Один говорил, что пора забросить писание, заклеить тетрадь скотчем и

1. Реалити-шоу.
2. Зд. snooze (*англ.*) — функция отсрочки сигнала.

спрятать подальше в тайный ящик. Потому что зачем писать все эти мысли и философии, раз такие, как Даланда, сначала говорят, что всегда будут рядом, а потом вдруг берут и уезжают? Другой голос говорил на ливийском диалекте и напоминал, что сохранить память и душевное равновесие лучше всего можно с помощью текстов. Плюс слово — самое сильное оружие, которому невозможно противостоять, и патроны в нем никогда не кончаются. Сейчас чувствую, что хотя бы немного продолжу писать.

Еще я много думал обо всех этих ученых, которые в будущем обнаружат мою тетрадь, через много времени после моей смерти (обнаружат если и не в банковском сейфе, так по крайности в коробке от бананов, на чердаке или в земле, как древнее ископаемое). Ясное дело, ученые немного прифигеют от моего величия и скажут, что Халим был гением — еще до того как стал самым богатым в Швеции знаменательным адвокатом, который забесплатно освободил из ареста сотни мигрантов и выстроил свой арабский культурный центр прямо против шведского королевского дворца.

На последней неделе дела шли паршиво (но и паршивости надо записывать, потому что иначе ноль цена этому писанию):

1. Папа так и не установил антенну. Она все сидит в чулане и ждет. Иногда я заглядываю туда, просто чтобы ею полюбоваться.

2. Нурдин до сих пор без работы, и ни один режиссер даже пригласить его на прослушивание не решается. Он ежедневно ходит на биржу труда и сидит там на корточках целыми днями.

3. Перед контрольной по истории я наботанился так, что мне раз в жизни показалось, будто я все знаю. Но как только я пришел в кабинет, все знания как рукой сняло. Например, я забыл, кто такой Гаврило Принцип (а ведь знал).

4. До сих пор немного переживаю за Христо. В школе он бывает редко, но Филип сказал, что Христо теперь тренируется кикбоксингом, а его дружбаны — из фанатов "Хаммарбю" — рыщут меня повсюду. Может, будут разборки, а может, и нет, кто знает.

5. После того как Кристофер сказал, что мой тюрбан — это женский убор, я стал присматривать за женскими головами с совсем другой точки зрения. Должен признать, что довольно часто встречаются тетки в тюрбанах, очень похожих на мой личный. Особенно развелось их с наступлением осенних холодов. Но часто цвет у них совсем не красный, поэтому, ясное дело, никто в школе не скажет, что Халим носит женский убор.

6. Черстин опять была у нас дома, хотя лучше бы сидела у себя на другом конце Сёдера, сдавала свои комнаты толстым немцам и писала новые статьи для никому не известных феминских журналов. Папа уже два раза сказал, что они с Черстин просто добрые друзья, а я думаю, что значит это "просто"? Халим думает: папа скоро совсем изменится. Иногда Халим даже думает: папа скоро весь сморщится, и останется от него одна кожура, — и от этой мысли больнее всего.

* * *

На предыдущей неделе во время английского урока у нас произошла незначительная разборка, и поэтому сегодня Алекс решил устроить мне индивидуальное занятие. Клево, конечно, что он забил и не стал выяснять, почему я вышел из себя на Кристофера, который опять присте-

бался ко мне с женским убором. Заместо этого он решил научить меня английскому обходными путями, поэтому поставил кассету с гип-гопом. Вообще, странно даже, что он так капитально готовился: попросил у чертежника магнитофон, принес мне специальную тетрадку с текстами, причем непонятные слова там были подчеркнуты и даже имели свое объяснение. Я передумал опускать его сразу, а он обрадовался и возомнил, что мы теперь лучшие друзья.

— Я тебе говорю, старик, уж ты мне поверь: в Швеции лучше нее эмси нет — во всех категориях. Она часто выступает в подземке, ее там все знают как Мисс Ай Си. Не слышал о такой?

— Нет, — сказал я.

— Ее зовут не Ай Эс, а именно Ай Си. А может, ты слышал про Ай-он Кэрри-он? Или про эмси Шаффл-эн? Про Мисс Манару? Про Кидалу Могге? Не слышал? Вообще у нее много всяких имен.

— А по-настоящему ее как зовут?

— Она себя называет Мисс Ай Си. Это ее...

— А по-настоящему как? Так и скажи, что у нее есть другое имя, которого она стесняется.

Алекс сдался:

— Конечно, есть. Зовут ее Магда. В смысле мы просто с ней близко знакомы. Да ладно, забей на имя. Я тебе говорю, Ай Си — или Магда — это best kept secret[1] подземки. Никто не читает рэп, как она!

— Она твоя девушка, что ли?

Алекс старательно почесал коленку.

— Девушка? С чего ты взял? Ничего подобного. Нет, конечно. Мы скорее друзья. Амигос. Она как бы не из тех, кого... ну, ты меня понял.

— Ну если она такая вся из себя крутая, как ты говоришь, то почему она не стала звездой?

— Просто время еще не пришло, говорю тебе. Сейчас она записывает свою первую пластинку, вот выпустят ее, сам увидишь, что будет! Пластинка скоро выйдет, типа осенью. А мы с тобой сейчас послушаем sneak previews[2] с этой пластинки. Now, from now on we will only speak English... Okay? We will listen to some songs, analyze the content and discuss the meaning of the rhymes. We will start by listening to a track called "Sweden's Wackest Rappers." Are you ready?[3]

Алекс дал мне тетрадку с текстами и включил магнитофон. Девчонка читала низким хриплым голосом и типа дико недовольная. Сначала она немного потрепалась без музыки о том, как она долго ждала и что теперь пришло время глобальной революции, плюс все остальные рэперы сифаки и продажные шкуры. Потом пошла типа музыка. Ударник лупил со всей дури, ему недобро подвывала скрипка, она не всегда попадала в такт. Песня была про то, что у этой Ай Си самый острый язык и самые шипованные рифмы на весь город, и другие рэперы рядом с ней просто отдыхают. Между делом она опустила эмси Хаймана и диджея Норвиджен Шэдоу: она сказала, что тексты у них нереально отстойные, их папаши, скорей всего, карлики в женских шмотках, а продюсеры их распоследние шлюхи.

1. Заповедная тайна (*англ.*).
2. Зд.: демонстрационные записи (*англ.*).
3. Итак, теперь мы говорим только по-английски... О'кей? Мы прослушаем несколько песен, разберем содержание и обсудим смысл стихов. Начнем с композиции "Самые безбашенные рэперы Швеции". Готов? (*англ.*)

Самое смешное, что, как только зарядила музыка, Алекс пустился танцевать свой гип-гоп. Задвигал башкой, как последняя сова, и одновременно стал тихонько боксировать кулаками и подпевать. После первой песни он прижал паузу:

– Do you understand all the lyrics? Dwarfs – you understand that word? "Карлики". Just ask okay? Now we will listen to another song where she disses Son of J-cob. Okay? Are you ready?[1]

Вообще-то все ее песни были похожи, ни в одной из них не пелось о настоящих проблемах гип-гопа: ни про жизнь на окраинах, ни про наркотики, ни про толстые жопы. Но Алекс сказал, что это не значит, будто Магда поет неправду:

– To me, that's exactly what's so special with IC: she refuses to do that predictable shit that everyone expects of her. She's just herself. Maintaining G. Keeping it real[2].

– А сама-то она откуда?

– Excuse me? In English please[3].

– From where is she?[4]

– Her father is from Africa but she herself was born and raised in Stockholm[5].

Мы стали дальше слушать отрывки из песен, и в конце урока щеки у Алекса покраснели так, будто их напудрили макияжем, а лоб заблестел мокрым потом. Он был похож на загнанный изнасилованный мопед. Несколько раз он начисто забывал, что мы говорим только по-английски:

– Ты врубаешься, как это клево? Согласен, старик? А? Are you with me? Don't front, man, you bezzer recognize![6]

Я кивнул, чтобы Алекс не обломался и не пожалел о своем уроке.

По дороге из школы я думал про Магду и представлял, какая она своим внешним образом. Мускулистая мулатская телка с золотыми зубами, гигантскими буферами и наркоманскими побóчками на лице. Она сидит на заднем сиденье лихого зеленого кабриолета, он прыгает по дороге, а она курит нехилый косяк. Свободной рукой махает братве, ногти у нее длинные, и каждый украшен специальным лакированным узором. В голове не помещается, что ее зовут Магдой, но еще меньше помещается, что Алекс может к ней клеиться.

* * *

После обеда в субботу папа сидел за кухонным столом и заполнял квитанции для магазина. Довольно долго он бормотал, вздыхал, ругался и долбил каликулятор. Потом призвал меня, и, понятное дело, я ему помог. Надо было отчитаться за цифры по продажам, за сальдо и за кучи всякой ерунды. Я переводил и давал советы, а иногда мы устраивали перерыв, чтобы папа успел подробно сказать по-арабски все, что он думает про этот гребаный бюрократизм.

1. Ты весь текст понимаешь? Карлики – тебе понятно это слово?.. Спрашивай, если что, ладно? Сейчас мы послушаем другую песню, в которой она опускает Сына Джей-коба. Хорошо? Готов? (*англ.*)
2. По-моему, именно это и отличает Ай Си от остальных: она никогда не делает той хрени, которой от нее ждут. Она верна себе. Настоящая "ганста". Без дураков (*англ.*).
3. Прошу прощения? По-английски, пожалуйста (*англ.*).
4. Из откуда она? (*искаж. англ.*)
5. Ее отец – африканец, а сама она родилась и выросла в Стокгольме (*англ.*).
6. Ты согласен со мной? Не упирайся, старик, скажи, что я прав! (*искаж. англ.*)

На самом деле голос у папы немного особенный, про один этот голос можно сложить почти целую теорию. Когда кто-нибудь входит в магазин, звякает коровий бубенец, а я уже со склада слышу, что́ это за покупатель — шведорас или черномазый. Вы, конечно, скажете, что магазин находится на Сёдере, поэтому тут и вычислять нечего, что большинство покупателей, конечно, шведаки. Но я не про вычисления, все дело в папином голосе. Со шведаками он говорит так, как с Черстин по телефону. Голос у него становится мягким и гибким, как резинка для волос. Он прямо-таки рассыпается от любезности, молодым покупательницам дарит киндер-яйца и каждый раз в ответ на "спасибо" отвечает "к вашим услугам".

Этот голос совершенно противостоит другому, с помощью которого папа кричит на барахолке или ругается на арабском: тогда голос его подобен самой твердой гранитной скале и реальному авторитету.

Когда мы уже почти разделались с квитанциями, я захотел показать, что как бы согласен с папой.

— Как это все-таки по-шведски. Все эти квитанции, бумажки, бюрократия. Ох уж эти шведы, правда, пап?

Папа передумал ругаться и уставился на меня.

— Ты это о чем?

— Ну, это же так на них похоже! Взять и напридумывать таких квитанций, чтобы ни один мигрант не мог начать свое дело. А все для того, чтобы оставить нас без работы на одном только пособии. Ох уж эти политики!

Но заместо того чтобы согласиться, папа сморщил бровь и погладил усы:

— Где ты такого набрался? Опять эта Даланда тебя научила?

— Что? Нет, хотя что тут такого, и так все ясно.

— Что тебе ясно?

Папины глаза частично потемнели. Он положил ручку и отодвинул квитанции.

— Или позволь мне поставить вопрос так: по-твоему, в Марокко дела обстоят иначе?

Я не нашел, что ответить.

— Что скажешь, Халим? Ты что-нибудь помнишь об этом? Сгораю от нетерпения. Расскажи-ка мне про Западную Сахару. Или... о методах ведения полицейских допросов. Было бы интересно послушать. А может, ты что-нибудь знаешь о политике Хассана в отношении бедных, раз уж ты такой умный? А? Что ты думаешь о роскоши в мечети Хассана II в Касабланке?

В его голосе звучала самая ядовитая ирония, и я ответил, что мне надо срочно прошвырнуться на воздухе, а сам всеми силами ломанулся к метро и потом поехал в Шерис.

Фруктовые прилавки уже сворачивались, но людей еще было много, они разгуливали в послеобеденных лучах. На скамье Даланды лежал бородастый шведский алкаш с хоккейной сумкой в роли подушки. Он храпел, вонял блевотиной и в правой руке держал маленькую металлическую расческу. Мне немного показалось, как будто он играет шута на маминой могиле, поэтому я разбудил алкаша и сказал ему, чтобы валил вон. Странно, конечно, но он согласился. Даже базарить не стал, просто взял сумку под мышку и улегся чуть дальше, за песочницей. Я сел на скамейку и подумал, что день сегодня прекрасный. В "Лавке Мансура" оче-

редь была метров двадцать, а в "Сладкоежке" какие-то дети клянчили сладости (ясное дело, им никто не давал). В ювелирном "Дафтар" за прилавком стояла вся семья и на всех товарах были маленькие красные ценники в честь распродажи, но в магазине все равно никого, ни единого лоха не было. Вокруг косяками ходили папы и старики, с четками и сигаретами, и мамы в платках, с детскими колясками, обвешанные туалетными рулонами и пакетами из стокового магазина. У одной мамы было сморщенное бежевое лицо и бежевый платок, так что она немного напоминала ИТи Спилберга (хотя, ясное дело, была все же красивее). Сыновья у нее были двойнецы, в одинаковых шерстяных кофтах, с одинаковыми косыми проборами на головах, и постоянно друг на друга кричали, так что в конце концов мама потеряла терпимость и влепила обоим по пощечине. Она очень красиво выругалась арабскими словами, я услышал ее диалект и подумал, что, может быть, она из Ливии, как Даланда.

"Такси-фэшн" был закрыт, но Ишик со своим братом стояли рядом и выглядывали себе телок. Подошел торчок и попытался впарить им краденые часы на серебряной цепочке, кожаную жилетку и разные солнечные очки, но Ишик, конечно же, отказался. Его брат недавно побелил себе волосы, а теперь облокотился на статую повара в белом халате и стоял вместе с ним у входа в "Кебаб-хаус". Повар был очень довольный, протягивал руку и делал вид, что до сих пор держит в ней меню, которое банда Алонсо украла много лет назад. Все это время повар так и стоял — с усами, как у педика, и с улыбкой, — хотя никакого меню показывать больше не мог. Я хочу сказать, разве это не юмор, что повар там так и стоит, несмотря на ничто.

Я пытался представить себе, что вокруг меня полный ништяк, и долго смотрел на летающих голубей, потому что наверху было особенно приятно. И конечно я знал что некоторые смотрят на меня косо но мне было не до того я не мог не думать что в крови у меня занозы что легкие мои сморщились что зубы свелись и скрипят друг по другу и тело не совсем может сидеть на месте потому что ломает и горит хотя лоб холодный. Ледовитые змеи роятся по крови в мозг чтобы обрушить плотину воспоминаний и превратить ее в стеклянные дребезги я вспомнил блестящую слюну и судорожные ногтистые пальцы и трубку которую подключили в самом конце когда жизнь оставалась только в глазах... коробки из-под бананов с одеждой и шалями так и стоят возле мусорного контейнера она ушла от нас помню было спокойно но потом я не мог ничего поделать и пошел вниз чтобы пожалеть и забрать коробки обратно но папа сказал так нельзя мы должны идти дальше обнимает меня но мы не можем это оставить и я продолжил собираться как сумасшедший и уже через неделю с переездом покончили и папа сказал что будет нелегко но мы справимся и новая школа будет на сто раз лучше потому что на окраинах все окажутся в сточной канаве а мы будем жить рядом с Бенгтом помню папину улыбку без радости как мамино тело без мамы а потом Даланда или мама или обе они сидели рядом со мной на скамейке и утешали меня и гладили по волосам и называли султаном мысли и пахло хной шелком и немного апельсиновой кожурой.

— Эй! Э-эй? Слышишь меня?

Рыжая девчонка с серьгой в носу уселась рядом и потрепала меня по плечу:

— Ну-ну, не стоит. Вытри-ка слезы и расскажи, что случилось, пацан.

Каждое слово подпрыгивало у нее во рту, как обычно у финнов, а потом ни с того ни с другого девчонка вдруг захотела утешить меня еще больше и погладила по голове. Я машинально отпихнул ее руку, а она сказала дико обиженным голосом:

— В таком случае извини, что имела неосторожность пожалеть тебя!

Но я уже снова погрузился в свои мысли и оставался там до тех пор, пока площадь не опустела и не стемнела.

Нормальные семьи давно сидели дома перед телевизорами, ели субботний ужин, и даже алкаш уже смылся. Несколько одиноких барыг стояли по своим делам на другой стороне фонтана, а какие-то чуваки в тренировочных костюмах караулили банкомат рядом с кафе "Бильярд" в ожидании легкого бабла. Птицы развевались над пустыми фруктовыми прилавками, иногда хлопали крыльями и кричали, а так было тихо. На небе засиял полумесяц, и фонтан отразил его свет. В кармане мне попался фломастер, и на спинке скамейки, где мы часто сидели с Даландой, я нарисовал самую красивую звезду с полумесяцем. (Теперь полумесяц у меня всегда выходил красивым и ровным.) Чувство было такое, как будто я только что подвел под своей жизнью точку.

Потом я задрожал, проголодался и поехал домой с мыслями о том, какие именно философии могли бы заставить папу вернуться. Или уже поздно?

* * *

Все мои мысли лишь об одном — об этой самой красивой в мире девчонке. Я вижу ее снова и снова. Она держит руки в карманах куртки, она гордая и непокорная, мы оба знаем, что мы заодно. Чтобы рассказать все по порядку, мне надо успокоиться, иначе будет полный бардак.

Сегодня Карин сказала, что школа обновляется и модернизируется. Поэтому с настоящего момента учителя будут называться "наставниками", а еще они сделают вклад в школьную демократию.

— Судьба школы в ваших руках, — сказала Карин.

"Лживая сука", — подумал я.

Всех учеников распределили по разным управлениям: совет по информатике, совет по труду, совет по языкам, совет по нарушению прав учеников и библиотечный совет. Все это было диким лицемерием и нереальным хамелеонством. И к тому же, когда я выбрал себе никакую группу, эти паскуды принудительно определили меня в совет по питанию, чтобы Алексу было удобнее держать на мне глаз. Это самая дебильная группа (по-моему).

После обеда провели первое собрание в столовой, где теперь стало пусто, пахло старыми рыбьими палочками и моющим средством. Алекс сел на углу, было примерно двадцать учеников, немного учителей и несколько буфетчиц, которые рассказывали о правилах и вели протокол. Во все время встречи я им показывал, что Халим вам не какая-нибудь сука переметная, которую можно прогнуть. "Засуньте свой протокол себе в жопу вместе со своей демократией", — подумал я и начал складывать бумажку в самолет. Было прикольно наблюдать за Алексом, который только бессильно вздыхал на углу.

Тем моментом эти паскуды заговорили о треугольных хлебцах, которые пользуются своей популярностью больше, чем квадратные. Они

все трепались и трепались, а время почти не шевелилось. Чтобы подогнать его, я достал статью, которую упрятали в свежей газете, а я нашел.

СТОКГОЛЬМ. Стокгольмские полицейские подозреваются в совершении противоправных действий по отношению к 14-летнему мальчику. Подросток вместе с двумя товарищами взрывал петарды на Йервафэльтет в Стокгольме. Увидев полицейский автомобиль, мальчики бросились бежать, думая, что полиция приехала на шум. На 14-летнего мальчика напала служебная собака, следы укусов обнаружены на его руке, плече и ноге. Пока он лежал на земле, полицейские надели на него наручники. Кроме того, согласно исковому заявлению, один из полицейских таскал мальчика за волосы и обвинял в угоне автомобиля. Также по дороге в участок ему угрожали побоями и пренебрежительно высказывались о его происхождении.

Пострадавший был доставлен в детскую больницу им. Астрид Линдгрен, где врач сфотографировал полученные им травмы. Ведется предварительное расследование. Полицейские подозреваются в жестоком обращении, угрозах и злоупотреблении должностными полномочиями.

Я перечитал вырезку из газеты несколько раз и понял, что они *до сих пор* говорят о своих треугольных хлебцах. Какой-то восьмиклашка сказал, что квадратные хлебцы любят больше, тогда я выключил у себя в голове звук и вернулся к своим размышлениям. Там я нафилософствовал целую теорию о газетах.

В Швеции все равно полно мигрантов, поэтому шведаки дико боятся возмущений и беспорядков, они ведь в глубине себя ЗНАЮТ, что мы круче их. Поэтому для них максимально важно, чтобы мигранты забыли свою историю и превратились в таких же шведаков. Они понимают, что иначе мы будем трахать их телок и заслужим всеобщий респект и кучу бабла. Поэтому политики не дают нам учить родной язык и хотят раскидать мигрантов по разным областям. Еще лучше они бы хотели, чтобы мы сменили мергез на датские колбаски, а пахлаву — на их недопончики. У шведаков даже есть одно идиотическое выражение — "избить до посинения", — которое означает, что, если ты сам не посинеешь в глубине души, то тебя просто изобьют до желто-синих[1] синяков (может, скины, а может, и копы). Полицию насылают на всех мигрантов: стоит им только показать, что они настригли капусты, как пахнет жареным, потому что в мамаше Швеции баблос лопатой гребут, но виду не подают. А еще газеты и телик — их тоже используют хорошим способом, чтобы держать мигрантов в подчинении. Поэтому они и показывают "Робинзона", Шведскую Лигу и "Эм-Ти-Ви Грайнд", а новости, которые могут рассвирепеть мигрантов, скрывают.

Я прокручивал в голове свои хитроумные философии, и вдруг одна девчонка напротив меня как закричит:

— Блин, долго мы еще будем трепаться о всякой фигне! Может, типа хватит уже?

Затем она откинулась на спинку стула и выдула из жвачки черный пузырь, который лопнул со смачным звуком. Все замолчали. Алекс посмотрел из окна на школьный двор и глубоко сглотнул. Буфетчицы тоже занервничали.

— Но Марит, ты же не можешь отрицать, что это важный вопрос?

1. Желтый и синий — цвета шведского национального флага.

Чувиха только вздохнула в ответ и засунула руки в карманы. Я посмотрел на нее, а она на меня, и тут случилось, как будто самая вулканическая лава земли прихлынула в мое тело, как будто жирный слой самого тигрового бальзама покрыл мою грудь, а у этой девчонки глаза были как самые блескучие звезды, которые распространяют свое безумное сияние и ослепляют всю комнату.

Все остальное время мне пришлось осаждать себя звериным усилием воли, чтобы не смотреть в ее сторону. Я уставился в стол, как какой-то несчастный Алекс, а когда голосование за хлебцы было окончено, максимально быстро свалил в раздевалку. Голосование завершилось со счетом восемь против восьми, потому что мы с Марит воздержались. Главная буфетчица была дико недовольна и сказала, что придется продолжить дискуссию в следующий раз.

В тот же день я разрисовал несколько туалетов, все время пытался сосредоточиться на мысли о борьбе, но не мог заставить себя не думать о Марит — Марит, МАРИТ. То же самое продолжалось и по ходу домой: маритмаритмарит. Как будто имя ее выжгли сигаретой в моей голове, а лицо выкололи татуировкой внутри век. Каждый раз, моргнув глазами, я видел ее черные локоны, сексуальные пухлые губки, накрашенные красной помадой с темной обводкой. Щеки у ней были напудрены самой дорогой пудрой, а под пластинкой во рту сияли ослепительные, как молния, зубы.

* * *

Сначала — утром — я встал пораньше и повторил биологию. Это чтобы показать Алексу, что, ясный пень, все эти контрольные просто раз плюнуть, если за дело берется султан мысли. После контрольной, как это обычно бывает, все сразу расслабились и на большой перемене весь класс завис в игровой. Марит сидела на диване с Йессикой и Анной и довольно часто бросала глаз в мою сторону. И тогда меня начинало клинить — приходилось брать себя в руки, чтобы не выронить кий. Не понимаю, как я мог так долго не замечать ее помрачительной красоты, она же ходит в параллельный класс.

Сегодня на ней были порезанные белые джинсы с бахромой на концах и голубая майка, на которой белыми блестками вышито слово "Силкскрин". Сверху — длинное коричневое пальто, но из такой материи, как кофта. Марит не хипушка и никогда не наденет футболку со шведской попсой или куртку с дурацкими нашивками. С другой стороны, она никогда не станет играть феминистку и напяливать на себя лесбиянские шмотки типа галстуков и высоких ботинок на шнуровке. Марит подобна разноцветной, как радуга, рыбке, которая попала в грязное море, она подобна самому прекрасному цветку, который растет на мусорной куче. Остальные морковки смотрели на нее и завидовали, так как понимали, что во всем городе нет более прекрасной красавицы. Когда я думаю о ней, я называю ее своей мармариткой, такое вот ласковое имя я для нее придумал. А когда мы действительно будем вместе, я расскажу ей об этом и она полюбит меня еще больше.

Ясное дело, в бильярд я проиграл, но это было не так уж и важно, потому что любовь освещает даже самые мрачные дни нашей жизни. Когда прозвонил звонок и все пошли в класс, я подстроил так, чтобы мы с Марит шли по лестнице вместе. Я же знаю этих девчонок и пони-

маю, что она не захочет говорить со мной при всех. Мы просто шли рядом, и я иногда ловил запах ее духов, который был подобен аромату райских цветов сразу после золотого дождя.

На географии мы должны были говорить о горных породах и другой ерунде. Но я — вместо того чтобы слушать — породил новую теорию о трусости Алекса и заодно всех остальных приемных детей.

Если у человека нет истории, если он не знает, откуда он родом (потому что, например, родился корейцем, а воспитали его шведаки), то ему, понятное дело, сохранять равновесие ничего не стоит, потому что к настоящей борьбе человек без корней не способен. Некоторые, конечно, могут бороться и за чужое дело, просто ради развлечения (как пример возьмем узкоглазых, которые фанатеют от гип-гопа), но, ясный пень, это дикое лицемерие. Без борьбы вообще можно запросто сохранять равновесие. Однако и человеку, который знает свою историю, немного равновесия иногда тоже не повредит, потому что именно равновесие позволяет философствовать и порождать теории. Но, с другой стороны, равновесие может сделать человека трусливым, превратить его в паршивую тряпку, и тогда он, даже если дико обижается, все равно не понимает, что надо дать сдачи, чтобы не потерять все свое собственное достоинство.

Короче, сижу я на географии и чувствую себя прямо каким-то древним арабским ученым в тюрбане и остроносых туфлях, который живет в башне (возможно, в древнем Багдаде). У меня есть подзорная труба, которая достает до самой Европы, и слава обо мне идет такая, что другие мудрецы посматривают на мою башню с ненавистью и любопытством. К тому же я распоследний Козмонова, и целые толпы телок мечтают попасть ко мне на башню, чтобы покурить кальян, а потом потрахаться, и все потому, что я такой нереальный гений. (Понятное дело, мне всех их придется послать, потому что кроме Марит для меня больше женщин не существует.)

Я, конечно, никогда не стану таким, как те интеллигенты, о которых рассказывала Даланда. Никогда я не стану просто трепаться, размышлять и притворяться хамелеоном, буду иногда нарушать равновесие и устраивать разборки, но только ради борьбы, а не просто так. Как, например, я могу во имя Марит устроить мятеж на следующем столовом собрании, чтобы показать, что наши мысли о совете питания и шведофикации полностью совместимы. Потом я подумал, что папа все-таки не из тех интеллигентов, о которых говорила Даланда, потому что иначе он стал бы внешне похож на Алекса, а это полный бред.

На большой перемене я изо всех сил успокоился, повторил про себя эту теорию и открыл дверь в столовку. Там завтракали восьмиклашки, и если бы у них был зоркий орлиный глаз, они бы увидели, как неслышно прокрался мимо султан мысли, быстро, как ласка, сунул вилку в карман рубашки, взял пластиковый стаканчик и налил себе соку. И ушел. Вы уверены? Разве вы не заметили, что сначала он встал на цыпки, наклонился над автоматом и двумя незаметными ударами вилки проколол пакеты с соком? Две маленькие дырочки в нужных местах, именно так Алонсо и Фредрик сделали в Шерхольмене. Немного сока пролилось на пол, пакеты как будто истекали кровью, но настоящий взрыв случится только тогда, когда кто-нибудь после меня захочет налить себе сок. От давления в автомате пакеты взорвутся и сок хлынет на волю, и тогда эти паскуды пожалеют о том, что отменили родной язык и угощают всех своей шведской едой типа кровяной колбасы. Помню, тогда в Шерхольмене случилась дикая заваруха, директор хотел даже вытурить Алонсо из школы

(хотя он сделал это не ради какой ни борьбы, а просто потому что руки чесались).

Я не стал задерживать себя в столовке, потому что понятное дело, кого будут подозревать в первую очередь. Просто мысленно послал благодарный привет Марит за мужество, которое она придала мне, и погнал в раздевалку. Я прямо видел уже, как сок хлещет по всей столовке, и это было величественное зрелище!

И вот еще что: пока я тут все это писал, папа позвонил домой и сказал, что сегодня Нурдин получил себе работу! Новая жена двоюродного брата Самира помогла ему со связями, и теперь он будет работать в рекламном бизнесе. Папа сказал, что завтра надо будет пойти и поддержать его.

* * *

Прикольно позавчера получилось, потому что у нас было обществоведение. Каждый ученик заполнял тест, в котором надо было выбрать одно из двух, а потом передавал свою бумажку соседу, чтобы он все проверил. А я сидел один, и поэтому ко мне подсел Алекс. Вот Биргитта и говорит, пусть Алекс тоже напишет тест.

— Факты общеизвестные, ты все это прекрасно знаешь. А Халиму будет кого проверить.

Понятное дело, Алекс не мог отказать, хотя по лицу его было видно, что он хочет смыться. Вопросы зачитали вслух, все понаставили крестики, а потом обменялись бумажками. Хотя все ответы я, конечно, не знал, но угадал просто зашибись. 11 из 15 (почти что лучше всех в классе). Весь прикол был в том, что у Алекса набралось только 8 правильных ответов. 8 из 15!

Потом я весь урок замышлял дикое унижение. Например, так (настоящим шведливым голосом): "Ой, я, конечно, предполагал, что ты ничего не знаешь о своей истории, но что ты и в собственном настоящем не разбираешься, стало для меня большой неожиданностью". Или так (голосом мигранта): "Ты понял, чувак, как я поступаю с узкоглазыми, которые косят под черных рэперов? Я жую их и сплевываю".

После урока я окликнул Алекса, и как только я произнес его имя, все слова уже вертелись на зубах. Но когда он оглянулся ко мне всем лицом, я растерялся. Глаза у него были такие несчастные, как будто только что с похорон, и я вдруг почувствовал себя полным говном. Так нельзя, это все равно что ударить девчонку или пнуть старика. Я просто спросил его, как дела.

— Так себе, — ответил он, хотя лицо у него был такое, как будто он на спор съел кусок мыла, а денег не получил. Он поскорее слинял в учительскую, и мне даже жалко его стало, частично. Еще бы, нелегко человеку, если каждый день его опускает самый хитроумный во всей Швеции революционный мигрант и философ.

После школы я поехал в центр, чтобы встретиться с папой у хот-догов рядом от "Оленса". Когда я поднялся на эскалаторе, папа стоял на углу и рассматривал витрину. Так странно бывает иногда увидеть в толпе близкого человека, потому что глаза соображают быстрей головы. Вот как сейчас. Голова папу еще не узнала, а глаза уже увидели запущенное лицо и седеющие усы с морщинами. Он рассеянно протирал очки и улыбался витрине. За секунду до того, как моя голова его опознала, глаза решили, что человек этот какой-то беспомощный.

Мы пожали руки и пошли от Хамнгатан к Кунгсан. Хорошо прогуляться вместе с папой, даже несмотря на то, что я стал почти на десять сантиметров выше его. Папа все говорил, что без рекламного велика магазин бы, наверное, до осени не дотянулся.

– Это мактуб, судьба наша. Находим мы, значит, в кустах краденый велосипед, и продажи начинают расти как на дрожжах! Во вторник у нас в кассе было почти столько же денег, сколько в "Сульстролене" – после обеда! Самир просто потрясен.

Я шел рядом и внутри нес воспоминания, о которых у меня сейчас нет сил рассказывать.

Еще издалека мы увидели, как сверкает под дождем рекламный щит Нурдина. Он стоял немного около входа в торговый центр "НК". Когда мы подошли ближе, мы прочитали на щите, что рыба с картофелем фри стоит 79 крон, а коктейль из морепродуктов – 55. Заместо того, чтобы просто топтаться на месте и раздавать листовки, Нурдин начал играть театр, чтобы увлечь внимание прохожих. Он подбежал к детской коляске и притворился, будто коляска – это девушка его мечты, он весь как бы изогнулся и стал ласкать ее, как кот, который ухаживает за очаровательной кошечкой. Многие останавливались, чтобы посмотреть его веселый театр, и смеялись (но только по-доброму). И тогда Нурдин подскакивал к ним, раздавал всем рекламные листовки и кивал в сторону ресторана. Иногда он кланялся, чтобы заработать себе на аплодисменты. А чтобы показать, что ресторан этот суперкрутой, он складывал указательный и большой пальцы и целовал их. Мама с коляской, которая стояла рядом и курила, сначала хотела изобразить недовольство, но потом, когда Нурдин пощекотал коляску в самом неприличном месте, не выдержала, тоже взяла листовку и мило улыбнулась.

Мы перешли через улицу. Когда Нурдин нас увидел, он вытер лоб носовым платком и устроил себе перерыв.

– Ну как? Публика у меня непростая, но согласитесь, что и метод работы новаторский, тут не поспоришь. То, что вы сейчас видели, я называю "В ожидании коктейля из морепродуктов". Что скажете?

Папа рассмеялся и ответил, что получилось смешно. Я же не мог отделаться от мысли, что как это все-таки по-дурацки – что Нурдин, который играл Эстрагона на всех мировых сценах и вдохновил Бергмана, теперь вынужден заниматься какой-то фигней. Но, понятное дело, вслух я сказал, что рад за него. Когда мы попрощались, Нурдин вернулся в свой уличный театр.

Ресторан находился прямо рядом, в переулке. Нам достался хороший столик, и папа заказал домашнего вина. Официантке он долго объяснял, что мы пришли сюда только потому, что у них на Хамнгатан потрясающий зазывала. Только ее это, по-моему, мало интересовало. Она поставила на стол корзинку с хлебом и сказала, что еду нам принесут быстрее, если мы закажем одно и то же.

За ужином папа долго гнал про то, что собирается купить дешевые бейсболки со склада в Бромме и что уже закупил большую упаковку ершиков в виде гномов, для чистки курительных трубок.

– Понимаешь, Халим, женщины наверняка станут покупать их под Рождество.

Довольно долго я его не перебивал, так как знаю, что сначала лучше дать ему наговориться типа о делах, а потом уже спрашивать о самом

главном. Еще легче это будет сделать, когда он расслабится от бутылки номер два. Мы уже все доели, когда я попытался сменить пластинку. Я попробовал заговорить о девчонках и о любви, но папины глаза уже собрались в заоблачную даль, и тогда я спросил:

— Папа, ты меня слышишь? Можно задать тебе один вопрос? Когда ты перестал быть мусульманином?

Сначала я подумал, что зашел слишком далеко и нарушил почтение, потому что папа быстро сфокусировал глаза и временно проглотил язык. Он сидел долго и неподвижно, с зубочисткой в руке. Потом глотнул вина и процедил его через зубы.

— Скажем так, я отношусь к религии не слишком серьезно. По-моему, от нее в мире слишком много зла. Но ты же знаешь, что я молюсь. Иногда.

— Да, но не каждый день.

— Да, не так часто. В последнее время совсем редко — только тогда, когда мне этого действительно хочется. Думаю, смысл религии именно в этом. Сделать человека счастливым. Один шведский пастор сказал: "Покой измеряется верой". По-шведски это звучит еще лучше: "Вера — покоя мера".

Папа плеснул себе в стакан еще вина, и глаза его как будто немного помутнели.

— Знаешь, не стоит переоценивать важность религии. Фундаменталисты — просто безумцы, помни об этом. Для меня религия — это скорее средство достижения покоя и...

Папа надолго задумался. За другим столом пропели "с днем рожденья" и прокричали "ура".

— Ну да, Аллах ведь вроде как архитектор моста, а... гм... а если он архитектор, значит, и каждый добропорядочный мусульманин должен построить свой собственный мост. Понимаешь?

Я был частично несогласен, но все равно кивнул, потому что меня накрыла радость, ведь папа впервые за долгое время говорил со мной серьезно. Как будто я был уже взрослый. Тем более он говорил на литературном арабском, а я почти все понял, потому что говорил он медленно и с перерывами на тишину. Я спросил:

— Но если Аллах архитектор, то кто тогда Мухаммед — да пребудет с ним мир?

Папа разгладил усы и улыбнулся:

— Разумеется, он прораб, он ходит по стройке в желтой каске. И следит за ходом работ.

Мы засмеялись, и стало так абсолютно совершенно. Кончики папиных усов поднялись вверх, как руки футболиста после фола. (Этот суперский афоризм я придумал еще в ресторане.) Папа тщательно выкапал последние остатки вина в стакан. Прежде чем мы не ушли, я решил подобраться к главному:

— Пап, а ты уверен, что это хорошо? В смысле, покой. А вдруг человек превратится в жалкую тряпку? Вдруг станет трусом?

— Нет, Халим, что ты. Разозлиться всякий может. А вот прожить жизнь в покое не так-то просто. Это под силу лишь немногим.

Папа заказал счет и попытался выжать бутылку в последний раз. Счет положили на стол, и папа достал пачку денег.

— Пап, а что, если человек научится плавать?

— Что?

— Тогда мост ему ни к чему. Ведь он станет самым могущественным.

Папа сидел с пачкой денег в руках, и смех его наполнял собой весь ресторан, и смех этот был самым горячим теплом и полной противоположностью смеху учителей, или хохоту в игровой, или всему прочему в таком роде — фальшивому и ядовитому. Папин смех делает все вокруг ласковым, и я тоже хохочу вместе с ним, мы сидим в самом шикарном ресторане в самом центре города и смеемся прямо как в детстве, когда немного поругаешься с приятелем, потому что ты или твой друг выпендривался, но и другой тоже не хотел отставать, и вот вы уже сцепились и подрались до упаду, и обоим тошно, а потом один из вас вдруг как пукнет, да так нереально громко, что вся улица обернется, и тогда вы оба начинаете хохотать как сумасшедшие, и стараетесь хохотать без перерыва, чтобы снова почувствовать, что на самом деле вы лучшие друзья, и кажется, что если вы перестанете смеяться, то вас просто разорвет пополам, и все вокруг становится дико смешным, потому что вы оба хотите показать, какие вы друзья. (Хотя, может быть, слова того парня вонзились тебе под ногти и превратили тебя в кусок льда, но все равно ты смеешься.)

Все это время официантка нетерпеливо нарезала вокруг нас круги, а другие клиенты раздраженно поглядывали в нашу сторону. Только нам было наплевать, потому что папа смеялся совсем как раньше, всем лицом, — так, что даже морщины расправились.

Папа опирался на меня по дороге домой от станции "Цинкен". Он что-то бубнил себе под нос, а потом сказал, что ему надо отлить, до дома он не потерпит. Вечер был такой суперский, что я решил, пусть делает, что хочет, и повел его в кусты. В ресторане он держал себя в руках, а теперь ему приспичило побубнить из Омара.

— Иногда... держит чашу рука, а другая — чего-то еще... и... нет, не так... Как лишь терпит нас мраморный свод бирюзовый — не кафиров совсем, не совсем мусульман[1].

Но у меня в голове звучали только папины слова, которые он прошептал, когда официантка забирала счет:

— Иногда я действительно чувствую, что ты мой сын.

Я от гордости прямо не знал, как мне сквозь землю провалиться: все было так, будто ничего не изменилось, будто папа опять стал таким, как раньше. И не важно, что у него заплетаются ноги, что он кричит "Бирюза? Да лучше я сдохну!" и размахивает кулаками по небу.

* * *

Я лежу на кровати и пишу. Грязными джинсами я испачкал матрас. Стоило мне подумать, что жизнь наконец налаживается, как тут же пришлось пожалеть об этом, потому что все вдруг пошло из рук вон хуже.

Началось это после школы, когда я сидел на кухне и читал старые комиксы про Дональда Дака, которые взял у Хуана еще в третьем классе. Я вспомнил, что Хуан рассказывал, будто Алонсо за всю свою жизнь прочитал только одну книжку ("Остров сокровищ"). А когда в старших классах им стали задавать рецензии, он попросил у Хуана "Дональда Дака" и начал сдирать оттуда разные истории и подставлять каждый раз другие

1. Цитата из Омара Хайяма. Перевод Н. Стрижкова.

имена. Скоро учитель почувствовал подозрение и понял, что не может быть столько много разных книг с одними и теми же героями — с тремя братьями, наижаднейшим и богатейшим дядюшкой и удачливым родственником. Я сидел за кухонным столом и вспоминал, как когда-то смеялся этой истории, и не мог понять, верю я теперь в нее или нет.

Папа с Нурдином пришли домой часов в шесть, оба были довольные, даже больше, чем обычно. Пока они распаковывали товары, я решил их еще сильнее обрадовать и перевел на арабский одну смешную историю из "Дональда Дака". (Немца, норвежца и шведа я переделал на тунисца, марокканца и алжирца.) Нурдин хохотал и бил себя по коленям, когда я рассказал, как тунисец и марокканец от вони выскочили из свинарника и стали ждать алжирца, но заместо него вышла свинья, которая зажала себе нос пальцами и сказала: "Алжирец пернул". Папа достал разделочную доску, стал чистить лук и выковыривать середину из перцев. Масло шипело на сковородке, и в самый разгар шипения папа повернулся ко мне:

— Да, кстати, Халим. А как там у тебя с женщинами? Les femmes? С женщинами у тебя как?

— Что? В каком смысле?

Вероятно, он заметил, что я теперь беру у него больше одеколона и тщательно зачесываю прическу. Папа улыбнулся и подморгнул Нурдину:

— Кто она? Давай, выкладывай. Скрыть любовь так же сложно, как упрятать костер в пустыне.

Я понял, что отнекиваться бесполезно, принес из своей комнаты школьный альбом и показал ему класс, в котором учится Марит. Нурдин сказал, что она красивая, а папа важно кивнул и разгладил усы. Я сказал, что она не такая, как другие девчонки из Сёдера: я почти уверен, она не чистокровная шведка. За это папа как-то странно на меня посмотрел. А я все равно не мог остановиться говорить о ней. Я много рассказывал о том, как она стесняется парней, потом про совет по питанию, когда она показала, что мы с ней думаем прямо одинаково о школьных встречах и всяком объединении. Я описал им про ее темные локоны, и про то, как она скатывает гольфы трубочкой над своими кедами, и про то, какие у нее блестящие губы, и голубая косметика на глазах, и на руке след от пластыря, и улыбка как солнце, а глаза как в диснеевских мультиках. Иногда папа прерывал меня цитатами из Хайяма, но мне это особо не мешало, потому что и в них все было про любовь. Например, он сказал, что всякий день, прожитый без любви, — пропащий. Потом он потерял продолжение, и я стал рассказывать дальше — про то, как мы с Марит смотрим друг на друга каждыми днями в игровой. Я как раз собирался рассказать про ее рубашку, в которой она похожа на арабскую певицу Файруз на футляре от старой пластинки, но вдруг увидел в корзине для фруктов апельсины с наклейкой "Яффа".

Папа перехватил мои глаза и стал оправдываться:

— Остальные были старые и гнилые. Не апельсины, а каша. У меня уже сил не было идти в "Виво" только ради того, чтобы...

Смотреть противно. Халим только и сделал, что ушел к себе в комнату, а по пути сдержал свои силы, чтобы не поломать дверь, которую он захлопнул за собой. Нурдин с папой продолжали свой разговор, но уже тише. Весь вечер я провалялся в кровати и не думал ни о чем, кроме Марит-Марит-МАРИТ.

* * *

Подумать только, моя жизнь без любви шла бы совсем иначе, ибо с ней забываешь о других мыслях и обретаешь равновесие. Хотя, конечно, есть риск, что в игровой Марит забудет послать мне свой теплый взгляд, полный любви, и тогда меня ужалит страдание. Выражаясь более философски, скажу, что любовь прекрасна, но влечет за собой опасный риск, потому что когда твоя девушка веселится с другими или, к примеру, ни с того ни с другого говорит Стефану, что он классно постригся, то внутри у тебя происходит возгорание. Плюс угощать других парней чипсами из своего пакетика — все равно что забить последний гвоздь в крышку моего гроба, и я тогда быстро вскочил, пулей вылетел из игровой, потому что иначе я за себя не ручался. Понятное дело, она это делает просто по доброте духовной, потому что кудрявая башка Стефана даже с девчачьим каре осталась такой же лохматой, как и раньше. Плюс он играет на синтезаторах в группе Давида, носит дырявые "конверсы" и узкие джинсы в обтяжку.

По дороге домой я решил прошвырнуться и сделал небольшой крюк через Танту. Пенсионеры на своих огородах наводили порядок, готовились к осени, закрывали грядки пленкой, а окна ставнями. И вдруг безо всякого предупреждения гора Танту превращается в гору Атлас, затем камера дает крупный план: потоки растаявшей воды из зимнего снега, узкая грунтовая дорога, по дороге едем мы, а на заднем сиденье — наши дети. Вид сверху: издалека видна шаль Марит, которая развевается на ветру из окна. Марит немного как звезда классического арабского кино, у нее темные очки и сексуальные губы. Январь выдался солнечный, но не слишком жаркий, и белые цветки миндаля сияют, как маленькие солнца, на фоне зеленых оазисов и бурой земли. Сначала я мчусь максимально быстро, потому что спинным мозгом знаю любой поворот дороги, но потом, когда мы приближаемся к поселку, где родился мой папа, я сбрасываю газ, показываю миндальные и оливковые деревья и маленькие поля тут и там и рассказываю, что люди живут здесь с внезапамятных времен. Марит и дети смотрят на меня с восторгом, я отвечаю на все их вопросы. Еще я рассказываю, что их дедушка — то есть мой папа — вырос именно здесь, но когда французы построили в поселке школу, мать отослала его в Рабат, потому что, понятное дело, она не хотела, чтобы сын ее стал французом. Все это случилось задолго до борьбы за освобождение, когда никто еще и не думал о государственном перевороте. В поселке нас встречают как долгожданных султанов, которые наконец вернулись домой, у моей старой бабушки лицо как у Даланды, она, понятное дело, устраивает великий праздник с длинным столом и арабскими блюдами в нашу честь.

Когда я пришел домой, папа шипел аспирином в гостиной. Наверное, закрыл магазин раньше времени, потому что обычно в это время никого из нас дома нет, просто сегодня я решил прогулять черчение. Я уловил натянутый дух — после вчерашнего, — мы только молча кивнули друг другу. Раньше между нами никогда не было такой тишины.

Я повесил куртку, стянул в коридоре ботинки и по дороге в комнату заметил, что апельсины с наклейкой "Яффа" папа все-таки выкинул. Я подумал, что это лицемерие, это все равно что подкрашивать лысину, душить одеколоном мертвеца или лишать туалеты мыла только за то, что они разрисованы арабскими символами.

Я немного перекусил у себя в комнате, из гостиной не раздавалось ни звука. Когда я покончил с кефиром и бутерами, я просочился на кухню. Только я оставил грязную посуду, из туалета появился папа с газетой под мышкой, и мы едва ли столкнулись. Он посмотрел на меня в лоб, как будто прикидывал свои шансы:

— Кстати, Халим. Вот что — съешь на десерт апельсин. Пока они не испортились.

Сначала я думал, что мне послышалось: шутит он, что ли, или издевается? Я попятился от папы, который стоял около раковины с улыбкой.

— Ты же знаешь, у нас полно апельсинов. Бери.

— Что-то мне неохота.

— Давай-давай, знаешь, какие вкусные. Смотри!

Папа взял апельсин и потрогал его пальцами так, как обычно пробуют мускулы.

— Какой спелый!

И тогда я подумал, что теперь пусть пеняет на себя.

— Спасибо, не надо. У меня еще осталось немного гордости за душой.

Папа потемнел всем лицом, а две его брови почти превратились в одну, очень длинную. Челюсти плотно сжались между собой, а виски застучали. Помню, я подумал: "Так, начинается, даже папа выходит из равновесия". Мы таращились друг на друга, наверное, секунд пять, но каждая секунда тянулась как минута. Потом он повернулся к раковине и стал набирать воду. Никаких следов дикого гнева, он просто очень аккуратно мыл тарелки и стаканы. Но я все время видел, как работают его челюсти. Они были как маленькие дополнительные мускулы по обе стороны от подбородка, которые показывали, что на самом деле он уже на грани глобальной катастрофы. Холоднокровный, как последний хирург, папа пшикал моющим средством, поласкал вилки с ножами, короче, домывал посуду. Я вернулся к себе, и весь вечер в доме стояла тяжелая тишина.

* * *

Сегодня утром у нас случилось второе собрание совета по питанию, чему я был даже рад, ведь я сидел в одной комнате с Марит. На этот раз было получше, нас угостили соком и бутерами, которые остались от завтрака. Марит, к сожалению, сидела так, что нам было сложно перевзглядываться. Зато я видел, как она застенчиво и любовно посмотрела на меня, когда входила в столовку.

В руке у буфетчицы появился деревянный молоток, и она жахнула им по столу, чтобы открыть нашу встречу. Софию из восьмого выдвинули в секретари, первым был пункт про обсуждение вандализма. Понятное дело: неизвестный султан мысли взорвал два пакета с соком, и, возможно, одну из машин теперь придется чинить. Кому что об этом известно?

— Мы знали, что рано или поздно такое может случиться. Если вам известно, кто это сделал, лучше признайтесь. Вам же легче будет.

Они не догоняли, что этот сочный взрыв связан с отменой родного языка, а я делал каменное лицо, пока не почувствовал, что на меня смотрит Алекс. Тогда я на секунду отпустил свою маску, но тут же вернул ее обратно. По делу выступила только Линн, которая считала, что сочные машины безотносительно к взрыву давно было пора менять, потому что они вроде как пукают каждый раз, когда из них выливается сок.

Потом мы перешли к следующему пункту: хлебный вопрос (опять). Обычные хлебцы или треугольные, мягкие булки или что? Сибилла сказала, что у нее в классе всех уже тошнит от хлебцев. Кто-то добавил, что черный хлеб вкуснее, чем белый, Ахмед сообщил, что в его классе считают: рыбные палочки надо давать как минимум раз в неделю. София пыталась вести протокол и орала, чтобы все говорили по очереди. Буфетчица колошматила молотком по столу и требовала, чтобы не уходили от темы, но все спорили о разном. Несколько восьмиклашек устроили в углу голосование, в результате которого решили запретить пюре с мясом и томатный суп. Петер орал, что столовые лампы вредят на зрение, Андерс сказал, что Сибилле вообще ничего не надо, лишь бы каждый день давали хот-доги.

По-моему, никто толком не въехал, то ли Андерс так прикалывался над ее именем[1], то ли над тем, что она такая блудливая телка, и потому получилось просто дико смешно, все парни, кроме Алекса, ржали, а Сибилла кричала, что Андерсу надо бы каждый будний день засовывать в задницу по хот-догу, и Алексу пришлось держать Андерса, а буфетчица продолбила на столе круглую отметину. София строчила свой протокол как из пулемета, я думал, она сейчас разревется.

Так продолжалось примерно минут сорок пять. И Марит, и я молчали, что уже хорошо, я же знаю, для телок это главное — раз у нас много общего, значит, все будет просто зашибись. Собрание так и не дошло ни до какого решения, но перед тем как закончить буфетчица рассказала о результатах в других группах. Библиотечный совет постановил подписаться на газету "Дарлинг", а совет по нарушению прав учеников решил переименовать себя в совет по защите прав учеников.

— Как видите, школьная демократия приносит свои плоды, — сказала главная буфетчица и помахала нам молотком. — Кстати, не забудьте, что сегодня у нас день политики. На большой перемене можно будет...

Все поняли, что собрание закончилось, зашуршали бумагами и повскакали с мест. Алекс посмотрел на меня (как будто это я опять виноват, что мы ничего не решили).

На перемене я наблюдал за главным входом и караулил политиков сверху лестницы. Раньше я думал, они все носят серые костюмы с галстуками и косят под банкиров, но в тот раз они были больше похожи на обычных людей. Толпы учеников и учителей шарились между столиками, чтобы типа задать вопросы и взять брошюры, а на самом деле все хотели захапать побольше конфет и халявных карандашей.

В углу рядом с лестницей один политик стоял за столом с красными значками и красными бумажками, на которых виднелись надписи: "Не допустим повышения квартплаты!", или: "Долой оценки, "отлично" для всех!" У политика была прическа с тощим хвостом и прыщавое лицо, он трепался с мулатской телкой, которая теперь — после Сванте — работает у нас новой музычкой. У него на столе никаких конфет не было, поэтому и с вопросами к нему никто особо не толпился.

Я вежливо перебил разговор: потрогал политика за плечо и спросил, а какой у них, собственно, план помощи иммигрантам. Понятное дело, он не догнал мой вопрос и начал втирать мне про безработицу и сегрегацию.

1. "Сибилле" — сеть шведских киосков, продающих фастфуд.

Я вздохнул и рассказал ему о запрете на спутниковые антенны. Только я забыл, что он политик, и он, конечно, начал прикалываться:

— И это ты называешь катастрофой? То, что вас заставляют снимать антенны? Да я думаю, даже напротив, это прекрасно способствует интеграции и...

Потом все произошло максимально быстро — как всегда, потому что смех надо мной и особенно потому, что музычка тоже решила за ним повторить, а все вокруг наверняка подслушивали. Я ухватился за край стола, хотя бы для того, чтобы не потерять равновесие и, может быть, чтобы немного его потрясти. Но стол почему-то перевернулся, посыпались на пол наклейки, бумажки, брошюры и красные значки, и сам хвостатый чувак едва ли не навернулся. Прежде чем слинять в раздевалку, я еще подумал, что стол теперь похож на дохлого зверя, лежит себе, лапки задрал, а под ним — красная тряпка.

После перемены я свалил оттуда и пошел просто дальше и дальше, и вот теперь я пишу, пишу то да се, чтобы видно было, будто я занят, привет — ну и все такое, немного как никто — хотя все равно этот никто замечает, что никто не знает, как дальше —

Извините за такие странности, просто только что пританцевал папа и стал мне мешать. Он свернул рупором лотерейный билет и прокричал:

— Внимание-внимание, если "Астон Вилла" проиграет, то с сотенными купюрами мы можем поступить вот так.

Он сделал вид, что курит и выдувает колечки к потолку. Я продолжал писать, чтобы показать, как я занят уроками, но папа никуда не девался. Он сел на кровать, облокотил голову на стену и стал рассматривать фотографию Хассана Второго.

Вот в эту самую секунду он до сих пор так и сидит. Спит. А также пахнет одеколоном и чем-то еще, замечательно слышно каждое его дыхание. А до этого он кучу всего набормотал:

— Знаю я, что они говорят про родной язык... но ты должен понять, что шведский важнее... посмотри на меня... я-то знаю, что бывает, когда не знаешь языка...

Я игнорировал, а он продолжил:

— Если не научишься говорить по-шведски свободно, будешь как мы с Нурдином или как Самиров двоюродный брат... станешь бандитом, преступником... будешь не при делах, как этот финн, он, по-моему, так и не сыграл ни единого матча в Глазго... и все ждал, ждал... ждал. Так устроена жизнь... поверь мне. Иногда ты нужен, а иногда — нет... и приходится ждать...

Он наконец замолчал и уронил голову на грудь, а на третьем дыхании уже захрапел. Вот так он и сидит теперь уже достаточно долго и держит в одной руке билет спортлото. Скоро закончу писать и потащу его в кровать. Скоро уже.

Вот прямо сейчас.

* * *

Обещал папе наклеить ценники на карнавальные очки с усами, но сначала мне нужен перерыв, чтобы рассказать, что случилось вчера.

После обеда я несколько часов стоял на кассе один, потому что папа слинял из магаза, чтобы обсудить дела с Самиром. Видимо, прошлая

жена Самира раскаялась и сказала, что он может встречаться с детьми, но при условии, что он станет зарабатывать честные бабки и будет возить их с собой в отпуск на юга. И сейчас у Самира местами депрессия, местами напряг с деньгами, поэтому папа, наверное, одолжит ему небольшой кредит, главным делом чтобы оказать знак благодарности за помощь Нурдину. Взамен Самир пообещал суперские проценты и бесплатные старые фильмы, которые папа сможет продавать у себя в магазе. У нас так заведено: одна рука моет другую, и в конце концов все остаются при выгоде.

В магазине все было спокойно. Какие-то дети покупали леденцы со свистульками, а потом одна пенсионерка купила три одинаковых штуки прихваток. Она очень хотела потрепаться и рассказала о своем внуке, который катался по тропическим лесам Бразилии и уговаривал индейцев беречь деревья.

Сначала мне было частично интересно, но потом я запарился ее слушать. Хорошо, что у меня при себе был учебник по обществоведению, я читал его и мычал для поддержания разговора, так что тетка думала, будто я в теме. Минут через десять она наконец высказалась, попрощалась, но, понятное дело, забыла прихватки на прилавке и умотала на своих ходунках, а мне пришлось за ней гнаться.

Примерно через полчаса в магазин зашла одна женщина, которая, заместо чтобы смотреть наши товары, пошла прямо к кассе.

— Здравствуйте. Долго вы еще намерены держать на улице этот велосипед?

Хотя она и казалась уже немного старой и сморщенной вокруг глаз, я распознал, какой красивой она была в молодости. Черные как уголь волосы с челкой, дорогая косметика, а под бежевым пальто такой женский костюм, как у телок в американских сериалах про адвокатов.

— Я только что от родственницы, которая живет тут рядом, в доме для престарелых. Она передвигается на инвалидной коляске и говорит, что ей очень сложно проехать по тротуару там, где стоит ваш велосипед с рекламной вывеской. Вы знаете, что для размещения такой рекламы необходимо специальное разрешение?

Я подумал, что она явно шифруется, но разоблачил ее по всяким словам и по интонациям. Скорее всего, она из Ливана или из Иордании, хотя, может быть, даже и из Ирана (но только это маловероятно).

— Конечно, само собой, у нас есть все необходимые документы, — сказал я. — У моего папы есть все бумаги, вот только он ненадолго вышел, наверное, скоро придет, зайдите чуть позже и спросите Отмана. И вы убедитесь, что у нас все законно.

Ее лицо превратилось из сердитого в любопытное, потом она долго думала и снова заговорила. (Теперь уже по-арабски.)

— Значит, говоришь, Отман. Это часом не Отман Эль-Бустани? У тебя не такая фамилия?

И тут я заподозревал, что она хочет проверить вид на жительство. Все равно я кивнул, и тогда она разобрадовалась просто дальше некуда. Она бросилась за прилавок, чтобы хорошенько поздороваться, отвесить поцелуй в щеку и все такое, и сказала, что она старинная подруга моих родителей, в Шерисе она была нашей соседкой.

— Неужели ты не помнишь меня? Я Надя. Тебе тогда было лет шесть-семь. Такой был хорошенький, ты еще любил эти, как их?.. Бисквиты!

Шоколадные бисквиты, Отман их всегда тебе покупал, когда мы встречались, и ты съедал их в кафе, прямо под столом. Не помнишь? А если тебе не покупали бисквит, ты устраивал скандал!

Она рассмеялась и погладила меня по щеке.

— А сына моего ты помнишь? Он тебя старше на несколько лет. Вечно вы с ним дрались, оба были хороши. И один из вас всегда ревел: "У-у-у, Фади взял у меня человечка из Лего!", а еще через пару минут: "У-у-у, Халим у меня детальку от Плеймобиля забрал!" Вы были как братья...

Странно, конечно, но я вообще не помнил ни ее, ни ее сына. Все равно я сказал, что помню, и тогда Надя еще сильней разобрадовалась.

— Я так и знала! Надо бы нам всем как-нибудь встретиться — Фади как раз только вернулся из Берлина, он наверняка захочет с тобой повидаться.

Улыбка ее застыла как нарисованная. Немного тише она спросила, как там папа.

Я сказал, что у папы все хорошо, рассказал, что он до сих пор ведет борьбу, у него новые организации насчет Палестины, он участвует в демонстрациях против Интеграционного плана. Надя еще сильнее обрадовалась, а я продолжал рассказывать, как папа пишет книгу, которая откроет всем глаза на Шарона, я даже наплел, что он знает шведских политиков, которые обещали устроить реальный бойкот апельсинам из Яффы в качестве мести за резню на Западном берегу реки Иордан.

Похоже, она всему поверила, во всяком случае, она казалась дико довольной.

— Отман всегда был борцом, — сказала она, и внутри меня прозвучало гордое эхо — всегда был борцом!

Потом она посмотрела на часы и заторопилась. Она оставила на прилавке визитку своего страхового агентства и сказала, чтобы папа позвонил, как только сможет.

— У меня тоже много всяких проектов, Отман бы нам так пригодился. Завтра в городе у нас демонстрация. Скажи ему, пусть приходит. Нам всем его не хватает.

Тут я немного пожалел о том, что наговорил про папу столько всего. Вот бред будет, если он ей позвонит — и окажется, что папу как подменили.

* * *

Сегодня перед обедом я встретил папу в магазе. Мы затащили внутрь покемономат, выключили свет и спрятали кассу, а я прикарманил себе новый фломик. Потом мы закрылись и пошли хорошенько затариться. Мы накупили всяких тяжестей, которые время от времени приходится покупать, плюс я уговорил папу попробовать новое мороженое с кусочками пастилы и шоколада.

По пути домой мы зашли в "Сульстролен", чтобы взять напрокат какой-нибудь фильм. Перед тем как войти, папа сказал, чтобы я ни слова не говорил о кредите, потому что, понятное дело, Самиру немного стыдно. Когда мы перешагнули дверь, пропиликал электрозвонок, но Самир так и не высунулся из газеты. Он разул шлепанцы и положил ноги на табуретку рядом с прилавком. На пятках у него были какие-то коричневые бородавки и мозоли.

— Самир, мой добрый коллега и друг. Как идут дела? Много ли покупателей? О, Аллах, да принесет дождь этот пользу, или как?

Самир пробурчал что-то типа приветствия.

— Что ты можешь нам предложить из своего богатого ассортимента в этот прекрасный вечер?

После целого дня общения со шведопятскими покупателями папа всегда поначалу говорит очень высокопарственно. Самир отложил газету и глубоко вздохнул. Под глазами у него были черные мешки, и хотя майка с логотипом кинокорпорации "Трансфер" выглядела свежестираной, было заметно, что она на несколько размеров мала и поджимает. Самир заперебирал фильмы, которые только что вернули в прокат.

— Вот, например, классика. "Стой! Или моя мама будет стрелять". Со Сталлоне.

Папа взял коробку и сравнил ее с французским фильмом, который нашел на полке со спецпредложением.

— Или вот этот, не смотрел? "Ненависть". "La Haine". Да, кстати, а этой самой "Матрицы" у тебя нет? Нурдин советовал посмотреть.

Самир откинулся на спинку стула и в ответ лишь почесал свои яйца.

— Ладно, как скажешь. Берем вот этот. Один "La Haine", пожалуйста.

Самир дал нам фильм и бесплатную упаковку чипсов "Принглз" в качестве бонуса. Всю дорогу домой я один тащил тяжеленные мешки с покупками, и помощь мне ни разу не потребовалась.

— А что там с этим кредитом? — спросил я папу. — Договорились?

— О чем ты?

— Ну кредит. Самиру.

— Без комментариев.

Папа улыбнулся, как распоследний политик, и стал читать вслух с обложки фильма. Когда мы проходили мимо кафе "Штука", папа потерял нитку, потому что внутри сидел Нурдин и стучал по оконному стеклу так, что все грохотало. Папа улыбнулся одними губами и одновременно пообещал, что будет неделю подряд мыть посуду, если я пойду вместе с ним:

— Халим, пожалуйста, я тебя умоляю. Иначе мне отсюда не уйти.

Я пошел с ним, было так здорово наконец поставить пакеты на пол и утолить жажду. Перед Нурдином на столе стоял почти пустой бокал и пепельница, которая дымилась, как вулкан. На нем была джинсовая куртка, темнее, чем потертые джинсы, и по его лицу я понял, что все не особенно гладко, хотя, возможно, так только казалось, из-за небритой щетины. Когда официантка подала нам два пива и бутылку колы, Нурдин ядовито спросил:

— А что это ты без Черстин?

Папа промолчал и отглотнул из бокала.

Нурдин закурил новую сигарету и пыхнул дымом, как дракон. Потом он рассказал, что из ресторана его уволили.

— Вернее, не уволили — они сказали, что на самом деле я могу там работать, если только перестану устраивать свои "спектакли". Но я же не идиот, чтобы просто топтаться целыми днями и раздавать рекламу. Я собирал аншлаги по всему миру! Бергман меня лично благодарил!

По голосу Нурдина было слышно, что пришло время показать немного театра. Он выставил правую руку, как будто хотел проверить, нет

ли дождя, а потом прокричал цитату из английского: про то, что жизнь — тяжелейшее бремя, ожидание мучительно, а Бог мог бы быть к нему и подобрее.

Папа быстро допил пиво и после недолгих утешений сказал, что нам пора, иначе продукты пропадут, а мороженое растает. Папа много раз уговаривал Нурдина пойти с нами, но тот отказался. Чтоб не свалиться, он нашел опору на папином плече и сказал на благородном английском, что они с папой, наверное, созданы идти по разным дорогам и что все в этой жизни так неопределенно.

Папа устал, взял один из наших пакетов и пошел к двери. Нурдин же исчез в сторону бара, чтобы немного поцитировать там для официантки, которая местами была похожа на мою детсадовскую воспитательницу из Шериса. По пути домой папа сказал, что начинает беспокоиться за Нурдина.

Заместо того чтобы смотреть кино, папа вдруг принялся составлять список заказов и ставить галочки в каталогах предприятий, которые производят пластмассовые танцующие цветы в темных очках и с электрогитарами. Я немного шпионил за ним из комнаты. Иногда папа откладывал ручку в сторону и рассматривал воздух перед собой, и тогда как будто совсем забывал о времени. Дольше всего он просидел так — стремительно-неподвижно — минуты три, пока разглядывал что-то, чего в комнате не было, а потом вздрогнул, будто его разбудили. Он снял очки, подышал на них и протер. А потом снова уткнулся лицом в каталоги.

3

Ничто не воткнется палкой в колесо борьбы.

Время шло, я много философствовал об Аллахе, о судьбе, о жизни и всяких таких штуках. А после нашего с папой разговора в ресторане я попытался придумать теорию про то, как друг между другом все связано. Есть много чего такого, что с Аллахом никак не укладывается. Самое непонятное, почему происходит так много всего случайного и неопределенного. Вот, например, ты выбираешь дорогу через улицу, и случается одно, а выбираешь другую дорогу, через парк, и вдруг откуда ни возьмись какая-нибудь классная телка, подходит и предлагает покидать тарелку. Или, например, если бы в самолете из Мальмё были места, Самир не поехал бы поездом и не оказался рядом от того стрёмного чувака, которого знал еще раньше, и чувак не потащил бы его в магазин серебряной посуды, и тогда бы Самира не посадили и он не потерял бы свой ресторан, любовницу и семью. Но если все в этой жизни случайно, далеко ли простирается воля Аллаха?

Ладно, допустим, Аллах держит случай на поводке и таким образом контролирует судьбы людей. Но куда он смотрит, когда в Палестине убивают детей, и почему у него негры в Африке голодают, а люди проваливаются в щели от землетрясений или в разные вулканы? Почему у него Нурдин слоняется без дела, почему он никак не получит настоящую

роль, ведь ясно же, что он скоро потеряет всякий интерес, а потом его никогда не найдет. Может, пора, наконец, понять, что либо Аллах совсем ничего не может, либо у него просто нет сердца.

Думаю, у меня уже передоз от всех этих философий, потому что ночью мне приснился дико стрёмный сон. Началось с того, что на мне были босоножки, и одно это уже было стрёмно, потому что босоножки я считаю такой же пидорской обувью, как если бы я мазался гигиенической помадой и ходил в парикмахерскую. Там еще много чего стрёмного происходило — среди прочего, два говорящих селезня играли в домино. Но самое главное случилось потом. Селезни эти заспорили, кто из них круче, один достал из-под крыла рогатку, и тогда другой посадил меня на спину, и мы полетели прочь. Мы фигачили и фигачили прямо в небо, пока не долетели до самых богов, которые сидели на облаках и смотрели канал "Дискавери". Мы поздоровались, они угостили нас попкорном и вообще были очень любезны. А потом мы с моим селезнем погнали на наше собственное облако, и он мне рассказал, что на самом деле бог не один, их по крайней мере штук пять. Четверо из них — один в один, как их представляют себе люди, типа с такими длинными седыми бородами, тусуются на облаках, все видят и все слышат. Главным делом, они занимаются тем, что держат людей за жабры, другими словами, ставят их на место, чтобы люди не думали, будто они такие же крутые, как боги. Это у них задача номер один, чтобы мы ничего такого не думали, потому что от подобных мыслей мы становимся тупыми и слабыми, и наше могущество сходит на ноль (или вообще в минус уходит). Поэтому боги эти насылают немного землетрясений и ураганов и допускают, чтобы самый мощный внутри народ снаружи страдал больше всех. Но есть еще и пятый бог. Он типа не с ними, и они его часто поливают грязью, но только за спиной (хотя, понятное дело, ему это по барабану). Самое прикольное в этом пятом боге то, что он курит сигару плюс у него накладной красный нос, как у клоуна (я думаю, для того, чтобы дразнить остальных). Красноносый с другими богами все время ссорится, потому что у него цель как раз обратная: он хочет, чтобы люди поняли, насколько они могущественны. Поэтому он все время устраивает людей таким образом, что судьба и случай их выручают. Вот тогда человек и думает типа: "Все не так плохо, не такой уж я конченый, ведь, кажется, и случай на моей стороне". Но, понятное дело, главная проблема заключается в других богах, которые обламывают людей, насылают на них смертельный исход (особенно — неизлечимые болезни на мам), чтобы люди опять забили на веру и подумали, что кругом только галимый отстой.

Селезень мне сказал, что борьба не прекращается никогда, и порой Красноносому удается нелегально организовать некоторые события, например, ясное дело, это он послал Даланду, чтобы она заговорила со мной на летней каникуле и я понял все про борьбу. Потом он засадил нас с Марит в этот совет по питанию, наверняка хотел обучить меня силе любви. А теперь вот послал в наш магаз Надю, чтобы я на самом деле понял, каким борцом был мой папа.

Утром, когда я проснулся, у меня башка совсем сбилась с ног. Но скоро она перестала кружиться, и я подумал, что сон был чудесный. По-моему, этой четверке немного удалось охмурить папу, потому что вера его почти ушла в минус. Но все-таки не думаю, что Красноносый сдастся без боя.

* * *

Наверное, я один во всем мире не притворяюсь. Сегодня по школе прошел слух, что Николь прогуляла последние недели, потому что она, оказывается, пыталась покончить свою жизнь таблетками. Она бы, скорее всего, умерла, если бы ее родители едва ли не сшибли косулю по дороге на дачу и не вернулись домой очень кстати, чтобы успеть дотащить свою дочь до соседа, который помог ей проблеваться, потому что был врач.

Все просто офигели, когда узнали про это, некоторые девчонки почти попытались заплакать. (Должен признать, Марит была в их числе.) Парни, кроме Мортена, надо сказать, притворялись немного меньше: мы продолжали играть в бильярд как ни бывало. Самое странное, что больше всех Николь гнобили как раз девчонки, в своих писуарах они писали на стенах, что она шлюха и уродина, страшная, как угревая сыпь.

Я помню, как в седьмом классе пришел в новую школу: внутри я, конечно, разваливался на части после переезда из Шериса, хотя друзей у меня и там было не то чтобы очень много, но все равно там было иначе — там было почти нормально, что я совсем один. Все понимали, я парень скромный и не хочу никаких неприятностей, подумаешь, пару раз назвали лохом, но сказано это было с уважением, потому что все знали, что я крутой, у меня и оценки были выше среднего, и предупреждений никаких мне не делали. А потом, помню, как в седьмом я пришел в эту школу, и сразу начались разборки, а все потому, что я терпеть не переношу всякое лицемерие. Я прямо почувствовал, как будто ком в горле навернулся, и пошло-поехало, а потом уже типа поздно было начинать сначала. Особенно помню, что Себастьян и остальные паскуды выделывались совсем не по-детски, они меня слишком не уважали, можно сказать, ни во что не ставили, только иногда в унитаз головой, потому как считали меня вообще козлом.

Я помню, никто типа ничего не видел, никто не мешал, никто не обращал на меня внимание, и только Николь иногда болтала со мной. Она гнала какие-то стрёмные телеги об ангелах, небесных знамениях и чернушных панковских группах, но она ведь со мной говорила! А еще помню, в середине седьмого класса, когда встала моя очередь принести печенье на классный час, эта сучка Карин спросила, не надо ли мне помочь, типа сам я ни на что не способен. Я сказал "нет", как отрезал, и кажется, с тех самых пор она и приступила меня ненавидеть. Мне тогда папа помог, вечером мы приготовили медовую пахлаву, и на следующий день всем досталось по штучке, все сказали, что это вкуснятина и экзотика. Я был дико доволен и вспоминал, как долго я копил слюни в цветочном пуливеризаторе, чтобы опрыскать из него пахлаву. Вылетало такое слюнявое облачко, которое быстро выпадало в осадок, а теперь все сидели и глотали мои слюни, и чувство было нереально приятное. Только в одну из коробок от мороженого я положил пахлаву, не опрысканную слюнями, и хотя все считали Николь уродиной, она получила пахлаву именно из этой коробки, потому что лично я не считал, что она такая уродина. Кроме Николь, только Анна и Йессика получили нормальную пахлаву, так как в самом начале я немного положил на них глаз.

После школы я сидел на кухне и думал, что бы такого сделать в пользу Нурдина. И вдруг меня озарила супер-мега-идея. Я быстро доел перекус, надел башмаки и вышел на лестницу. Подошел к двери Бенгта Магнуссона,

послушал щель его почтового ящика, и хотя по всем параметрам его не было дома, я позвонил. Высоко наверху кто-то отпустил мусор в мусоропровод, в трубе загремело и зазвенело. Я вспомнил, как мы с Хуаном сначала поднимались лифтом наверх, а потом бежали бегом вниз и звонили во все звонки (кроме тех, где наклеена собака). Опять началась тишина. Я нажал на звонок еще раз и подождал. Я представил, как Бенгт такой открывает — а сам в фартуке, весь из себя удивленный, но очень любезный — и говорит своим дико хриплым голосом, заходи, говорит, выпьем чаю с печеньями. И тут я рассказываю ему про Нурдина и объясняю, что роль можно получить, только если есть связи. Он долго думает и пьет чай, а потом говорит, что ему надо сделать пару звонков. И вот я сижу такой, типа печенье по краям обгрызаю, но тут Бенгт возвращается и начинает докладывать, что он задействовал свои связи на телевидении, обзвонил кого надо, может, Бергману там позвонил, или Агнете Шёдин[1], или еще кому.

— Не беспокойся. В течение двух недель Нурдин получит работу.

Прямо так и скажет. А я поблагодарю его за беспокойство и невосполнимую помощь, но Бенгт ответит только:

— Это тебе спасибо. Мы долго искали такого актера, как Нурдин.

Но никто так и не открыл. И я подумал, что Бенгт, наверное, стоит за дверью, подглядывает и ржет мне прямо в глазок. Поэтому я открыл почтовый ящик и заглянул в щель, но кроме коврика, рекламных листовок и куска деревянного пола ничего не увидел. Из щели тянуло теплым воздухом и пахло курением, как у Нурдина.

Я попятился от двери, взял нехилый разбег и жахнул прямо по ящику со всей дури. Табличка имени Бенгта Магнуссона реально погнулась, и даже угол один немного заторчал. Я быстро проник обратно в свою квартиру и запер дверь на все замки, типа нас дома никого нет.

* * *

Сегодня на шведском проходили внеклассное чтение, а у меня не было никакой книжки, поэтому Бьоркман сказал мне выбрать из его полки. Сначала я хотел возмутиться, потому что арабских писателей там по нулям, но потом оказалось, что у кого книги, тех отпускают с урока, только поэтому я и взял книгу Бьоркмана.

— Мне кажется, это тебе подойдет, — сказал он и удовлетворительно почесал внутри бороды.

Когда я вытряхнулся на школьный двор, до меня вдруг дошло, что у этой дебильной книжки пидорская обложка розового цвета, вот тогда я забеспокоился по-настоящему: может, Бьоркман считает меня педиком? Но, на счастье, название у книжки было не сильно пидорское: "Как вырастить папайю на юге Швеции — 19 писателей о культурной идентичности". На другой стороне обложки было написано: "Эй! Слышишь? Да-да, именно ты... Это книга о нас. О тех, кто в детстве приехал в Швецию из другой страны, и о тех, кто родился здесь в семье иммигрантов".

Я подумал, это мне знак от красноносого бога, чтобы я прочитал книжку. Во дворе никого не было, и я сел на качели возле песочницы, плевать, что на качелях только лохи качаются. В книжке была типа куча

1. Популярная шведская телеведущая.

частей, и перед каждой — фотка писателя, но, понятное дело, почти все из Европы, ни единственного араба!

Одного парня там звали Монс, он был классическим шведотепой. В предисловии к нему говорилось, что папа у него швед, а мама норвежка. Вот что писал этот Монс. (Ниже прикрепляю доподлинный текст в качестве доказательства.)

Сколько себя помню — без психотерапевтического вмешательства — я всегда знал, что я наполовину норвежец. Именно полунорвежец, а не полушвед, потому что живу я в Швеции. Шведская составляющая в моем происхождении была не так важна, она была самоочевидна, ведь меня окружали почти одни только шведы. Норвегия находится недалеко, она близка Швеции в плане языка, религии, культуры и географии, но все же это другая страна.

Немного после Монс пишет о своих приятелях, и вот тут он начинает скакать на своем коньке:

У нас были общие интересы, мы говорили на одном языке, и все мы были наполовину не шведами. Мы особо этого не обсуждали, но, наверное, опыт переживания Другого оставил свой след в каждом из нас. Думаю, это было своего рода способом восприятия окружающего мира. Благодаря выработанной в раннем возрасте привычке воспринимать сразу несколько языков и образов жизни, мы с большей готовностью пересматривали наши стереотипы. Когда ты растешь в семье, где один из родителей не является шведом, ты все свое детство помнишь о том, что ты другой, даже если не сильно отличаешься от своего ближайшего окружения. "У тебя что, мама норвежка?"

Пока я читал, я чувствовал такой хаос, как будто внутри у меня работает отбойный молоток, мускулы напряглись, а в глазах немного пересохло, я так офигел, что даже моргать забыл из-за этого Монса-норвежца, который думает, будто все знает, а на самом деле не знает ни фига. Иногда мне казалось, что это шутка — просто обхохочешься, — потому что как такое можно писать серьезно, но под конец я понял, что Монс имеет себя в виду совершенно искренне. Я тогда прямо вырвал из Монса страницы и попросил спичек в киоске у Горана.

На трубе я оглянулся на местности и приступил. Сначала ничего не получилось, этот пидорский розовый цвет лишь слегка потемнел и только в некоторых местах немного почернел. Но в другой раз я чиркнул сразу все спички, что остались в коробке, и книжка загорелась как миленькая. Потому как ветра почти не дуло, дым шел прямо в небо. Было прикольно и немного торжественно, кто-то внутри меня хотел плясать, прыгать вокруг дымящегося мусора, кричать, улюлюкать, как распоследний индеец. Но я ничего такого не делал, я просто стоял, пока дым и треск огня не закончились.

Потом я услышал, что кто-то идет от киоска. Заместо Курре это был Алекс, который, как обычно, прочесывал территорию. Он включил усталый голос и добавил немного разочарования:

— Халим. You know the drill[1]. Давай обратно на школьный двор.

Он махнул в сторону школы, и я побежал за ним бегом, чтобы он не заметил горящего мусора. Когда он повернул спину, я припрятал выдранные страницы поглубже в карман джинсов.

1. Зд.: Ты же знаешь наши порядки (*англ.*).

— Неужели это так круто, а? Обязательно надо все делать наоборот?

Понятное дело, я ничего не ответил, только пошаркал ногами, чтобы пустить немного пыли.

— Не понимаю, почему тебя сюда так тянет. Просто потому, что нельзя?

— Спорим, ты не знаешь, кто держит студию вон в том подвале.

— Студию? Нет, не знаю. И знать не хочу.

— Это суперизвестный басист, его зовут Моррис, он играл с самыми крутыми звездами. Один раз даже с группой "АББА" и с Бобом Марли. И еще с Магнусом Угглой[1].

— Не сомневаюсь. Сто пудов, все его знают. Прибавь газу, а то опоздаем.

— В любом случае, он продал побольше пластинок, чем твоя несчастная Магда.

Алекса немного передернуло, как будто я сказал, что от его мамы разит перегаром или что она втюрилась в Берта Карлсона[2].

— Что ты вообще понимаешь?

— Ты ж сам сказал, что она станет новым рэперским авторитетом, и что? Что-то ничего про нее не слыхать.

— Просто пришлось все ненадолго отложить. Небольшие проблемы с контрактом. Диск могут записать в любой момент.

— Правда? Раньше ты говорил, что диск уже готов, а теперь даже не знаешь, когда...

— Хватит! Слышал, что я сказал? Поторапливайся.

Я понял, что затронул щекотливое место, и быстро закрыл эту тему.

* * *

Значит так, пишу на скорую руку, а то времени нет. На большой перемене я опять зависал в игровой, потому что Христо не было видно. Марит сидела с Анной и Йессикой на диване, и пока Стефан с ними трепался, я стоял рядом и показывал вид, будто сосредоточен на бильярдном столе, чтобы они не видели, что я слушаю. Стефан сказал, что они с Давидом хотят устроить в четверг мегавечеринку, потому что в пятницу утром уроков нет, а Давидовы родители смотались. Немного потому, что у Давида день рождения, а еще — чтобы отпраздновать осеннюю каникулу и поднять настроение после истории с Николь. На самом деле я не понимаю, какая может быть вечеринка после того, как человек пытался себя покончить (хотя все решили, что Николь просто нереальная идиотка). Я слушал до тех пор, пока Стефан не дал им свой адрес. Марит посмотрела на меня долгим взглядом и ушла на урок. Чувствую, что теперь пора.

* * *

Конечно, врать не буду, внутри я волновался. Я заранее приготовился, вымылся, попшикался как следует "Фаренгейтом" и померил папины рубашки. Почти все были мне малы, но одна — такая вся из себя нежная

1. Магнус Уггла — шведский певец и актер.
2. Берт Карлсон — глава шведской звукозаписывающей компании, предприниматель, телеведущий и член партии "Новая демократия", выступающей с жесткой миграционной политикой.

и воздушная, из мягкого сиреневого шелка с серебряными пуговицами — как раз села хорошо.

Потом я довольно продолжительно стоял перед зеркалом в ванной. Я нагелил волосы так, что они заблестели, как шлем из вороного крыла. Немного одеколона, бейсболка на фиг не нужна, папины выходные коричневые ботинки с кисточками, и небрежное "я ушел". Папа опять распустился, как тюльпан, сказал, что я отлично выгляжу, и напомнил мне про пакет с подарком.

Я спустился в метро, сделал руки на турникетах и поехал в сторону "Слюссена". Приехал я слишком рано, поэтому пошел прогуляться по Йотгатан и подумал, что здорово было бы встретить сейчас кого-нибудь, ну хоть кого попало. Они бы сказали: "У тебя клевый прикид, парень, куда это ты собрался?" А я бы типа спокойно улыбнулся кривой улыбочкой и сказал: "Да так, частная вечеринка". Они бы сразу все поняли, а я бы пошел дальше — гордо, с пакетом в правой руке.

Наконец дело дошло до восьми часов и я позвонил в дверь Давиду. Я знал, что пришел вовремя, но открыл он мне голый по пояс и такой типа немного удивленный. Я ответил ему коробкой конфет, которую достал из пакета, и тут Давид, конечно, понял, что частные вечеринки для меня дело привычное, и кивнул мне в коридор.

Когда я только пришел в эту школу и увидел Давида во всем его дранном шмотье, я подумал, что с баблом у него напряг. Он часто ходил в рваных джинсах, а волосы — клянусь, я, когда первый раз их увидел, решил, что у него там птичье гнездо. Но оказалось, что живет он с предками прямо на Мусебаккегатан и квартира у них, мало не покажется, с панорамой на водяные просторы у Слюссена и с барной стойкой на кухне, как в голливудском фильме. Там стояли блюдца со всякими разными чипсами, попкорнами, дорогущими конфетами, арахисами и солеными соломками. Еще там был крюшон, я налил себе стаканчик и стал ждать остальных. Странно, что мебель в квартире стояла типа в деревенском стиле. Хотя бабок у родителей Давида наверняка было как грязи, кругом не наблюдалось ни тебе диванов со скрипучей кожей, ни шикарных зеркал во всю стену, ни джакузи.

Все остальные подгребли часам к девяти, я обрадовался, что молчать больше не надо, а то мы с Давидом офигели уже. Сначала я зависал на кухне, там было потише и слышно, о чем говорят. Все трепались о том, как сложно выбрать гимназию и специальность. Хотя все прекрасно знали, что лучше хотят в Сёдру, чем в Осё. Потом стали обсуждать про новые фильмы, а Мортен пытался говорить про книжки и сказал, что его любимые писатели Кафка и Сиддхартха. А я сказал, что больше всех уважаю Нагиба Махфуза, и, понятное дело, Мортен был раздавлен всмятку, потому что Нагиба он вообще не знал. Он даже не знал, что Нагиб получил свою личную Нобелевскую премию! Но все равно Мортен еще долго втирал нам про то, как ему очень хочется быть писателем, и, может быть, он даже пойдет на практику в книжный секонд своей мамы.

Мортен думает, будто может стать писателем только потому, что умеет сворачивать самокрутки (которые всегда гаснут). Он весь из себя в пирсинге, носит лохматую прическу, а родители его — поляки с Сёдера. И еще заливает, что читал он всех писателей и их мам тоже, плюс Бьоркман — его лучший друг. Но клянусь, этого мало, надо еще иметь нечто такое, чего у Мортена нет (зато у меня оно есть).

Йессика с Анной пришли около одиннадцати, с ними была Марит. Сердце у меня сразу заколотилось, но я сделал все, чтобы сохранить спокойствие. Было заметно, что вечеринка началась только теперь. Марит надела джинсы в обтяжку и майку, из-под которой торчал пупок, а на глазах у нее было много синей косметики. Свои локоны она затянула в две длинные косы, а прыщи совершенно прикрыла толстым слоем пудры. Понятное дело, все хипушки умирали от зависти, а ее красота непрерывно светила на них своими лучами. Я сразу стал искать на себе ее глаза, но на этот раз все было не так, как раньше, ее будто немного подменили: вместо того, чтобы смотреть сексуально, она меня игнорировала. Я решил, что у девчонок это такое типа кокетство, и собрался пойти в атаку не сразу.

Скоро все напились, и гостиная превратилась в дискотеку. Анна сидела на кухне и ныла о том, что ее никогда не возьмут в Сёдру, и даже сказала, что тоже подумывает о самоубийстве. А когда она наревелась, сколько хотела, то сообщила, что только мы ее понимаем, а весь остальной мир против нее (особенно ее старшая сеструха). Я попробовал ее утешить, сказал, что все не так плохо, и угостил своими конфетами, но Анна заревела повторно и сказала, что ее мама и папа, может быть, разведутся, а бабушка прошлой осенью умерла.

Немного потом Мортен призвал меня в сторону и объяснил, чтобы я на Анну особого значения не обращал, потому что эту пластинку она заводит на всех вечеринках.

В гостиной выключили свет, и теперь толпа черных тел дергалась там под музыку. Их лица блестели от мокрого пота, а на полу было пюре из чипсов с пивом. Многие из тех, кто на переменах никогда не курил, теперь дымили, как паровозы. Даже у Фуада с Фади была на двоих маленькая пачка "Мальборо", они явно надеялись, что все забудут, какие они на самом деле ботаники и что по математике у них всегда сплошное "отлично". Карро стояла на кресле и танцевала, типа как негритянки на подпевках, при этом делала руками вид, как будто она что-то мешает в большой кастрюле. Сибилла сексуально танцевала с Андерсом на кровати, а Кристофер предложил мне попробовать его бутылку вина.

Марит сидела на угловом диване и трепалась со Стефаном. Я пошел туда, начал осторожно потягивать крюшон и несколько раз посоветовал себе сбавить обороты, чтобы не перебрать лишнего, как последний шведорас, который сперва пляшет, а потом блюет, — потому что иначе все потеряно.

Для лучшего примера возьмем Кристофера. Заместо того, чтобы как обычно быть толстым и стеснительным, он начал орать всякие песни и пролил бутылку вина на книжную полку. Затем попытался схватить Йессику за сиськи, но она была против, и тогда он поставил "Лэтин кингз"[1] и закачался в ритме. А когда увидел на диване меня, заорал как последний рэпер:

— Халим, зажигай, мы их сделаем, давай!

И тут я почувствовал, что рядом что-то не так. Я посмотрел туда и увидел, что Стефан напал на Марит. Он развернул ее к себе и чавкал, чтобы заставить ее раскрыть губы, пока их языки не встретились между собой. Марит застряла в его объятьях, и хотя было темно, я видел, что Стефан положил свои лапы на ее сиськи и зажал их посильнее, так

1. "Лэтин кингз" — популярная шведская рэп-группа.

что Марит пришлось прижаться к нему еще ближе. Они разинули свои рты, как будто хотели закричать, но заместо этого стали целоваться одними языками, как в порнофильме. Я встал, чтобы помочь Марит освободиться, но никто из них даже слушать меня не хотел. Стефан вцепился в нее всеми своими ручищами, и сколько я ни хлопал его по плечу, наверное, раза четыре, а то и целых пять, он рук не отпускал.

— Ты что, не можешь найти себе другую девчонку, а? — отвлекся он на секунду и опять взялся за свое.

Чтобы он понял, что никогда больше не стоит оскорблять девушек султана мысли, я сделал шаг назад, приготовился к исполнению йокогири и ударил ему точно промежду ребер.

Несмотря на то, что я был в носках, он не выдержал моего нападения, свалился на пол и заскулил, как жалкая шавка, а я добавил ему серию из семи-восьми ударов и завершил апперкотом со смачным плевком. Все сразу примчались и протрезвели, а кто-то даже включил свет. Карро заорала, что я козел, а Марит крикнула "урод несчастный", в основном потому, что была еще в шоке. Заместо благодарственной речи Давид сказал, что мне пора, и несмотря на то, что я и так уже был на пути к выходу, Кристофер вцепился в меня полицейским ухватом и выпихнул на лестницу. В коридоре мы столкнулись с Мортеном, который выходил из сортира и пропустил мою схватку за честь Марит. Он посмотрел на меня с разочарованием и не ответил, когда я сказал "пока".

На улице заместо асфальта были такие маленькие круглые камни, а в одном окне сидела черная кошка и таращилась на меня, как фарфоровая. Потом я долго стоял в метро, наверно, минут двадцать, и каждый раз, когда подъезжал поезд до Сёдера, я наполнял глаза лютой ненавистью, засовывал правую руку во внутренний карман куртки и смотрел машинисту в лицо. Когда поезд замедлял ход, я делал вид, будто не спеша вынимаю руку обратно, чтобы увидеть в его глазах ужас от мысли про то, что у меня наготове пистолет. Я ходил между зеленой и красной линией, чтобы не пропустить ни единственного поезда, и каждый раз, когда видел в глазах машиниста испуг, на душе у меня становилось немного приятнее. Часам к двенадцати моя крыша вернулась на место, а крюшон почти выветрился. Я начал было подумывать про то, чтобы вернуться на вечеринку и дать Марит последний шанс на раскаяние, но потом решил, что она сожгла все мосты, и поехал домой. На мою удачу, папа уже спал, и мне не пришлось ему врать (у меня бы и не получилось).

* * *

Сегодня была последняя перед осенней каникулой пятница. Хотя нам и отменили самые утренние уроки, многие из тех, кто был на вечеринке, решили прогулять и все остальное. Про мою разборку со Стефаном никто ничего не сказал, чему я был рад, потому что не пришлось ничего объяснять. На большой перемене я пошел в игровую, где меня караулил сюрприз. Впервые за долгое время Христо нарисовался в школе. Он сидел на спинке дивана, почесывал свой светлый пух на подбородке и трепался с Давидом, Стефаном и остальными. Когда они увидели меня, то дико выпучили глаза. Христо сделал страшную морду и чиркнул рукой по горлу. Кристофер тоже вылупился, кажется, это он начал ржать, ко-

гда я развернулся и быстро пошел обратно в класс. Шведотепы, конечно, лохи, но они обретают силу, когда работают в команде.

С Марит рядом угрозы Христо меня не пугали, ведь я был не совсем одинок. А сегодня меня опять начало трясти, как не трясло уже несколько лет. Лоб как бы похолодел изнутри, и я сразу почувствовал себя покинутым и забытым, и еще много чего другого одновременно. В голове по кругу развевались предательские папы, воспоминания о маме, притворческие телки и, кажется, угроза о разборках, много раз всплывали просто телки, педики и ревущие дети.

Весь день внутри меня оставалось это чувство, пока я не пришел домой, не лег в кровать и не накрылся с головой одеялом. И вдруг мне случилось сильнейшее видение, несколько секунд я видел себя в будущем, как живого. (Звучит по-дурацки, но это чистая правда.) Сижу я такой с поседевшей прической и пивным пузом, в классическом арабском костюме, на электрическом кресле-качалке в суперогромной гостиной. От подбородка спускается вниз почти метровая борода, а на ногах остроносые туфли красного бархата. На носу очки с толстыми стеклами, я листаю свою тетрадку. Узоры на обложке потеряли золотой блеск, страницы хрустят и пылятся, но слова и почерк остались точно тежеми, как я их и написал.

Я сижу перед теликом и смотрю дивиди с записью горящего огня, на полу кожа белого медведя, а на стене настоящие папирусы в золотых рамах. Моя вернопреданная арабская телка, бывшая "Фрёкен Швеция", примерно в тысячу раз красивее Марит. Она сидит на диване и вяжет, она немного похожа на маму в молодости.

Халим будущего поднимает глаза от тетради и смотрит прямо перед собой фараоновым взглядом. Голос его звучит эхом, как голоса мертвых мастеров в фильмах про кунг-фу. "Не позволь им сломать тебя", — говорит он. "Сломать тебя... сломать тебя", — повторяет эхо.

Очнувшись к жизни, под одеялом, я почувствовал, что силы вернулись обратно. Я начинаю понимать, что для меня путь обратно отрезан. Знание уже пустило корни в моем мозгу, и с теперешнего момента мне остается только идти вперед, как настоящему султану мысли, каким я теперь стал. Следующим шагом мне надо раздобыть бабок на оборону от Христо, и после каникулы, клянусь, я буду готов на встречу с ними со всеми! Ничто не воткнется палкой в колесо борьбы. (И уж конечно, не такие мигрантские недомерки, как Христо, и не шведорасы, как Стефан.)

* * *

Я больше не думал о Марит, потому что девчонки все суки, предательницы, и вообще я всегда это знал. Не нужна она мне, я и без нее имею мужество на всякие великие подвиги. А сегодня был первый настоящий каникульный день, но все равно я зашел в школу, потому что мне надо было забрать из шкафчика учебник по географии. Когда я выходил из школы с учебником в рюкзаке, мои арабские гены произвели прекрасную стратегию по добыче бабла.

Я ломанулся к учительской и завис на подоконнике, пока не вышла училка из начальной. Со скоростью молнии я подхватил дверь и проник внутрь. На стенах висели картины по истории Швеции, с крестьянскими праздниками и лошадиными семьями в лучах заката. Жужжал ксе-

рокс, а в глубине несколько училок из средней школы опускали тетку, которая составила расписание: говорили, что, наверное, она совсем спятила. Чайный столик одиноко стоял в углу, на нем была кофеварка, куча блюдец и сахар в корзиночке. На осенней каникуле все ученики свободны, а учителя занимаются всяким там планированием, сидят себе на совещаниях, но по большей части, понятное дело, гоняют чаи с кофеями. Никто не заметил, как султан мысли просочился в учительскую и опустошил банки, куда копились деньги на школьные экскурсии для шестого "Г" и девятого "В".

Все шло по плану, пока я не обнаружил, что в банках вовсе не многие сотни, а только лишь семнадцать крон вместе взятых. Тогда я выбрал план "Б", схватил блюдо с шоколадными пирожными и рванул в коридор.

"И пусть шестой "Г" идет в жопу", — подумал я и запрыгал по ступенькам. По дороге я встретил только Курре, но он нормальный чувак и не станет трепаться. Он облокотил подбородок на ручку швабры, воткнул глаза в стену и застыл. Я поднял блюдо на одной руке, хлопнул его по плечу, он очнулся, увидел пирожные, и лицо его расцвело.

— Да-да, Курре. Бери, но только при условии, что ты поможешь мне потом с одним делом, лады? Бери еще.

Курре глотал пирожные и говорил:

— ...вкуснятина, просто вкуснятина... конечно, я помогу... Плюра всегда говорил... главное в этом деле, так сказать, альфа и омега... помогать старым друзьям... — Он продолжал гнать свою телегу, — ...так что не забывай... альфа и омега...

Я перебил его словами, которые ласкали мне уши:

— Извини, Курре... Мне пора. Я выхожу на тропу войны.

На самом деле я немного заливал, но все равно это было ужасно приятно, и Курре сразу проникся. Когда я ломанулся через школьный двор к старой курилке, я увидел, как Курре стоит у окна в коридоре и машет мне рукой.

Я взял блюдо в другую руку и постучал в окно к Моррису, потому что знал, что у него двойной подбородок, шикарные бас-гитары и гораздо больше бабла, чем можно судить по его застиранным джинсам. В студии его не наблюдалось, хотя инструменты были включены, микшер мигал, синтезаторы светились, а комп показывал довольно порнушную заставку. Я заценил красивую брюнетку на берегу моря, и тут меня озарило, что в этой четверти я Морриса еще ни разу не видел.

Штаны немного оттопырились, мне пришлось согнуться, и в таком виде я почесал через улицу к "Юнгквисту" и "Матсентрален". Посетители, которые уже заточили свои ланчи, теперь стояли во дворе и дымили кофе в бумажных стаканчиках. А поскольку я знаю насквозь ход их мыслей, я затянул противным шведским голосом:

— Благотворительная распродажа пирожных, все собранные деньги пойдут на школьную экскурсию девятого "Б" класса. Десять крон за штуку.

На самом деле ланч у них наверняка был с десертом, но несколько телок все равно раскошелились, особенно после того, как я сделал вид, что дрожу. Они меня пожалели и дали денег. У одной телки было очень красивое лицо, хотя ее наверняка уже стукнул тридцатник. Длинные темные волосы, сиреневая шаль с золотыми нитями и нос не такой большой, как мне сначала подумалось. Она болтала с каким-то парнем в

длинном пальто и в маленьких круглых очках, который немного был похож на того чувака из "Битлз". Сдачи со своей двадцатки она не взяла и еще сказала: "Господи, да ты весь дрожишь", — и приобняла меня.

Я сразу почувствовал тепло в животе, и, чтобы от нее отвязаться, покружил дальше. Думаю, лишь потомок Ганнибала мог выдумать такой крутой план. Стеклянное блюдо похолодело от зимнего воздуха и начало пробирать мне руки сквозь варежки (хотя они были непроникаемые). Скоро мне уже не надо было подделывать дрожание. Все были такие нормальные, кроме одного лысого чувака с палочкой, который сказал, чтобы в следующий раз я прихватил и салфетки.

Почти все пирожные уже были распроданы, когда появился шухер в виде придурочного официанта. Он был в короткой пидорской жилетке с черной бабочкой на белой рубашке, на самом деле он явно вышел покурить, но не смог пережить тот факт, что некоторые султаны мысли делают бабки на его клиентах.

— Прошу прощения, чем это ты тут занимаешься? Это запрещено. Это как бы... частная собственность.

Не успел я ответить, как телка, что дала десять крон на чай, оказала мне крышу:

— Послушайте, он ведь всего-навсего продает пирожные, чтобы собрать деньги на школьную экскурсию. Неужели это так страшно? Вы что, от этого разоритесь?

Лысый дядька на другом конце помахал палкой и прокричал, что я первая ласточка свободного рынка и свободных цен, и на этом официант совсем сник, потому что понял, что такому гомосеку, как он, без мазы воевать с рынком.

— Ладно, ладно. Только в следующий раз держись отсюда подальше. Нам тут только школьников не хватало. Договорились?

— О да, конечно. Я в школе новенький, просто хотел добавить немного денег в кассу нашего класса. Но раз так, извините.

Чтобы уйти сухим из воды, я подбавил самую жалостливую интонацию из репертуара Алекса, и парень отпустил меня без заявления в полицию и тюремного заключения. На обратном пути навар в моем кармане насчитывал 160 крон. Я стряхнул блюдо с последними свежемороженными пирожными в мусорное ведро у киоска, а деньги положил во внутренний карман.

* * *

Вечер вторника, закончился второй день осенней каникулы. В потайном ящике у меня лежат две офигительные штуки. Одна из них черная, тяжелая и ужасная, а другая — маленькая такая хреновина с незаблокированным пином. Хорошо, что у меня полно времени, потому что сейчас я вам расскажу о самом супервезучем супердне.

Сначала я заехал в школу и нашел Курре рядом от кабинетов труда. Когда он увидел меня, он улыбнулся и замахал рукой. Тут я сразу обработал его, типа он мне по уши должен и настало время расплаты:

— Как только закончишь работу, поедем в город. Ты мне нужен на десять минут, а потом, клянусь, мы в расчете.

Я не стал объяснять Курре, что пневматический пистолет в спецмагазе можно купить, только если тебе стукнуло восемнадцать. И все рав-

но я боялся, что Курре не догонит даже самый простой план. Несколько секундных мгновений он подумал и ответил громким голосом:

— Конечно, я заканчиваю в два... Встретимся после работы? На школьном дворе? Здесь на школьном дворе?

Все получилось как-то уж слишком просто, сначала я даже немного засомневался. Но потом решил, что это нормально: сначала страшная непруха, а потом вдруг дико везет, когда возвращаешься на круги своей личной судьбы.

Без десяти два появился Курре, и мы вместе пошли к метро. Говорить было особо не о чем, поэтому мы молчали. У турникетов Курре хотел достать проездной, но я показал ему, как делать руки. Сначала я подумал, что с ним будет гимор, потому что Курре такой жиртрест, но все прошло гладко. Всю дорогу вниз по эскалатору Курре раскатывал свои негритянские губищи, которые изнутри оказались розовыми, и ржал.

— Чего смешного-то? — спросил я у него несколько раз. Но Курре только ржал еще больше. Нет, все-таки он придурок ненормальный, подумал я, провалит всю операцию, только бы его на кассе не вычислили.

Метро пришло почти сразу, и в последний момент, когда двери уже закрывались, я увидел, что к вагону бежит классная телка. А поскольку поезд уже едва ли не тронулся, я показал Курре, как заблокировать дверь. В отличие от шведаков, мигранты всегда придерживают двери хорошеньким кошечкам, если они опаздывают на поезд. Курре снова заржал, и мы стали держать двери. Я увидел, что это та самая телка, которая дала мне на чай и защитила меня, когда я впаривал краденые пирожные. Она меня тоже узнала и в благодарность чуть на шею не бросилась:

— Ну надо же, сначала ты продал мне пирожное, а теперь остановил для меня целый поезд. Ты мой герой!

Я немного застремался: какая-то она уж слишком хорошая, да еще и нарочно подсела к нам с Курре (хотя мест в вагоне было полно). Она стала расспрашивать, как дела в школе и куда мы поедем с классом. Курре порхал где-то далеко, он не решался взглянуть на телку. Он немного разинул жевало и выглядел полным дебилом, сидел и бормотал иногда сам с собой. По нему и не скажешь, что ему уже сорок. Я же решал, отвечать ли мне на ее вопросы или игнорировать ее, как Алекса.

Так и быть, я сказал ей, что мы собираемся с классом в Сандхамнен, там наверняка будет круто. Потом (чтобы она не подумала, будто я к ней клеюсь) сказал, что моя девчонка тоже едет с нами, поэтому будет суперкруто, для нас с моей девчонкой это как бы особенная такая поездка, потому что исполняется ровно год, как мы вместе. Ее зовут Марит, она самая красивая морковка во всем мире, ты только не обижайся, ты тоже ничего и все такое, но Марит, понимаешь, она... тут я сделал вид, что мне не хватает слов, но телка напротив продолжала улыбаться.

— Господи, какая замечательная история! Вы счастливы?

Поскольку Курре не подавал признаков жизни и впереди было еще много станций, я стал рассказывать, как же мы счастливы с этой моей девчонкой. Я вспомнил, как у нас все это началось на вечеринке в восьмом классе, вообще-то она тогда была с другим штрихом, но потом поняла, что притворяться больше не может. Она ему обо всем рассказала, и мы сразу же свинтили с вечеринки и пошли прогуляться на гору рядом с Мусебаккегатан, откуда виден весь водяной простор у Слюссена, там мы с ней целовались, а потом, сама понимаешь, все это у нас и началось.

Оказалось, что телка нереально доверчивая, она слушала меня почти со слезами на глазах, а потом снова сказала:

— Господи, какая замечательная история!

Я с ней согласился. Потом у нее зазвонил телефон, и пока она с кем-то трепалась, я подумал, как здорово было бы вечером поехать домой к Марит, остаться вдвоем в ее комнате, потому что родители, понятное дело, снова уехали на дачу. Я куплю дорогих развесных конфет — не завалящих по три девяносто, а настоящих, из "Севен-элевен". Марит скажет, что я купил очень вкусные конфеты, а потом мы с ней посмотрим романтический фильм, который она взяла в прокате. И хотя фильм мне понравится, я скажу, что он отстойный и девчачий, тогда она рассмеется и скажет: "Ох уж эти парни!" Мы попытаемся досмотреть фильм до конца, но ничего не выйдет, потому что я нежно поцелую ее шею и буду лежать совсем близко. Под конец она начнет дышать так тяжело, что фильм придется выключить. Мы заведем Р. Келли или еще какой-нибудь сексуальный музон, и внутри у меня все время что-то будет нежно щекотаться, а вокруг — так жарко, как в сауне на верхней полке.

Телка закончила разговор и улыбнулась. Как только метро повернуло с "Мариярторгет", она стала рассказывать, что работает продюсером маленькой театральной труппы, которая находится рядом от школы Хёгалид. Типа они еще показывали в нашей школе спектакль для шестиклашек, это было несколько лет назад, поэтому я не видел. Я перебил ее на середине:

— Клянусь, сегодня твой день.

— В смысле?

— Твой день. Сегодня. Я как раз знаю одного парня, которого зовут Нурдин, он самый крутой актер во всей Швеции, недавно работал с мегаизвестным театральным чуваком по имени Бергман.

— Да что ты?

— Но сейчас, вот прямо сейчас, у него есть немного свободного времени! Уверен, вашей труппе нужен именно такой человек.

Телка стала улыбаться немного натянуто.

— Ну... даже не знаю. Я ведь всего лишь продюсер, я не так много могу сделать для... И потом, наши актеры столько лет уже вместе работают... Не так просто взять человека, который не...

Потом мы замолчали. В голове я увидел Нурдина, глаза которого покраснели, а лицо не брилось с тех самых пор, как его уволили. Он облокотился на папино плечо и читает монолог мрачным хриплым голосом. Понятное дело, эта телка такая же лицемерка, как и все остальные, одновременно я заметил, что на самом деле она конченая уродина, нос у нее огурцом, а сиськи болтаются почти до самого пола.

Она со стыдом смотрела в окно, пока поезд проезжал по мосту от "Слюссена" к "Гамла стан". Чтобы нарушить тишину, Курре забубнил какой-то мутный мотив, мобильник лежал у телки в сумке на самом верху. Поезд замедлился, телка пристыдилась, мобильник лежал сверху, и когда мимо нас протискивался какой-то чувак, все произошло само собой. Когда я потом оглянулся, то понял, что все видел только Курре, который уже приготовился заржать.

Когда мы отъехали от "Гамла стана", телка вернулась из своих мыслей:

— Слушай... давай я хотя бы запишу его номер. Друга этого твоего. Если вдруг будет возможность, я ему позвоню и...

Она стала шарить в сумочке, и, чтобы избежать разборки, я встал и подтолкнул Курре к дверям:

— Слишком поздно, подружка. Ты свой шанс упустила. Поезд ушел.

Мы вышли на "Т-сентрален", она даже ответить ничего не успела. По дороге на Плитку Курре ржал и орал на всю улицу.

— Вот это да... ну ты и ловкач... вот так вот взять и... вау... видел бы это Плюра... тебе бы еще медиатор...

— Слушай сюда, парень, задача такая: заходишь в магазин, показываешь вот на эту фотку в каталоге, а потом расплачиваешься с чуваком. Все как по нотам,

Услышав про ноты, Курре сразу стал очень серьезным. Немного подумал и кивнул:

— Зайти... показать... расплатиться... Без проблем, я все сделаю. Но потом мы в расчете?

— В расчете, в расчете...

Я дал ему бабки и вошел с ним в магаз, но все время держался на заднем плане. Там была маленькая очередь, все прошло как по маслу. Курре получил одну крону сдачи, и когда мы вышли из магазина, я сказал, чтобы он оставил ее себе в знак благодарности. И на Плитке мы с ним расстались. На самом деле я видел, что Курре не против еще немного потусоваться вместе, но я сказал, что у меня важное дело.

Дома я открыл коробку, пальцы немного дрожали. Как только я передернул затвор и выстрелил в подушку, я успокоился. Я стоял перед зеркалом в красном тюрбане на голове, с пистолетом в правой руке и мобильником на кармане. Новый Халим могущественен, как никогда прежде. Болгарины и шведаки, берегитесь: Халим к бою готов.

* * *

Сейчас ночь среды. Поскольку в школе каникула, у меня полно времени на поиски нужного материала. В чулане, кроме спутниковой антенны, есть еще куча всякого хлама. Сначала я попробовал деревяшки, но потом понял, что они не выдержат давления. Тогда я нашел кусок жесткой пластмассы, который, видимо, произошел от разбитой кухонной лампы. Я пилил его и подпиливал, пока не сточил края, а потом зажал пистолет в тиски и стал запихивать этот кусок под пружину. Это было дико сложно, получилось, наверное, только с пятой попытки. Зато потом, когда я собрал пистолет, который снаружи был точно таким, как раньше, в руке я почуял новую силу, и все стало гораздо более настоящим.

Пришло время его попробовать. Чтобы передернуть затвор, надо было напрягаться изо всех сил, но, когда мне это удалось, пуля попала куда надо. Я стоял в центре комнаты с заряженным пистолетом в руке, и тогда ко мне опять вернулось мое могущество.

Прямо вот когда я так стоял посредине и разыгрывал из себя мафию, в кармане запищал телефон. Сначала я подумал, это у него батарейки садятся или он сообщает, что заблокировали сим-карту. Но вместо этого пришла эсэмэска от "Юхан Ф. моб.". Вот что он написал:

Приглашаем на прогон "Марии Стюарт" в постановке Ингмара Бергмана. В ролях: Пернилла Август, Лена Эндре, Микаэль Персбрандт и др. Большая сцена, Драматен. Завтра в 14, с ув., Юхан

Я уже перестал удивляться. Как будто у красноносого бога в кармане была припрятана куча фокусов. Он свел меня с этой телкой в метро и подстроил так, чтобы я стырил ее мобильник, — а все потому, что хотел послать меня на пьесу Бергмана. Сначала я подумал, что, ясный пень, надо идти на этот прогон. (Если ты не в курсе театра, прогон — это когда актеры играют бесплатно уже почти готовую пьесу, чтобы понять, чего не нравится публике.) Но потом я стал рассуждать, а что, если это засада? А вдруг телка сама прислала мне эсэмэску, чтобы заманить меня в театр, и будет стоять там за кулисами вместе с легавыми, а потом они меня арестуют? Короче, я пока не решил, пойду или нет.

Вечером после ужина я засунул пистолет за пояс и сказал папе, что у нас опять вечеринка, а сам рванул на улицу и пошел по Хурнсгатан, весь такой напряженный. Сначала я зашел в "Макдоналдс", купил себе пончик и пирожок, потусовал там немного, нарисовал звезду с полумесяцем на зеркале в сортире, позырил на двух мальчишек, которые играли в детском уголке. Напротив сидели какие-то шведаки с хоккейными клюшками и мокрыми причесонами. Они смотрели на меня с таким стрёмом, что я сразу подумал: ясный пень, лохи какие-то. И все-таки я решил достать мобильник и показать разговор. Около минуты я делал вид, что говорю по телефону, например, я сказал очень громко: "Нет, сука, я подгребу к тебе позже. Хочу сначала потусоваться с братвой, мы идем в ресторан и в ночной клуб. А потом я тебе, может быть, позвоню. *Может быть*, поняла меня, шлюха?"

Я отключился, и потому как шведаки не решались даже посмотреть в мою сторону, я понял, что они прониклись диким респектом. Я только хотел показать, что не надо париться, поэтому крикнул "бабы" и одновременно покачал головой. Чуваки наконец осмелились на меня посмотреть, тоже кивнули. Они все поняли как надо.

Потом я вышел на улицу. Был жуткий ветрила, и я пожалел, что надел бейсболку заместо тюрбана. Я шатался по Сёдеру, сначала вверх по Йотгатан, потом вниз. Я услышал крики пьяных фанатов "Хаммарбю", и мое тело сразу среагировало. А вдруг это друганы Христо, вдруг их тянет на бычку, в таком случае пусть пеняют на себя, мне даже захотелось, чтобы они начали первыми. Один уродский шведорас в бело-зеленом футбольном шарфе отпускает соображение, которое заставляет султана мысли медленно обернуться. Ярость Халима мечет из глаз громовые молнии, и полусекунду спустя он хватается за оружие, щелкает затвором и стреляет шведорасу промежду глаз. Он не умрет, но кровь потечет по его лицу, он глубоко раскается и никогда больше не будет приставать к настоящим мигрантам.

Я почти немного расстроился, что они не стали залупаться, даже в метро никто криво не посмотрел. И все равно кругом было пьяное шведьё, воняло бабьим парфюмом и разлитыми пивными банками. Все внутри меня преисполнялось максимальным отвращением, когда я видел размалеванных шлюх и пьяных парней. Один сидел так, что даже идти не мог, свесил башку промежду колен. "Варвары", — подумал я и сошел на "Т-сентрален".

Я немного потусовал в "Макдоналдсе" на Васагатан, но ничего там не купил, потому что деньги кончились. Заместо этого я почитал рекламные листовки на подносах, поиграл на телефоне в "змейку", пока не поставил новый рекорд, взял воды, пролистал телкину записную книжку, которая была заполнена почти до упора, почитал ее старые эсэмэски и поразмышлял, идти ли на пьесу к Бергману или нет. Животом я все время чувствовал шершавую рукоятку пистолета.

Было уже поздно, когда я двинул в сторону дома. Рядом от ресторана стояло полно мигрантов с тачками, которые предлагали сытым клиентам доставку на дом. Около "Севен-элевена" припарковался раздолбанный желтый фольксваген с откидным верхом. Кучи мигрантов тусовались рядом и посвистывали телкам, и вдруг я увидел среди них Алонсо. У него была очень расчесанная прическа и борода, выбритая на подбородке как маленькая полоска. Под кожаной курткой — красная майка в обтяжку, а на ногах — черные ботинки с железными пряжками и толстенной подошвой. Все равно ему пришлось вытягивать шею, чтобы никто не заметил, что он ниже латиноски, которая только что остановилась рядом с ним.

— Здорово, брателло! — крикнул я ему с эскалатора.

Алонсо был увлечен и не слышал.

— Эй, Алонсо! — крикнул я немного громче. —¿Qué pasa?[1]

— Это ты мне?

Алонсо прищурился, как будто ехал на велике против сильного ветра. Я решил, что он слишком озабочен этой кошечкой со вставными косичками и боится, что я испорчу ему всю малину. Прикинь, если телка увидит меня и вдруг просечет, какие эти чилийцы коротышки по сравнению с чистокровными арабами.

— Ладно, проехали, — крикнул я. — Я все понял. Не парься. Хуану привет!

— Обязательно, — ответил Алонсо. — Только от кого? — Это, понятное дело, была такая шутка, чтобы порадовать телку. Я спустился в метро, сделал руки и поехал домой до "Цинкена".

* * *

На карте метро Драматен выглядел довольно скромно, но когда я увидел его своими глазами, то понял, что это нереально пафосное заведение. Театр находился прямо в самом центре (рядом с "Макдональдсом" на Хамнсгатан) и снаружи был немного похож на музей или королевский дворец. (Я сначала подумал, что попал не туда, но потом увидел на стене золотые буквы.)

Ни телки, ни легавых на горизонте не было, поэтому я быстро поднялся по белой мраморной лестнице и вошел. Народу было просто нереально много, и все — примерно пенсионеры или только немного моложе. Тетки в пальто из убитых зверей, а дядьки в костюмах или пиджаках с маленькими платочками, которые торчали из карманов. Почти у всех были сморщенные, как изюм, личики. Конечно, там попадались и люди помоложе, но только странно, что они выглядели прямо как старые — может, из-за одежды, а может, из-за глаз, непонятно.

1. Что происходит? (*исп.*)

В кассу я сказал, что мне прислал эсэмэс Юхан Ф., кассирша посмотрела свой список и дала мне билет. С полпинка! В самом театре было почти как в кино, хотя, наверное, в тысячу раз шикарнее. На потолке и в других местах торчали всякие золотые штукенции, а рядом со сценой имелся небольшой золотой балкон для ВИП-гостей. Внизу большой оркестр с собственным дирижером проверял свои инструменты перед началом спектакля. Плюс в кино все едят попкорн с чипсами, а в крутых театрах это не принято. Некоторые посматривали на меня немного косо, как будто спрашивали, что́ я здесь делаю со своими чипсами, но тогда я вспоминал про шершавую рукоятку за поясом, и спокойствие возвращалось.

Скоро свет выключили, а занавеску подняли. Спектакль был главным образом про двух телок, которые все дрались за власть. Одна, злая, посадила другую в тюрьму. Я подумал, что Нурдин, конечно, крутой актер, но все-таки роль королевской телки была бы перебором (даже для него). Потом пришел парень по имени Лестер. Он все подмазывал злую королеву, хотя на самом деле хотел помочь доброй. Я сразу подумал, что этот Лестер все-таки немного похож на Нурдина внешним видом. Телом, возрастом и волосами.

Весь оставшийся спектакль была сплошная скукотища и мутотень и почти ничего не происходило. Иногда, если вдруг случалось что-нибудь хоть немного смешное, все в театре начинали ржать просто как сумасшедшие. А между прочим, юмор там был очень странный. Немного похоже на то, как я смотрел рекламу фильма "Давай! Давай!"[1], где все ржали в самых странных местах. (Например, когда семья просто говорила по-арабски.)

Все равно фильм был смешной, а спектакль — отстойный и дико скучный. С актерами, конечно, тоже вышла подстава: говорили и двигались они как пластмассовые, сплошное притворство. Даже объяснить не могу, как они между собой разговаривали, потому что в нормальной жизни так никто никогда не говорит. Особенно тот чувак, который играл Лестера, он когда говорил, так сильно двигал губами, что у него оттуда все время брызгались слюни, а руки и ноги были в каких-то вообще неестественных позах. Нет, это никуда не годится: ни капли жизни, одно притворство, этому Бергману надо все объяснить. Нурдин в роли Лестера, может, и будет говорить по-шведски немного с акцентом, но все равно весь этот театр станет в тысячу раз лучше. На самом деле мне, конечно, кажется, что Нурдин тоже немного уж слишком перебирает, но тот чувак, который играл Лестера, рядом с ним может просто отдыхать.

Театр продолжался, и какое-то время я показывал вид, что мне интересно, но когда кончились чипсы, я совершенно устал. После первого акта (то есть части спектакля) я нарыл некоторых сведений о театре, потом нарисовал полумесяц со звездой в туалете и свалил. Вся остальная публика так и осталась стоять в холле или на мраморной лестнице в ожидании второго тайма. Одна тетка ужасно разволновалась, ее косметика вокруг глаз выглядела так, будто она плакала. На бумажке про пьесу было написано, что того кренделя, который играл Лестера, зовут Микаэль Персбрандт. Я потусовался немного в городе и подумал, что Бергман просто старый педрила, который ничего не понимает в насто-

1. Комедия шведского режиссера Й. Фареса о ливанце, влюбившемся в шведку, и шведе, полюбившем ливанку.

ящем театре. Если у тебя люди на сцене только и делают, что говорят сплошную неправду, и двигаются, как куклы на ниточках, то, понятное дело, ничего странного, что пьеса выходит дико скучная и зрители немного засыпают еще до перерыва.

И тогда мне пришла в голову крутейшая за всю эту историю мысль: а что, если наш замечательный Микке по вине какого-нибудь несчастного случая не сможет больше играть в театре? Понятное дело, они будут искать другого актера и устроят всякие пробы. И тут как раз Нурдин пошлет письмо Бергману, и скажет, что он играл королевского Эстрагона, и напомнит ему, что они старые друзья еще с самого Парижа. Бергман легко прибавит одно к одному, и — я наконец увидел план красноносого бога.

Хотя, конечно, проблемы будут, потому что этот Микке при всех своих недостатках тот еще бычара. Попробуй такого запугать — даже если сзади подойти, все равно стрёмно. Первым делом я поставил себе задачу узнать его получше, провести небольшую слежку, и поэтому немного после я пошел обратно в театр. Второй акт уже кончился, но некоторые зрители до сих пор еще ковыляли по лестнице. Я почесал дальше по пешеходной улице, сел на скамейку, рядом от которой было написано "Служебный вход", и стал показывать вид, что читаю газету "Метро". Я все время был на стрёме. Наверное, через полчаса вышли актеры, среди них вместе с остальными был и этот Микке.

Я стоял издали и прикидывал, что он за тип, как у него с физподготовкой, и понял, что будут проблемы. В нормальной жизни он оказался больше, чем на сцене, хотя, конечно, и я стал мощнее за последние годы, но все равно. Я подумал, что, может быть, попробовать объяснить ему все по-хорошему и заместо угрозы сказать, что ему просто надо немного отдохнуть от театра, пора типа и Нурдину дать шанс. Может, они даже поделят роль пополам?

Я преследовал этих актеров до Стуреплана. Когда они вошли в ресторан, я типа пошел дальше по улице, к Свампену. Там я несколько минут подождал, подсматривая на актеров через стекло. Потом я изобразил, что разговариваю по сотовому, пошел такой со Свампена, а на ходу выговаривал телке за то, что она опоздала. Сначала я делал это понарошку, чтобы прикрыть отступление, но потом разошелся как по правде. Всю дорогу до метро, а потом вниз по эскалатору, я орал, что она шлюха и сука: "Больше я тебя в кино с собой не возьму, шлюха, и не надейся!", или так: "Бесполезно теперь реветь, сука, между нами все кончено!", и даже когда я повесил трубку, я все еще продолжал думать, что какая же она все-таки шлюха, даже трахаться с ней сегодня не буду, пусть хоть на коленях меня умоляет.

* * *

В пятницу и в субботу Бергман опять устраивал свои прогоны, и оба два дня я тусовался возле служебного входа в Драматен, ждал актеров. Я все надеялся, что этот Микке выйдет один. В пятницу вся актерская тусовка укатила на двух такси, а в субботу вышли все, кроме Микке и той доброй королевской девки. Но я надежды не терял и держал нос по ветру.

Сегодня воскресенье, последний день каникулы. Папа был в магазе, и поэтому я мог подготовиться в спокойствии. После хорошего завтрака я спрятал пистолет в джинсы и надел свой тюрбан (ночью вышел первый снег). Пока я ждал лифт, глазным краем я увидел какую-то перемену на

двери Бенгта Магнуссона. Над почтовым ящиком была приклеенная скотчем бумажка в форме облачка: "Юнас Хемири". Я так понимаю, Юнас — это новый дружок нашего Бенгта, потому что и дураку ясно, что все, кто работает на телевидении, такие же педики, как и танцоры. Вообще странно, все-таки Хемири звучит немного почти по-арабски...

Пока я там ждал рядом от служебного входа, я читал газету и с потрясающей точностью нашел маленькую припрятанную статью. В ней говорилось, что ООН придумал еще больше законов насчет импорта — против Ирака, где голод растет с каждым днем и дети, видимо, мрут как мухи, потому что эти правила запрещают ввозить медицину и еду. Еще и в Афганистане правила того же ООН создают условия для последнего тотального голода. (Особенно среди женщин и младенцев.) Еще одно доказательство тому, что американские политики планируют истребить арабов, заграбастать себе нашу нефть, а потом отдать всю землю евреям. Я почувствовал, что меня наполняет ярость и воздух вокруг заряжается, как грозовое облако.

Когда я дочитал газету, то стал прохаживаться мимо темных витрин, чтобы заценить, как я круто смотрюсь в тюрбане. Наверное, я в близком родстве с султаном Саладином, который вернул Иерусалим от христиан и прославился своим мужеством и хитроумностью. Прошло довольно долго времени, пока актеры наконец не вышли на улицу, а я, как обычно, был начеку. Пока они там трепались и курили, я соблюдал дистанцию, но потом чувствую, все, теряю терпение. Пистолет натирал живот, а Красноносый был совсем рядом и говорил своим низким арабским голосом: "Не парься, все в порядке, я сделаю так, чтобы этот чувак остался один, и тогда ты сможешь распоряжаться его судьбой". Как по спецзаказу, Микке начал со всеми ругаться. Он кричал громко, как настоящий актер, а прямо перед тем, как свалить от них на пятой передаче, показал им всем фак. Я уже знал, что будет по-моему.

Он почесал ко мне на полном пару, в огромной коричневой шапке из меха и в черных военных сапогах. Он злобно глядел себе под ноги, стало как-то холодно, но все равно было ужасно жарко. Он тяжело чухал по снегу, как бешеный паровоз, и направлялся по маленькой улице к Стуреплану. Симпатичная девчонка, которая играла злую королеву, вся из себя озабоченная, закричала ему в спину, но Микке и ухом не повел. Одновременно следом за ним покрался султан мысли. Халим скользил молча, как рыба в воде. Он думал про внимание и спокойствие, он чувствовал рукоять пистолета и прибавлял шаг. Микке курил, я почуял сигаретный дым, дистанция сокращалась, и я заметил, что у него беда с равновесием: иногда он прихрамывал, и теперь между нами оставалась всего пара метров, на его шапке сзади я увидел пятно от грима, рука легла на рукоятку. Я несколько раз глубоко вздохнул, чтобы голос меня не подвел, потому как время пришло. И вдруг, в самый такой момент, Микке остановился. То ли меня услышал, то ли перепугался. Вокруг никого не было, и потому как он стоял прямо под фонарем, я увидел, какой у него широкий и волосатый затылок. Вдруг он резко развернулся и уставился на меня в упор. Вокруг глаз у него чернели круги грима, и хотя мы были почти одного роста, я весь как будто сжался. Я тоже остановился, и несколько мгновенных секунд мы простояли на тихой улице, время тянулось медленно. Я держал руку под курткой, раз — выдернуть пистолет, два — шаг вперед, три — передернуть затвор и... Только я собрался с духом, он улыбнулся.

Зубы у него были дико золотые, а между ними засели остатки еды. Он осклабился, как гиена в саванне, и я понял, что этого парня легко сломать, он у меня дососется, я сжал рукоять пистолета, все тело напряглось, и тут он сказал:

— Итак? Чем могу быть полезен?

Он поклонился немного искусственно, голос у него был низкий и эхом прокатился по маленькому переулку. Тут мое мужество как будто бы немного уменьшилось, даже в минус ушло, хорошего ответа я не нашел. Зимний ветер поддувал под куртку, и я рискнул:

— Слушай, парень, это ты там играешь в театре у Бергмана? Я угадал? Только не ври.

Он очень долго молчал, а когда, наконец, ответил, мне показалось, что он надо мной шутит:

— Если ты гришь о роли Ле-е-естера в шиллеровской "Ма-а-арии Стю-ю-арт". Тогда мой ответ такой... ДА! И ДАЛЬШЕ ЧТО?!

Последние слова он просто проорал, вокруг глаз были эти круги, а на башке торчала набок лохматая шапка, и хотя про себя я думал, что этот парень — злейший агент сионистов или лживый американский политик, я чувствовал, как моя рука с рукоятки сползает.

— Понятно.

Не знаю, что со мной случилось, но рука моя вдруг почему-то ослабела, а Микке таращился на меня и, кажется, немного еще улыбался. Потом щелкнул каблуком и двинулся через улицу.

Тогда тело у меня очнулось к жизни, правая рука достала пистолет и запросто передернула затвор, который раньше поддавался так туго. Я поднял оружие, прицелился и нажал на курок. Пуля попала ему в ногу, выстрел прокатился эхом, и кровь потекла на землю. Он упал, как в замедленных съемках. Он орал и визжал, а когда я к нему подошел, он такой поднял свой взгляд, посмотрел мне в глаза и сказал: "О'кей, я все понял, я ухожу из театра. Завтра же. Я больше никогда не буду играть Лестера!"

Но вместо этого я так и остался стоять на улице, а он пошел дальше, поправил свою лохматую шапку, прохромал по снегу и скрылся из виду в маленьком ресторане. Пистолет сидел у меня за поясом, как приклеенный, а рука, которая должна была выхватить его, прицелиться и выстрелить, просто оцепенела. Я долго еще топтался под фонарем в снежной каше. Потом снял тюрбан, убрал его в карман куртки и пошел разрисовывать звездами и полумесяцами лифт возле Эстермальмсторг. Я прямо чувствовал внутри глобальную пустоту, Халим будущего окинул меня разочарованным взглядом и глубоко вздохнул.

4

Прекрасное имя — Терпение.

Раньше Халим был мягкий а теперь суровость над ним возобладала хотя иногда возвращается одиночество но снаружи по нему ничего такого не скажешь и поэтому риск подставы сведен к нулю они никогда ничего не поймут плюс для суровости пистолеты используют только суки и педики. Поэтому Халим оставил пистолет дома и бездействовал когда на

большой перемене Христо с братвой захотели устроить разборки в бильярдной. Возможно Христо вырвал кий когда была моя очередь возможно он отказался отдать его мне возможно его девчонка и все остальные смеялись возможно он что-то сказал чтобы оскорбить возможно он даже много раз повторил что я трахаю мою маму хотя если все это и было я этого слышать не мог потому что после того как я принял удар и пинок а сдачи не дал я только выключил звук и быстро пошел дальше в коридор раздевалку туалет чтобы никто никогда больше ничего не увидел.

Потом в столовке на обеде боги решили весь отстой моей жизни довести до беспредела потому что в висках стучало а другие парни из нашего класса наблюдали со стороны и я слышал как Стефан сказал что когда Марит сосет то искры летят и тут же пихнул локтем Давида и кругом раздался смех и возможно пронизывающий свист и мне захотелось бросить карьеру философа вернуться к вандализму перевернуть стол вломить башкой по носу отвесить Стефану по роже новый йоко-гири и мочить его до тех пор пока он не окажется в больнице под капельницей. Уделать бы его хуже чем того судью в восьмом классе на Кубке Святого Эрика потому что Стефан реальный отсос с дебильными ямочками на щеках и его синтезаторная группа еще хуже чем "АББА" а один раз вообще я помню что он соревновался в пинг-понг с пятиклашками и даже в финал не вышел. После обеда мы играли в вышибалы, и, конечно, ты меня знаешь, старик, я побеждаю всех, плюс зубного врача их двоюродных братьев тоже, в играх с мячом мне нет равных. Я был один на вершине совершенно без мыслей я бросал красный мяч вышибал всех как бешеный а сам оставался все время с победой я всех выбил начисто хотя они пытались защититься руками и головой потому что тогда считается что тебя не задело а мяч ведь из самой мягкой резины и все-таки даже немного резины но много раз причиняет гораздо больше боли чем кажется и после третьего удара Стефан завопил что ты чё совсем офигел что ли? только я был глух как тот футбольный судья я был слеп я фигачил и фигачил и на пятый кажется раз кровь закапала крупными каплями на его поганые кеды. Он прикрыл нос руками, ему дали салфетки, и все равно все видели огромный сопливый пузырь, как будто из жевачки. Он почти заревел, как последняя баба, и загундосил, а Микке, который сейчас заменяет у нас физрука, хотя раньше участвовал в первенстве Швеции по фрисбигольфу, и который немного на дух педиков не переносит, сказал, чтобы Стефан покинул площадку. А на десерт — типа сливок поверх всего — наша команда выиграла два матча из трех (хотя у нас были одни девчонки).

Я думал, вышибалы привели меня в норму, но после физры всех парней отправили на прививку, и прямо после душа надо было подняться на два этажа и сидеть там, дожидаться и потеть после душа, когда внутри все еще горячо, и кто-то сказал, что у Анны сиськи слишком большие, и тебе пришлось сострить, что слишком больших сисек не бывает, а Йессика красивее, и у ее сестры есть халявные презики, а Стефан засунул свои салфетные тампоны поглубже в нос и сказал, что ему надо на раз как минимум двадцать гондонов, а потом вышел Йорген, кто-то вошел, и все передвинулись на одного, и тут будто вырвался на свободу сквозняк воспоминаний, или мне это показалось, но в общем, не важно, потому что запах помогает вспомнить, запах больницы всегда одинаковый, а Халим помнит сильнее, чем все остальные, говорит себе, что все

хорошо, но кожа становится гусиной, я вижу, как мама лежит на спине, только что был обход, лицо больше не может двигаться, каждый маленький мускул почти рассосался, даже судороги его больше не передергивают, все неподвижно, что-то капает в трубке, я помню, вокруг кровати зеленая тряпка, на другой стороне храпит какой-то старик, иногда просыпается тетка в другом конце палаты и спрашивает, когда за ней придет ее сын, а я говорю, что сейчас ночь стоит, спите дальше, но тетка не успокаивается, она спрашивает, кто я такой, который час, когда дадут завтрак, но я говорю, что стоит ночь и ей надо спать, а потом я смотрю маме в глаза и понимаю, что она хочет положить свою руку на мою и успокоить меня, — потому что ты научаешься понимать мамины глаза, когда все остальное уже не работает.

Я сидел в коридоре и старался не поддаваться, но потом меня опять накрыло, и сквозняк, и запах, и еще одним меньше, а они говорят, что чуваки из Нюбухова все слабаки, и что у нас по расписанию прямо сейчас письменная, и запах, и резиновый браслет с белыми и синими полосками, на котором большими буквами написано ее имя, я помню, что первый раз его тогда написали без ошибок (и последний). Потом папа возвращается, говорит, что ничего не понял, и поэтому мне тоже разрешают пройти в коридор, и врач опять говорит с папой, как с ребенком, хотя ребенок там я, но потом заместо этого говорят со мной, как со взрослым, и рассказывают, сколько осталось времени, и папа хочет, чтобы я сказал ему, перевел, объяснил, но я не могу, они говорят об оставшемся времени и лекарствах. Это как бы обратный отсчет, и когда, наконец, врач заканчивает, мы засыпаем в приемном покое, там есть телик с бегущей строкой, далеко над водой туман, но видно, что солнце уже восходит. Они думают, что с папой говорить бесполезно, они будят меня, они говорят, что она ушла от нас, а я не понимаю куда как ушла они гладят мне руку они говорят что ее больше нет и тогда я понимаю и все вокруг расплывается хотя папа уже проснулся и обнимает меня и он сильней чем когда бы то ни было. Внутри у меня все разрывается а они все стоят и говорят что по крайней мере она ушла спокойно а я думаю что они никогда не поймут. Вот и конец, мы едем домой, и уже несколько дней спустя папа говорит, что хочет переехать, хочет жить в Цинкене, хочет оставить все воспоминания, свалить от всего, что было, но воспоминания не выбросишь на помойку. От них не слиняешь, думает Халим, он стоит около школы рядом от палисадника, сморкается в кулак и трет снегом лицо, он думает, что никто никогда не заметит, никто не должен заметить, что внутри иногда все становится таким мягким.

* * *

Сначала я подумал, что просто мне опять снятся кошмары, мне давно уже это не снилось, почти что два года. Потом в самый разгар меня затряс папа и сказал, что я кричал и бредил, он еще на лестнице это услышал. Я лежал под клеточным пледом, все тело промокло, а колени дрожали. Папа принес градусник, и когда я его померил, то по лицу папы понял, что завтра в школу идти без мазы.

И вот я дома уже два дня, но меня все еще колбасит. Папа от беспокойства закрыл магаз совсем пораньше и на обед сварил какой-то левый

куриный бульон. Два раза в день он втирает мне простудную мазь, ментоловый запах и жар в груди говорят о близости скорейшего выздоровления.

Вчера вечером часов в шесть температура наконец впервые взяла таймаут, и я дополз до дивана, и голова почти не кружилась. Перед началом "Своей игры" папа опять спросил, не звонил ли кто. Я не мог уверенно сказать "нет", потому что редко услышишь звонок в самый разгар лихорадочных снов.

На ужин папа сделал *яхнет баар*[1], и хотя мясо было совсем мягким, я не смог откусить даже двух разов. Папа совершенно встревожился:

— Разве так можно, съешь хотя бы помидор... Или вот баклажаны, они помогают от всех болезней.

Потом, когда папа был в туалете, зазвонил телефон, и сначала я не расслышал, что это Черстин. У нее немного был голос, как будто живот болит или простудилась:

— Привет, Халим.

— Привет.

— Слушай. Я... я... А папа дома? Позови его, пожалуйста, к телефону.

Я оставил трубку лежать в гостиной, пока папа брал телефон в своей комнате. Я подумал, что все получится, все будет хорошо, все уладится. Я слышал, как папа мычит с разными интервалами:

— Мм... мм... я все понимаю... конечно, конечно... мм.. никто не виноват... мм...

Хотя я крепко замотал одеяло вокруг тела и в соусе было много перца, мороз лежал внутри меня и зубы скоро снова задрожали.

Папа положил трубку и быстро вернулся в туалет. А вышел, наверное, только минут через пять. Сначала я подумал, что все в порядке, ничего особенного. Но потом заметил красноту в папиных блестящих глазах. Он налил стакан вискаря и долго сидел молча. Наконец пробубнил, что Черстин передавала большие приветы. Потом спросил, буду ли я смотреть "Кто хочет стать миллионером", потому что он записал. Я сказал, что хочу, но скоро меня снова накрыло, теперь я и писать больше не могу.

* * *

Бред сумасшедший. Сначала что-то про джунгли с индейцами и обезьянами, потом — дорожки для картинга. Папа стоит рядом и ест сахарную вату, а я врезаюсь просто во все машины, не помню даже, кто там сидит. Потом начинается какой-то цирк с детьми, которые выигрывают мягкие игрушки и боятся клоунов, а осел ходит по арене на задних ногах, он дико вежливый, приподнимает шляпу, поправляет галстук и спрашивает доктора, не хочет ли он станцевать танго. Потом воздух пахнет, как на старой квартире, темнеет, и зажигается свет, я сижу среди зрителей недалеко от арены, и входит Дэвид Леттерман[2], хотя все это как-то странно: ростом он не выше метра и на костюм у него надеты шорты. Он говорит что-то, не помню что, а потом на сцене сидят мама и папа, папа одет во все красное (даже ботинки), а на маме платье в блестках и волосы накручены, она смеется шуткам, а папа нервничает. Мама гово-

1. Мясное рагу (*арабск.*).
2. Американский телеведущий.

рит по-американски, что сниматься в этой картине было не сложно, потому что "that's what acting is all about"[1]. Она повторяет одно и то же много раз и улыбается публике, а Леттерман хватается за ухо и говорит, что ему поступил сигнал тревоги с центрального пульта, шоу придется закончить, зрители возмущенно шумят, звенит пожарная сигнализация, некоторые совсем слетают с катушек и кричат, что хотят на улицу, кто-то кидает на сцену помидоры, снова звенит сигнализация, на сцене немного паника, мамы уже нет, а папа сидит один в красной одежде, и я ничем не могу ему помочь, мне кажется, он выглядит немного как полный лох.

Потом я проснулся и долго думал, приснилось мне это или звонили по правде, на всякий случай я прикрылся одеялом и пошел к двери посмотреть.

Уже в прихожей я услышал, что снова звонят, я осторожно подкрался к двери и подглядел в глазок. На лестничной клетке стоял Алекс. Все было таким странным, я даже по-настоящему не поверил глазку, посмотрел снова: да, так и есть, он самый, в куртке "Хилфигер" на два размера больше, чем надо, и ниспадающих джинсах. Он вздохнул так, как будто знал, что я смотрю на него, и хотел показать мне свое недовольство. В глазок я увидел, как Алекс опять потянулся к звонку, но на полпути убрал руку, потому что из лифта вышел нереально длинный чувак. Наверное, метра два, пиджак был ему маловат, а лицо выглядело по-бабски. На шее висел шарф с бахромой, а в руке — три-четыре продуктовых пакета, которые он еле держал. Алекс с чуваком переглянулись и кивнули между собой, как будто друг друга узнали. Чувак достал из кармана ключ, и у меня почти что уже было чувство, что сейчас он протиснется мимо Алекса и откроет нашу дверь. Но потом я увидел, что он идет к Бенгту, открывает его дверь и затаскивает пакеты в прихожую. Алекс долго стоял и зырил на парня. Немного как будто он его узнал, но никак не мог вспомнить, откуда. А может, просто проникся, что мы соседствуем с известным Теле-Бенгтом и его голубым дружком.

Вместо того чтобы позвонить опять, Алекс двинулся к лифту. Я так и стоял, пока не увидел, что кнопка лифта погасла, и тут меня снова накрыло, потому что тело еще было слабое.

* * *

Сегодня я проснулся посреди воскресенья и наконец оказался здоров. Температура прошла, головная боль почти перестала. Когда я встал с кровати и попробовал пройтись, тело чувствовалось как обычно, но все-таки совсем иначе. Немного похоже на ощущение новой зубной щетки.

Папа с Нурдином сидели в гостиной, папа был немного тихий. Нурдин прошептал, что папа за меня ужасно волновался, спать даже не мог по ночам, потому что я бредил всякую чушь. Поэтому у папы не было времени на посуду и все такое, и в квартире царил глобальный хаос. Рядом с раковиной и на столе были кучи бутылок и тарелок, таблетки от головы, еще бутылки, засохшие остатки еды, винные пробки и пустые банки. В блюде для фруктов лежал лимон, над которым жужжали и рои-

1. "В этом и заключается актерское мастерство" (*англ.*).

лись мухи. Наверное, моя болезнь напомнила папе про всякие другие болезни, и тогда, понятное дело, ему нелегко было предаваться сну. Нурдин вернулся в гостиную, я услышал, как он хлопнул в ладони и попытался взбодрить папу:

— Знаете что, давайте немного встряхнемся. А? Что молчишь, Халим? Ты поправился или нет? На улице чудесный снежок, заглянем к Самиру. Что скажете? Возьмем что-нибудь посмотреть и немного орешков. Как вам такая идея?

Папа кивнул, но в глаза мне смотреть не стал.

Может, из-за болезни, а может, из-за нереального снега воскресенье было каким-то особенным. Уши мерзли, ботинки скрипели по мокрому снегу. Где-то впереди разговаривали папа с Нурдином, но из-за снежного хруста ничего не было слышно. Солнце светило яркое, а зимний воздух был чистый, у меня даже немного возникло такое чувство, будто я проспал сто лет, как принцесса в сказке. Я подумал, что человеку в жизни ничего больше и не надо: только тусоваться под чудесным зимним солнцем и вдыхать свежий воздух. Этого вполне хватит.

Сначала в магаз зашли только папа с Нурдином, но я сквозь витрину понял: что-то у них не так. Папа размахивал кулаком в сторону кассы, а Нурдин пытался его усмирить. Папа так разошелся, что никто не заметил, как я проскользнул в магазин и встал в углу.

— Сколько он здесь на вас работал, слушай, да? — кричал папа. — Три года, твою мать, три года мы сюда ходили и не было никаких проблем!

За кассой стоял какой-то бледный придурок в светлых усах и жевал жевачку, как последняя корова:

— Мне очень жаль, мистер, но таковы наши правила. Не знаю, что у вас там было за спецпредложение, но Самир здесь больше не работает, ферштейн?

— Три года, но вам насрать! Почему такой недобрый, а? — снова кричал папа.

— Скажите спасибо, что три года его тут терпели! Мы не можем себе позволить держать работников, которые приходят и уходят, когда им вздумается. Так дело не пойдет. Такая работа все-таки требует немного...

— Три года! Три года, тебе мало?

— Отман, успокойся, не надо, — уговаривал его Нурдин по-арабски.

— Вот что, приятель, сбавь обороты. Это вопрос решенный, если что-то не нравится, то выход вон там, проваливай, — шведорас кивнул на дверь и вообще вел себя очень презрительно. — К тому же я вызвал охрану, они с минуты на минуту будут здесь.

Тогда папа стал играть из себя — как на барахолке, когда он притворяется, что передумал покупать то, что хотел, и уходит. Он сказал Нурдину, что все в порядке, можно его больше не держать. Нурдин отпустил папину руку и заспешил к выходу, меня он даже не заметил. Папа пошел за ним, но тут швед крикнул:

— То-то же, катись колбаской!

Услышав про колбаску, папа совсем вышел из себя и бросился обратно к прилавку с бешеным воплем, как плотоядный динозавр. Шведорас попятился, и я его понимаю, потому что глаза у папы выкатились из орбит, как шары, а зубы чудовищно заскрежетали. Когда папа не достал до него, чтобы как следует удавить, он ухватился за стойку с чипсами и с грохотом перевернул ее на пол. Нурдин сразу вернулся назад, он ругал-

ся по-арабски и тащил папу на улицу. Хотя папа был меньше телом, борьба была жестокая. Как только казалось, что Нурдин берет верх, у папы, как по волшебству, откуда-то вырастала третья рука, которая сбрасывала видеокассеты, или третья нога, которая расшвыривала коробки с развесными конфетами.

Но в конце концов Нурдину все-таки удалось вытащить его на улицу, и я увидел, как папа поскользнулся на льду и немного по-детски уселся на тротуар. Нурдину опять пришлось напрягаться и поднимать его на ноги. Потом они побежали в сторону дома. У меня было какое-то странное чувство, ведь в теле все еще немного сидела болезнь и температура, и от этого мне показалось, что все это мне просто снится, опять какой-то бред, скоро я проснусь у себя в кровати от холода и озноба. Но тут я понял, что все реально. В магазине было как после погрома: рваные пакеты чипсов валялись вперемешку с коробками от видеокассет, а пластиковый ящик с малиновыми дольками треснул по боку. Шведорас был абсолютно обесшарашен, он так и стоял за кассой с телефонной трубкой в руке.

— Ты видел? Нет, ну ты видел? — спросил он меня. — Вот ведь придурок ненормальный!

Я не ответил и уже собирался уйти, как набежали охранники. Они удивились окружающему разгрому, но вроде бы парень за кассой им тоже особо не приглянулся. Он сразу стал им выговаривать, что они заявились слишком поздно, и сообщил своим дебильным тоненьким голоском, что на магазин напал "турок с турецкими усами".

— Какая редкая особая примета, — сказал один из охранников (но в голосе у него была явная шутка).

Охранники поржали друг с другом и помогли шведорасу прибрать магазин. Потом сказали ему, что заявление писать не стоит.

— Я знаю, что ты здесь недавно, но скоро привыкнешь, тут у нас горячая точка. Рядом общага, в которой полно всякой пьяни и быдла.

Я слинял из магаза так, что никто не заметил. В карманах куртки у меня было три двойных "Сникерса", два "Марса", четыре "Тик-така" и, наверное, пять-шесть "Чупа-чупсов" со вкусом колы. Когда я вернулся домой, папа заперся в своей комнате и до сих пор оттуда не выходит. Я за него не волнуюсь, я же понимаю, что это все у него от недосыпа, от беспокойства и от злости на всяких там розничных расистов.

* * *

Сегодня я почувствовал, что нужно просто срочно забить на всю эту тягомотину. Я почти с удовольствием крикнул "пока" в папину комнату и пошел в школу.

Понятное дело, Алекс стал нарываться на небольшую разборку, потому что меня не было в школе без справки. На шведском он уговорил Бьоркмана уступить ему меня для индивидуального занятия — и по дороге в кабинет все пытался накидать побольше понтов, чтобы почувствовать уверенность в себе. Одну ногу он приволакивал за собой по полу, как будто здорово пострадал накануне, и, кажется, воображал себя самым крутым учителем в самом черном американском гетто, который готовится к серьезному разговору со сложным учеником. Как только мы вошли в кабинет, он сел на стол и вытаращился на меня:

— Ты куда исчез в понедельник? А? Ты что, думаешь, можно так запросто взять и слинять из школы когда угодно? А я-то думал, у нас с тобой договор. Как там итоговая работа по биологии?

Не получив ответа, Алекс перешел к немного противоположной психологии:

— Не понимаю тебя. Ну почему ты никогда не можешь сделать то, о чем тебя просят? Ты что, испугался какой-то вшивой прививки? Ты из-за этого всю неделю прогуливал?

Когда он понял, до чего я его игнорирую, он зарядил длинную речь о том, как важно не снижать скорость у финиша, как ни за что нельзя сдаваться в последние недели, а после потребовал с меня обещание до конца полугодия вернуть Бьоркману книжку про папайю.

— А на десерт скажу, что я придумал тебе подарок к окончанию полугодия. Если ты будешь стараться на финишной прямой и получишь "удовлетворительно" по основным предметам... Это не то чтобы какой-то серьезный подарок... Но я знаю, тебе понравится.

— Ладно. Ты все сказал?

Алекс вздохнул всем телом.

— Не совсем. У меня к тебе вопрос. Как там твои успехи по части живописи?

— Что?

— Ну ты же у нас живописью занимаешься? Монументальной. И как идут дела? Освоил новые туалеты?

— Не понимаю, о чем...

— Даже не пытайся меня обмануть, парень. Я понял, что это ты, еще в сентябре. Just for your information[1]. Просто времени не было поймать тебя с поличным.

— Что ты несешь...

— Я все знаю. Имей в виду.

— Конечно, конечно.

Алекс немного подумал и погнал дальше:

— Ты знаешь, во сколько нам обошлась твоя живопись? Хотя бы примерно представляешь себе? Они ведь поговаривают о том, чтобы вышвырнуть меня из школы, потому что нет денег платить мне зарплату.

Тишина отбивала такт часами на стенке, а мы всё молчали и молчали. Алекс продолжал зырить на меня злобными китайскими глазками, и впервые в жизни взгляд у него не бегал (хотя, понятное дело, пару раз он конкретно взморгнул).

Настал торжественный момент показать ему мои глубочайшие знания, чтобы он понял: я ему никакой не обычный мигрантский пацан. Я начал свою ответную речь с объяснения, что́ обозначают собой звезда и полумесяц, а потом прошелся по всей арабской истории, немного вспомнил и Ганнибала, и многих других философов, а потом рассказал про Интеграционный план и его связь со школьной столовкой. Понятное дело, Алекс дико проникся. Хотя потом, когда я перешел к евреям и средствам массовой информации, он нетерпеливо забрякал связкой ключей и посмотрел на часы.

— Факт остается фактом, приятель. Среди спортсменов евреев нет. Знаешь почему? Хочешь скажу?

1. Прими к сведению (*англ.*).

— Конечно, высокочтимый Халим, почему же? Просвети меня, неученого.

— Легко. С удовольствием. Потому что в спорте одними деньгами и связями ничего не добьешься! Та же история со всяким массовым уничтожением, потому что на самом деле погибли не только евреи, но и куча...

— What the fuck man![1] Ты это серьезно? Или прикалываешься?

Алекс смотрел на меня так, будто я признался ему, что мажу волосы не гелем, а собачьим дерьмом:

— Да как у тебя только язык поворачивается такое мне говорить?

— Алекс, клянусь, это как с едой в нашей столовке, надо просто мыслить глобальнее, чтобы понять. Тогда за всем этим "будьте добры, рыбные палочки..." ты различишь конкретный план и поймешь, что все это лишь новый метод интеграции.

Алекс покачал головой, и у меня появилось чувство, что внутри он улыбается.

— Хорошо. Но... тебе не кажется странным, что ты называешь себя... как там, пророком мысли? Ах да, прости, султаном мысли. При этом ты состоишь у нас в совете по питанию, но не осмелился даже слова сказать ни на одном собрании.

Алекс, кажется, нарывался. Но только я решил дать ему достойное объяснение, как он меня перебил:

— К тому же не забывай, что все твои методы полностью совпадают со стереотипными представлениями о поведении иммигрантов. Гораздо проще соответствовать стереотипам, чем взять и поломать их раз навсегда.

Мне, конечно, ничего не стоило сделать ему подсечку простейшим аргументом, но я решил, пусть немного еще поблистает. Надо иногда и сострадание немного проявить по отношению к слабым мира сего.

Вечером я хотел спросить папу, правильно ли, на его взгляд, я поступил, но он опять заперся в своей комнате. В квартире все как обычно, только немного тише, чем всегда.

* * *

В последние дни все опять вернулось на свои круги. Сегодня в обед я впервые за долгое время тусовался около старой курилки. Снег стал как пудра, в снежки больше не поиграешь. На трубе не посидишь, слишком холодно, поэтому я просто достал ключ от дома и соскреб надпись "Х + М = ПРАВДА". (Я вырезал ее на стволе дерева очень давно, когда мы с ним оба еще были внутри мягкими.) Наконец буквы перестали виднеться, и я пошел к студии, посмотреть, как там Моррис.

Оконное стекло обожгло нос холодом, когда я протер в нем рукой дырку и заглянул внутрь. Маленькая комнатка была совершенно пустая, если не считать двух удлинителей, выпитой бутылки колы и залежей пыли. Сначала я подумал, что студию конкретно обчистили, чтобы толкнуть компы, бас-гитары и колонки на барахолке. Но потом понял, что ни один даже самый жадный взломщик не стал бы красть коричне-

1. Что за фигня, парень! (*англ.*)

вый кожаный диван или афиши с джазом и блюзом, которые висели над столом. Я спустился по лестнице и обследовал вход. На стене, где раньше висела табличка с именем, остался бледный прямоугольник. Из почтового ящика торчали кучи рекламных листовок и конвертов, но только я вытащил письма, как сверху появилась огромная тень и заслонила собой зимнее солнце.

Сердцебиение тут ни к чему, потому что, понятное дело, это оказались никакие не легавые и не Алекс, а Курре, который, весь перекосившись от радости, орал:

– Привет-привет-привет!

Он был в одной только теплой рубашке, но на башку надел шапку, которая немного была похожа на шлем летчика, с такими специальными ушами. Я объяснил ему, что Моррис собрал манатки и свалил в Нью-Йорк, но кто-то же должен разбирать всякую важную почту. Виртуозными пальцами я извлек из щели ящика оставшиеся конверты, спрятал их за пазуху, взлетел вверх по лестнице и спрятался за палисадником. Курре последовал за мной, а я был не против. Пусть сделает хоть что-то полезное, я протянул ему пачку конвертов:

– Держи, чувак. Только открывай осторожно. Все деньги – сразу мне. Понял?

Курре стал нежно потрошить письма своими жирными пальчиками, по большей части это была всякая фигня вроде рекламных проспектов "Скандии" и писем налоговых инспекторов. Но иногда попадались и приглашения на всякие там тусовки. Сначала на гала-премьеру фильма "Жизнь это шлягер", потом на презентацию новых духов Лагерфельда, потом на другой фильм – "Все о моей матери" (дебильное, конечно, название).

Потом там еще был конверт от "Тигеров", которые зазывали на большую растаманскую тусовку в прошлые выходные. Я отдал приглашение Курре, потому что там была порнографичная негритоска с сосучим ртом и в леопардовой майке, а буфера ее наверняка побили бы всех белых телок в борьбе за звание "Мисс Буфера мира".

– Это тебе, старик. Можешь использовать, когда приспичит подрочить.

У Курре отвисла варежка, несколько пустых конвертов выпало в снег.

– Ой-ой-ой! Вот это пудинг, какой сладкий пудинг, с ума сойти... всем пудингам пудинг...

Остальные конверты я на всякий случай припрятал: вот встречу телку и раз – достаю из кармана приглашения на все звездатые мегатусовки, где я типа побывал. Курре так и остался за палисадником, а я почесал обратно к школе, и, честно говоря, мне показалось, что он лизнул фотографию телки промежду ног (а может, просто разглядывал ее крупным планом).

Пока я через окно высматривал Христо в игровой, Фуад высунул голову и сказал, что все чисто. Он подвинулся для меня на диване, угостил конфетами и сказал, что вообще-то и он, и куча других парней считают: Христо тогда в бильярдной совсем оборзел. Фади и Надер (из восьмого) кивнули. Хоть они, по моей теории, окончательно шведофилировались и лупятся целыми днями в "Дум", мне было дико приятно, что они типа меня поддерживают. Потом мы играли в пинг-понг парами, и благодаря моим крученым подачам мы с Фуадом выиграли два сета подряд. Фади

сказал, что подачки у меня неберучки, а Надер захотел в следующий раз играть в моей паре.

По дороге на урок было так клёво, мы шли все вместе, и мне вдруг почувствовалось, будто мы вчетвером типа такая тусовка парней, которые дружбаны еще с пятого класса, наши мамы друг с другом сплетничают, а папы вместе ездят на рыбалку.

Фади рассказал долгую историю о двух телках из его старого класса: они однажды в шестом взяли какой-то фильмешник для видео у одного чувака, который забыл, что на остатке кассеты он записал порнушку. Телки пошли домой и стали смотреть фильм вместе с родителями, которые поклонялись в церковной секте, и вот сразу после окончательных титров пошла порнуха, где немцы в масках с перьями вставляли друг другу куда попало! Телки сразу дико запаниковали, но прежде чем они...

* * *

Извини. Меня немного в тот раз прервали.

Когда я вернулся из школы, я прикинул, что папа, наверное, в магазе, потому что дверь у него закрыта, а за дверью — тишина. Я типа перекусил, посмотрел повторение "Друзей"[1], а потом сел за писание. Я почти уже все дописал, когда услышал рядом чужое дыхание и обнаружил, что папа стоит и шпионит прямо через плечо. Он был в халате и с бородой, подрезанной больше обычного, а на лице его пролегли складки от подушки. Наверное, опять проспал весь день в борьбе с недосыпанием и не стал открывать магазин. Я попытался объяснить, что делаю уроки по шведскому, пишу черновик для сочинения, но папа смотрел на меня львом, разъяренным в клетке:

— Ты что, меня за дурака держишь? — спросил он сквозь зубы. — Ты зачем это пишешь? Зачем зачем зачем?

— Что именно? — спросил я и упрятал тетрадку в ящик стола.

— Не морочь мне голову! — заорал папа и помахал кулаками. — С меня хватит! ХВАТИТ!

Папа попытался выдвинуть ящик, но я твердо держал его коленом и отпускать не хотел.

— Ты вообще понимаешь, что делаешь?

— О чем ты?

Я говорил почти совсем вежливо и показывал вид, что ничего не понимаю. Папа понял, что ящик ему просто так не открыть, и стал орать еще громче:

— Почему ты так пишешь? "Круто", "чувак", "телка"! А? Кто из твоих знакомых так говорит? Ты думаешь, зачем мы уехали из Шериса?

Летели брызги слюны, и мне немного показалось, что папа еще не отошел после скандала в видеомагазине, злость у него накопилась и теперь пошла через край. В конце концов я заплатил ему той же монетой:

— Что тебе от меня надо? Ты хочешь, чтобы я заговорил, как последний шведак? По крайней мере, я не забыл, кто я и откуда родом.

— Ты что, совсем идиот? Думаешь, я не знаю, что ты можешь говорить по-шведски вполне прилично? Еще несколько лет назад ты гово-

1. Американский комедийный телесериал Дэвида Крейна и Марты Кауфман.

рил просто замечательно, а теперь? "Бабло", "телка", "впарить", "отстой"! Зачем это все?

— Во всяком случае, я не предатель. И я не забыл про борьбу...

— Про борьбу? Ты о чем? Нет никакой борьбы! Посмотри на меня, Халим. Посмотри мне в глаза. Представь себе, что́ бы со мной было, если бы я сделал другой выбор. Один семестр, мне оставался какой-то несчастный семестр, когда государственный переворот провалился. Что я мог тогда сделать? Ты говоришь в точности так, как твоя мать, мир ее праху: "Мы не должны сдаваться, надо идти дальше, мы не можем предать борьбу". И здесь было то же самое: "Борьба должна продолжаться". А дальше что? Что теперь происходит? Посмотри на меня — сижу в магазине и продаю всякое дерьмо! А Нурдин? Что он, по-твоему, выиграл? Что? Ты думаешь, он когда-нибудь получит главную роль? Да никогда! В жизни он совершил две ошибки: первую, когда уехал из Ливана, а вторую, когда — из Лондона. А Самир? Один из лучших поваров Сирии, его же просто подставили, и он потерял все, а теперь вообще остался без работы... Так нельзя, Халим, ты должен это понять. Есть только один способ изменить положение дел в этом мире. Один-единственный.

Папа потер большой палец указательным прямо у меня перед носом:

— Бабки. Деньги.

Впервые за кучу многих лет папа говорил таким демонстраторским тоном, но все-таки он сейчас как бы гнал на велике по тонкому льду. Я приготовил ему жесткий контраргумент:

— И что, по-твоему, на это сказала бы мама?

Папа вздохнул и достал из халата носовой платок. Пока он думал, его дрожащие руки протирали очки. Потом папа вышел из себя обратно:

— Хорошо, я все понял, я предатель! — заорал он и двинул на кухню. — Только вопрос еще, кто из нас лицемер — ты или я!

Он так хлопнул дверью, что король Хасан подпрыгнул вместе со своей фотографией. Потом стало слышно, как на кухне папа переворачивает все с головы на ноги. Вот прямо сейчас он крошит салат к ужину и немного этот звук похож на сумасшедшего дятла, который захватил нашу кухню.

Что-то неохота больше писать. Во всяком случае, сейчас.

* * *

У меня тут небольшой перерыв случился, это все потому, что я сдавал экзамены и ничего особо нового не произошло. Папа по ходу успокоился, и о наших противоречиях на прошлой неделе мы оба забыли. (На самом деле, папам сложно держать зуб на своих сынов, особенно когда уже прошло столько времени, что даже рак на горе свистнул.) Сегодня суббота, поэтому я поехал в магаз, чтобы помочь папе навести рождественский марафет и заодно показать, что я простил его за наезд. Рядом от двери стоял автомат с желтым лохматым покемоном, который жужжал, дрожал и колбасился за стеклом как попало. Хотя Нурдин и починил его летом, покемона опять заглючило. Каждый раз, когда он приближается к стеклу, заместо того, чтобы остановиться и покачаться перед ним, он бьется в него башкой. На самом деле мне это даже нравит-

ся, потому что, сколько бы он ни бился, с его дурацкой физиономии не сходят улыбка и круглые белые глаза.

Я все собирался напомнить папе, что надо бы открыть автомат и вправить покемона на место. Но когда пришел в магаз, опять про это забыл, потому что Нурдин с папой вроде бы друг на друга дико набычились.

Нурдин сидел у кассы, а папа вешал на потолок красные гирлянды. Когда я вошел, они на несколько секунд замолчали, но потом Нурдин повернулся к папиной стремянке и продолжил. Сначала я думал, что они опять о своем — о тотализаторе или об английской лиге. Но хотя они говорили быстро, я понял, что речь идет про новую интифаду. Нурдин сказал, чтобы папа не смел поносить Арафата, потому что все равно Арафат на нашей стороне. Папа же подрезал немного красной гирлянды и развел руками:

— Что значит, на *нашей* стороне? Кто это *мы*? Твой Арафат просто бездарность. Если бы наши интересы защищал более профессиональный политик, мы бы получили свою землю еще лет двадцать назад. Знал бы ты, сколько он наделал ошибок. А о других лидерах вообще говорить не будем. Жалкие идиоты. И-ДИ-О-ТЫ!

— А я и не говорю, что он безупречен. Но дело же не только в нем, вспомни о тех преступлениях, которые евреи...

— Нурдин, я все знаю. Посмотри на меня. Не надо мне об этом рассказывать. Я сам знаю. Даже слишком хорошо. Поэтому я и разочарован. Неужели мы опустимся до их уровня? Всему свое время, на смену насилию приходят мирные переговоры.

— А никто и не говорит, что...

— Мы же с тобой умные люди. Разве нет? Значит, мы должны рассматривать с критической точки зрения поведение обеих сторон. Вот нам с тобой кто нужен? Террористы-смертники? Или мудрые миротворцы?

Папа так и стоял на стремянке, голос у него был максимально торжественный, и мы были на демонстрации и папа стоял с мегафоном. Солнечная площадь, бурный аплодисмент, и пусть я не до конца понимал, за кого болею в этом споре, радость наполнила меня до кончиков ногтей. Папа выглядел как современный пророк на самом верху разболтанной стремянки, которую мы прибрали со стройплощадки рядом от бензоколонки. Нурдин попытался его перебить, но перебить папу, который мчится на пятой передаче, невозможно.

— А что, фундаменталисты...

— Ты думаешь, все так просто? Думаешь, тут есть какое-то универсальное решение? Посылать на смерть мучеников? Убивать мирное население? Нурдин, да ты не понял истинного значения джихада. Коран учит нас, что великий джихад — это борьба со злом у себя внутри. Малый джихад — борьба с несправедливостью. Но ни тот, ни другой не имеют ничего общего с терактами, в которых погибают дети и женщины!

Они еще долго об этом говорили, и хотя понял я не все, мне нравилось слушать, как они говорят о важных вещах. Я продолжил наведение рождественского марафета. Набрызгал на витрину побольше искусственного снега, чтобы не было видно пыль, и рассадил маленьких рождественских гномов по полкам и на прилавке. Когда я закончил, все немного выглядело, как в магазине игрушек (в хорошем смысле этого слова). Почти сразу потом пришла какая-то тетка и купила двух красных

свиней-копилок. Она с беспокойством посмотрела на Нурдина и на папу, которые продолжали базарить и совсем о ней не думали.

– Вообще-то они лучшие друзья, – объяснил я и угостил тетку киндер-яйцом.

Потом притащил со склада еще другие рождественские товары, которые большинством были с прошлого года. Например, рождественские колодки карт и красные подсвечники с гномами и оленями. В этом году папа опять заказал кучу масок для гномов. Когда я вернулся со склада, у них в дискуссии наступил перерыв. Папа фломастером рисовал цены на гномиков для удержания яиц, а Нурдин курил сигарету и хмурился. Я почувствовал, что надо тоже принять немного участия в дискуссии:

– Не стоит также забывать древнюю арабскую пословицу: интеллигенты во многом похожи на хромых верблюдов. Потому что ни те, ни другие не способны совершить революцию.

Я улыбнулся папе, который выглянул на меня из-за кассы.

– Что ты сказал?

– Ну, я про интеллигентов. Они похожи...

– Я слышал. Это его Даланда подзуживает. Ну-ка расскажи, какие еще арабские пословицы вы с ней разучили?

Я немного был горд, что он меня спрашивает, поэтому назвал еще пару примеров:

– У нас есть и такая: человек без языка что верблюд без горба – никому не нужен. То же самое с человеком, который не знает своей истории. Или вот еще: мужчина без мужества – не мужчина. Или вот: за водой через Нил не ходят.

– Так, так. А еще? – Папа улыбнулся одной щекой.

– Ну, всех я не помню. А! Вот еще: слабые верблюды тоскуют, а сильные – делают ноги.

В ту же самую секунду папа с Нурдином захохотали. Сначала я думал, что это добрый смех, но скоро понял, что он колючий и холодный.

– Неужели ты веришь всему, что говорит тебе эта старуха?

– По-твоему, если в пословицу вставить что-нибудь про Нил или про верблюдов, она сразу станет арабской?

Я не знал, куда деваться, мне дико захотелось поскорее свалить, рвануть домой тройными прыжками, чтобы не видеть всех этих красных гирлянд и пластмассовых гномов, чтобы не дышать запахом вонючих сигарет Нурдина, но главное – чтобы не было этого смеха. Папа замолчал и немного сердито посмотрел на нас с Нурдином.

– Сейчас я научу вас словам истинной мудрости. Это слова из Корана, как раз для националистов вроде вас. "Мудрый желает знать, безумный – говорить". Вам обоим не мешало бы над этим подумать.

– Ну как ты мог так легко поверить всему, что говорила тебе эта карга? – спросил Нурдин под маской немного дружелюбного голоса.

Внутри у меня все забродило, и ядовитая кислота заполнила мой желудок, я сосредоточился, чтобы ответить ему достойно, и попытался одновременно изобразить хладнокровность, но все равно голос прозвучал дико предательски, когда в конце концов удалось выдавить его из горла:

– Откуда мне было знать?

И тогда стало тихо. Нурдин осторожно затушил сигарету, только папин фломастер поскрипывал по пластмассовой оболочке. Кажется, оба они о чем-то сожалели.

* * *

Полугодию скоро наступит конец, почти все оценки расставлены, даже ботаники уже успокоились. Все выходные в магазе творился тотальный хаос, потому что пенсионеры сметали рождественские подарки и распродажные елочные игрушки. После воскресного ужина папа съел таблетку от головы, но впервые за долгое время он был в хорошем настроении. Когда я сказал, что у меня наверняка будет "удовлетворительно" по всем основным предметам, он поздравил меня и пообещал, что конец полугодия мы отпразднуем в ресторане. Наш магаз почти что побил новый рекорд по кассовым сборам, папа удобно протянул ноги на стул и длинно зевнул.

— Ох, какая приятная усталость. Позади долгий рабочий день.

Пока я составлял посуду в раковину и набирал воду, папа сидел молча и устало щелкал шейными позвонками. Продолжил он уже по-арабски:

— Помню утро, когда ты родился. У меня тогда было ночное дежурство в метро, я не спал тридцать часов подряд. Если не больше. Но я не устал. Ни капельки. Шли часы, ты все сидел в животе у мамы и вылезать не желал. Я нервничал, страшно переживал. Потом в конце концов в половине восьмого утра ты решил появиться на свет.

Папа улыбнулся так, словно думал о пикниках с мармаритками на теплой летней травке.

— Я так ясно все помню, как будто это случилось вчера. Стою я рядом и весь дрожу. Я должен был перерезать пуповину — не знаю, разрешают ли такое сегодня, но тогда было можно — а ты орал как бешеный. Ты ужасно, просто чертовски рассердился.

Папины глаза были где-то совсем далеко, немного в этот момент он взглядом напомнил мне Курре.

— Потом я поехал домой. Оставил Лейлу в больнице и поехал домой сначала на автобусе, потом на метро. Зашел в магазин. Купил вечернюю газету и немного овощей. В городе тогда был музыкальный фестиваль. Я купил чеснока и таких маленьких помидорчиков. И вдруг я подумал, что сегодня как раз такой день, когда Аллах в хорошем настроении и все друг другу улыбаются. Только дома я заметил, что на ногах у меня синие больничные бахилы.

Папа долго смеялся. Понятное дело, я слышал эту историю уже много раз, но я все равно последовал его примеру.

Потом мы ели мороженое с кусочками фруктов и смотрели телик, и, как обычно, Бенгт Магнуссон вел "Кто хочет стать миллионером". Папа просил меня перевести, когда не понимал каких-нибудь слов. После программы я спросил папу, верит ли он до сих пор, что Бенгт наш сосед.

— Если да, значит, он педик, потому что сейчас на двери висит имя другого парня. Ты видел, пап? Видел, что он живет с парнем, у которого немного арабское имя?

Папа выключил звук в телевизоре и задумался. Потом сказал совсем не в тему:

— Халим. Ты часто задумываешься о том, что́ значит твое имя? Эль Халим?

— Ну не особо. Разве что иногда.

— Мечтатель. Тот, кто мечтает. Знаешь, какое имя я предложил Лейле? Мы хотели назвать тебя двойным именем.

— Не знаю, расскажи.

— Халим ас-Сабр. Сабр — так звали твоего деда. Терпеливый мечтатель. Но Лейла не захотела. Ничего удивительного. Она сказала, что двойные имена дают шведским детям, а ты ведь не какой-нибудь Карл-Фредрик или Пер-Альфред.

— Может, она права?

— А может быть, нет?

— Мм.

Мы немного помолчали. Потом я снова спросил:

— Ну как ты думаешь, он здесь живет или нет? Я про Бенгта.

— Не знаю, Халим. Правда, не знаю. Откуда мне знать. К тому же это очень распространенное имя — Бенгт Магнуссон.

— Мм.

Потом я намылился спать, почистил зубы, надел пижаму и сказал: "Сабах аль-хейр"[1]. Папа остался в кресле. Он смотрел в экран, хотя звук был по-прежнему на нуле.

Только я улегся в кровать, как папа на всех парах влетел ко мне в комнату:

— Не спишь? Нет? Тогда слушай!

Он включил люстру и вошел со старым Кораном в руке. Я потер глаза и незаметно подтянул пижамные штаны, чтобы он не догадался, что я опять дрочу. Губы у папы выпрямились сплошной решительной линией, когда он залистал страницы. Старая книга была ужасно потрепанной, потому что папа получил ее от своего папы, это случилось очень давно, еще в те времена, когда страницы в книгах были ужасно желтые и шороховатые, как осенние листья. Папа сел рядом на кровать:

— Слушай, Халим. Я хочу, чтобы ты это прочитал.

— Но я уже собирался...

— Давай, я тебе помогу. Садись.

— Но я ведь не очень хорошо...

Папа посмотрел на меня долгим взглядом, потом снова сказал:

— Я помогу.

В Коране такая прекраснейшая буквопись — читать его, наверное, в тысячу раз сложнее, чем тексты из той книжки по арабскому, которую мне давала Сафа. В Коране все буквы написаны так навороченно, а гласных, понятное дело, вообще не наблюдается. Поэтому папе пришлось довольно основательно мне помочь. Вообще-то сначала он все это читал сам, а я только повторял:

— Ас-сабр...

— Ас-сабр...

— ...мифтах аль-фараге.

— ...мифтах аль-фараге.

— Понимаешь? Ас-сабр — терпение, мифтах — ключ, а аль-фараге?

— Счастье.

— Правильно. Подумай об этом, Халим. Ас-Сабр. Прекрасное имя — Терпение. Надо помнить, что в жизни иногда приходится ждать.

Я кивнул, чтобы показать понимание. Когда папа ушел, я продолжил дрочить и представил, что у меня сосут сразу четыре классные таиландские телки.

1. "Доброе утро" (*арабск.*). Халим, плохо знающий арабский язык, использует это выражение по ошибке.

* * *

Ну что сказать? Идет последняя неделя полугодия, Халим вновь и вновь обдумывает вопрос: сколько всего можно познать о мире, прежде чем познаешь слишком много и станешь подобен богам, а может, и вообще забудешь о том, что совсем недавно ты был обычным человеком? По дороге из школы я увидел газетный заголовок и, понятное дело, не поверил своему зрению. Я подумал, что это шутка или самовнушение. Но факт остается фактом. Газета лежит передо мной, и никто не может поспорить с тем, что уже случилось. Думаю, боги решили немедленно вознаградить меня за то, что я обрел свою истинную судьбу и наконец понял, что я не только султан мысли, но и выдающийся арабский миротворец (который через несколько лет разрулит ближневосточный конфликт Пактом Халима). Я только надеюсь, что боги не в обиде за то, что я на них наезжал (и даже в письменной форме).

Все началось на послеобеденной перемене, когда Фуад и Фади пошли вместе со мной к киоску. Я все время пытался следить за их трепом про хоккейную лигу, чтобы немного успокоиться, — признаюсь, это было сложно. На обратном пути мы встретили Курре, который вывез свою уборочную тележку и припарковал ее одним колесом в песочнице. В руках он держал помятое приглашение на растаманскую тусовку от "Тигеров", и когда увидел меня, весь прямо прояснился.

— Здоро́во! — заорал он на всю глотку и дыхнул крутым перегаром.

Мне стало немного стыдно, потому что все в тусовке наверняка подумали, что мы с Курре лучшие друзья.

— Здоро́во, жиртрест, — ответил я. — Посмотри, во что ты превратил приглашение. Скоро дыру уже в нем продрочишь!

Фуад и Фади засмеялись, и я почувствовал, что сработало. Курре напрягся и вылупил глаза. Он стал сгибать и разгибать потрепанную фотографию негритоски в пятнистой майке.

— Давай, давай, парень, — продолжил я. — Вали отсюда. Воняет.

Мои новые друзья опять заржали, и мы почесали к школе. Уже около входа я услышал, что Курре крикнул "покеда", но, понятное дело, я проигнорировал.

После перемены наконец пришло время показать, кто здесь главный, и папин голос не умолкал в башке, точно радио, и как только буфетчица объявила своим молотком начало собрания, я подхватил дебат. Сначала говорил как обычно, но потом, чтобы избежать взаимонепонимания, я переключился на шведопятский тон. Я предложил устроить такую неделю, когда в столовой заместо шведского стола варили бы кухню каких-нибудь, например, других стран. Все сказали, что идея моя просто суперская, только буфетчицы возражали, что они и так дают колбасу чоризо и овощи по-восточному. Я объяснил, что по законам ислама в меню обязательно должны быть, как минимум, халяль плюс чак-чак, мясо ягненка, мергез, фалафель и кус-кус плюс острый красный соус в отдельной посуде (для тех, кто готов рискнуть языком). Все со мной согласились, а Сибилла сказала, что часто ела ливанскую кухню и ей каждый раз дико нравилось. Против восстал один-единственный семиклашка, который сказал, что сложно будет приготовить такую еду из экологически чистых продуктов. Но никто не стал придавать ему значения, все решили, что он зеленый сифак.

Короче, все, кроме шведливого семиклашки, единогласно проголосовали за мое предложение. Даже Алекс вытянул руку, хотя на самом деле право голоса ему никто не давал, потому что он вроде как типа учителя. У меня было такое мегаприятное чувство, особенно когда буфетчица вздохнула и сказала, что интернациональное меню мы еще подробно обсудим на нашей встрече в следующей четверти.

После этого собрания со школой было покончено, я пошел домой, как бы в таком мечтательном облачке с чирикающими птичками и нежным туманом, немного даже казалось, что иду я прямо по ковру-самолету и каждый раз наступаю на воздушные подушки. Вдруг я увидел этот газетный заголовок и едва ли не протер глаза, как персонаж какого-нибудь комикса.

Огромными черными буквами в "Афтонбладет" было написано: ЗВЕРСКИ ИЗБИТ ЗНАМЕНИТЫЙ АКТЕР ДРАМАТЕНА. С напряжением, похожим на барабанную дробь, я купил газету, и прежде чем руки мои развернули ее, я уже знал где-то в глубине души, клянусь, мне был знак, я понял, что сейчас будет. Журналист разместил статью на двух страницах друг рядом с другом, а прямо под жирным заголовком были напечатаны фотки: сначала крупный план полицейской оцепительной ленты в сером пейзаже, потом две девчонки-свидетельницы в шапках и в полном шоке (одна из них заправила свои джинсы в белые ковбойские сапоги с бахромой, как будто решила, что живет в прериях). А на другой странице была фотка с тремя охранниками, которые стояли под опадающим снегом на входе и проверяли документы, и в нижнем углу на маленькой карте было отмечено, где именно на Кунгсгатан они стояли.

Статья это тебе не заметка какая-нибудь, потому что, даже если бы я согнул ее в два раза, целиком она бы в тетрадку не поместилась. И вообще зачем я буду клеить сюда эту статью, если каждая строчка и так залипла у меня в мозгах? Мне даже не надо теперь листать газету, чтобы вспомнить, что́ именно там пишут о жестоком нападении на актера из Драматена у входа в ресторан, о том, как его повалили на землю, избили до потери сознания и положили в больницу Св. Йорана. Понятное дело, охранники просто вышвырнули этого актера из ресторана, потому что он был уже пьяный в хлам, а на улице его как раз караулил конкретный чувак, который, скорее всего, хотел выразить ему свою месть. Удары посыпались, актер повалился на землю, из башки у него протекла кровь. Никто вступить не решился, а чувак смылся как ни бывало. Журналист написал, что актер этот в Швеции всем очень известен, потому что сыграл много великих ролей и в кино, и в театре, и я подумал, конечно, старик, дальше можно не продолжать, мы и сами все поняли! Потом было написано, что актер подал заявку о нападении в полицию, а телка по имени Анн-Кристин Йернберг, которая работает начальником пресс-службы Драматена, заявила, что случившееся ставит под угрозу репертуарный план театра (как будто мы без нее не догоняем).

Но потом, в конце статьи, он там написал такое, чего даже я с моими познаниями о силах судьбы не ожидал. После интервью с охранниками журналист добавил, что модное местечко называется "Тигер" и что, хотя охранники со свидетелями надавали кучу всяких показаний, полиция пребывает в диком замешательстве и до сих пор не засадила ни одного подозреваемого, который соответствовал бы следующим приметам: "преступник — мужчина очень крепкого телосложения и африканской наружности".

Снова и снова я перечитывал это предложение и не мог понять, как это так происходит, что все в жизни суть безупречная логика, но при этом все равно безумнейшее сумасшествие, и еще как будто за всем этим стоит великий план, но в то же время сам случай играет без правил, хотя и на поводке, и все так надежно и ненадежно одновременно, и единственное, в чем я уверен в эту секунду, так это то, что у Нурдина теперь есть шанс и я не позволю ему этот шанс упустить.

Я позвонил ему сразу, как только пришел из школы, и хотя он, скорее всего, в тот момент сидел где-нибудь на корточках со своим раздолбанным мобильником, он понял, что в воздухе запахло переменами. Я сказал, чтобы он максимально быстро замутил себе новое резюме с фотографиями, потому что у меня появились связи и строго конфиденциальная информация о том, что он скоро получит великую роль в известном театре. Нурдин не стал спрашивать, что да как, просто офигел всем своим голосом и ответил, что завтра все бумаги будут готовы, что у него и так уже есть большая коллекция старых фоток, где он позирует для своих поклонников, и он может добавить их ко всем остальным документам.

Перед тем как мы повесили трубку, Нурдин поблагодарил меня всем сердцем, хоть я и сказал ему снова, что вероятность составляет не сто процентов, а только девяносто пять. Все равно казалось, что для счастья ему и одной надежды достаточно. Может, так всегда и бывает.

* * *

Сегодня четверг, последний день в школе. Только мы с папой доели ужин, как в дверь позвонил Нурдин. Я открыл, и он ворвался в квартиру нововыбритый и свеженадушенный. Под скрипучей кожаной курткой на нем была красивая розовая рубашка в полоску, он торжественно поздоровался. Потом подсунул мне конверт, с тайным подмигиванием, и прокричал папе, что фисташки, которые он принес этим вечером, вкуснейшие. Потом вызвал папу на шахматную дуэль.

— Время пришло. Сегодня решающий матч. Кто победит? Кто проиграет? Доставайте доску, мистер! Ангард! Теперь мы сразимся всерьез! В красном углу — Нурдин Вечно-непредсказуемый! В другом углу — Отман Лучше-ничья-чем-проигрыш!

Папа похлопал Нурдина по плечу и дружелюбно произнес:

— Я вижу, ты так ничему и не научился. Если сегодня вечером ты выиграешь хоть одну партию, то я... э-э... что бы мне такого сделать? Решай сам!

— То ты... Халим, придумай что-нибудь интересное. Есть идеи?

— ...сбреешь усы!

— Хорошо, если я выиграю, тогда ты... Нет, знаешь что! Тогда ты сбреешь волосы. Это еще лучше. Если я выиграю одну партию, ты побреешь башку! Или... так... ладно, я ведь могу и потом придумать, когда выиграю все остальные партии.

Пока мы с папой мыли посуду, Нурдин расставлял фигуры. Потом папа спросил, не будет ли у нас в классе какой-нибудь вечеринки в честь окончания полугодия. По его глазам я видел, что ответ имеет для него особое значение. Потому как я все равно собирался свалить из дома, я, понятное дело, сказал, что вечеринка обязательно будет. Но дополни-

тельно я объяснил ему, что собираюсь пойти туда немного позже, потому что вовремя на частные вечеринки приходят одни только лохи. Папа расхохотался и удовлетворительно посмотрел на Нурдина.

Когда я вышел на улицу, было часов около десяти, папа выиграл уже два раза. Нурдин ругался не по-детски многоэтажными проклятьями, хрустел фисташковой скорлупой и стряхивал пепел в цветочный горшок, пока папа не видел (ясное дело, ему назло). Я спрятал конверт под куртку, а в метро по дороге в город открыл и стал рассматривать его содержание. В самом низу было прекрасное резюме Нурдина со списком всех школ и спектаклей. Потом — большая черно-белая фотка, на которой у Нурдина сверкали глаза, блестела родинка и даже лысины было совсем не видно. Сверху лежало короткое письмо, в котором я объяснял, что видел "Марию Стюарт" на прогоне и сразу понял, как прекрасно Нурдин подходит на роль Микаэля Персбрандта. Я написал также, что Бергман с Нурдином встречались в Париже, когда Нурдин играл Эстрагона по-английски в одной очень крутой арабской постановке. Конечно же, я написал письмо на самом превосходном шведском, чтобы никто не заподозрил, будто мы с Нурдином близко знакомы. Я подписал письмо именем Хокана Чельмана, чтобы прибавить ему дополнительный вес. Странно все-таки, как сильно все изменяется, стоит только подставить немного другое имя.

Я просмотрел все еще раз, лизнул конверт и заклеил его. Сверху я написал: "ДРАМАТЕН, Ингмару Бергману, Нюбруплан 2, 102 41, Стокгольм".

Ночью этот Драматен стал еще больше похож на какой-то сказочный замок. Широкая мраморная лестница, блестящие золотые статуи, фонари, от которых белое здание светилось, как мираж в зимней ночи.

За стойкой на служебном входе сидел вахтер с добрыми глазами и кучей седых волос. Он нажал на входную кнопку, и я объяснил ему, что меня послали передать Ингмару Бергману резюме по случаю вакансии, к удаче оказалось, что вахтер его знает.

— Бергман, говоришь? Да, но вообще-то нельзя же вот так запросто... Хотя, если он сам попросил, то можно, конечно, в порядке исключения. Оставь конверт мне, и я уж постараюсь, чтобы он оказался у него в кабинете.

Вахтер был ужасно приятный, и я его вежливо поблагодарил. Только все равно на улице, пока я стоял и дымился паром, чувство было такое, будто меня типа обманули. Как будто кто-то меня разыграл и я реально повелся. Как будто в какую угодно любую секунду могла выскочить скрытая камера и спросить своим скрытым микрофоном, как же я мог так запросто поверить во всяких красноносых богов и разные газетные статьи, когда на самом деле все это только случай. Потом я сказал сам себе: терпение и еще раз терпение. Все будет хорошо.

Я купил кекс и стакан чаю в "Севен-элевене", сидел и думал, до чего же все-таки этот обычный чай противный по сравнению с мятным, и еще интересно, какие цветы лучше купить Нурдину на его премьеру в Драматене. Когда я доел второй кекс, оказалось, что уже самое время валить с частной вечеринки, и я поморосил к метро.

Папа храпел в гостиной, его голова откинулась на спинку кресла. На столе стояло двое пустых стаканов, пластмассовое блюдо с чипсами и полная пепельница. На папе был клетчатый плед, немного он напоминал мумию в голубом свете экрана. Перед уходом Нурдин распахнул ок-

но, чтобы выветрить сигаретный дым, поэтому снаружи задувало минусовую температуру.

По телику шла реклама, почти без звука, и пока я искал пульт, мне показалось, что с девчонкой в телике творится что-то нескладное: она расхваливала новую марку шампуня. И говорила по-арабски! На прекраснейшем диалекте она сказала, что этот шампунь дает больше объема и питает волосы от корней до самых кончиков, как никакой из других. Потом она улыбнулась, волосы у нее блестели и колыхались в замедленных съемках. Я немного стоял, как заколдованный, пока не пошла следующая реклама. Арабский папа со своей семьей в солнечном саду рассказывал о новых бумажных салфетках, которые замечательно подходят прямо для всего: для сморкания, протирки ботинок и мытья окон. Телеголос сказал, что бумажные носовые платки есть теперь с новым ароматом лимона и обладают повышенной впитываемостью.

Я проследил провода от телика в сторону балкона, к перилам которого была привинчена антенна. Немного у меня появилось чувство, как будто я встретил старого школьного друга, еще с началки, которого хоть и любишь, но не видел уже сто лет. Кроме винтов, папа с Нурдином использовали старые крепления для лыж и длинный трос, который я помнил еще с автоприцепа. Когда я нашел пульт и вырубил телик, я стал чистить зубы с приятнейшим щекотаньем под ложечкой.

Теперь уже час ночи, и я собираюсь уснуть.

* * *

Я снова с вами. Скоро страницы в тетрадке все кончатся. Я проснулся часов в пять утра после потного кошмара про летающие консервы и дерущихся сиамских двойников. Хоть папины всхрапы из гостиной утихли, заснуть я не смог. Заместо сна я достал тетрадь и в минувшие часы пролистал ее туда и обратно, как будто посмотрел на прошедшую осень в зеркало заднего вида. Гордость и радость бурлили у меня в животе, и хоть я всегда был скромнейшим парнем, я почти уже хотел немного похвастаться.

Ну какой еще другой такой султан мысли смог бы пройти путь от обычного пацана до крутейшего дипломата, внедрить шведским школам, что не фига запрещать людям учить родной язык, потому что в ответ они получат разрисованные туалеты и им придется включить в столовское меню халяль и другие арабские блюда? Ну кто еще смог бы с первой же осени поведать вам в своей тетрадке о том, как он устраивает своих друзей на роли в Драматене плюс учит попсовых мажоров, что не стоит трахать чужих девчонок? Кто еще напомнил бы своим папам, что на самом деле они гордые борцы за дело, которые ни за что не должны переплавиться в шведорасов? А кто сжег бы книжки всяких дурацких Монсов, выискал спрятанные статьи, добыл параболические антенны, обучил других мигрантов Интеграционному плану, написал вековые философии плюс разгромил политиков просто одним левым мизинцем?

Ответ прост: Халим и никто больше!

Пойду немного приготовлю себе на завтрак, а потом надо идти на школьное окончание.

* * *

Сначала директриса провозгласила свою дебильную речь, потом была раздача аттестатов. Хоть я и так наверняка знал это заранее, в груди у меня прямо все воспарило, когда я увидел, что по всем предметам у меня "удовлетворительно" (кроме как по биологии, но я по ней после получу оценку, надо только будет весной написать маленькую работу).

Потом все ломанулись на школьный двор, где светило самое ясное солнце и ботинки хрустели снегом. Я стоял с Фади и Фуадом, которые ждали Надера, они сравнивали свои пятерки по всем предметам, и Фуад сказал, что Ниссе просто последний расист, потому что не поставил ему пятерку по труду, ведь его разделочная доска была самой клевой во всем классе. Я уже хотел было согласиться, как меня вдруг треснул по спине Алекс, сияющий медным тазом:

— Эй! Я только хотел сказать... Поздравляю. Ты здорово поработал. Правда-правда.

Глаза у него сощурились еще больше обычного, он гордостно улыбался улыбкой молодых пап, которые бегут из роддома с бахилами на ногах.

— И еще я тут подарок тебе приготовил... Только обещай, что дождешься Рождества.

Он выудил из рюкзака пакет, и в первый раз за все полугодие я немного одарил его улыбкой и поблагодарил.

Но самое приятное мне было не из-за подарка, а потому что Алекс сказал, что останется работать в следующем полугодии. Хоть, может, так только педики радуются, но мне все же больше бы хотелось, чтобы Алекс остался, а не ушел. Настала пора прощаний, мы пожали ладони, и ситуация накалилась торжественностью.

— Пусть Рождество будет классным! — пожелал Алекс. — И не забудь рассмотреть его изнутри — я про подарок. Лады? Увидимся в январе.

Я кивнул и немного отодвинулся на безопасное расстояние, потому что Алекс, похоже, готов был наброситься с объятиями.

Мы с друганами погнали к метро, и Надер рассказал, что в его классе почти все чуть не заплакали, когда давали аттестаты (главным делом, понятно, девчонки). Возле песочницы маячил Курре, который вмонтировал свою жирную задницу в качели, и немного мне показалось, что если он встанет, то звук будет как от пробки из бутылки.

— Счастливого Рождества! — крикнул Курре и помахал рукой, как бешеный машинист на железной дороге.

— Счастливого Рождества! — ответил я. — Поздравляю тебя, Красноносый.

По-моему, Курре не слышал, он блаженно улыбался и раскачивался на качелях. Когда мимо проходила другая тусовка, он им тоже пожелал счастливого Рождества.

— Как вы его называете? — спросил Фади, когда мы шли по пешеходному мосту.

— Да так, кликуха, — объяснил я. — Погонялово.

Надер, Фуад и Фади живут в Аспуддене, поэтому мы распрощались еще на перроне. Счастливого Рождества, приятных каникул и все такое, потом я остался один и разодрал пакет Алекса. Внутри лежал с булавочки новый диск с наклейкой, где было написано про защиту авторских

прав и про то, чтобы кто попало эту музыку не использовал. Спереди был мутный проигрыватель и в виде граффити написано: "'Splitting the Red Sea' – the long-awaited release from Miss IC (aka I-on Carry-on)"[1].

Хоть гип-гоп мне никогда особенно не вставлял, все равно я обрадовался. Посмотрел обложку изнутри туда и обратно в поисках чего-то особенного, но ничего не увидел, кроме того, что фотка той Магды была какая-то странная: вместо мускулистой махровой телки там изображалась скорее какая-то индианка. Волосы все лохматые, а в курносом носу маленькое золотое кольцо. Если сиськи у нее вообще и были в наличии, то под армейской курткой их не виднелось. Я подумал, что на самом деле это прямо какое-то дикое лицемерие с ее стороны – изображать крутую телку и одновременно одеваться, как пижонские придурки с Сёдера, и даже зубов золотых не иметь. Мне немного еще показалось, что она нарочно подделала в студии такой жесткий голос, чтобы добиться контракта.

После фотки этой Магды шел длинный список, в котором она благодарила сто тысяч человек и писала, что без них она бы никогда не стала такой крутой рэпершей. Я начал внимательно изучать этот список сверху и снизу, и сначала там попадались только бабские имена, вроде Эммы, Сесилии и Ребекки, но немного замешались и арабские тоже – Хамади и Лотфи. Потом шла куча каких-то стрёмных непонятных имен, которыми, по-моему, звали других рэперов. После Эль Мерси и Табаки Магда благодарила еще таких чуваков: Биг Эл, Понт-И-Кисс и Джей Эф Брауншёрт. Все эти уродские имена были так мелко написаны, что просто очки сломаешь, но наконец я обнаружил, что́ Алекс имел в виду, когда сказал "не забудь рассмотреть изнутри". В конце этого списка было такое: "And a big thanks to Alex for love and support"[2].

Вообще, если честно, я проникся, когда увидел там его имя.

Я сошел на Марияторгет и погнал в магаз, чтобы помочь папе с Нурдином убрать после рождественского наплыва. Когда я показал аттестат, папа сказал, что мне надо было бы получить оценки повыше, но трояки тоже ничего. Я помог растоптать пустые коробки, вытряхнуть половик и собрать разбитые елочные шары. Потом выкинули последние киндер-яйца, и еще я уговорил папу выбросить наш рекламный велик, потому что он вообще превратился в последний хлам, а текст на рекламе немного исчез. Пока Нурдин подкидывал мусор в помойку "Сульстролена", мы с папой пылесосили и драили все с мылом. Когда мы занесли вовнутрь покемономат и погасили свет, пол заблестел и запахло свежаком, прямо как в парикмахерском салоне.

В лифте по дороге наверх Нурдин первым заговорил про антенну:

– Слушай, Халим. А ведь дома тебя ждет сюрприз. Ты еще не видел?

– Подарок к Рождеству?

– Нет, это пока рано. Я про другое. Ты ему еще не показывал? – спросил он у папы.

– Нет, не успел пока. Он ведь вчера рано ушел и...

Папа полез в карман за ключами.

– Что там такое? Скажи!

– Сейчас сам все увидишь. Загляни на балкон.

1. "Разделяя Красное море" – долгожданный альбом Мисс Ай Си по прозвищу Ай-он Кэррион (*англ.*).
2. "И большое спасибо Алексу за любовь и поддержку" (*англ.*).

Я изобразил, будто не понимаю, и помог папе с сигнализацией, чтобы все прошло побыстрее. Когда я побежал к балкону, из коридора Нурдин прокричал:

— Теперь ты понял, почему Отман не сбрил усы?

Пока папа принимал душ и переодевался, Нурдин щелкал каналы. На самом деле довольно многие программы показывались достаточно мутно. Часто картинка жужжала или прыгала, по саудовскому каналу шел голливудский фильм (хотя говорили в нем по-арабски и реклама была арабская). Нурдин остановился на египетском мыльном сериале, где щербатая картинка немного подергивалась, но зато звук был нормальный. Главного героя играл чувак, который провафлил просто кучу наследства, потому что кто-то помог ему с автомобильной катастрофой, от которой он потерял память и пережил крутейшую пластиковую операцию. Нурдин фильмом проникся, хотя актеры были отстойные, а сцены на улице игрались на самом деле где-то внутри.

Когда пошли титры, папа выкатился из душа. Похоже, он не кипел желанием смотреть телик, заместо этого он подогрел рождественский глинтвейн и предложил его нам с Нурдином. В ответ Нурдин подкрутил звук так, что заставка от "Кто хочет стать миллионером" загрохотала на всю квартиру. Папа прискакал в своем синем халате с мохнатыми ногами, при этом волосы у него на затылке закручивались:

— Это что? Запись? Сегодня ж не воскресенье!

Странно, конечно, ведь программа шла по египетскому каналу, а смотрелось прямо так, как у нас по четвертому. У них были такие же три подсказки и точно такая же студия (хоть и в Египте), та же музыка и такие же бумкающие на весь зал удары сердца. Только Бенгта Магнуссона там не хватало. Все говорили на прекрасном классическом арабском, некоторые женщины были в чадрах, а парни — в саудовских дишдашах, как фешенебельные бедуины.

Папа согнал меня с кресла, уселся туда сам с несгибаемой спиной, и как только началась передача, он стал выкрикивать ответы один за одним. Часто ему даже и варианты дослушивать было не надо. Он глобально побил все рекорды и добрался бы до высшего уровня без единой подсказки. После первого раунда он послал меня на кухню за остатками глинтвейна и пакетом изюма. Он все продолжал выкрикивать правильные ответы, поставил все итальянские фильмы в нужном порядке, выдал имя неизвестного английского художника, назвал правильного изобретателя социализма и порт, где японцы побили американцев своим неожиданным нападением.

Через какое-то время Нурдин встал на четвереньки, как будто хотел поискать под креслом ответник, который папа туда припрятал. Папа только расхохотался, подлил себе глинтвейна и насыпал в стакан изюма.

После передачи папа привел себя в порядок, и на девятом часу мы пошли погулять в "Ерусалем кебаб" на Хурнсгатан. Народу было не много — из тех, кто осмелился выйти на улицу в такой свирепый холод, поэтому нам дали самый хороший столик на втором этаже рядом с окном. Папа сказал, что мы можем заказывать все что угодно, потому что сегодня он башляет за всех по полной программе. Мы заказали весь арабский набор и начали с салата с жареным сыром, таббоуле, хумуса и орехового фарша. Понятное дело, официант к нам проникся, что мы такие голодные и у нас столько бабок. Когда он пришел с первой партией, папа

повесил темно-зеленый пиджак на стул, закатал рукава, а галстук засунул в карман.

Весь оставшийся вечер мы ели, как сумасшедшие, и причмокивали так, что грязные салфетки летели на пол, а острый соус лился за рукава. Как только еда закончилась, официант принес нам новые тарелки со всякой бастурмой, сушеным говяжьим филе, маннсафом и ягнятиной в йогуртовом соусе. Нурдин сказал, что ягнятина здесь лучшая в городе, а папа, который обожает рыбу-гриль, напирал на самак машви.

В перерывах между блюдами папа рассказал, что внизу у гаража встретил того нового парня, который въехал к Бенгту Магнуссону. Они с ним довольно долго трепались, и папа понял, что этот парень совсем не голубой дружок Бенгта, он просто снимает эту квартиру, потому что сам Бенгт живет в другом месте.

— Ужасно странно: он сказал, что квартиру сдали, потому что кто-то пытался взломать дверь.

— Да? А когда это было?

— Недавно, этой осенью. Странно, да? А мы даже ничего не заметили. Кто-то пытался проникнуть туда, сломав почтовый ящик. Но ничего у него не получилось.

Я напрягся как мог, чтобы не подумали на меня, и попытался сменить тему:

— Его ведь зовут Хемири? — спросил я у папы. — Это же арабское имя, правда?

— Да, арабское. Из Туниса.

— Но, по-моему, на араба он не похож. У него даже щетина на бороде не растет.

— Это потому, что у него мать шведка. И родился он здесь. Как и ты.

В молчании я немного стал размышлять о том, что, может, когда-то в молодости этот парень тоже был искренним, но попался в засаду, потерял память и шведофилировался. Папа еще рассказал, что этот чувак учится в высшей школе, а раньше пытался заделаться писателем. Он много раз предлагал свои книжки во всякие крупные конторы, и почти всегда они говорили, что вот-вот их опубликуют. Я молчал и думал в своей голове, что единственный способ — это связи, а этот парень, наверно, набрался правильных связей, но на финише поскользнулся.

— Ну и как, бросил он это дело? — спросил я.

— По-моему, нет. Во всяком случае, мне так не показалось. Он сейчас думает, как быть дальше. Продолжать в том же духе или заняться учебой. Я ему сказал, что учеба никому еще не навредила.

— Да забудь ты про эту учебу, — сказал Нурдин, проглотив отрыжку. — Что он сказал про Бенгта?

— В каком смысле?

— Это тот самый Бенгт Магнуссон или нет?

— Ой, — папа удивленно тряхнул очками. — Я совершенно забыл об этом спросить. Но думаю, что не тот. Невозможно в такое поверить. Сами его спро́сите, я его пригласил на ужин после рождественских праздников.

Я решил, что этому Хемири не стоит сдаваться, потому что Швеции нужно побольше арабских писателей, и, возможно, с моей помощью он научится писать правдивее, чем другие. Если он мне не поверит, покажу ему свою тетрадку, тогда он проникнется моими философиями и на ко-

ленях станет умолять, чтобы я разрешил ему их использовать в следующей его книге. Все книжные конторы захотят прямо сразу заключить с ним контракт на большие бабки, и, понятное дело, этот торт мы с ним поделим пополам, потому что ведь без меня он просто никто. А потом он, значит, припишет мое имя в списке благодарностей к книге, и каждый раз, когда его книжки будут печатать заново, станет посылать мне еще один чек. Когда газеты начнут наезжать на то, что его философии слишком правдивые и Хемири не сможет сам защищаться, он скажет, что все это одни только выдумки. Все шведотепы купят книгу, потому что подумают, что это такой трусливый полураб с лохматой прической, а на самом деле это ведь чистокровный арабский мыслитель!

В самый разгар моих размышлений официант приволок еще всяких новых закусонов, корзинку хлеба, новую пачку салфеток и опять газировку. Понятное дело, вся еда была вкуснейшего качества и такая острая, что пот пузырился из носа. Когда почти все было доедено, официант сказал, что сейчас подадут пахлаву с ванильным соусом для десерта за счет заведения, и хоть в меня больше совсем не помещалось, отказаться я не смог.

Нурдин уже для полного перебора решил заказать кальян и кофе. Он радостно слушал бурление и выпускал дым одновременно изо рта и из носа. Папа тоже сделал пару затяжек, вытер мундштук и протянул его мне.

— Хочешь? Если ты пьешь глинтвейн, то и кальян тебе не повредит.

Я несколько раз затянулся, а потом еще пару раз, но заместо кайфа у меня началась приятная нежность в горле и ласковость в пальцах.

— Ой-ой-ой, смотрите, ему понравилось, — сказал Нурдин, показав пальцем на меня. — Без сомнения, он в группе риска. Будущий курильщик.

— А вот и нет. Это не про Халима. Он у меня слишком умен для таких глупостей.

— Да что ты! Только не надо связывать умственные способности с сигаретами. Ты забыл, кто выиграл последнюю партию?

— Тебе просто повезло. Чистой воды случайность. Как говорится, иногда и верблюду на задницу попадают капли дождя.

Я внимательно рассматривал папу с Нурдином, которые улыбались друг над другом, — шум машин за спиной на Хурнсгатан в уличной темноте, странные арабские штуки вокруг. Немного я пожалел, что у меня с собой нет для них рождественских подарков, потому что в такой ситуации в самый раз было бы достать карманный Коран для папы и "нокию" той театральной телки для Нурдина. (В самое ближнее время ему нормальный мобильник просто необходим, чтобы он не упустил всякие важные переговоры.)

Вечер закончился наилучшим манером. После долгих (чисто для виду) споров Нурдин согласился, что папа за все заплатит, и официант с удовольствием скрылся внизу. На столе был крутейший бардак, как на поле битвы, — с капельными лужами соуса, горами тарелок и недоеденным хлебом. Нурдин колупал щипцами в кальяновых углях, а я ковырял себя зубочисткой с мятным вкусом.

— Вот она какая, настоящая жизнь, — сказал Нурдин счастливейшим голосом.

Мы с папой кивнули, чтобы подтвердить его правоту. Только мы собрались уйти, как папа вытер усы салфеткой и расхохотался прямо всем лицом. Он потряс салфеткой, как матадор:

– Наверное, уже поздно об этом говорить, но... Ты ничего не заметил? А ты?

Папа передвинул глаза с Нурдина на меня. На салфетке (кроме немногих красных соусовых следов) была красно-бело-зеленая картинка мечети "Купол Скалы". И по-шведски там было написано: "Ерусалем кебаб", а немного ниже еще вот что: "Фирменные блюда восточной кухни".

Нурдин раскатился в хохоте вместе с папой, и мне пришлось немало подождать, пока они успокоились.

– Ну и что здесь такого смешного?

Папа показал на арабский текст и попросил меня прочитать. Довольно много им пришлось мне помочь, чтобы я прочитал по складам. Наконец я понял всю его фишку. Папа долго смотрел на салфетку и бормотал:

– По-шведски здесь написано: "Фирменные блюда восточной кухни", а по-арабски: "Мы еще вернемся". Ерусалем кебаб. Красивая салфетка. Очень красивая.

Мы с Нурдином хором кивнули. Я подумал, что папа, как настоящий султан мысли, нашел здесь зашифрованное послание – все-таки иногда прямо сразу заметно, что он мой папа.

Когда мы вышли на улицу, опять повалил снег. Я сохранил салфетку в кармане куртки и натянул на уши свой тюрбан. Всю дорогу обратно я шел между Нурдином и папой и чувствовал гордость, потому что знал, что нас никто никогда не победит.

Сесилия Давидсон

Человек-утка

Перевод Натальи Банке

На пятый день тоже шел дождь. В шесть часов вечера он влез в резиновые сапоги, надел дождевик и шапку, купленные в супермаркете "Консум" в Хемсе, и вышел на улицу.

Тропинку, ведущую от дома к большаку, совсем развезло, так что он даже поскользнулся и ушиб колено, после чего сошел на поросшую кустами обочину, стараясь не думать о том, сколько слизняков передавил на своем пути. Вообще-то он ничего не имел против слизняков, но из-за непрекращающегося дождя их вылезла такая тьма, что его передергивало от отвращения. Вся дорога была усеяна черными слизняками, живыми и мертвыми, но ему даже не хватало духа отбросить дохлых в сторону носком сапога. Он прошел мимо своей машины, припаркованной у края дороги — он прекрасно знал, что завести ее теперь можно будет не раньше, чем кончится дождь и она как следует просохнет. Два слизняка заползли на капот, но он не стал останавливаться ради того, чтобы стряхнуть их на землю. Он взглянул на часы и пошел в сторону Бургсвика.

Ровно через час и семь минут он оказался на месте. Ноги болели, колено ныло. Ему никогда не приходилось так много ходить пешком, разве что в армии, но увидев огромный шатер в красно-желтую полоску посреди поля, полосатые грузовики и фургоны, услышав яростный рев какого-то животного, он понял, что не зря проделал этот путь.

У входа в шатер он приобрел билет у коренастой мускулистой женщины в красном бикини с блестками, надетом поверх белого трико. Она улыбнулась ему своим ярко накрашенным ртом, сверкнув золотым зубом.

© Cecilia Davidsson, 1998
© Наталья Банке. Перевод, 2007
© Cato Lein. Фотография

Он испуганно улыбнулся в ответ, вошел и едва успел занять место в первом ряду, как публика хлынула внутрь, а минуту спустя в зале оставалось лишь несколько свободных мест на задних рядах. Дети вокруг шумели, жевали жвачку, сосали леденцы и размахивали неоновыми палочками, которыми торговали с лотков разносчики. Когда началось представление, он понял, что работники цирка и были самими артистами. Женщина, продавшая ему билет, оказалась русской гимнасткой, выделывающей всякие трюки на брусьях. Двое парней-коробейников, обходивших публику со своими лотками, были акробатами из Хорватии, а в одном из монгольских атлетов он признал охранника с автостоянки. Он жадно впитывал в себя новые впечатления, и громко хлопал после каждого номера. Только клоун с непременным красным носом и мешковатым клетчатым костюмом нагонял на него скуку, но он понимал, что без этого никак не обойтись — хотя бы ради детей.

В антракте он надел шапку, натянув ее на самые уши, вышел на задний двор и встал в очередь вместе с другими желающими покататься верхом на слоне. Несмотря на дождь, народу все прибывало. Очередь по большей части состояла из родителей с детьми, хотя по лесенке, приставленной к спине слона, поднимались одни дети. Но он давно для себя решил, что должен хоть раз в жизни погладить слона, поэтому, не обращая внимания на насмешливый взгляд погонщика, сел на серебристую попону и, чуть покачиваясь, тронулся в путь. Отсюда, сверху, за цирковыми фургонами открывался вид на гавань в Бургсвике и старую пивную, а когда они повернули обратно, он разглядел ветряки, выстроившиеся в ряд на дальнем мысу.

После антракта на манеж выпустили целый зверинец: здесь были зебры, верблюды, ламы, буйволы и еще какие-то странные звери, о существовании которых он даже не подозревал — например, животное, с виду напоминающее самую обычную корову, но с рогами чуть ли не в метр длиной. Корова не показывала никаких номеров, просто сделала несколько кругов и убежала обратно. В конце концов на манеже остались одни верблюды, которые по команде дрессировщика послушно перешагивали друг через друга, и тут он понял, что забыл погладить слона.

Потом опять вышел клоун, уже в третий раз, и заскучав, он принялся разглядывать публику. Дети, похоже, подустали — в ногах у него, заговорщицки перешептываясь, ползали двое мальчишек. Судя по всему, они играли в войнушку. Тут раздалась резкая барабанная дробь, он подпрыгнул от неожиданности и ни с того ни с сего оказался в свете прожекторов. Прямо перед ним, гримасничая, стоял клоун, и он было решил, что ему грозит справедливая кара за столь пренебрежительное отношение к клоунаде. Мальчишки поднялись с пола и встали рядом, возбужденно дыша. Он почувствовал, что на него все смотрят. Тут беленое лицо клоуна расплылось в улыбке, он обратился к публике: "Как по-вашему, этот подойдет?"

Дружное "да!" сотрясло шатер, и клоун протянул ему руку в белой перчатке. Не желая показаться грубым, он ответил клоуну рукопожатием, и тот одним рывком поднял его на ноги. Зал зааплодировал, он слегка улыбнулся и даже чуть было не отвесил поклон почтенной публике. Клоун стоял перед ним, размахивая морковкой. Отложив шапку в сторону, он перешагнул через бордюр и очутился на манеже. Морковка оказалась микрофоном, а клоун тут же принялся вертеться вокруг него, рас-

спрашивая, нравится ли ему представление и как его зовут. Не успел он произнести свое имя, как обнаружил у себя на поясе непонятно откуда взявшийся надувной круг в виде утенка. Заметив это, он прыснул со смеху и нажал на клюв. Раздалось громкое кряканье. Клоун восторженно вскинул руки, публика зааплодировала, и, воодушевленный успехом, он снова нажал на клюв, но на этот раз клоун строго погрозил ему пальцем – не шалить! Он состроил виноватую мину, но не смог удержаться от искушения подразнить клоуна – медленно потянулся к клюву и тут же отдернул руку. Клоун зарычал в микрофон, и он с притворным испугом спрятал руки за спину. Затем снова послышалась барабанная дробь, а клоун затянул:

Вот утенок-весельчак, кря-кря!

Публика тут же подхватила песенку, и когда настал черед для очередного "кря-кря!", клоун подтолкнул его в бок, мол, нажимай.

Ест букашек натощак, кря-кря!

Вышло вроде неплохо, весь зал дружно подпевал:

Крякать целый день
Мне совсем не лень, кря-кря!

И вдруг все кончилось – утенок со свистом сдулся и сполз на пол.

Он взглянул на желтую тряпку у своих ног. Публика умирала от хохота. Он вдруг почему-то почувствовал себя совершенно голым.

"Благодарю, благодарю!" – как ни в чем ни бывало прокричал клоун, и он быстро вернулся на свое место, сопровождаемый лучом прожектора. Щеки его пылали. Соседи улыбнулись ему и чуть раздвинулись, освобождая даже больше места на скамье, чем требовалось. Он сел, чувствуя на себе чужие взгляды, и услышал чей-то шепот: "Теперь тебе быть Человеком-уткой!"

Он огляделся по сторонам, но тот, кто это произнес, ничем себя не выдал, а остальные сделали вид, что ничего не слышали.

Несчастный случай

Перевод Лидии Стародубцевой

МАТЬ с отцом жили в пяти километрах от города, рядом со старым полем, где теперь множились, все ближе подбираясь к родительскому дому, виллы, выкрашенные краской пастельных тонов. В те времена, когда я жила с родителями, наш дом было видно с

© Лидия Стародубцева. Перевод, 2007

трассы, теперь же, чтобы разглядеть его, нужно было подъехать едва ли не вплотную. Я оставила машину на обочине, хотя и знала, что это запрещено. Соседка из дома напротив, увидев меня, бросила все дела и пошла мне навстречу. Она указала рукой в сторону дома, а я со всей силой захлопнула дверцу автомобиля и быстро зашагала по гравиевой дорожке, успев заметить в окошке ванной испуганное лицо матери. Я приветливо помахала, и мать исчезла.

— Ты? — спросила она, как только я вошла в дом, и ее голос дрожал, вырываясь из худощавого, чуть сутулого тела.

— Да, решила вас навестить, — ответила я.

Мать осторожно взглянула на меня.

— Ты не в настроении.

— Оно у меня всегда портится с приездом.

— Да уж, что есть, то есть, — сказала она, взяла мою куртку, вывернула и повесила на вешалку. Увидев ее костлявые белые пальцы и провисающие сзади штаны, я поняла, что последнее время она мало ела.

— Тебе надо есть, мам, — сказала я.

— Да все как-то не хочется, — ответила она и торопливо добавила: — Бабушка была такая же.

— Да, ты всегда так говоришь.

Я подошла к лестнице, ведущей на второй этаж, и заглянула наверх.

— Прости, что разбудила тебя, — произнесла мать.

— Я все равно собиралась вставать, — ответила я.

— Извини, я как-то не подумала, — сказала она.

Она позвонила мне утром, и, повесив трубку, я так и осталась сидеть на кровати, размышляя, не перезвонить ли ей, но потом решила съездить к ней и все выяснить. В разговоре мать обмолвилась о каком-то происшествии — вроде ничего страшного не случилось, так, какая-то мелкая неприятность. Произошло это в моей старой комнате, где она теперь спала, поскольку отец, по ее словам, стал сильно храпеть. Подробнее она собиралась рассказать о случившемся когда-нибудь потом, при нашей следующей встрече, и добавила, что, конечно, зря позвонила и разбудила меня, так как дело это совсем неспешное.

— Не знаю, что на меня нашло, — сказала она.

— Ну, хватит уже, — бросила я, поднимаясь по лестнице.

— Ну конечно, прости, — поспешно ответила она, семеня за мной. Я быстро оглядела свою старую комнату: даже бахрома ковра лежала ровно.

— Боже мой, — вздохнула мать, осторожно присев на кровать и сложив руки на коленях. Я строго посмотрела на нее:

— Что "боже мой"? В чем дело?

Она поджала губы и покосилась на книжный шкаф. И тут я увидела: за исключением вышитой салфетки мой старый, покрытый морилкой шкаф был совершенно пуст. Все безделушки исчезли. Даже стеклянных дверец не было. Я вспомнила, как всегда старалась не касаться стекла, чтобы лишний раз его не протирать.

— Он что, упал? — спросила я.

Мать робко кивнула.

— Все твои вещи разбились — кроме этой, — она выдвинула ящик тумбочки и достала маленький фарфоровый молочник с розочкой. Я взяла его в руки. Снизу было подписано: "ЛД 1978".

— Жаль, что и он не разбился, — сказала я, возвращая ей молочник.

— Не говори так. Я хочу все сохранить.

— Но теперь-то хранить нечего?

— Нечего. Кроме вот этого, — проговорила она, горестно глядя на молочник.

А я вспомнила кофейные чашки, вазы, круглые и прямоугольные шкатулки, с крышками и без, миски и тарелки. Почти на всех были розовые или красные розы. Все это я сделала в течение одной осени, на курсах росписи фарфора. Мать наклонилась вперед, поставила молочник на салфетку и вздохнула.

— Меня нашел Свен. Он проснулся от ужасного шума, поднялся сюда и нашел меня вот здесь, — она указала на то самое место, где стояла я, — он подумал, что я умерла... я лежала под шкафом, а вокруг — осколки стекла.

— Боже мой.

— Правда, меня спас стол, — она указала на столик вишневого дерева возле окна.

Я подошла к нему и провела рукой по гладкой поверхности. Столик был цел, за исключением маленькой выбоины с одной стороны.

— Так что шкаф упал не прямо на меня. Он вроде как застрял на полпути, — глаза у матери вдруг покраснели, и я испугалась, что она сейчас заплачет.

— Бывает, — сказала я.

— Со мной такого раньше не бывало, — продолжила она, сглотнув, — ужас какой-то. Этак мне что угодно может прийти в голову — пойду ни с того ни с сего к соседке и там что-нибудь разрушу, — от одной только мысли она побледнела.

Я села рядом с ней и погладила ее по щеке.

— И еще я кричу, — добавила она, глядя на меня, — потому и сплю теперь здесь.

— А я думала, это оттого, что отец храпит, — сказала я.

— Нет, это потому, что я кричу, хотя он все равно просыпается. Говорит, что я кричу так, будто настал мой последний час.

— И давно это с тобой?

Мать задумалась на мгновение.

— Ну, года два.

— Два года!

— Ну да, почти.

— И что ты собираешься делать?

Мать пожала плечами.

— А что можно сделать...

— Можно обратиться за помощью.

— Само пройдет.

— Такое само не проходит.

— Мне понемногу становится лучше, правда.

— Неправда.

— Спроси отца — он знает.

— Точно, спрошу его — неплохо бы узнать и его мнение. Если оно у него есть.

— Он говорит, что это от телевизора, что я слишком много смотрю телевизор.

— Вот как.

Мать встала с кровати, подошла к столику и провела ладонью по выбоине.

— Если повернуть, то и не видно.

— Может, тебе перестать смотреть телевизор, — предложила я.

— Может, ты и права, — ответила она, не уловив иронии, и приподняла столик; я подошла, взялась за другой конец, и мы повернули столик выбоиной к стене.

— Вот так, — сказала мать, — теперь не видно. Хотя я-то, конечно, *знаю*, что она там, но со стороны не видно, — она посмотрела на пустой шкаф, — если не ошибаюсь, часть вещей ты сложила в коробку и поставила на чердак — те, что не поместились в шкафу.

— Выброси их, — предложила я, — выброси ты этот шкаф к чертовой матери и повесь на его место картину.

— Нет, так будет слишком пусто, — решительно ответила мать, и я поняла, что об этом она уже думала.

Она сделала шаг назад, разглядывая шкаф, и кивнула.

— Да, надо подняться на чердак и разыскать эту коробку, — она снова перевела взгляд на столик, — может быть, заменить его креслом, голубым... Как ты думаешь?

— Конечно, — ответила я.

— А отец пусть запирает входную дверь на ночь. Тогда мне не выйти.

— А вдруг тебе взбредет в голову выбросить кресло в окно?

— Ну, на это мне сил не хватит.

— Опрокинуть шкаф тебе сил хватило, — ответила я, — и вообще, тут и другой мебели полно, — я махнула рукой в сторону кровати и увидела, как мать вздрогнула и остановила взгляд на тумбочке, где стоял будильник, ночной крем и баночки с витаминами, как глаза ее расширились, взгляд опустел и застыл.

— Лучше мне вообще покончить с собой.

— Может, и так, — ответила я, но мать будто не услышала. Она пробормотала, глядя перед собой широко открытыми глазами:

— Хотя я и этого не могу.

— Да уж, это не всем под силу. Тут смелость нужна.

— Жаль, что стол оказался на пути, — произнесла она уже слегка раздраженным тоном, и злоба словно придала ей сил. Она скрестила на груди руки, локти остро торчали в разные стороны, — если бы я умерла, все было бы гораздо проще.

— Конечно, — ответила я, подходя к окну, из которого видна была спальня соседей, — а еще можно заколотить окно.

Мать сердито фыркнула.

— И на что это будет похоже?

— А разве тебе есть из чего выбирать?

— Да я лучше умру, чем заколочу окно.

— Ну, значит, ты сделала свой выбор.

Мать ничего не ответила. Она встала рядом со мной и угрюмо уставилась на крыши домов.

Первый снег

Перевод Анны Савицкой

ОНА подняла малыша на руки и подошла к окну.

— Ты когда-нибудь видел такое? — спросила она, всматриваясь в личико ребенка. — Это снег. — Она поняла по глазам: малыш выздоровел, хотя и не могла точно сказать, в чем именно это проявляется. У него были такие же светлые голубые глаза, как у нее, и широкий вздернутый носик — поначалу он ей ужасно не нравился, но теперь она к нему почти привыкла.

— Атли! — воскликнул малыш, показывая пальчиком в окно. Там отчаянно клубились белые снежинки, и возле самого стекла уже намело маленький колючий сугроб.

— Смотри, смотри! — подхватила она и легонько нажала пальцем малышу на кончик носа. Мальчик опустил руку, захныкал и попытался высвободиться. Она поставила его на пол, но он тут же стал тянуть к ней ручки. Нижняя губа у него сразу оттопырилась.

— Перестань, — попросила она. — У меня болит спина.

Она пошла на кухню и стала убирать оставшуюся после завтрака посуду.

— Сначала я уберу со стола, потом почищу зубы, а потом поменяю тебе памперс. — Малыш отправился следом за ней и, стоило ей на секунду остановиться, как он сунул ей голову между коленей и крепко схватил за ноги.

— Прекрати! — прикрикнула она.

Мальчик заплакал, она встала и, подбоченясь, устало на него посмотрела. Малыш не унимался.

— Ну, ладно тебе, — сказала она, взяла его на руки и стала сцеловывать катившиеся по щекам слезинки. В голове пронеслось: "Подумать только, пить слезы — теплые и соленые". Она прикоснулась губами к его глазам, сперва к одному, потом к другому, и облизнулась. Малыш повеселел и смотрел на нее с явным изумлением. Она снова поднесла его к окну.

— Ну, разве не чудесно? — воскликнула она с преувеличенным энтузиазмом, пытаясь привлечь внимание ребенка. И малыш действительно уставился в окно, широко раскрыв рот. — Это совсем не страшно, наоборот, смотри, как красиво. — Однако малышу уже надоело смотреть, и он стал вырываться.

— Перестань, — сказала она, крепко обхватив брыкающиеся ножки. — Сейчас пойдем гулять. Черт, мы уже так давно не были на улице... — Она поцеловала мальчика в голову и опустила на пол. — Какая глупость. Тебе же необходим свежий воздух!

Внезапно ее охватило раздражение. У них закончились памперсы, продукты — надо было идти в магазин, но об этом не хотелось даже думать. Она присела перед мальчиком на корточки, взглянула на тяжелый, сползающий памперс.

© Анна Савицкая. Перевод, 2007

– Вечно что-нибудь не слава богу, – пробормотала она, сдернула памперс, скатала его и бросила через плечо; памперс угодил на порог кухни. Малыш засмеялся, она посмотрела на него и тоже рассмеялась. Его смех казался ей забавным: вибрируя на вдохе, он смолкал, только когда иссякал запас воздуха. Она увидела, что изо рта малыша к пижамной курточке тянется ниточка слюны, и только тут заметила, что на груди у него уже образовалось огромное мокрое пятно. Она сняла курточку, под пристальным взглядом ребенка свернула ее в комочек, стараясь полностью уместить в ладонях, и тоже бросила через плечо – пижамка очень удачно улеглась прямо на памперс, накрыв его, словно одеяло.

– Ты видел?! – воскликнула она. – Здорово, да? – Она победно взмахнула рукой, а малыш показал пальцем на лежавшую у порога кучку и засмеялся. Она притянула его к себе, обняла и погладила по голой спине и попке. Мальчик начал вырываться, она отпустила его, и он тут же устремился к порогу.

– Мама? – с удивлением произнес сынишка. – Мама?

– Да, это я бросила. – На нее внезапно навалилась усталость, она села на пол, прислонилась к ножке стула и, словно в тумане, наблюдала за тем, как малыш писает, а струйка падает прямо на пижамную курточку. "Ничего страшного, – подумала она, – все равно стирать". Но ребенок испугался того, что наделал, подбежал к ней и попытался забраться на колени.

– Сейчас пойдем гулять. Сейчас, уберу, и пойдем. Придется тебе обойтись без памперса... Я только немного отдохну, – добавила она и легла на пол. Малыш тут же уселся на нее верхом, и пока она дремала и размышляла о своем, он раскачивался, дергая ее за руки и за ноги. Через некоторое время она открыла глаза, схватила ребенка и прижала к себе.

– Полежи спокойно, – сказала она, прислушиваясь к биению маленького сердечка. Несколько минут малыш пролежал неподвижно, но потом скатился на пол, встал на ноги и побежал к возвышавшейся на пороге мокрой куче.

– Мама?

– Да, да, – откликнулась она, посмотрев на него, а затем в окно. – Какая потрясающая погода.

– Мама? – повторил малыш.

– Сейчас идти гулять нельзя, – сказала она. – Тебе ведь скоро есть, который там час?

Она поднялась, сходила в спальню за одеяльцем и закутала в него мальчика. Потом взяла малыша на руки – на этот раз он даже не протестовал. Переставив цветочные горшки с подоконника на журнальный столик, она распахнула окно.

В лицо ударил резкий ветер со снегом. Малыш молчал. Она поставила его на подоконник, который уже успел покрыться снежными хлопьями.

– Смотри! Это снег. Он белый и холодный, – судорожно вдыхая морозный воздух, сказала она, приложила палец к кончику носа сынишки и тихонько нажала. Малыш закричал и попятился.

– Перестань, – она поплотнее закутала его в одеяло и добавила, – это же совсем не страшно, наоборот, смотри, как красиво.

Йеркер Вирдборг

После дня рождения

Перевод Марии Людковской

Ингегерд достает кошелек и поворачивается ко мне:

— Ну вот, видишь — тихо, и народу немного.

Мы у билетной кассы. Перед нами сидит молодой человек с короткой стрижкой, в форме и беседует по телефону. Он смотрит на стол, отвечает отрывисто, вполголоса. На груди у него приколот значок с надписью: "Охрана".

— Ага, — говорю я, глядя на бумажный пакет, который держу в руке. Внутри — блестящий красный сверток, перевязанный черной шелковой лентой. Ингегерд копается в своей сумочке.

В вестибюле кроме нас никого, но из киоска с сувенирами слабо доносятся голоса. Я смотрю на часы у парня над головой — десять минут двенадцатого, — потом снова на парня. Охранник, значит. Ну да, без охраны сейчас нельзя. Вот только раньше вроде ничего такого здесь не было.

Парень вешает трубку и поднимает глаза.

— Слушаю вас.

— Добрый день, — здоровается Ингегерд, — два билета, пожалуйста.

Охранник наклоняется к кассе:

— Льготные?

Улыбаясь, Ингегерд смотрит на меня, потом на охранника.

— Не знаю... вообще-то я теперь пенсионерка.

— Тогда вам за полцены.

Ингегерд хихикает и указывает на меня:

— А вот Леннарту до пенсии еще долго.

© Jerker Virdborg, 2000
© Мария Людковская. Перевод, 2007
© Johan Markusson. Фотография

Я отвожу глаза.

— Да? — говорит охранник.

— Леннарт мой младший брат, — продолжает Ингегерд. — Как вам кажется, мы похожи?

Ну вот, и зачем она ему это рассказывает, нельзя же так, ни с того ни с сего, откровенничать с незнакомыми людьми.

— Да что вы! — удивляется охранник и смотрит на Ингегерд, потом на меня. — А правда, что-то есть.

Конечно, если подумать, ничего страшного она не сказала. Но все равно.

— Мне обычный билет, — улыбаясь, говорю я.

Охранник кивает, отрывает две маленькие круглые наклейки с билетных катушек. Один кружок голубой, другой — красный. Голубой он отдает Ингегерд, красный мне. Это у них что-то новенькое.

Кладу наклейку в карман.

— Семьдесят пять крон, пожалуйста.

— А кстати, — говорит Ингегерд, протягивая охраннику стокроновую бумажку, — мы случайно не первые сегодня?

Я снова улыбаюсь и, сняв очки, отворачиваюсь, гляжу в сторону сувенирного магазинчика. Начинается. Всякий раз одно и то же. А впрочем, ладно, пусть говорит что хочет.

— Ну... — мычит охранник, звеня монетками в кассе. — Не совсем, тут до вас уже прошли несколько человек.

— Да что вы говорите! Понимаете, — Ингегерд берет сдачу, — мы с Леннартом приходим сюда каждый год, в один и тот же день.

Я покашливаю. Ну кому это интересно? А охраннику — ему уж точно и без нас забот хватает.

— Вчера у меня был день рождения. А на следующий день я всегда приглашаю Леннарта сюда.

— Понятно.

— Ну так вот, последнее время... вот уже третий год подряд, мы оказываемся первыми посетителями! Правда странно, да?

— Понятно, — улыбается охранник. — Но сегодня вы, к сожалению, *чуть-чуть* опоздали.

— Ну и ладно, — смеется Ингегерд, глядя на меня, — ничего не поделаешь.

— Да уж, — соглашаюсь я.

— И все же милости просим! — Охранник указывает на лестницу.

— Большое спасибо, — в один голос отвечаем мы, я чуть громче.

И идем через зал к небольшой раздевалке с камерой хранения.

— Здесь всегда такие приятные служащие, — шепчет Ингегерд.

Ну да. Вполне любезный молодой человек.

— Хотя немного обидно, что мы не первые.

Нашла из-за чего расстраиваться. Нравится ей почему-то придавать смысл таким пустякам. Может, это для нее вроде игры такой, не знаю.

— Ничего, не последний же раз, — отвечаю я.

Ингегерд улыбается, снимает пальто.

— Надеюсь. Зато как дешево. Да, придется мне теперь привыкать. К льготам.

Она подходит к высокому железному шкафу, вешает пальто. И все-таки... интересно, как вообще она пережила свой уход из муниципалитета?

— Разденешься? — спрашивает она.

— Нет, наверное, — говорю я. — У меня только куртка. Хотя... — приподнимаю пакет. — Это я бы оставил.

Осторожно ставлю пакет в шкафчик. Стараясь не смотреть, Ингегерд опускает в отверстие на дверце пятикроновую монетку, закрывает шкафчик, поворачивает ключ и протягивает его мне.

— Возьми, а то боюсь потеряю.

— Давай, — кладу ключ в карман брюк.

— Вот и хорошо. — Она берет меня под руку, на другой руке у нее висит сумочка. — Как замечательно, что мы снова здесь.

Ну да. Конечно. Как здорово, что я могу ее порадовать — просто прийти с ней сюда, и все.

— Мы ведь почти не видимся.

— Ну почему...

— Ты все в разъездах, продаешь свои фотоаппараты.

Опять она за старое. Мы медленно поднимаемся по серой каменной лестнице. Что ж я могу поделать. Никто не виноват, что она живет в Лонгерюде — в этой непроходимой глуши, а я так часто в командировках. Между прочим, мне тут на днях пришлось лететь домой ранним рейсом, чтобы уж наверняка успеть к ней сегодня. Но если сказать ей об этом... Пожалуй, не очень-то будет вежливо.

— Ну а как Эви? — спрашивает она, смахивая что-то с юбки.

Так, теперь еще и это.

— Ничего. Сказала, что у нее все хорошо, когда мы говорили в последний раз.

Она и впрямь так сказала.

— Не пора ли вам наконец решиться?

Вечно одни и те же вопросы. И как ей не надоест?

— Ну-у, не знаю. Мы сейчас это не обсуждали.

Ерунда, ничего не выйдет до тех пор, пока Эви работает в своем бутике. И не может ездить со мной.

— Леннарт, тебе это просто необходимо.

Ну да, знаю. Поднявшись по лестнице, подходим к первому залу.

— На этот раз можно обойтись без венчания — и никто бы не задавал лишних вопросов.

Это я уже слышал. Покашливаю.

— Посмотрим.

Спрашивается, ну какое, какое ей дело.

В зале пусто. Светло-красные стены, с потолка падает свет. Несколько картин в темных тонах, в основном женские портреты.

— Точно... — Ингегерд смотрит по сторонам, и, разняв руки, мы расходимся, — здесь Ренессанс.

А, эти дамы. Как же, узнаю. Такие тусклые — поди разгляди.

— Подумать только, сколько лет этим картинам, — говорит Ингегерд, не отрываясь от двух маленьких портретов в углу, — тут написано: тысяча пятьсот сорок пятый.

— Да, невероятно.

Потихоньку подхожу к следующему залу. По тому, как скрипит паркет, слышу, что Ингегерд медленно идет за мной. Тут светлее, и потолки намного выше. Дальний конец зала раздваивается. Посетителей не видно.

Посреди, одна за другой, три мраморные скульптуры. Что-то не помню, чтобы они тут стояли. Хотя всего не упомнишь.

Приближаюсь к первой статуе: на спине лежит вытянувшись обнаженная девушка. Сзади подходит Ингегерд. Я ищу название скульптуры, но внизу ничего не написано. Девушка, судя по всему, спит. Или умерла. Наверное, что-то из мифологии — не иначе богиня какая-нибудь.

Ингегерд останавливается у огромного полотна в торце зала. На заднем плане пейзаж, посередине сражаются две кучки солдат.

— Потрясающе, — она подходит вплотную и внимательно изучает картину. — Смотри, виден каждый мазок.

— Правда? — Я встаю поближе, вглядываюсь. С потолка на изображение направлены два прожектора. Как ни повернись, ужасно отсвечивает.

— Ты только посмотри!

Ингегерд указывает на какое-то маленькое тело. Теперь можно быть спокойным: она счастлива.

— Да, — говорю, — прямо-таки мастерски.

Из другого конца зала доносятся шаги. Оборачиваюсь. Заложив руки за спину, к нам приближается молодая женщина в форме. Каждый шаг отдается по залу эхом. На поясе у нее громко хрипит и пищит рация. Еще охрана.

Мы стоим на месте, читаем табличку под картиной. Какой-то испанец. Охранница проходит сзади, я слегка киваю ей, она тоже здоровается. У них что, теперь нет обычных экскурсоводов? Одни охранники?

Я иду дальше, мимо длинных рядов картин. Надо же, сколько их тут. Время — двадцать пять двенадцатого. Значит, пробудем здесь еще... часа два, не меньше.

Ингегерд медленно двигается вдоль стены. Остается только, как всегда, бродить вместе с ней.

Я останавливаюсь, жду, пока она меня догонит.

— Как приятно, когда мало народу, — говорит она.

— Ага.

Заходим в один из смежных залов. С потолка свисает табличка: "XX век, Франция". Мы заворачиваем за угол и на ближайшей стене видим какие-то яркие картины.

— О, это же *она*! — говорит Ингегерд, указывая на самую большую.

Да-да, что-то знакомое, смутно припоминаю эту летящую улыбающуюся женщину. Или животное. Внизу — бурное море.

— Если б ты только знал... — Ингегерд подходит к картине и рассматривает лицо женщины, — как я ее люблю.

— Да? — Я еще раз смотрю на картину. — Пожалуй, ты права, в ней что-то есть.

Подхожу к соседним картинам, медленно разглядываю одну за другой. В общем, ничего, бывает хуже. Хотя некоторые уж слишком броские. Дойдя до конца стены, оборачиваюсь. Ингегерд все еще стоит около летящей женщины. Не двигается, смотрит на нее не отрываясь. Что там еще случилось?

— Знаешь, в первый раз я ее увидела, — произносит она, не глядя в мою сторону, — когда мы с Карлом ездили в свадебное путешествие.

Ах, как нехорошо, что она...

— Это было на Ривьере, летом шестьдесят второго.

Как нехорошо. Я внимательно смотрю на нее.

— Раньше она здесь не висела, — Ингегерд подходит поближе, — получается, ее привезли оттуда.

Как досадно, что она увидела эту картину и вспомнила о Карле. Главное сейчас — не ляпнуть чего-нибудь невпопад.

Ингегерд так и стоит — всего в каком-то метре от картины. Ее седые волосы блестят в луче лампы. Я оглядываюсь по сторонам: кроме нас, в зале по-прежнему никого. Ингегерд скрестила руки на талии.

— Леннарт... мне бы хотелось...

Я смотрю в пол. Похоже, дело плохо.

— Побыть здесь немного... одной.

Я сглатываю. Неужели она хочет остаться тут одна, да еще с этой картиной?

— Послушай, — осторожно начинаю я, — может... пойдем дальше? Тут столько всего интересного.

Все же не стоит ей... стоять здесь в одиночестве.

— Нет. Я хочу побыть тут.

— Может, все-таки...

— Нет, Леннарт, — она заговорила быстрее: — Я должна побыть одна.

— Ты уверена?

Она кивает. Ну ладно, пожалуйста. Я смотрю на летящую женщину, у нее рыжие волосы и ярко-синие глаза.

— Ладно, тогда я, может, пока похожу сам — по другим залам?

Она снова кивает и почти шепчет:

— Да, пожалуйста.

Я отворачиваюсь. Проклятье. Как по-дурацки получилось, ведь мы пришли сюда в честь ее рождения.

— Тогда... встретимся попозже, в кафе?

— Хорошо, — отвечает она.

Я смотрю на часы.

— Минут через тридцать?

Она снова кивает, не глядя на часы. Я не двигаюсь с места. Смотрю на ее ноги — стоять-то уж точно не обязательно.

У стены, завешенной драпировкой, замечаю несколько раскладных табуреток. Быстро подхожу и, взяв одну, возвращаюсь.

— Вот.

Ставлю, не поднимая глаз. Ингегерд садится.

— Тогда жду тебя, — снова смотрю на часы, — около двенадцати?

Она кивает.

— Спасибо, — отвечает она.

Киваю. Ну ладно. Я сделал все, что мог.

Медленно заворачиваю за угол, прохожу мимо ряда картин, потом поворачиваю еще раз и попадаю на большую лестничную площадку. Чертова картина. Все испортила. Зачем только ее тут повесили?

С верхнего этажа доносятся какие-то голоса. Слов из-за эха не слышно. Но с другой стороны... она же сама сказала, что хочет остаться. Только вот зачем ей это? Зачем ворошить прошлое? Ведь больше двух лет минуло. Но раз она сказала... Переубеждать, наверное, не стоит. Нет, это очевидно.

Медленно поднимаюсь на следующий этаж. Не могу же я один после кончины Карла все время утешать ее и подбадривать. Хокан с Бенгтом вполне могли бы ее навещать. Хотя им, конечно, сложно выбирать-

ся — понятное дело, семья, дети. Кроме того, нельзя забывать, что Ингегерд всегда была такая — ужасно впечатлительная, когда дело касается живописи. Да-да, это правда, и к тому же поди разбери, что она на самом деле...

— Простите, — слышу рядом чей-то голос, — у вас есть наклейка?

Передо мной стоит высоченный охранник с бородой и бакенбардами. Наверное, спустился сверху, а я и не заметил.

— Э-э... да, конечно-конечно.

Пошарив в кармане, достаю наклейку.

— Ее надо носить на видном месте. Чтобы мы видели, кто есть кто.

— Да? Я не знал.

— Можете приклеить на куртку, — указывает он.

Я снимаю с наклейки защитный слой и прилепляю ее на грудь. Улыбаюсь.

— Так хорошо?

— Отлично, — улыбается он в ответ. — Это просто обычные правила безопасности.

— Конечно.

Он кивает и идет дальше вниз по лестнице. Я смотрю ему вслед, пока он не исчезает в каком-то зале. Откуда мне знать, что наклейку полагается носить именно так?

Поднимаюсь выше, на следующий этаж. Там как бы вестибюль с разными указателями. Я смотрю вниз, в пролет. Остается только найти себе какое-нибудь занятие.

Большая стрелка передо мной указывает направо. Под стрелкой надпись: *Глаз как оружие – Объект как защита.*

Я дважды перечитываю текст. Что это значит? Наверное, что-то новомодное.

Заглядываю. Народу никого. Зал очень широкий и длинный. Пол заставлен разными вещами, на стенах висят картины и другие предметы. Передо мной на полу какое-то небольшое приспособление желтого цвета, похожее на строительную люльку, а рядом в круглом горшке растет дерево. На ветке сидит огромный манекен. Я присматриваюсь. Интересно, дерево настоящее?

Вокруг люльки и дерева расставлены стенды с черно-белыми афишами. Что написано, отсюда не видно. Но уж очень странная эта люлька. Как будто детская. Пойду лучше в другой зал. Не такой современный.

Но так и не двигаюсь с места. За деревом на стене какие-то большие фотографии. Вот как, все-таки фотографии. Что ж, можно и посмотреть.

Подхожу к стендам: плакаты на английском, на всех один и тот же текст. Начинаю читать, хотя не все понимаю — тут до меня доходит, что это увеличенное объявление о знакомстве. Манекен на дереве, строительная люлька, поднятая наполовину, да еще эти плакаты. И надо полагать, во всем этом какой-то особый смысл?

Я встаю поближе к дереву. Дерево живое — осина. Как она растет в помещении?

Снова смотрю на манекен. Чего только не придумают.

Фотографии черно-белые, везде один и тот же похожий мотив: какие-то равнины с темной сетью линий и борозд по краям. Я прищурива-

юсь. Что же это такое, напоминает... дельту реки, что ли. Но проявлено и напечатано здорово.

Я подхожу совсем близко: в левом уголке каждой фотографии по два надреза. А фотоаппарат-то, конечно, наш.

Под фотографиями табличка, на ней — имя фотографа и название: *Морщины.*

Так вот что это такое. Правда, на морщины на лице не похоже. А я решил было, что это пейзаж. Отхожу на несколько метров. Морщины... вот оно что. Но оттенки богатые. И контраст хороший. Хотя старческие морщины — что за странный выбор...

Вдруг слышу какой-то стук. Оборачиваюсь и вижу, как прямо ко мне мимо осины мелкими шажками бежит темноволосый мальчик. Это еще что?

Он подбегает, останавливается всего в нескольких метрах от меня. За ним никого. Мальчик ничего не говорит, только смотрит. У него взъерошенные волосы, красные щеки, как будто он только что с мороза, и густые сросшиеся брови. На нем джинсы и желтая футболка. Наклейки на майке нет.

— Здравствуй, — пытаюсь с ним заговорить.

Он произносит что-то, будто хрюкает, при этом все так же не сводит с меня глаз.

Я опять смотрю на дверь, он тоже оборачивается. Интересно, сколько ему? Лет семь-восемь?

— Ты, наверное, пришел сюда с родителями, да?

Он отвечает новым хрюканьем и протягивает руку. Я даю ему правую руку:

— Привет-привет.

Мальчик улыбается, но не берет моей руки, а быстро хватает меня за запястье. Что он делает?

Я пытаюсь высвободить руку, но мальчик крепко вцепился. Он опять смотрит на дверь, руки моей не выпускает. Что это с ним? Какой-то странный.

Мальчик издает звук, похожий на смех. Я снова пытаюсь вырвать руку, но он поднимает ее и кладет себе на голову. И улыбается во весь рот. Да нет, вроде вполне безобидный.

— Какие у тебя красивые волосы — густые.

Осторожно пытаюсь высвободить руку. Он смеется, не отпускает, потом опять хрюкает и кивком указывает на мою голову.

Я смотрю на дверь. Должен же с ним быть кто-то из взрослых.

— Ну все, теперь, пожалуйста, отпусти, — улыбаясь, говорю я.

Мальчик еще раз кивает и поднимает мою руку. Что он хочет? Он поднимает руку еще выше, встает на цыпочки. А, понятно, ему надо потрогать мои волосы.

Я немного приседаю и наклоняюсь, чтобы он мог дотянуться. Зачем я это делаю? Да нет, конечно, вряд ли он опасен. И действительно, мальчик просто кладет руку мне на голову и смеется.

— Не совсем как у тебя, да?

Одновременно я слышу звук — металлическое клацанье. Мальчик отпускает мое запястье и отходит на несколько шагов. В одной руке он держит ножницы со светло-красными пластмассовыми ручками. В другой — большой клок седых волос.

Я смотрю на него, а он смеется и отходит в сторону. Черт, он что, отстриг мне волосы? Я провожу рукой по макушке, потом над ушами: с одной стороны волос немного меньше. Проклятый хулиган. А я тоже хорош. Сам виноват.

Он отбегает к осине, пролезает между стендов с плакатами и направляется прямо к люльке. Кажется, кидает несколько моих волосков на сиденье, а потом их перебирает. Ничего не понимаю.

Я быстро оглядываюсь и подхожу к нему. Откуда он все-таки взялся? Нельзя же так себя вести. Бегает тут с ножницами. Еще испортит что-нибудь ценное или сам поранится.

Завидев меня, он убегает в глубь зала, к какой-то скульптуре. Может, позвать на помощь?

Я смотрю на потолок, в углы — ищу камеры наблюдения. Нигде никаких камер. Значит, чтобы кого-нибудь предупредить, придется оставить его одного. А он, конечно, в это время смоется. Или что-нибудь натворит.

Мальчик стоит у какого-то ящика из прозрачного пластика и режет что-то на мелкие кусочки, которые сыплются в этот ящик. Нет, нужно срочно звать на помощь. Наверное, охрану. Только как? И тут я вижу, что предмет, который он крошит, это кусок светлой ткани. Опускаю глаза на грудь. Разумеется. Мое кашне. Значит, он и *его* успел схватить? Кашне, которое я привез из Вашингтона. Ну все. Я подбегаю к мальчишке, он стоит на месте, состригает бахрому с одного конца шарфа в ящик.

— Что ты делаешь!

Я быстро поднимаю руку, он пытается отбежать на несколько шагов, но я преграждаю ему путь — и он падает на пол, ударяясь лбом о край ящика.

Только не это!

Мальчик неподвижно лежит на полу. Боже мой, что я...

Вдруг он зашевелился, задвигал руками и ногами и даже засмеялся. Я скорее помогаю ему подняться, одновременно выхватываю свой шарф.

— Прости, прости, пожалуйста! Я не нарочно! Но нельзя же портить мой шарф!

У него из брови идет кровь, мое кашне тоже в крови. Так. Это же надо, сбить с ног несчастного ребенка.

В дверях по-прежнему никого не видно. Нужно скорее привести все в порядок, пока никто не появился.

— Послушай, надо тебя умыть. Пойдем-ка поищем уборную.

Он хрюкает и улыбается. По носу у него стекает струйка крови.

— Подожди.

Я вытираю ему лицо шарфом. Не важно. Носить его уже все равно нельзя.

— Пойдем, — протягиваю ему руку, — пойдем поищем уборную.

Потом надо будет разыскать его няню или родителей. Наверняка он просто от них убежал. Мальчик не берет моей руки, зато подходит к ящику и что-то туда опускает — остатки бахромы с шарфа.

— Ты что, нельзя!

Я заглядываю в ящик, а он смеется. В самом низу, ниже уровня пола, виднеется неровное голубое дно. На дне лежит большой прозрачный надувной мяч овальной формы. Внутри мяча — кукла, которая держит в

руках куклу поменьше со странным лицом, больше похожим на мордочку животного. Наверное, это кошечка. Похоже на два... ну да, в этом мяче, как в оболочке... куклы похожи на два эмбриона. На мяче тоже что-то лежит, что-то совсем мелкое. Я наклоняюсь. Конечно, бахрома от шарфа. Вперемешку с бахромой моих седых волос.

— Ты что, тут ни в коем случае нельзя... ничего бросать.

Я наклоняюсь еще ниже, опускаю в ящик руку. Но до мяча дотянуться не могу. Ладно, пусть полежит. Пока что. А кстати, куда подевались эти ножницы? Левой рукой мальчик придерживает карман брюк.

— Послушай, — говорю я, указывая на его карман, — отдай, пожалуйста.

Мальчик тут же отскакивает.

— Понимаешь, это очень опасно.

Подхожу и пытаюсь схватить его за левую руку. Он резко вырывается и бежит к какой-то двери. У двери надпись: ЛИФТ. Стоп, неужели он...

Мальчик открывает дверь, входит внутрь и нажимает на кнопку. Я не успеваю добежать: лифт уезжает наверх, а мальчик стоит у окошка и смотрит на меня. Вот и все — он исчез, весь в крови! Я несколько раз нажимаю на ВЫЗОВ. Придется все-таки звать на помощь. Оглядываюсь — вокруг ни души. Он ведь может пораниться.

Наконец сверху слышится шум, и лифт снова едет вниз. Внутри никого нет. Убежал, наверное, на другой этаж. Надо во что бы то ни стало его найти, кто знает, что он еще придумает! Открываю дверь. Разыскать бы какого-нибудь охранника...

И тут я вижу мальчика. Он лежит на полу и широко улыбается. Я едва удерживаюсь от смеха.

— Ты что, здесь *лежишь*?

Он издает какие-то булькающие звуки — смеется. Нос и подбородок перемазаны кровью. Я стою одной ногой в лифте, держу дверь. Наверное, лучше просто спокойно с ним поговорить. Если я хочу, чтобы он меня послушался. И *ни в коем случае* не пытаться отобрать ножницы.

— Пойдем, — спокойно говорю я и протягиваю ему руку, — вставай.

Руку мою он не берет, но вскакивает на ноги, кивает и издает низкий звук:

— Эээээээээ.

Я осматриваю его бровь. Кровит вроде не сильно. Опять вытираю ему лицо шарфом. Надо просто промыть холодной водой, и все пройдет. Какие странные у него брови. Широкая сплошная полоска.

Я изучаю кнопки лифта: *Этаж 4: WC/Комната матери и ребенка.* Отпускаю дверь, и она плавно за мной закрывается.

— Сначала нам нужно тебя умыть, — нажимаю на четвертый. — А потом найти твоих родителей.

Лифт трогается, и мальчик снова быстро ложится на пол. Он прикладывает ухо к полу, смеется и опять издает такой же звук:

— Эээээээээээээээээ!

Видно, ему что-то нравится в лифте.

— Эээээээ!

Может, шум двигателя. Лифт останавливается.

— Пойдем, — я беру его за правую руку и тяну. Он поднимается и выдергивает руку.

Надо, пожалуй, держать его, когда будем выходить, а то он просто возьмет и убежит.

Я снова пытаюсь схватить его, но он выкручивается и прячет руку.

— Понимаешь, тут нельзя бегать, ты же можешь упасть и удариться!

Может, ему вообще все равно, что я говорю? Мальчик хрюкает. И протягивает мне руку. Нет, видимо, не все равно.

— Хорошо, — я снова даю ему руку, — тогда пойдем.

Он быстро хватает меня за запястье. Но как только я сам пытаюсь взять его за руку, вырывается. И громко всхрюкивает. Так вот оно что — оказывается, он хочет держаться *сам*.

— Олрайт, — протягиваю ему руку. — На, держи.

Мальчик хватает мою руку, улыбается.

— Но только смотри не убегай!

Он смеется, фыркает как бы. Я медленно открываю дверь и смотрю на часы. Без четверти двенадцать. Хорошо, что Ингегерд не знает, чем я тут занимаюсь.

Выходим. Он все еще держит меня за руку и вроде что-то такое напевает. Кажется, кровь больше не идет. Нужно быть наготове — вдруг он снова вздумает убежать.

Мы совершенно одни. Неужели *и здесь никого*? Такое ощущение, что посетителей нет вообще. Я смотрю на указатели на стене. Туалеты направо.

— Пошли.

Мы попадаем в коридор: мраморный пол, вдоль стен бюсты на темных пьедесталах. Я слегка подталкиваю мальчика, чтобы он не улизнул.

В следующем зале висят огромные картины в золоченых рамах, мальчик отпускает мою руку, подбегает к черной занавеске в углу и быстро достает ножницы.

— Стой!

Он отрезает кусочек от нижнего края занавески и бежит дальше вдоль стены. Ну вот, и занавеску испортил.

Я пускаюсь за ним, он оборачивается.

— Стой, подожди!

Он прибавляет скорость, я бегу через весь зал, а он только смеется. Конечно, мне его ни за что не догнать, слишком уж быстро он бегает. И мало ли что с ним на самом деле.

Останавливаюсь. Мальчик пробегает еще несколько шагов и оборачивается. Увидев, что я больше не бегу, тоже останавливается. Я смотрю на него, он на меня. Хотя, с другой стороны, будь он опасен, его бы сюда не взяли. Правда, вот ножницы. Но их он, наверное, просто где-то нашел. Или стащил. Вряд ли ему разрешили их взять. И вроде неплохо понимает, что́ ему говоришь. К тому же это я виноват, что толкнул его.

Мальчик стоит ко мне лицом. Я делаю маленький шаг, мальчик пятится, сохраняя расстояние между нами. Я делаю еще шаг вперед. Он — шаг назад. Думает, наверное, что я с ним играю. Я начинаю медленно идти, тогда он поворачивается ко мне спиной и тоже двигается вперед, оставаясь все время на одном и том же расстоянии. Несколько раз он оглядывается, видимо, боится, что я его догоню. А что, может, мне все-таки удастся отвести его в уборную? Бог с ним, пусть играет, только бы никуда не сбежал.

Мы проходим вдоль стены. Вдруг он вытягивает руку, останавливается и что-то сыплет на раму одной из картин, потом хрюкает, смеется и идет дальше. Я подхожу к картине: на раме что-то вроде узора из светлой бахромы и волос. И мелких кусочков черной ткани. Неужели он мне столько отстриг? Я еще раз ощупываю голову, потом смахиваю с рамы волосы. Часть застревает в лепных позолоченных завитках. А мальчик уже стоит у следующей картины.

— Сейчас же прекрати!

Он задерживается на несколько секунд и идет дальше. Я смахиваю волосы со второй рамы, мальчик выходит на лестницу, я за ним.

На лестнице пусто. Мальчик копошится у пожарного крана. Напротив две двери: WC. Наконец-то.

— Иди сюда.

Я указываю на дверь, он смотрит и быстро бежит к туалету. Ну слава богу. Хотя бы кровь смоем. В уборной раковина и зеркало. Я вешаю шарф на крючок. Увидев краны, мальчик затягивает свое:

— Эээээээээ!

Отрываю кусок бумажного полотенца и смачиваю в холодной воде.

— Стой спокойно.

Он смотрит на меня, я прикладываю полотенце к брови и к носу. Он поскуливает, но терпит. Постепенно все оттирается, ранка уже не кровит. Ну и брови — сплошная угольно-черная полоска! Такие же брови были у одного моего старого учителя в народной школе. Как же его звали, Свэрд, что ли?

— Вот! — я показываю ему его отражение. — Так-то лучше, правда?

— Ээээээ!

Сам смотрюсь в зеркало. Все-таки видно, что выстрижен клок. А может, и не так заметно?

Мальчик возится с замком. Я снимаю с крючка шарф. Попробовать отстирать, что ли?

Но, недолго думая, кидаю его в мусорное ведро под раковиной. Не отмоешь. А жаль. Такие бывают только в Америке.

Опять включаю воду.

— Осталось только найти твоих родителей.

Мою руки — и тут мальчик отходит от двери, опускается на колени, достает откуда-то красный предмет и тянется к моим штанинам.

— Ты что! Ну все, хватит!

Я тяну у него ножницы, он отпихивает меня рукой, а я хватаюсь за очки, чтобы не упали на пол. Потом кладу ножницы себе в карман, мальчик громко хрюкает и хочет протиснуться к двери. Да пожалуйста!

— Проходи на здоровье!

Прижимаюсь к раковине и пропускаю его.

— Эээээээээээ! — кричит мальчик и распахивает дверь.

Я отрываю бумагу и вытираю руки.

— *Арон!*

По лестнице поднимается охранница, а за ней запыхавшийся полный мужчина в круглых очках и с короткими темными волосами.

— *Наконец-то!*

Мальчик бежит к пожарному крану, мужчина подходит ближе и, опустившись на корточки, берет мальчика за плечо. Охранница что-то передает по рации.

— Арон, *где* ты был?

— Эээээээ.

— Это я его нашел.

Выхожу из туалета, мужчина и охранница смотрят на меня.

— У мальчика на лице была кровь, и я решил его умыть.

— Да? — мужчина внимательно разглядывает лицо мальчика. — А что он, сильно ударился?

— Вроде нет, кровь уже не идет. Он разбил бровь.

Мальчик не смотрит на нас. Он улыбается, щурясь на верхнюю лампу. Мужчина встает, берет мальчика за плечи и подводит к охраннице.

— Извините, пожалуйста.

— Вообще-то мы в таких случаях принимаем строгие меры, — отвечает она.

— Да, конечно, я понимаю, — кивает мужчина. — Я очень сожалею, что так получилось.

Я молчу. Глупо что-либо говорить. Ну, несколько волосков. Немного бахромы. Ерунда какая.

— Наверное, зря мы с тобой сюда пришли, — говорит мужчина, глядя на мальчика.

— Да уж, — охранница кладет руки на пояс, — мне тоже так кажется.

Мужчина подходит ко мне, подталкивая мальчика перед собой.

— Большое вам спасибо, — он протягивает руку. — Надеюсь, он вас не очень замучил?

— Ну что вы, — я пожимаю ему руку, — совсем нет.

— Он от нас убежал. Не успели мы войти, как он помчался вверх по лестнице и исчез.

— Ээууууээээээ, — говорит мальчик и улыбается.

— Он у вас резвый, — улыбаюсь я мальчику. — Что ж, до свидания!

Мальчик только хрюкает в ответ. Все-таки симпатичный мальчишка. Охранница провожает их вниз.

— Эээээээээ, — еще несколько раз доносится голос мальчика.

Навстречу поднимается охранник. Взрослые тихо переговариваются, мальчик что-то напевает, и потом они все вместе спускаются дальше. Я смотрю по сторонам, заглядываю в соседние залы. Шаги и голоса с лестницы доносятся все слабее. На моих часах без пяти двенадцать. Медленно спускаюсь, посередине марша перегибаюсь через перила и внизу вижу мальчика и троих взрослых. Они исчезают в коридоре, ведущем к выходу. Двумя этажами ниже поворачиваю направо. В холле перед кафе стоят какие-то молодые люди. Надеюсь, Ингегерд немного успокоилась.

Все столики свободны. Женщина за стойкой читает газету. Ингегерд, наверное, скоро придет, только бы она не забыла про время. Пойду, пожалуй, еще поброжу немного. Ну, чтобы не сидеть одному.

Заворачиваю за угол, спускаюсь по небольшой лестнице и оказываюсь в сувенирном магазинчике. Так, посмотрим, что тут.

В кассе стоит молоденькая девушка, в углу какой-то мужчина рассматривает плакаты. Подхожу к столу с книжками, листаю. Все искусство, искусство. Понятно.

Верчу стойки с открытками. И вдруг взгляд останавливается на открытке с летящей женщиной. Опять она. Как нехорошо. Я оглядываюсь на кассиршу и беру первую попавшуюся открытку с соседней вертушки.

На ней старинный портрет: нарядные родители и дети обедают в залитом солнцем саду. Ставлю ее перед стопкой с летящей женщиной. Вот так. Чтобы Ингегерд не увидела. Еще захочет купить. Поворачиваю стойку. Так-то лучше.

Сзади слышу писк рации. Прямо ко мне идет охранница.

– Извините, можно вас на минутку?

Это еще зачем?

– Да, конечно.

– Давайте отойдем в сторону, – предлагает она, указывая на высокие окна у выхода.

Мы молча подходим к колонне из темно-зеленого мрамора. За окном я вижу мальчика, мужчину в очках и с ними женщину в красном костюме. Они стоят на нижних ступеньках наружной лестницы. Женщина и мужчина то и дело оглядываются, как будто кого-то ждут.

– Я только хотела спросить вас об этом мальчике, – кажется, охранница их не видит. – Дело в том, что мы обязаны составить рапорт.

– Да, конечно, я с удовольствием вам помогу. Но по-моему, мальчик хороший и ничего плохого не хотел.

Она несколько раз кивает.

– Ясно. А где именно вы его нашли?

Она разворачивает небольшой план музея, схемы этажей на нем наложены один на другой. Я разглядываю чертеж.

– Кажется, здесь. На третьем. Там еще какая-то современная выставка.

– А, ясно.

Она что-то записывает в черной тетрадке.

– И что он делал, когда вы его нашли?

– Да ничего, он просто прибежал, и все. Это произошло очень быстро.

Она записывает.

– И у него шла кровь?

– Ээээ...

Как лучше сказать?

– Да, – я искоса смотрю на мальчика внизу. – Да, у него немного шла кровь, из брови.

– И что вы сделали?

– Я уже говорил... я решил его умыть. Мы поднялись на лифте, и я промыл ему ранку.

Она пишет, не глядя на меня.

– А потом вы встретили нас?

– Да, точно.

Я снимаю очки, смотрю, не грязные ли стекла. Надо же, как у них все серьезно.

– А вы не заметили, он ничего не делал такого... может, где-нибудь лазил? Или что-нибудь запачкал кровью?

Мальчик, мужчина и женщина сходят с лестницы. Подъезжает такси. Пока шофер останавливается, выходит и открывает им двери справа, мальчик смотрит на небо.

– Да нет вроде.

– Вроде? Что вы имеете в виду?

Черт, что ей сказать?

Я провожу рукой по лбу и макушке, поправляю волосы, уголком глаза вижу, как эти трое садятся в такси и закрывают двери.

— Ну, он, конечно, трогал все руками. И вел себя немного импульсивно, что ли. Но я ничего такого не заметил... то есть беспокоиться не о чем. Если можно так сказать.

— То есть он ничего не испортил? И не запачкал?

Такси едет вниз по улице, к каналу.

— Нет вроде. Да нет. Вряд ли он что-то натворил.

Ножницы.

Пока охранница переворачивает страницу, я осторожно проверяю карман. Ножницы на месте. Я снова смотрю на улицу, машина уехала.

— Хорошо. Тогда остается записать вашу фамилию и номер телефона.

— Да?

Я прокашливаюсь.

— Это так, на всякий случай.

Она улыбается. Я засовываю руку в карман, сжимаю кольца ножниц.

— Мое имя Леннарт Карлén.

— Так... Карлен, — записывает она. — Телефон?

— Я дам вам мобильный. Так меня проще найти. Ноль семь ноль семь четыре пять семь три восемь девять два.

— Огромное спасибо за помощь!

— Не за что.

Она идет к кассе — там стоят два других охранника и разговаривают. Надо же, как здесь все серьезно.

Я прикасаюсь кончиками пальцев к острию. Ножницы. И как я мог о них забыть? Надо было, наверное, вернуть их парнишке. Хотя... Это еще вопрос.

Рядом с ножницами в кармане лежит что-то еще — ключ. А, точно, ключ от шкафчика.

Смотрю туда, где стоят камеры хранения. Можно пойти вынуть подарок. А потом уже подняться в кафе к Ингегерд. Черт, а ножницы, с ними-то что делать?

Подхожу к шкафчику, открываю, достаю пакет, снимаю пальто Ингегерд с вешалки и перекидываю через руку. Охранники все так же стоят у кассы; я киваю им и быстро прохожу мимо. Да ладно. Не важно, что я не все рассказал.

Поднимаюсь по лесенке и иду в кафе, на моих часах почти десять минут первого. За столиком у кассы сидит она, ко мне спиной. Достаю из пакета сверток и подхожу ближе.

— Ээй! С днем рождения!

Ингегерд оборачивается.

— Леннарт...

Она улыбается, я опускаю сверток на стол, где уже стоит наполовину пустой пластмассовый стакан с водой.

— Вам посылка.

Похлопываю ее по плечу и вешаю пальто на соседний стул.

— Какая большая! — Она прикасается к шелковым лентам. — И как красиво завернуто.

Я сажусь напротив, она слегка мне кивает. Какие красные у нее глаза! И помада стерта.

— Может, выпьем кофе?

— Давай. Я с удовольствием.

Я беру два кофе, пирожное с марципаном и черничный торт. Ингегерд обожает чернику. Когда я возвращаюсь с подносом, она сидит в очках для чтения и вертит в руках мой подарок.

— Что же это такое? — спрашивает она, указывая на маленькую наклейку, прикрепленную сверху к ленте. — Это по-китайски, да?

— Нет, не по-китайски, — сажусь рядом, — по-японски.

Тут она замечает пирожное.

— Леннарт, дорогой... это мне?

Улыбаясь, протягиваю ей кофе и торт. Знал, что сработает. Отлично, так держать.

— Можно я открою? Ужасно не терпится.

Ингегерд развязывает шелковый бант и осторожно разворачивает бумагу, высвобождая картонную коробку. Только бы ей понравилось. Для чего бы эта штука ни предназначалась, она совершенно в ее вкусе.

Она раскрывает коробку.

— Боже мой... Что это такое? Леннарт! Какие цвета!

Она медленно достает длинного красно-зеленого зверя с большими блестящими щупальцами и мощными иссиня-черными крыльями. Все туловище покрыто блестящей разноцветной чешуей.

— Леннарт, милый, — она почти не отрываясь смотрит на зверя, — какое чудо.

Я улыбаюсь. Понравилось, значит.

— Я купил его в Осаке.

Дорогая вещица.

— Думаю, это такой мобиль, — продолжаю я, — его надо вешать под потолком, чтобы было видно, как он сверкает и блестит на свету.

— Я могла бы повесить его дома в спальне.

А я ведь знал. Знал, что подарок понравится.

— Большое спасибо, — говорит Ингегерд и ставит зверя обратно в коробку. Я только киваю в ответ. Ну хорошо. Слава богу, все прошло отлично. Надо продолжать в том же духе.

— Твое здоровье! — говорю я и приподнимаю чашку.

Она поднимает свою, мы пьем.

— Погоди, — говорю я, — лучше, наверное, убрать его со стола.

Я беру коробку и ставлю ее на соседний стул, сворачиваю оберточную бумагу и кладу сверху.

— Да, конечно, — отвечает Ингегерд.

Мы едим. За соседний столик садится молодая пара. Надо как-то поддержать разговор.

На столе, ровно на том месте, где стояла коробка, замечаю что-то белое — какой-то полупрозрачный бумажный пакетик. Что это?

— Ты заходила в киоск?

— Да... заходила.

Ингегерд достает конверт и вынимает из него большую открытку. Протягивает мне.

Летящая женщина. Я отставляю чашку. Получается, там были точно такие же открытки, только побольше?

Ингегерд смотрит на открытку и покачивает головой. Я кладу ложку на блюдечко. Значит, все равно разыскала.

— Даа... — произносит Ингегерд еле слышно.

Ну вот, опять. Ну что тут скажешь?

— Вкусное пирожное?

Она кивает, медленно, не поднимая глаз.

— По-моему, у них тут всегда все очень свежее...

— Леннарт, — прерывает она меня.

Я замолкаю. Она смотрит мне в глаза.

— Я хочу... — она медленно кивает, — чтобы ты знал, — кладет открытку на стол, сглатывает, — я тебе очень благодарна...

Я складываю руки на животе.

— За то, что мы вот так иногда видимся, что вот так каждый год приходим сюда.

— Ингегерд, милая, мне тоже очень приятно! К тому же...

— Нет-нет, Леннарт, не стоит, — быстро говорит она.

Она кивает, и я замолкаю. Потом опять кивает, глядя мне в глаза. Я молча смотрю на нее. Что она хочет сказать?

Ингегерд снова берет ложку и принимается за торт. Я искоса смотрю на ее руку. Все? Больше не собирается возвращаться к этому разговору?

— А что ты делал, пока меня не было?

Я прокашливаюсь, отпиваю кофе. Ну все, точно, теперь ей хочется говорить о другом.

— Да ничего особенного, так, походил по другим этажам...

(...и встретил мальчика.)

— Видел что-нибудь интересное?

— Да нет...

Откусываю большой кусок пирожного.

— Впрочем, видел несколько фотографий...

— Леннарт! Что у тебя с волосами?

— Ээ... а что?

— У тебя огромная плешь — на самой макушке.

Я ощупываю голову, немного взъерошивая волосы. Что бы придумать?

— А, это, — улыбаюсь, — это вчера. Испачкал голову краской. Пришлось отстричь. А что, так заметно?

— Ну да, выглядит довольно странно.

Она перегибается через стол и трогает мою макушку рукой.

— Но откуда ты взял краску? Разве ты что-то красишь?

Назад пути нет.

— Да нет, не я. Понимаешь, это было в магазине, вчера. У них ремонт, и мне на голову капнула краска.

— Понятно.

— Да ничего страшного. Совсем чуть-чуть. Я пошел домой и все отстриг.

— Вот как? И ты не потребовал никакой компенсации?

— Ну что ты. Из-за такой ерунды.

— Да, но все-таки заметно!

— Ну и ладно.

Я провожу рукой по волосам, стараюсь как бы пригладить их.

— Отрастет.

Ингегерд что-то бормочет про себя. Глупо рассказывать сейчас о мальчике.

Она делает небольшой глоток и оборачивается. Вообще не буду рассказывать.

— Извини, — говорит она, поднимаясь, — мне надо в уборную.

— Кажется, я видел уборную рядом с магазинчиком.

Она кивает и уходит. Я доедаю пирожное и оглядываюсь. В кафе по-прежнему никого, кроме той пары. Странно, что так мало народу, не только в кафе, но и вообще. Наверное, позже придут.

На столе Ингегерд оставила сумку и очки для чтения. И еще белый конверт. Хорошо, что ей хотя бы понравился мой зверь.

Я облокачиваюсь на спинку и чувствую в кармане что-то острое. Ножницы.

Осторожно вынимаю их и быстро прячу на столе — между блюдцем и чашкой. Немного глупо, наверное. Хотя... неизвестно еще, где он их раздобыл.

Ножницы довольно маленькие, со светло-красными ручками. Вот, оказывается, из-за чего он так переживал. С виду ничего особенного. Я просовываю пальцы в колечки, раздвигаю кончики и замечаю, что они не прямые, а слегка изогнутые. Так...

Ногтем большого пальца скребу по лезвию: не очень-то острые. Наверное, игрушечные.

Оглядываюсь на молодую пару, но они в мою сторону не смотрят. Щелкаю несколько раз в воздухе. Неплохо бы попробовать. Хотя нет, лучше не стоит, если Ингегерд увидит, она сильно удивится. Лучше их куда-нибудь выкинуть. Бросить в урну на улице.

Тут я замечаю сложенную на стуле оберточную бумагу. Попробовать-то можно. Хотя бы чуть-чуть. Вряд ли кто-нибудь увидит, к тому же что в этом такого — я ведь только попробую.

Кладу блестящий красный сверток на стол, аккуратно отгибаю угол, оглядываюсь. Быстро отрезаю небольшой кусок. Край получается круглый. Какая отличная идея — взять и изобрести такие ножницы.

Режу дальше. Края все время выходят округлые. Наверное, это какая-то новая игрушка. Можно было бы купить в подарок детям Хокана или Бенгта.

Вырезаю дальше. Вряд ли Ингегерд так быстро вернется. Веду кончиками направо, потом вниз, потом опять направо, потом опять вниз, а потом по кругу, и кусочек отрывается. Держу его перед собой. Получилась большая буква Л. Немного похоже на облако.

Я снова запускаю ножницы в бумагу, быстро вырезаю букву Е и кладу ее на стол. Вот: Л — Е.

Потом смотрю на лестницу, но Ингегерд пока не видно. А что, почему бы и нет?

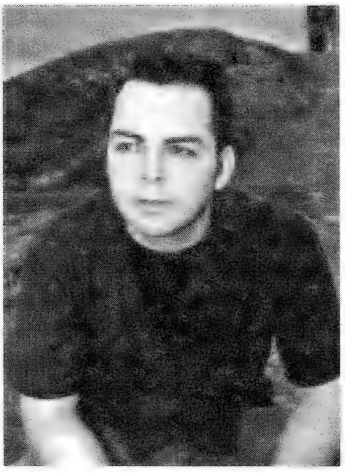
Быстро вырезаю Н и кладу ее рядом с двумя другими буквами. И едва успеваю приступить к следующей Н, как появляется Ингегерд. Я поскорее сворачиваю бумагу, кладу ее обратно на стул и запихиваю ножницы и вырезанные буквы в карман. Ничего не заметила? Да нет, вроде не успела.

— Сидишь?

Ингегерд опускается на стул. Я киваю, отвожу глаза.

— Сижу.

Алехандро Лейва Венгер



Эликсир

Перевод Марии Людковской и Александры Поливановой

СЕГОДНЯ мы решили что не будем больше пить это дерьмо и гонять за кошками. жирдяй Марко поклялся своей мамой что созжет рецепт но мне все равно жаль его девченку потому что он сам виноват что она теперь может помереть может быть. на самом деле надо прочистить ему мозг. да но Флако и Хосе стремаются и в глубине души дикобоятся толстожопого. это он во всем виноват. он исчо когда в школу пришол мы сразу заметили что у него с лицом чтото не то. хосе сказал ты че жирный что у тебя с глазами они же конкреТно голубые. ¿ты что вСТавил линзы? но марко сказал нет и после школы мы пошли к нему посмореть. мы вошли к нему в комнату и закрылись чтобы его мама не услышала. жирный достал маленькую и пластиковую бутылку и сказал чуваки эту вот бутылку я получил по почте на прошлой неделе. мы спРосили кто послал и он сказал а я знаю. ему пришол бондероль и он пошол на почту его забрать так как думал что его бабка из Чиле прислала. но это было не письмо или что там а только бутылка с чем то внутри. плюс марка и все швецкое так что это кто то из швеции послал. ой блин как мне фигово когда это пишу. на самом деле вобще не хочу писать потому что блин какая труба полная труба. но он сказал что каждую ноч сморел на бутылку и нюхал и думал что надо попробывать но стремался. ну ясно. я бы тоже застремался потому что думаеш кто блин послал и может там иад или нарката какая. плюс жидкось внтури была навид блевотная. вроде как кола с маленкими комочками которые там плавали вокруг. но он все таки на конец попробывал два глотка перед сном и Утром он заметил что с глазами какая то лажа и тогда мы тоже заметили и типо пошли к нему. и мы сказали бли-

© Alejandro Leiva Wenger, 2001
© Мария Людковская, Александра Поливанова. Перевод, 2007
© Fanny Zaabi Behrer. Фотография

ин как мутно. мы посморели на бутылку и хосе вобще Дико перестремался. и тут в дверь позвонили и это была Марсела. она вошла в комнату и вобще ничего не сказала а мы просто стояли типо и смотрели как они с Марко обжимались и как он тискал ее за Жопу. а жопа у нее нехилая надо сказать у этой марселы. мы свалили потому что им было уже не в терпежь так что я и хосе и флако свалили. у жирдяя нет никакого респекта к своей мамаше потому что он водит домой девок и трахает их в своей комнате хотя мать дома. он как последний швед которому насрать на свою мамашу. шведы они такие вобще забивают на своих родителей и поэтому швецкие школьники становяться алканами. короче марко пришол на следусчий день и его глаза были исчо более голубые и его волосы были чорные хотя немножко посветлее. я сказал марко что хочу попробывать эту жидкось после шКолы. я знаю это тупо но я ж не знал. и мы пошли к нему опять флако и хосе и я. жидкось была на вкус почти как кола но не так много сахара. плюс там как будто такие кусочки мяса внутри. флако и хосе тоже попробывали. на следусчее утро я ничего не почуствовал но на обед меня чего то затошнило но не очень сильно. это было в тот день когда флако и хосе начали бозарить с Томми из нашего класа потому что томми всегда гнобит нас и однажды назвал марко черножопым но тогда мы его замочили и больше он варежку не розевал. все шведы немного завидуют нам латиносам потому что мы их девок уводим и вобще круче. но в тот день томми опять разВыступался. он не говорил черножопый и ничего но весь урок пулялся во флако ластиком и ржал когда он плохо отвечал на вопросы. короче на перемене мы заперли его в Туалете и флако с хосе потом вошли к нему и выШибли из него все дерьмо а я стоял на стреме чтобы никто не вошол. ну и козел этот томми. он дико тощий и ходит как педик. мы обычно зовем его bitch потому что он тресет жопой как настоящая шльуха которая дает за деньги. в школе еда отстойная поэтому мы пошли в макдональтс в Шерисе. у нас было денег толька на один чиз бургер. марко пошол с нами потому что получил исчо один бондероль по почте. блиин ну я уже задДАлбался пичятать. ну вобщем прислали исчо одну бутылку и мы видели сами что ненаписано кто послал. мы забили на школу и пошли домой к флако. там мы попробывали чуть чуть чуть и флако спер сигареты у мамаши и мы закурили. жирдяй посмотрел на меня и сказал бля да у тебя глаза стали немного голубые!! я к зеркалу сморю правда. мои глаза немного голубые. ну вобще. и тогда все и началось потому что на следусчий день я простнулся рано и пришол в школу прямо во вРемя и марко был уже там блин первый раз в истоРии он не опаздал. и когда мы бозарили он говорил немного странно. я сказал жирный ты че так говориш то. он спросил как??? и я сказал блин ну ты говориш вобще как последний швед. в натуре. было не слышно что он латинос и он говорил такие слова которые только шведы умеют говорить. плюс у него посветлели волосы за ушами потому что он стал там почти блондин. потом прошло несколько дней и ничего и мы не пили потому что жидкось кончилась. но както марко позвонил мне потому тчо ему пришло письмо записка где ктото написал типо рецепт. там было написано что надо взять колу соль и честног и смешать все вместе и сварить потом выпить холодное. ?ну как сделаим? спросил марко и я сказал о'кей. но когда мы начали то он прочитал что нужен кошачий глаз. блин а что это сказал я. не знаю сказал он. мы пошли к его маме которая смотрела телек. мы ей сказали что нам по труду задали заданИе.

марко спросил что такое кошачий глаз. она говорит не знаю. она посмотрела в словарь посмореть как кошачий глаз по эспански. может быть это преправа или типо специя но там не было. так что она не знала и сказала чтоб мы позвонили какому нибудь одно-класснику или учителю. мы сказали окей но ясно что звонить не стали. на следусчий день в библеотеке мы спросили библеотекаршу. у нее лицо как изюм потому что она старая и плюс исчо ходит в солярИй. мы спросили что такое кошачий глаз и она сказала это такие красивые камушки. мы везь день думали где найти такие камни и как блин потом это пить это было в поза-прошлую Среду. потому что в тот день у нас была контрольная и я не готовился и марко тоже ясное дело потому что этот жиртрест никогда не готовиться. это была контрольная по швецким писателям типо стринберга итэпэ. но марко написал блин лутчше всех в класе! потомучто в Пятницу нам вернули работы и у него почти не было ошибок. и учитель сказал блестясче Марко. флако спросил ты что списовал? и марко нет клянусь не знаю как так вышло. потому что жирный не ботан. он к тому же немного тупой. и все равно без ошибок. мы все вместе пошли домой и трепались и хосе сказал что он думает что кошачий глаз это просто глаз от кошки. мы сказали ты че того. но он сказал что в жидкоси были же комочки типо мяса которые плавали. мы прифигели. но я чуствовал что это тошнотно. и щас меня прямо почти тошнит. вобще не хочу больше писать. мы пошли в поДвал это было вечером мы были у флако и гоняли за тремя кошками но не одной не поймали потому что они дикошустрые. потом увидели одну в кустах марко сказал берем. флако сказал нет не берем потому что это Линина. мы сказали да забей. а он сказал это моя соседка я ее знаю. а мы сказали блиин ну ты лохх некто не узнает. кошка вылупилась. марко подошол медлено медлено. говорит ей Кискис Кискис. а кошка говорит Мяу Мяу и напряглась и спину согнула. тогда марко как подпрыгнет к ней и схватит за шею. я говорю сварачивай ей шею но марко сЛишком нервничил и как побежит с кошкой в руках и мы за ним. клютчи были у флако. кошка исчо как испугалась, потомучто перестала рватся. у хосе была сумка со всеми весчами. марко сказал о'кей я ее держу. и он посадил кошку на жевот на пол и вытинул лапки и прижал коленом чтобы не рыпалась. я говорю надо с начала ей по башке дать чтобы она вырубилась когда мы стукнем и ей не было потом больно. Хосе достал молоток. кто стукнет говорит. я сказал не я. хосе говорит тоже не я. тогда марко обидился и закричал ну вы че вшивые мариконы!!! и флако ударил кошатину по голове Молотком. ну и она уснула. исчо у нее крофь пошла и хосе отошол в сторону тошнить. мы все дрожали и я все время слышал голос в мозге который говорил ты че ты че делаиш. я думал сойду с-ума. марко говорит давай лошку. флако дал. я хотел закрыть глаза и всеже нет потому-что хотел видить. марко всунул лошку в кошкин глаз и в глубь в глубь и повирнул и кошкин глаз повис. тогда флако заржал странно. он выглядил совсем как дибил и смех у него был не нормальный. марко сказал заткнись но флако все ржал и стоял на месте как идеот. марко выкавырил второй глаз тоже. он тоже вывалился и висел из дырки как на ниточках и кровь там и все. хосе все ходил в зад в перед и все говорил а вдруг кто придет. а я сказал заткнись лутше. марко поЛожил глаза в покет. кошка вроде умирла потому-что она не простнулась. ну что нам с ней теперь делать я сказал. мы нашли какой то открытый подвал и там положили кошичку в углу и накрыли ковреком. и пошли домой к марко и все молчали.

Мама марко спала и поэтому мы не могли готовить жидкось. сделаим завтра сказал марко и мы говорим ну ладно. на следусчий день мы опять прогуляли и утром опять были дома у марко были там короче. жиртрест одел резиновые перчатки и взял глаза и засунул их в такую где давят честног. и потом все переМешал с колой и солью и все потом сварил. типо черес пол часа жидкось остыла вот. кто хочет говорит марко. все хотели кроме хосе который сказал не хочу. и ушол домой. вобще я тоже хотел уйти но остался потому-что все-же хотел попробывать и на следусчий день марко волосами был совсем блондин и учитель и все спрашивали и он говорил я покрасил. я почюствовал что лутше концентрируюсь на уроке плюс потом пришол флако и говорит что не можит вспомнить почти ни одного слова по эспански. мы говорим блин эта жидкось делает так что ты превращаешся в шведа. ну мы Ржали но потом марко говорит нет я не хочу потому-что я горжюсь что я черномазый и я говорю я тоже потому-что это правда. мы попробывали жидкось просто чтобы попробывать. флако сказал надо бросать потому-что вдруг мы станем внутри в самом серце и мозге. Короче мы решили что бросим пока не позно. но я думаю было уже позно потомучто когда я поехал домой из ворберга в фиттью я застремался делать руки на турнекетах. я долго стоял и говорил себе ну давай же но все равно застремался. и пошол всю дорогу пешком и думал а что если я уже в самом серце?? сечас пол второго ночи. надо уже спать но я не хочу хотя у меня болит рука. думаю будет марсела жить или уже умерла!!! Фак. мы так надрались этой дряни особенно марко потому-что это он дал попробывать своей девченке вчера это было. он позвонил мне как бутто бежал морафон. давай быстрее гвороит. когда я вошол к нему в комнату его девченка валялась на кровати с открытыми глазами и вобще белая почти как мертвая. марко дышал быстро быстро и тоже был совсем белый. я кричю ты че блин наделал козел! а он говорит тихо моя Мама услышит. он сказал что дал ей жидкось. я спросил зачем а он блин не знаю я просто хотел позырить что будет и она сама хотела. я говорю придурок мдуак идеот кончетумадре а он помоги мне лутше. ¿я че тебе доктор? говорю. ¡ее надо в больнитцу!! а она просто лежит и не двигаеться и лежит просто. ее рот открылся и видно было езык. я говорю надо вызвать скорую. марко сидел на стуле и просто смотрел как не нормальный а я пошол привел его Маму которая сидела в кухне и пила Кофе и курила и она пошла в комнату марко и кричала кричала а марко заревел аона подняла с пола бутылку с жидкосью и говорит что это но марко не мог ответить потому-что все ревел и ревел. скорая приехала типо минут через одинатцать и они забрали марселу и вынесли на улитцу и уехали. блиин как мне было фигово. и марко и его мама поехали на метро в больнитцу а я пошол домой. марсела там уже ночь скоро две. марко позвонил мне сегодня из больнитцы и мы решили что не будем больше пить это дерьмо. Жирдяй поклялся своей мамой что сожжот рецепт. блин что если меня заловят. я же не виноват. блин этот марко вот блИн козел

Матс Кемпе

Санна

Перевод Татьяны Доброницкой

ВЫСОКИЕ чашки с кофе, который тут положено заказывать по-итальянски, и томительно-медленная джазовая певица, голос которой доносится из упрятанного куда-то стереопроигрывателя (мне видно только половину колонки, скрытой за вентиляционной шахтой). Заведение кажется перенесенным сюда из центра Стокгольма, хотя на самом деле мы в деревушке неподалеку от шоссе, тянущегося вдоль берега моря, и я сижу напротив Фредриковой матери в придорожном кафе, которое она *ну непременно хотела мне показать*, потому что в нем *все такое старинное*, все так хорошо сохранилось. И мне приходит в голову, что кафе может с таким же успехом быть новым, суперсовременным, настолько оно тщательно продумано... выверено до последней детали. Как будто ты попал на съемки фильма и сидишь в исторически достоверном интерьере...

Теперь владельцами кафе стали молодые люди, явно приехавшие из северных краев, из Стокгольма; не случайно стол, на который официантка ставит наши булочки с миндальной начинкой, покрыт стеклом и окантован латунью. Девушка говорит что-то забавное... видимо, она моя ровесница... а может, и старше, догадываюсь я, когда она склоняется над столом: уж больно аккуратно она подмазана, как будто ей есть что скрывать. Пропустив ее слова мимо ушей, я лишь улыбаюсь в ответ и окидываю взглядом старомодные рекламные плакаты на стенах, призывающие покупать товары, которых больше не существует, — и чувствую, что мне здесь неуютно. Мы торопимся попробовать разрезанные надвое булочки и, приподняв верхнюю половинку, надкусываем ее. Нос и губа Мэрты тут же пачкаются сахарной пудрой, я провожу указательным

© Mats Kempe, 2001
© Татьяна Доброницкая. Перевод, 2007
© Fanny Zaabi Behrer. Фотография

пальцем по своему носу и вижу, что со мной приключилось то же самое, мы смеемся, затем принимаемся за кофе, поднимаем чашки, которые неудобно держать, потому что они без ручек, и осторожно дуем.

Одновременно на автомобильной стоянке перед кафе появляется мужчина в ветровке, которого я смутно различаю между золотыми буквами на оконном стекле. Лет ему примерно столько же, сколько Мэрте, что называется, *молодой пенсионер...*[1] вот он останавливается, подбирает с земли брошенный кем-то пластиковый пакет и смущенно озирается по сторонам, очевидно, ищет мусорную корзину... а я удивляюсь, на что ему сдался этот пакет. В кафе мужчина явно не работает. Пускай девица и подбирает, думаю я, но мне тут же становится стыдно, я закусываю щеку и пытаюсь сосредоточиться на чем-нибудь другом — ради Мэрты, к которой я на самом деле отношусь хорошо. Между ней и Фредриком творится что-то странное, я имею в виду их отношения. Он вроде бы души не чает в матери, часто говорит о том, что надо съездить ее навестить. Особенно настаивал теперь, перед нашим отъездом в дальние страны. Но стоит им встретиться, как они начинают действовать друг другу на нервы, так что сегодня, например, он уехал в Энгельхольм попрощаться с кем-то из друзей детства, оставив меня и Мэрту, как она выражается, *грызться между собой,* хотя мы не грыземся, а прекрасно ладим. Мы с ней ездим по округе, заходим в небольшие галереи, рассматриваем картины и изделия местных промыслов... а все потому, что Фредриковой матери кажется, будто я интересуюсь искусством. У нее дома есть открытка с "Герникой", картиной Пикассо, которую мне ужасно хочется посмотреть "живьем"; я призналась в этом Мэрте — и пошло-поехало... Нет, я совершенно не против такого времяпрепровождения, нам хорошо вместе, я чувствую, что нравлюсь ей, и сейчас она следом за мной оборачивается к стоянке, глядит на мужчину, который застыл с пакетом в руке. Он снимает кепку, приглаживает редкие волосы, и я все больше убеждаюсь, что он какой-то чудаковатый, едва ли не псих, однако Мэрте он кажется занятным, она улыбается, кивает ему... словно отвечает на приветствие.

— Вы знакомы? — спрашиваю я.

— С чего ты взяла? — удивленно шепчет она, усматривая в моем вопросе некий намек, и я перевожу разговор на картины, которые мы сегодня видели.

Рассказываю, какие мне пришлись по вкусу, как мне *безумно понравились морские пейзажи*; впрочем, я слегка преувеличиваю, чтобы доставить ей удовольствие.

И тут Мэрта кладет обе ладони на мою правую руку и, выждав несколько секунд, произносит:

— Неужели вы действительно поедете путешествовать? Ты уверена?.. Ты ведь такая молодая... такая хорошенькая, — прибавляет она чуть погодя, и в ее тоне не чувствуется досады или высокомерия, хотя я прекрасно знаю, что не блещу красотой.

— Со мной же будет Фредрик, — отвечаю я, чтобы она не тревожилась зря. — Он уже раньше бывал в Латинской Америке, и мы едем по обмену между двумя организациями волонтеров, собираемся посетить несколько стран. По крайней мере, сбежим из Фальчёпинга, — смеюсь я,

1. Обычный возраст ухода на пенсию в Швеции — 65 лет. (*Прим. перев.*)

поскольку сейчас мы живем именно в этом городе.

Мэрта молчит и лишь неторопливо водит взглядом по сторонам, точно размышляя о чем-то.

— Сколько тебе лет? — наконец спрашивает она, хотя я когда-то отвечала на этот вопрос, скорее всего даже не раз.

— Двадцать один год.

Вид у нее становится совсем задумчивым. Я понимаю, что она высчитывает разницу с Фредриком. Он старше меня на шестнадцать лет, ему вот-вот исполнится тридцать семь, но я убеждена, что я необыкновенно зрелый человек для своего возраста; похоже, Мэрта закончила вычисления и пришла к тому же результату, поскольку она принимается задумчиво мурлыкать себе под нос какую-то мелодию, не отводя взгляда от чудака, который все еще ходит возле кафе... а я вспоминаю, как стригла Фредрика. Это было перед самым отъездом сюда, на юг страны, и я его обкорнала машинкой почти под ноль. Помню, как мы разделись догола и я водила руками по щекотному ежику. Фредрик хочет и меня заодно обкорнать, только я пока не созрела, хватит татуировки. Он, конечно, прав, без волос в дороге было бы проще да и по жаре ходить прохладнее, однако я уже перескочила мыслями на другую тему: как я изображу Фредрику девицу за стойкой. Лучше всего описать ее равнодушным, отстраненным тоном, *мол, эдакая деваха, которая давит в себе всякое сочувствие к людям за счет увлечения мыльными операми и порнографией*, и сказать это следует так, чтобы он, ошеломленный моим описанием, рассмеялся — пускай грубовато, зато искренне. И вдруг я спохватываюсь, что нам не подали молока. Как же есть булочки с миндальной начинкой без горячего молока? "Разве тут их едят иначе?" — уточняю я у моей спутницы. "Можно и с молоком", — отвечает Мэрта, но она уже практически доела свою, на тарелке осталось немножко миндальной массы и взбитых сливок, и я сама кричу официантке: "А молока у вас нету?" — "К кофе?" — переспрашивает она, тогда как Мэрта пытается урезонить меня словами: "Мне ничего больше не нужно". Видимо, ей неловко за создавшуюся ситуацию, потому что мой вопрос повисает в воздухе. Подавальщица (она все-таки явно старше меня), очевидно, готова забыть про него, она поглощена кофеваркой, пытается выколотить из нее отжатую гущу, а я думаю о том, что это совершенно не мое заведение, здесь совершенно не моя жизнь, моя протекает где-то в другом месте, здесь меня вовсе не хотят видеть, и лучше убраться отсюда, наверняка не пожалею... но ничего этого я не говорю. Возможно, ради Фредриковой матери.

Она между тем интересуется, с какой страны мы начнем, и я говорю, что не знаю. Еще не решено, это зависит от немецкой группы, или *делегации*, как называются наши группы официально. Во всяком случае, летим мы в Мехико. Пробудем там не больше суток в ожидании другого самолета, а потом, наверное, пересядем еще на поезд. Путешествие будет прекрасное, просто замечательное.

— Ты что, беспокоишься за Фредрика? — спрашиваю я.

— Да не за Фредрика, — качает она головой, — он-то из всего выпутается, так уж бывало не раз. Впрочем, я, конечно, беспокоюсь, только что толку от моего беспокойства?

И Мэрта снова принимается следить за чудаком на автомобильной стоянке, который тем временем сел и, опершись о чужой капот, переби-

рает в руках пакет, словно играя с ним... нет, он явно псих, думаю я, или какой-то сверхоригинал.

— Я больше беспокоюсь за тебя, — продолжает Мэрта, удивляя меня этой фразой. Мне бы надо улыбнуться, а я, сама не знаю почему, вообще никак не реагирую. — Ты еще слишком молоденькая.

Меня прямо-таки подмывает сказать, что я вовсе не ахти какая молоденькая, но слова застревают в горле. Я оглядываюсь по сторонам и вдруг мысленно соглашаюсь с ней и со всеми остальными, я ведь действительно младше всех здесь, в том числе и подавальщицы, которая колотит по кофейной машине, чтобы выбить из нее отжатую гущу... девице-то наверняка под тридцать, думаю я... и замечаю, какие у нее маленькие груди. Почти незаметные. Она стучит по кофеварке, а под свитером даже ничего не колышется. Я бы на ее месте как-нибудь их увеличила. С ее-то стремлением к совершенству. У нее ведь тут всё, что ни возьми, идеально, до последней мелочи. Даже странно, что она могла упустить такую подробность в собственной внешности. Я замечаю свою недоеденную миндальную булочку и, высвободив руку, которую держит Мэрта, отпиваю кофе.

От стойки снова доносятся удары. И вдруг Мэрта выдает нечто важное, я вслушиваюсь в ее негромкие, прерывистые слова, доносящиеся до меня между колотьем по кофеварке:

— Фредрик... не всегда... вел себя корректно... по отношению... к своей прежней... девушке...

Слова, которые Мэрта пытается уместить в промежутки между ударами, куда влезает по нескольку слогов. Постепенно она ускоряет темп:

— Он много раз изменял ей... по крайней мере, не меньше двух... о которых мне известно.

Тут официантка перестает долбить кофеварку. И Мэртин голос обретает силу, становится пронзительным:

— Я не хочу, чтоб он и с тобой обращался кое-как! — выпаливает Фредрикова мать и умолкает, обнаружив, что ее голос разносится по всему кафе... она тревожно, кусая губы, смотрит на меня, но не может удержаться и договаривает уже шепотом: — Обещай, что не допустишь этого. — И затихает.

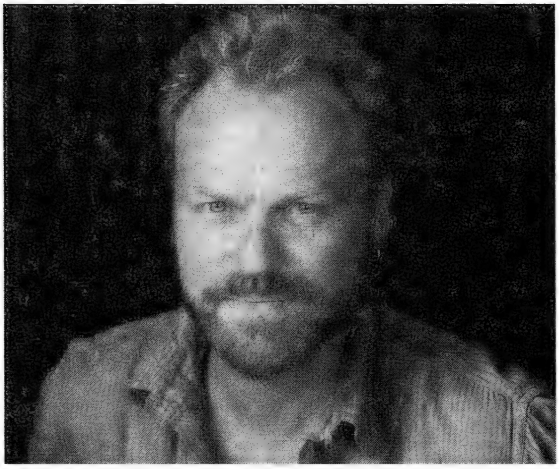
Мы долго сидим молча, не шевелясь. Пока Мэрта снова не трогает мой рукав.

— Я волнуюсь за тебя, — говорит она своим обычным голосом; вероятно, ей кажется уже неважным, кто нас может услышать, поэтому она не считает нужным снова переходить на шепот, тем более что посетителей в кафе раз-два и обчелся, а от кофеварки исходит громкое шипение. Подавальщица за стойкой не иначе как снимает сливки с молока, и в моей голове гудят слова: *им не отнять у меня мой социализм, вам не отнять у меня мой социализм*, — но я сдерживаюсь и не произношу их, потому что... потому что это было бы неуместно... да и Фредрикову мать обижать не хочется... в общем, ради нее... она ведь не интересуется политикой... в отличие от меня... она мне нравится, только ей совершенно непонятно, чем я занимаюсь, непонятна моя гражданская позиция... К тому же Мэрта снова держит меня за руку. Чтобы избежать ее взгляда, я смотрю на стоянку. Замечаю, что и она переводит взор туда. Мы обе глядим на чудака за окном. Ждем, что́ он еще отмочит.

Скорее всего, он не сумасшедший, думаю я, просто дурачится, разыгрывает спектакль... изображает артиста пантомимы... и вдруг он берет пакет и напяливает себе на голову, тянет за ручки, как будто это "уши" лётного шлема, причем вид у него, когда он проделывает свои фокусы, усталый и скучающий. В нашу сторону он даже не смотрит. Неужели забыл, что мы сидим в кафе? Или просто уверен, что мы не сводим с него глаз? Тут Фредрикова мать фыркает, еще мгновение — и вот мы уже обе хихикаем. И все-таки я даже не кошусь на нее. Я уперлась взглядом в пластиковый пакет на голове чудака, тогда как Мэрта осторожно прижимает к себе мою руку и ровным голосом произносит:

— А эта его пассия из Энгельхольма пускай тебя не беспокоит. У нее есть муж и дети.

Ханс Гуннарсон



За стеклом

Перевод Александры Афиногеновой

Я закладываю ломоть хлеба в тостер, нажимаю рычажок и жду. На улице ноль градусов, ни больше, ни меньше, и какой-то неуверенный дождь. Снега еще нет. Почему я сижу здесь? Третий вечер на этой неделе я, приготовив чай, провожу у кухонного окна и наблюдаю, жду, когда в спальне на другой стороне улицы зажжется свет, жду, когда я смогу их увидеть. Роланд смотрит телевизор, я закрыла дверь в комнату, и он придет не раньше, чем я его позову. Если они появятся сегодня вечером, он их заснимет; видеокамера стоит на штативе, остается лишь нажать кнопку. Если все так и случится, значит, он воспользуется ею во второй раз. Я подарила ему камеру на пятидесятилетие, и он ничего не снимал с того самого дня, да и тогда получилась какая-то чепуха. Не знаю, как-то странно снимать и их, это словно бы не одно и то же, кроме того, мне кажется, кадры, снятые через стекло в темноте, будут не слишком удачными, так я думаю, но это его идея.

Уже несколько часов как стемнело, и вроде ожидается похолодание. Я выскребаю остатки мармелада из банки, намазываю на хлеб и сверху кладу ломтик сыру, а еще один в рот. Острый сыр, с запашком. Воняет потными ногами, по мнению Роланда, но я такой люблю. Я жую и смотрю на дом напротив, вижу другие освещенные комнаты и людей, но лучше всего просматривается их спальня, она расположена на уровне нашей кухни, точнехонько. Мы глядим прямо в нее, между нами только улица.

Они переехали сюда совсем недавно, и именно я впервые увидела их. До них здесь жила одинокая пожилая дама, наверняка вдова, а до нее там обитал мужчина, который лежал в кровати, точно ящерица, уставив-

© Hans Gunnarsson, 1996
© Александра Афиногенова. Перевод, 2007
© Ulla Montan. Фотография

шись по большей части в потолок, такое создавалось впечатление. Теперешние жильцы, похоже, принадлежат к людям творческим, богеме. Они возвращаются домой в самое разное время, и я, кстати, видела ее за мольбертом, а чем занимается он, я не знаю. Но возникло убеждение, что они своего рода художники. Пусть Роланд с этим и не согласен. Он говорит, что они наркоманы или, по крайней мере, асоциальны. Это его выражение. *Асоциальны.* Но я так не считаю, я никогда не смотрела на них подобным образом, а видела их чаще, чем Роланд.

Когда я впервые увидела их в постели, я присела на корточки за кухонным столом, мне вроде бы стало стыдно, так это было откровенно, нараспашку. Они показывали все. Потом и Роланд обнаружил, чем они там занимаются, но мне не признался. И тогда я сказала, что все знаю, и как-то так получилось, что мы начали наблюдать за ними вместе. Сперва мы чувствовали себя неловко, немного глупо, но теперь мы просто гасим свет на кухне, садимся за стол и смотрим. И пока все это продолжается, сидим неподвижно, практически ничего не говоря. Только потом наступает это. Точно взрыв. Не всегда, но часто.

Они в комнате повсюду. Всегда голые, но речь идет не только о сексе, хотя часто этим заканчивается. Они играют в своего рода игры. Иногда он бегает за ней по всей квартире, кругами, в спальню, а оттуда на кухню, но там мы только угадываем их фигуры. Правда, чаще всего они остаются в спальне. Иногда танцуют. По-моему, это прекраснее всего. Потом может произойти все что угодно. Уперевшись в стену или встав на четвереньки, ни на минуту не прерывая ритмичных движений коленей, однажды даже прислонившись к окну. Нередко сзади. И все же больше всего им нравится в постели. Они могут заниматься этим долго, очень долго, и в этом на самом деле есть многое от игры. Как-то раз они накрыли кровать куском пластика, и он обрызгал из шприца ее грудь и живот и все остальное сливками и разными другими липкими жидкостями и потом начал, причмокивая, слизывать. Вот так они развлекаются.

Я сижу и жду. С кроссвордом, со своими мыслями и разнообразными буклетами про остекление балконов. Роланд попросил меня проглядеть их. Но я не уверена, что это так уж разумно. Безусловно, было бы здорово иметь возможность сидеть там осенью, когда идет дождь, или смотреть, как идет снег под Рождество, но это ведь и стоит недешево, и я не знаю, у меня нет Роландовой уверенности, что нам надо вложить деньги именно в это. А летом, что будет летом? Наверное, стекла превратятся в зажигательные. По-моему, нам нужно подождать, все как следует обдумать, не торопиться, чтобы потом не пожалеть. Я не уверена. И это, пожалуй, типично. То, как обстоят дела сейчас, с безработицей и ЕС, с Россией? Никто ведь по-настоящему не знает, что́ в наши дни надо делать, так мне кажется.

В их спальне по-прежнему темно. Я пытаюсь переключиться на то, что мы будем есть завтра, мясо или рыбу. Встаю, иду к холодильнику, заглядываю в морозилку. Цыпленок. Это вкусно. Холодит руки, твердый как камень. Я кладу его в мойку. Точно большой камень, найденный в снегу.

Прислушиваюсь к звукам в гостиной. Что он там смотрит? Похоже на боулинг, но думаю, это что-то другое, какой-нибудь фильм, о котором он говорил. Я грею воду для чая, вынимаю пачку крекеров — мне чего-то хочется, но я не знаю чего, так что пусть будут крекеры. Снова сажусь за стол, пытаюсь какое-то время разгадывать кроссворд, но ничего не полу-

чается. Так частенько бывает. Не хватает нескольких слов, и я не возьму в толк, что это могут быть за слова. Или разгадываю кроссворд, а потом обнаруживаю слова, которых просто не существует, обычно из трех или четырех букв, совершенно непонятных. По крайней мере, в словаре я их не нахожу. И тем не менее кажется, будто все разгадано верно.

Вода закипает. Я снимаю чайник с плиты, заливаю воду в заварной чайник, насыпаю туда немножко чая с корицей и даю несколько минут настояться. Намазываю крекер.

Тут-то я их и обнаруживаю. Сначала на кухне, потом зажигается свет в спальне, и я вижу обоих — он в черном пиджаке, она — в кожаной куртке. Какое-то время я выжидаю, потом гашу лампочку над мойкой и зову Роланда.

— Роланд, они там! — кричу я. И он как всегда тут же появляется.

Когда он входит на кухню, я сижу на стуле. Увидев их, он молча кивает и улыбается и тотчас принимается возиться с видеокамерой, передвигает штатив.

— Ты не можешь приглушить телевизор? — говорю я.

— Зачем это? — спрашивает он, пристально, недоуменно глядя на меня.

И я выкидываю это из головы.

— Отодвинь немного стол, — говорит он, — чтобы я с камерой подошел поближе.

— А тебе обязательно надо снимать? — спрашиваю я.

— Спокойно, — говорит он, — спокойно.

Я придвигаю стол к себе, пересаживаюсь ближе к стене. Отсюда хорошо видно. Роланд пододвигает штатив к окну, склоняется над камерой. Я слышу звуки телевизора из гостиной, они действительно напоминают глухие удары катящихся шаров, похоже на урчание.

— Нет никакой уверенности, что они сегодня чем-нибудь займутся, — говорю я.

— Поглядим, — отзывается Роланд. — Ну вот, теперь отлично. Хочешь взглянуть в камеру?

Я мотаю головой. Роланд усаживается на стул, закуривает. Мне вообще-то не слишком нравится, что он курит, но я ничего не говорю. Мы сидим молча, глядя в спальню напротив, они там, но раздеваться пока не начали, вполне возможно, сегодня вечером у них не то настроение. Нам ведь об этом ничего не известно. Я вижу, как она открывает гардероб, на минуту застывает, качает головой. Он разговаривает с ней. Интересно, что бы изменилось, если бы мы могли вдобавок и слышать их. Потом она закрывает гардероб, и оба выходят из спальни, но свет не гасят.

— Смотри, — говорю я.

— Они вернутся, — говорит Роланд.

— Ты сейчас снимаешь?

Он мотает головой.

— Мне не нравится, что камера стоит так близко к окну, кто-нибудь может заметить и заинтересоваться...

— В темной комнате невозможно что-нибудь увидеть, — возражает Роланд. — Особенно если у тебя самого горит свет. Невозможно.

— Я не их имела в виду, — говорю я, — могут быть другие, в какой-то другой комнате, темной комнате.

— С чего бы это кому-то на нас смотреть? — удивляется Роланд.

— Не знаю, — отвечаю я; действительно, откуда мне знать.

Роланд гасит сигарету, тянется за зубочисткой, ковыряет ею в дупле, с которым упорно не желает расставаться. Он не был у зубного врача наверняка три года. Нажав на больное место, он корчит страшную рожу и пучит глаза. По-моему, это глупо, ужасно глупо. Он разглядывает зубочистку в поисках следов крови. Рот у него наполняется слюной. Я беру еще один крекер. Спальня освещена, но по-прежнему пуста, и на кухне их тоже не видно.

— Что идет по телевизору? — спрашиваю я.

— Что? — переспрашивает он, точно не слышал вопроса.

— Что ты смотришь? — повторяю я. — Боулинг?

Он, открыв рот, глядит на меня, словно на идиотку.

— С какой это стати мне смотреть боулинг? — удивляется он. — Я вовсе не люблю боулинг.

— Я это сказала потому, что звуки похожи на стук шаров. А что же ты тогда смотришь?

— Смотрел новости, — отвечает он, — но, может, сейчас и правда показывают боулинг, откуда мне знать.

И вдруг я их вижу, они голые, совсем. Она первая вбегает в комнату и бросается на кровать, следом за ней он. Я знала, знала, что они займутся этим сегодня вечером.

— Господи! — восклицает Роланд и сразу же склоняется над видеокамерой, но, по-моему, ему не надо было бы этого делать.

Они обнимаются, катаются по постели, и вдруг она оказывается сверху. Просто невероятно, как у них это получается, сколько в них страсти и радости. Роланд смотрит на них через объектив камеры, я слышу, как он дышит, сглатывает. Мне хочется, чтобы он сел, выключил камеру, но я не могу выдавить ни слова. Теперь он вошел в нее сзади, с силой берет ее раз за разом, а она держится за спинку кровати. Могу себе представить, я почти ощущаю это в себе, сжимаю ноги.

— Ты не сядешь? — говорю я, но Роланд лишь отмахивается. И в следующую секунду я вижу снег, первые снежинки.

Вот так, внезапно.

И их становится все больше и больше, и все крупнее. Никогда не видела таких огромных снежинок. Точно ватные шарики. Повсюду.

— Вот черт, это снег, что ли? — восклицает Роланд. — Черт возьми, откуда вдруг снег!

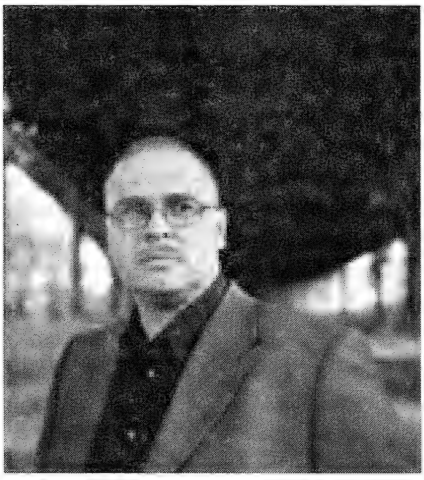
Он глядит на меня, точно это моих рук дело. Качает головой. Я молчу. Я смотрю в их окно, но скоро его уже не различить, скоро все затянет белизной, густой белизной.

Наступает полная тишина, точно в пустоте.

Роланд выключает камеру, зажигает сигарету, им овладевает какое-то беспокойство, он подходит к мойке. Пускает сильную струю воды, долго ждет. Я слышу, как он пьет, сплевывает. Я по-прежнему сижу на стуле, вперив взгляд в белизну, кипящую белизну, и ничего не вижу. Роланд вздыхает. Вынимает из холодильника банку пива, я чувствую его взгляд, но не говорю ни слова. Молчу. Жду. Роланд, погасив сигарету, идет в гостиную, закрывает за собой дверь, становится тише. В пепельнице дымится окурок. Я смотрю в окно. Только белизна, белая штора, задернутая. Я беру крекер, жду...

Не знаю, что мне делать.

Ларс Якобсон



Внезапная тишина в большом аэропорту

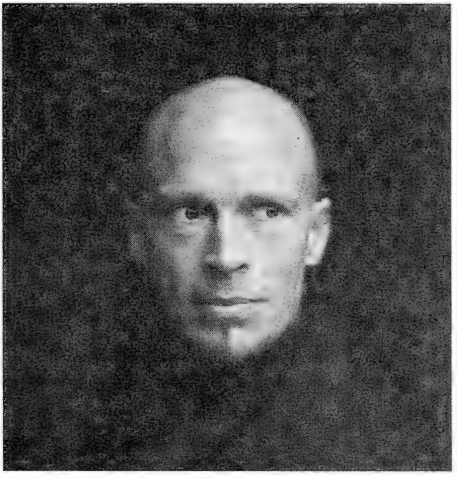
Перевод Александры Афиногеновой

ДАВНЫМ-ДАВНО я купил себе удобный кожаный футляр, размером с портмоне, для паспорта и авиабилетов. Раньше на регистрации или паспортном контроле мне частенько приходилось подолгу копаться в сумках, чтобы найти документы. Теперь у меня все аккуратно сложено в одном месте. Когда мы ездим с женой, я храню в этом футляре и ее документы. Удобно и надежно. Но у меня есть смешная странность. Я и вспомнил-то о ней задним числом. Каждый раз, вынимая наши паспорта, я почему-то пролистывал их до странички с фотографией, чтобы отдать жене ее паспорт, а себе оставить свой, но вместо того, чтобы открыть один паспорт, открывал оба. Может, это было предчувствие, а может, именно эта моя привычка сыграла со мной странную шутку. В один прекрасный день судьба или боги просто устали от этого бессмысленного листания. Не знаю. Я раскрыл свой паспорт и прежде, чем передать паспорт жене, раскрыл и его тоже. Или же я раскрыл ее паспорт, отдал ей, а потом проверил, действительно ли второй паспорт мой. В туалете миланского аэропорта кто-то довольно метко нагадил на сиденье стульчака. Твердая, блестящая колбаса, которую издали можно было принять за украшение. Пришлось ждать, пока освободится другая кабинка. Когда я вышел, мы уже опаздывали или же просто спешили по привычке. Не помню. Мы побежали по коридорам, и я, не снижая темпа, вытащил футляр. Вытряхнул паспорта, открыл свой и сунул в карман. Потом раскрыл ее. Там она, кто бы она ни была, — совер-

© Lars Jakobson, 2004
© Александра Афиногенова. Перевод, 2007
© Cato Lein. Фотография

шенно незнакомая женщина, темноволосая, в очках. Я остановился, люди, толкаясь, спешили мимо, а я крепко держал паспорт с неведомыми мне именем и местом рождения. Кроме того, она была моложе. "Что случилось?" — спросил кто-то, я поднял глаза и увидел, что она стоит всего в нескольких метрах от меня, как будто только заметила, что я остановился. Она, та самая, другая, незнакомая женщина протягивала мне руку. "Чего ты ждешь? — произнесла она. — Что-нибудь потерял?" Я не ответил, только покачал головой. Сбитый с толку, я догнал ее и протянул паспорт, она взяла его, и я видел, словно сквозь пелену и в то же время совершенно отчетливо, как она спокойно прошла передо мной к окошку и миновала контроль. Это случилось восемь лет назад. Сколько раз я с тех пор с трепетом открывал свой паспорт — в надежде оказаться кем-то другим.

Ульф Эриксон



Цвет неба, цвет надежды

Перевод Александры Афиногеновой

I

ОНА всегда с тревогой закрывает дверь, оставляя его одного. Кто знает, что взбредет ему в голову. С него станется порезаться ножом, не закрыть кран в ванной, забыть, кто он и что он собирался сделать. Он может впасть в панику и позвонить врачу, а потом, когда та снимет трубку, не произнести ни слова. Но порой он способен просто спокойно сидеть, просматривая газету или листая книжку с картинками и грызя кубики моркови, которые она каждый день (после того как бросила курить) ставит на стол в миске. Кто он? Она прожила с ним больше тридцати лет, но ответа у нее нет. Кроме одного — он ее старший брат.

Снова щелкнула дверь. Она размышляет: если бы я смогла уйти сейчас, без него, одна, но — куда? На самом деле ей осталось лишь кое-что доделать: купить батарейки для CD-плеера, зайти в аптеку, посидеть немного в парке до того, как придет время готовить ужин, и попытаться заснуть пораньше, чтобы успеть на электричку в Арланду. В прихожей стоят уже упакованные чемоданы. Пока перед ней медленно ползет очередь в кассу магазина, она думает о чемоданах, об их содержимом, их тяжести, о том, есть в них смысл или нет.

Открыв дверь и войдя в квартиру, она обнаруживает брата в том же положении, в каком она его оставила: склонившись над кухонным сто-

© Ulf Eriksson, 2003
© Александра Афиногенова. Перевод, 2007
© Ulla Montan. Фотография

лом, он возится с моделью корабля, которую начал делать еще зимой. Он крупный человек: пинцет в его руках выглядит как игрушка для кукол.

– Пора есть, а потом надо будет принять душ, – говорит она. Он энергично кивает.

Но вечер будет долгим, потому что брат сперва намерен посмотреть фильм на видео, а потом съесть бутерброды с шоколадом. На следующий день пейзаж за окнами электрички уносит ее к забытым чувствам, восполняющим недостаток сна. Брат, довольный, в отглаженной рубашке, сидит рядом, водя пальцами по своей фотокамере.

– Я не забыл теплоход "Худ", – говорит он.

– Нет, конечно, ты не забыл корабль, ты не забыл ни плавки, ни купальный халат.

– В Пунта-Палома лучшие в Европе пляжи.

– Только ты должен пообещать, что действительно поможешь мне с чемоданами, когда мы будем пересаживаться на другой самолет в Мадриде. Ведь ты весишь сто двадцать килограммов, а я всего шестьдесят.

Он звонко смеется. Какой-то бизнесмен резко поворачивается к нему, не отрывая взгляда от новостей на экране в конце вагона.

Ночью на подоконнике образуется пирамидка песка, просочившегося сквозь тонкую щель между створками. Эсперанца Голдинг растирает песок между пальцами, песчинки четко проявляют узор на подушечках. Утро второго дня, уже наступили будни. Она в бунгало одна, собирается выйти в сад с подносом, на котором завтрак. Между кустами кактусов она различает соседа, светлокожего мужчину в шортах, он, похоже, разглядывает что-то в бинокль. Курт Голдинг, снабженный надувным кругом и купальным халатом, внизу, на пляже, ему велено не заходить туда, где он не будет доставать дна.

Она ощущает укол совести за то, что даже в самом начале их пребывания здесь не смогла разделить его радость, а сразу же оставила одного. Но он же, говорит она себе, не слабоумный в прямом смысле этого слова. У него постоянная работа на почте, в отделении посылок, и налаженный быт. Просто ему трудно выражать свои мысли, и он часто цепенеет от смущения перед незнакомыми людьми, если они слишком навязчивы. По мнению Эсперанцы, ему нравятся женщины, но его потребность в них никак не проявляется, никаким, даже самым деликатным образом, о котором она как сестра могла бы знать. Его вечера в темное время года не отличаются друг от друга: он просматривает газету, ест то, что она ставит перед ним, клеит очередную модель или слушает музыку, смотрит телевизор, принимает душ и ложится спать.

– А у тебя есть молодые друзья? – спросила она недавно брата.

– Есть, но они не знают, где я живу, – ответил он с улыбкой. У него два вида улыбок: одна добрая, а другая – пугающая, и в тот раз он улыбнулся доброй улыбкой.

Во время первого перелета они оба заснули. Ей приснилось, что она бродит одна под дождем в поисках своей подруги Рут. Вода течет у нее по спине, в туфлях хлюпает. Люди, попадающиеся ей навстречу, высоко держат головы, устремив взгляды в будущее. "Вы не видели Рут?" – спрашивает она кассиршу в обувном магазине, но та не отвечает, возможно

из-за стоптанных туфель Эсперанцы. Она хочет выйти, но ей не удается открыть дверь. "У нас закрыто", — произносит голос у нее за спиной. Обернувшись, она видит, что в магазине пусто и темно. В полумраке блестит обувь, расставленная по размерам. Страшно разозлившись, она решает заняться примеркой обуви. Ее разбудило легкое прикосновение человека в форме:

— Через десять минут мы приземлимся в Мадриде, сеньора.

Рут покончила с собой несколько недель назад. Позвонила их общая подруга и сообщила, что Рут, приклеив письмо с запасными ключами с наружной стороны двери, заперлась изнутри и повесилась в холле. В тот вечер Эсперанца прорыдала, пока не заснула. Курт, обычно уходивший в свою комнату, когда она бывала чем-то расстроена, на этот раз изменил себе и провел с ней несколько часов, обнимая и утешая.

— Мне тоже грустно, — сказал он, — она мне тоже нравится, где она может быть сейчас?

На следующий день Эсперанца взяла больничный. Когда Курт ушел на почту, она открыла окно и выглянула наружу: под окном она видела все поблекшим, рассыпавшимся, а на другой стороне улицы прозревала, словно горную гряду сквозь дождь, тьму.

С Рут они познакомились в последний год учебы в гимназии. Они дружили еще с парой девочек, но после экзаменов их пути разошлись. Спустя пять-шесть лет они встретились на вечеринке. К тому времени Рут была состоявшимся адвокатом, а Эсперанца преподавала риторику — как частным лицам, так и по заданию ландстинга. Они начали общаться, ходили на выставки и концерты классической музыки, хотя обе считали, что слишком молоды для подобных "дамских" развлечений. Иногда они проводили вечера дома у кого-нибудь из них за бутылкой вина и видео. У Рут всегда было о чем рассказать — Эсперанца не понимала, как та умеет находить в жизни столько интересного. Сама она уже много лет жила в состоянии паралича. Она подозревала, что это связано с тем, что ее родители отказались разделить с ней ответственность за брата, но поделать ничего не могла.

Мать с отцом до конца жизни просидели, словно замороженные, в своей вонючей вилле в Эншеде, глядя, как Эсперанца крутится, водя Курта туда-сюда по его темному лабиринту: пакет с почтовой формой из стирки, вечерние газеты, видеокассеты, пакеты с продуктами, модели судов — забава для подростков, пакеты из прачечной, форма, газеты, видео, продукты, горы пластика, пакеты из прачечной...

— Неужели у вас нет ни грана сочувствия? — как-то спросила она. — Почему вы от него отвернулись? Почему бы ему иногда не пожить здесь, он бы помог вам ухаживать за садом.

На это мать едва слышно ответила:

— Сад — моя единственная радость с тех пор, как Адам впал в депрессию.

Побережье между Гибралтаром и Кадисом отличается длинными величественными песчаными дюнами и пляжами, которые не эксплуатировались столь же интенсивно, как средиземноморские, поскольку Атлантический океан холоднее и, кроме того, здесь испанская морская база и часто устраиваются стрельбы. Бывает, НАТО проводит в этих местах

учения на глазах у соседа: громадные авианосцы, где самолеты отрабатывают взлет и посадку, на них наверняка имеются хитроумные приборы, позволяющие пересчитать каждую колючку на кактусах в садах, защищающих бунгало от ветра.

Эсперанца не знает, стоит ли ей рассчитывать на компанию в этом маленьком местечке. Сюда обычно приезжают люди, которые ищут покоя, сказала ей дальняя родственница из Барселоны, помогшая арендовать дом. Эсперанца вздыхает. Что значит искать покоя? Возможно, уйти в себя, не терзаясь желаниями. Она вспоминает, как возмутилась, когда Рут высказалась в том духе, что ее, Рут, совершенно не интересует собственная персона. Это случилось, когда они, побывав в кино, сидели в баре за бокалом вина, и Рут задали вопрос о счастье. — Счастье не бывает настоящим, если оно совершенно, — сказала третья подруга. Эсперанца кивнула, не совсем понимая, о чем они говорят. — Счастье одновременно и необходимо, и невозможно, — все же произнесла она, просто чтобы что-то произнести. И тут Рут закурила, откинулась назад, к окну, залитому дождем, и сухо проговорила, что ее совершенно не интересует, кто она такая на самом деле. — Мне важно лишь, чтобы я не страдала, имела возможность хоть немножко наслаждаться и хорошо спала. Мне плевать, кто я. — Тебе плевать, кто ты, — хором подхватили Эсперанца и третья подруга, — значит, тебе, наверное, плевать, кто мы? — Нет, — ответила Рут. — В таком случае, — не без торжества продолжили Эсперанца и третья подруга, — тебя должно волновать, кто ты: потому что только благодаря тому, какая ты есть, ты способна узнать, кто мы — для тебя, ха-ха-ха! — Вот так они и общались, в возрасте, когда многое по-прежнему остается открытым.

Надо признаться, Эсперанца еще не до конца осознавала свою ситуацию: что она уже несколько лет — точнее с тех пор, как отец полностью пал духом, а мать начала погружаться в желчную форму раннего слабоумия, — и родитель, и живущая дома дочь. Ее брат каким-то удивительным образом стал для нее и ребенком, и отцом, а сама она остановилась в развитии. И вот теперь она потеряла подругу, чью тайну лишь смутно различала по другую сторону будничных грез.

На столе в тени сада лежит старая, третьего дня, газета с фотографией нелегальных иммигрантов на кораблике, который вот-вот пристанет именно к этому берегу. Это выходцы из Северной Африки, подгоняемые желанием обрести достойную жизнь в Европе, все больше напоминающей крепость. Обозреватели называют северный берег Гибралтарского пролива и земли к западу от него берегом смерти. Отдав мафии, специализирующейся на незаконном ввозе беженцев, все свое добро и влезая в долги на годы вперед, рискуя — если не сможешь расплатиться — быть искалеченными или даже убитыми, все больше людей оказываются в утлых суденышках, нередко просто на плотах, в опасных водах пролива. За 2000 год более пятнадцати тысяч человек попали на это побережье и на Канарские острова, и несколько десятков умерли при попытке достичь Европы. Третью часть из этих пятнадцати тысяч составляли женщины, многие были на сносях. И все это продолжается. Одних сразу же депортируют, и они пытаются покончить с собой во время обратного пути, других заставляют заниматься проституцией или работать без социальных гарантий, например, в теплицах, где вы-

ращивают томаты, где воздух насыщен ядовитыми испарениями, а температура доходит до пятидесяти градусов.

Эсперанца завтракала, разглядывая суденышко, битком набитое людьми. Это чудовищно, думала она, жуя. Рут всегда считала, что следует избегать подобных новостей. — Заботиться о нуждающихся обязаны правительства, мы, простые люди, ничего сделать не можем. — Но ты юрист, ты прекрасно понимаешь, что граждане в демократических странах ответственны за то, что делают или не делают их правительства, — сказала Эсперанца. — Только в день выборов, — ответила Рут.

Она вспоминала этот разговор, грызя вкусные хрустящие хлебцы с отрубями. В этот момент сосед опрокинул садовый столик из жести, и тут черно-белая фотография в газете начала выгибаться, трепетать и куда-то уползать: корабль ухнул вниз вслед за громадной волной, опять вынырнул на поверхность, песчаный вихрь жег ноздри, нет, это не песчаный вихрь, а соленая пена, послышалась иностранная речь, хриплые, умоляющие, кричащие, плачущие голоса, но ее там уже не было, она шла к своему брату.

На кухне снова стала образовываться песчаная пирамидка, наносимая эллиптической струйкой мельчайших песчинок. Эсперанца обнаружит ее и раздраженно сметет, хотя и не без грусти, поскольку ей нравятся уменьшенные варианты чего-нибудь красивого — в данном случае песчаных дюн высотой до тридцати метров, образующих отсюда и до самого мыса гряду, где черные скалы, словно древняя армия необтесанных великанов, изо всех сил выкарабкиваются из песка, чтобы сразиться с волнами.

Она видит Курта вдалеке, у самой воды. Он сидит или полулежит в купальном халате, склонившись над накачанной камерой от грузовика, с ней он как-то явился домой:

— Я спросил в мастерской, не дадут ли они мне такую, — произнес он, проглатывая окончания слов, и она поняла, как он старается казаться равнодушным.

Он совком копает влажный песок, прокладывает каналы, возводит этажи, лесенки и нечто похожее на начало крепостной стены. Возле стены виднеются несколько домишек со скошенными крышами и переулок, затененный белой бабочкой, повисшей между домами.

— Ты купался? — спрашивает она, и он отвечает, что волны чересчур высокие, и ему страшно к ним приближаться. — Скоро прилив, — говорит она, — и твои песчаные постройки разрушатся. Нам пора ехать, купить овощей и что-нибудь поесть. Нужно смести песок с машины и купить шторки из светоотражающей фольги, такие здесь у всех, иначе песок проберется повсюду, а руль расплавится, как лакрица. — Курт кивает, встает и отряхивается. Его коротко стриженные темно-каштановые волосы стоят торчком, образуя своего рода пластину с острыми краями. Голова большая, но кажется маленькой, потому что шея по толщине равна ширине черепа. Его нельзя назвать жирным, он просто от природы крупный и сильный. Глаза — узкие щелочки:

— На солнце больно смотреть, — говорит он.

— Я тебе куплю солнечные очки, — отвечает сестра и на секунду берет его за руку, чтобы он не остался стоять на месте, когда она тронется в путь.

Но она не делает ни шага, а задерживается взглядом на волнах: они довольно высокие, однако кое-кто купается, а один даже пытается, лежа на доске для виндсерфинга, грести вдоль бурунов. В длинных дачных прицепах, тщательно защищенных от ветра тентами, натянутыми на дугах из стекловолокна и потому похожими на цеппелины или истощенных китов, ночуют французы и немцы. Люди кажутся крошечными среди громадных волн, которые быстро набегают, вырастают в пенные стены, вздымаются над одинокой головой, кажется, поглощают ее и, становясь все тоньше и под конец превращаясь в прозрачную пленку, бегут дальше по мелкому песку, чтобы потом погрузиться в него и тут же отпрянуть туда, к пловцам, чьи головы снова выныривают, пока их не накрывает следующей волной. Солнце светит сквозь водяные гребни — зеленое сияние, от которого вода становится похожей на горный хрусталь, застывший в возмущенной вечности под солнцем и ветром, чья сила все же наполняет слабеющие воспоминания сегодняшнего дня: волны — отголосок старого, уже улегшегося шторма, и безветрие на берегу увеличивает их размер и усиливает их грохот.

— Пойдем же, — говорит Курт, осторожно дергая сестру за косу.

Их машина покрыта тонким слоем песка. Мимо проходит сосед-англичанин, потом возвращается и приносит щетку. На нем зеркальные солнечные очки и шляпа — тесемки завязаны под подбородком, — ему около тридцати пяти, у него длинные руки и на удивление маленькие ладони.

— Приходите вечером на коктейль, — говорит он, повернувшись к кактусу, на колючке которого сидит мертвая улитка, очевидно оброненная птицей.

Эсперанца с улыбкой кивает, солнце слепит глаза. Она заходит в бунгало, надевает бейсболку, закрепляет перемычку под косой и, застыв на месте, тихо обращается к Рут: "Скотина, как ты могла избрать такой исход и оставить меня на этой земле, где я не знаю, как жить? Ты была мне нужна, а я — тебе, но кто-то встал между нами, кто-то невидимый, кого я не заметила. Для меня все являлось загадкой еще до того, как мы снова встретились: моя профессия, мои родители, мой брат, мое тело, мой дом, мои воспоминания. Только ты не была загадкой, ты находилась на другом конце телефонного провода, когда я этого хотела. А теперь тебя нет, и ты никогда больше не услышишь моих вопросов и моих мыслей".

Что значит "никогда больше"? — размышляет она, сосредоточив все внимание на том, чтобы удержать машину на деревянных мостках и не съехать в песок. Выехав на асфальтовую дорожку, под прямым углом ведущую к шоссе между Гибралтаром и Кадисом, она поворачивается к Курту:

— Что значит "никогда больше", братец, не знаешь?

— То, что замок Никогдабольше — единственный настоящий замок, — отвечает он.

— Но, — говорит она, — ты же завтра можешь построить новый замок. А Рут вот завтра не вернется. Она не сядет на самолет до Малаги, не выбросит полторы тысячи на такси, чтобы приехать сюда, не будет завтра лежать рядом со мной и пытаться зажечь сигарету на ветру, не будет выискивать красивых мужчин среди дюн и морской зыби. Никогда больше: неужели ты не понимаешь, глупый Курт. — Но ты ведь можешь

вспоминать ее, — говорит он. — Жизнь коротка, но живи прошлым, и она покажется длиннее. — Она скашивает на него глаза.

Что сделало его "другим" — детство в Эншеде, холодность отца, одиночество, едкие насмешки? Он, возможно, совсем не умственно отсталый, всего лишь особенный. Сколько раз она обдумывала эту мысль, видя за ней бессмысленную надежду: какая разница, если ему уже за тридцать и привычки его устоялись? А разве это не касается и всех нас? Разве нам помогло бы, если бы в какой-нибудь инстанции узнали, что мы на самом деле умнее, чем считали? Исчезновение Рут стало пробуждать именно такого рода вопросы, которые Рут не нравились.

Вспоминать больно, но другой дороги в будущее, кроме памяти, нет. Она понимает, что Курт прав. Краткость жизни не должна вводить нас в заблуждение и заставлять стремиться лишь в одну сторону — вперед, став жертвами обманчивой мысли о том, что предельность извиняет наше пренебрежение к прошлому. Напротив, как раз граница, отделяющая прошлое, и делает его столь важным: жизнь так коротка, что никто не может позволить себе роскошь наплевать на размеры уже произошедшего.

Вообще-то Эсперанца никогда до конца не знала Рут, которой ей сейчас так не хватает. Но получается, ее собственные внутренние критерии знания о другом человеке слились в единую картину из-за того, что человек, в чьих чертах она искала подтверждения этим своим критериям, умер. Или же Эсперанца скорбит потому, что так и не узнала подругу до конца. Что-то замкнулось, ветер стих и улегся на подмерзшие листья, лунный диск в реке поставил точку в ночном желании уехать туда, где отражаются его безвоздушные равнины. Но, быть может, она тоскует не столько об этом, сколько о самом несовершенстве знания, и не исключено, что его можно поменять на какую-либо другую форму несовершенства. Эсперанце нет покоя, ее преследуют вот такие холодные, точные и удивительно прозрачные вопросы.

Ой, как близко едут машины, она дергает руль, и правые колеса съезжают на щебенку. Толстый серо-зеленый лист агавы падает на переднюю стойку дверцы, Эсперанца осторожно тормозит и снова выворачивает машину на асфальт. Пот заливает глаза. Курт сумел, уж непонятно как, вылезти из своей белой рубашки и сейчас сидит, выдавливая прыщик на животе. Она сразу же ощущает дуновение радости. И думает: браво, Эсперанца, ты так долго живешь одна, что срослась с твоим красивым, грустным именем, которое означает — надежда и ожидание!

На балконе, выходящем во двор, сидит маленькая фигурка: это Рут с чашкой чаю и газетой за три дня до самоубийства. Настолько тепло, что в этом небольшом помещении внутри большого пространства Стокгольма можно сидеть босиком, подставляя солнцу отдельные участки кожи. В тени прячется холод: между Рут и большим кленом во дворе стоит дерево-тень, неторопливо фехтуя на ветру с прозрачными ветвями, чьи движения непрерывно поглощает густая листва.

Рут, ростом метр семьдесят, хорошо сложенная, с густыми, постриженными шапочкой волосами, смотрит сквозь движущиеся картины, которые разыгрывают перед ней ветер, тень и дерево. Отрывая взгляд от модного журнала или текста закона, она не видит того, что там можно увидеть, только фиксирует это, будто фоновую музыку в универмаге,

не воспринимая ее, — так девушке внизу, в крытом рынке Хёторгсхаллен, достаточно проработать всего несколько дней после отпуска, чтобы больше не ощущать интенсивного аромата кофе, привлекающего покупателей в ее магазинчик.

Но если смотришь "сквозь" в этом смысле, совсем необязательно, что увидишь что-то особенное. Равнодушие — это не окно, стекла которого можно игнорировать, чтобы лучше насладиться открывающимся пейзажем. Поэтому про Рут на балконе правильнее было бы сказать, что она не смотрит прямо сквозь клен во дворе: дело в том, что она смотрит на него, словно бы его вообще нет.

Коленка по-прежнему дает о себе знать, когда Джон Леннон садится перед компьютером и просматривает электронную почту. На экране появляются списки людей с кодовыми словами и датами. Чертов стол, до чего острые края! Через неделю в Пунта-Палома прибудет корабль с грузом, и к этому времени ему нужно подготовить крытый грузовик для поездки в Тарасону — опасное путешествие вдоль солнечного берега. Тридцать пять человек, уже измученных ночными переходами и ожиданием на побережье Марокко, среди камней, скорпионов и огромных куч водорослей, звенящих от мух. Каждый заплатил десять тысяч крон, нередко заняв их у марокканских знакомых Джона. Расплачиваться они будут заработками в Европе, если, конечно, найдут какую-нибудь работу. В противном случае они попадут на мусорную свалку под Мадридом или Валенсией или, если молоды, в катакомбы сексторговли Барселоны.

Джон смотрит на это иначе. Это его выражение. Мы помогаем людям, попавшим в крайние ситуации, — таково его мнение. Правительства в самодостаточной Европе стремятся закрыть свои страны и защитить свою рабочую силу. Вдобавок им известно, что европейцы с трудом переносят арабов, эту старую вражду не вытравишь разными политическими кампаниями. Но рост населения в третьем мире приведет к тому, что все бóльшие людские массы начнут давить на границы богатых анклавов. Нам тоже предназначено создавать историю словно рыцарям эпохи переселения народов.

Рыцарь Джон со смешным именем, которое он все же не хочет менять. Что-то такое происходит во взглядах людей, когда он представляется, как будто они секунду верят, что перед ними тот, настоящий, что он не умер, а воскрес.

Уголком глаза он замечает проезжающий мимо большой джип. Он слышит, что машина останавливается возле соседнего бунгало. Двигатель выключают, и кто-то кричит: — Привет! Hello! Джон выходит на деревянную террасу и, присев на корточки, вглядывается в заросли кактусов. Еще женщина, судя по всему, одна. Она достает из джипа большую серебристую сумку и видеокамеру. Джона окатывает волна раздражения. Придется и ее пригласить на коктейль и попытаться разузнать, что она собирается здесь делать. Через неделю на этом берегу не должно быть ни одной видеокамеры. Приходит еще одно электронное послание: *Афоризм к размышлению на сегодня – только тот стал взрослым, кто искоренил в себе тоску по дому.* Его шеф посылает ему подобные речения, афоризмы и загадки и потом иногда спрашивает, как они ему понравились. Дом, размышляет Джон, никакого дома никогда не было, Бирмингем, пожелтевшая занавеска на три четверти окна, брандмауэр, пепель-

ница, которую мать никогда не опорожняла, улица, пропахший чем-то кислым паб, где все разговоры давно умолкли, и организация, вызволившая его из всего этого.

Длинные, расплывчатые тени в иссушенном ландшафте просыпаются и приходят в движение. Они мчатся все быстрее, становясь короче и отчетливей, вверх по гребню горы на востоке, чтобы поприветствовать солнце, которое всех их уничтожит, когда прорвется в своем дрожащем великолепии сквозь морскую дымку и быстро поднимется к зениту. На пляже еще никого нет, так что Курт может свободно выбирать место для следующей стройки. Он одет в плавки-шорты самого большого размера, у него с собой совок, на голове белый платок. У него синие от щетины щеки, а глаза — серебряные шарики, обращенные к морю: оно успокоилось и бесшумно катит свои длинные, похожие на равнинные склоны волны.

Он чертит план города. К центру ведут две дороги, по их сторонам расположены четырехугольные парковые зоны. На севере, на самом краю такой зоны, стоит дом для душевнобольных. На крыше в клетке сидит одинокий великан. Птицы роняют на него помет, пока узник не превращается в статую из гуано с медленно шевелящимися губами. — Что ты говоришь, Будда птичьего помета? — недоумевает Курт. — Тебе одиноко в этом городе? Может, кто-нибудь придет и освободит тебя из твоей камеры, может, наступит момент, когда и ты встанешь на свои тонкие птичьи ножки и пойдешь прогуляться по парку, здороваясь с улыбающимися друзьями. Может, на почту поступит продолговатый пакет, санитар заберет его, я поставлю печать на извещение, а там окажется напильник или модель заблудившегося каяка. Каяки, думает Курт, эти длинные, легкие лодки слишком узки для меня, но все-таки я похож на эскимоса.

Потом он строит стадион и жилые кварталы вокруг центральной площади. Где-то здесь живет несчастливая женщина. Он наклоняется над песчаными мгновениями, влага моря скрепляет их, их легко выровнять совком или нарисовать на них что-нибудь спичкой. Он делает дверь, она скользит вверх, Рут уже опаздывает, ткань ее платья вылезает из песчаной стены, и вот Рут уже идет по улице, которая за ее спиной застывает в реальность. Где ты, Рут? — думает Курт, закрывая город от солнца своим телом. Где ты? Моя сестра очень тоскует и не знает, что ей делать в этом жарком, потрескивающем доме среди колючих растений. Ты мне нравишься, Рут, теперь можешь рассчитывать на меня.

Она сегодня решила пойти на работу пешком. Пока еще ничто внутри не предвещает, что ей осталось жить два дня. В универмаге НК распродажа, а в Кунгстрэдгордене убирают мусор после недавнего фестиваля ресторанов. Первое совещание сегодня касается маленькой гостиницы, ведущей переговоры по поводу арендной платы с хозяином здания, жилищным кооперативом, резко поднявшим цену. Она взбегает по лестнице: ее коллега уже ждет, держа в руках кружку с дымящимся кофе. В приемной сидит владелец гостиницы, у него такой одинокий вид, какой только может быть у человека в клетчатом блейзере.

Как ты берешь вещи? — удивляется Курт. Я должен брать их с большой осторожностью. Кружка вроде той, что держит твоя коллега, в моих руках словно яичная скорлупа. Ты что-нибудь чувствуешь, когда бе-

решь разные предметы этого мира? Твои ладони хотят встречи с чем-нибудь еще, кроме самих себя?

Первая половина дня медленно ввинчивается в совещательную комнату. Конец мая, но еще прохладно. В Стокгольме зелено и ветрено, открытый город, полный усталых, одиноких и зажиточных людей, которые забыли, зачем хотели жить. И полный усталых, одиноких и бедных людей, которые помнят, что когда-то хотели жить. Эти группы по мере того, как структурное насилие ослабевает, становятся друг для друга все прозрачнее. Можно говорить о двух народных массах, они перекрещиваются, не замечая этого, как тени и зеркальные отражения в витринах с товарами из золота и силикона, алюминия и резины. Рут живет в красивом, но пустынном городе, где, похоже, немногие ощущают мгновения, они лишь фиксируют их массированное воздействие: в виде стресса, в виде снов, в виде изношенности и старости и в виде белого света забытья, в котором тают темные фасады.

Курт сносит Драматический театр и расширяет покатую площадь. Здесь у них ярмарка с птицами, с цветами и овощами, может, и со страусами, знаковой птицей пометного Будды. Курт, не вставая, вспоминает, как они заходили в овощную лавку, это ведь вчера было, после чего вернулись домой, и маленький, похожий на лемура Джон еще раз пригласил их пропустить стаканчик, и тут появилась женщина из Америки, блондинка с такой же косой, как у Эсперанцы, что развеселило обеих. После недолгого сбивчивого разговора и топтанья на песке Курт вошел в дом, принял душ и надел белый летний костюм, а Эсперанца спустилась вниз поплавать. Потом, когда заходящее за фиолетовые песчаные гряды солнце окрасило море в золотые и красные тона, они отправились к Джону, который, напевая себе под нос, смешивал коктейли из сухого мартини под зонтиком с рекламой мартини. На деревьях он повесил штормовые фонари, из стереопроигрывателя звучал Ллойд Кол.

Оказалось, что американка, подвижная особа с костлявыми руками и черными как смоль глазами, приехала сюда снимать нелегальных иммигрантов. До этого она сделала несколько видеоинтервью с североафриканцами в Мадриде и Барселоне, и ей очень хотелось показать одно из них. Ее помощник приедет завтра — значит, сегодня, размышляет Курт, продолжая свою стройку из песка, — и они собираются установить на одной из дюн наблюдательную вышку с сильнейшим биноклем. Джон буквально впихнул ей стакан мартини так, что половина содержимого пролилось на руку. Не переставая говорить, она слизала спиртное.

В гимназии ходили слухи, что Рут — убийца. Эсперанца не желала слушать, когда ее одноклассники начинали перешептываться о том, что случилось в ночь смерти вахтера. Его нашли мертвым на полу вестибюля со слипшимися от крови волосами. Расхожая версия состояла в том, что он якобы упал, меняя лампочки или протирая плафоны. На лестнице третьего этажа косо лежала стремянка, и падение оттуда сквозь стеклянную крышу на мраморный пол не оставляло, конечно, никаких шансов. Кроме того, на лестнице валялось множество разбитых лампочек.

Но кое-какие детали свидетельствовали о другом. Кто-то видел Рут тем вечером в центральном вестибюле, она рылась в своем шкафчике. Кто-то видел ее на следующий день идущей из школьной прачечной с мешком. Еще кто-то слышал, как она говорила гадости о вахтере за пару

дней до его смерти. В конце концов класс решил узнать, что же произошло. На перемене они окружили Рут и потребовали объяснений.

— Прикончите меня, если хотите, но я не собираюсь отвечать на подобную наглость, — сказала она.

На следующий вечер после вечеринки у Джона наступила очередь американки приглашать. На этот раз пришла и немецкая пара из дачного прицепа, оба загорелые, подтянутые, с золотыми цепочками и марихуаной. Курт сидел немного на отшибе и развлекался с роскошным жуком, который тотчас замирал на месте, стоило Курту к нему обратиться; но он рано ушел домой спать. Американка настаивала на том, чтобы показать интервью с молодым североафриканцем в Мадриде, остальные неохотно согласились. Джон был в плохом настроении и не мог этого скрыть, немцы скучали, мечтая о травке и, может быть, эротическом приключении. И тем не менее все сгрудились возле журнального столика перед видеоэкранчиком.

— Как тебя зовут? — говорит голос, принадлежащий американке. У мужчины черные курчавые волосы, редкая бороденка и большие неподвижные глаза. — Ахмед Руис. — У тебя папа испанец? — Нет, дед. — Сколько у тебя детей? — Восемь, но двое умерли. — От чего? — От какой-то болезни. — Где твоя жена? — Осталась в Марокко. — Сколько ей лет? — Восемнадцать или девятнадцать. — Что она, по-твоему, делает сейчас? — Пытается найти молоко для самых младших. — Какой ты ее себе представляешь? — У нее воспаление глаз, она отмахивается от мух, похудела. — А братья и сестры у тебя есть? — Есть. — Сколько? — Пятеро. — Где они сейчас? — Не знаю: они отправились во Францию, но разделились. Может, напишут письмо домой, и я его получу, если у меня будет адрес. — Где ты работаешь? — На бойне, el matadero, ночами вывожу отходы. — Где ты ночуешь? — У друга, на балконе. — Где? — Рядом с окружной дорогой. — Сколько ты заплатил, чтобы приехать сюда, в Мадрид? — Этого я сказать не могу. — А те, кто привез тебя в Испанию, знают, где ты сейчас? — Да, я должен раз в неделю встречаться с ними и отдавать деньги, иначе они убьют мою жену. — Ты с ней иногда говоришь по телефону? — Нет, у нее нет телефона. — Сколько ты уже вот так живешь? — Скоро год. — Как думаешь, что-нибудь изменится? — Нет, я не могу откладывать деньги, у меня нет разрешения на работу и нет жилья... (Пленка какое-то время еще крутится, потом человек медленно отворачивается и смотрит в пол. Только когда он кашлянул, Эсперанца поняла, что он реальный.)

После киносеанса комната наполнилась дымом марихуаны. Немец положил руку на бедро Эсперанцы. Она почувствовала, как в ней проснулось желание.

— Интересно, — обратился он к американке, — а где ты показывала свои интервью?

— В художественных галереях в Штатах, — ответила она и тоже сделала затяжку.

Джон сидел молча, грызя ногти.

— Пойду пройдусь, — сказал он.

Немка села рядом с Эсперанцей с другой стороны.

— На свете так много страданий, — произнесла она севшим голосом.

Никто из них не слышал слабого хлопка, когда Курт прикрыл жалюзи, — перед этим он долго разглядывал собравшихся в щелку между двумя

планками. Он залез между простынями и замер, вспоминая проведенный у моря день и думая о том, как трудно там, среди волн, определить цвет неба.

2

Молодая мама сидит на пледе у края обширной лужайки. Метрах в десяти от нее круглый бассейн, разделенный на две части, одна, помельче, для малышей, другая, поглубже, для детей постарше и взрослых. Случается, правда редко, что какой-нибудь малыш переваливается на более глубокую половину бассейна. Тогда смотритель свистит в свисток, и кто-нибудь из взрослых подбирает малыша. Единственному ребенку женщины три года, он играет с соседским ребенком в мелкой половине бассейна. Это мальчик с густыми, курчавыми волосами и едва заметными африканскими чертами лица. Он почти не переставая хохочет, гоняясь за мячом, который так и норовит выскользнуть у него из рук.

Я иногда прихожу в эту купальню возле Тэбю. Она расположена на длинной травянистой площадке, напоминающей плоскую долину, окаймленную тенистыми кулисами деревьев, за которыми угадываются ухоженные таунхаусы и малоэтажные дома, сдающиеся внаем. Сюда приходят вполне состоятельные, но не богатые люди. Многие не подозревают, что у них есть все, что нужно.

Летом 2001 года я несколько раз видел одинокую маму с веселым малышом. Она всегда сидела немного в отдалении, казалось не испытывая никакой потребности общаться с другими родителями, и читала или смотрела на детей. Иногда шла к киоску и покупала мороженое. Чаще всего она занималась малышом, тот, дрожа от холода, регулярно прибегал к ней, и она укутывала его в купальный халатик с капюшоном. В конце концов женщина пробудила мое любопытство, и я начал обдумывать, как мне заговорить с ней так, чтобы не вызвать недопонимания. Наконец я пришел к выводу, что вызвать недопонимание обычно не столь уж и страшно, и, кроме того, мне становилось все непонятнее, что в данном случае такое "недопонимание" может означать, и я уселся недалеко, в пределах слышимости, от ее пледа.

— Какой у тебя веселый малыш, — негромко обратился я к ней однажды, когда привел с собой своих собственных детей — они были чуть постарше и сейчас играли в бассейне.

После недолгой беседы она рассказала историю усыновления мальчика. Пару лет назад она проводила отпуск на юге Испании и стала свидетельницей душераздирающей высадки беженцев. Она жила в бунгало по соседству с несколькими представителями богемы, которые тоже оказались втянутыми в это дело, когда перегруженное судно с беженцами из северной Африки причалило к берегу. Как-то теплой летней ночью ее разбудил вертолет, прошедший совсем низко над бунгало, от чего тонкостенное сооружение заходило ходуном и ей на лицо посыпались песок и большие насекомые. Больше заснуть она не смогла, поэтому решила выйти и поглядеть на ночное море.

Создавалось впечатление, будто песок на берегу движется во все стороны под пологом из серебра. Вышка из алюминия, сооруженная для наблюдения за кораблями, качалась на ветру, с визгом натягивая

тросы врытых в песок якорей. Внизу, на берегу, лежала, накренившись, длинная, наверное метров пятнадцать, наполовину заполненная водой лодка, из которой пытались выбраться на сушу люди — кого-то сразу сбивали с ног волны, кто-то еще был в состоянии нести в руках ребенка или узелок на голове. От шоссе приблизились огни фар: гражданская гвардия медленно подъехала к берегу, и из машин вылезло с десяток жандармов. У них были автоматы и ручные прожекторы, к высадившимся они обращались через мегафон.

Моя собеседница, сидевшая на пледе под палящим солнцем, подбирала слова не спеша, словно бы сам процесс повествования доставлял ей радость, например, о лунном свете, который превратил песок в плавно движущуюся воду из песчинок и одновременно заморозил колышущиеся водяные массы в вечно вздыбленную ледяную пустыню, увековеченную меланхоличным гравером много столетий тому назад. Она хотела сказать, что на какое-то время среди отчаявшихся и преследуемых людей на берегу воцарился покой. Не было слышно голосов, никто ни к кому не приставал. Североафриканцы лежали или сидели на песке, их бесцветные одежды развевались на ветру, одна маленькая девочка подошла к воде и принялась собирать ракушки, будто сейчас сияло солнце и она проводила отпуск с папой и мамой, наверняка, никогда не имевшими никаких отпусков. Не исключено, что у нее не было ни папы, ни мамы, может они исчезли в волнах.

Жандармы переходили от одной группы к другой, пересчитывали людей, фотографировали при свете вспышек, говорили с невозмутимым выражением лица по рации. Но потом приземлился вертолет, из него выпрыгнули две фигуры в черных комбинезонах и масках и рысцой побежали к бунгало. Послышались выстрелы, раздался крик, и они рысцой же вернулись обратно, таща с собой худого человека — одна нога у него кровоточила, а на руках были защелкнуты наручники. Они втащили его в вертолет и сразу же взмыли в воздух.

Тут-то к одному из жандармов, плача, подбежала девочка и потянула его за куртку. Она пальцем показала на море, где среди высоких волн то появлялись, то опять исчезали голова и рука. Со стороны домов на берег примчался огромных размеров человек в купальном халате, ринулся прямо в волны и поплыл к тонущему. Двое жандармов побежали следом, но они не полезли в воду, а остановились, что-то крича в мегафон. Покой возвратился: наблюдательная вышка скрипела и стонала, беженцы не спеша встали и полезли в кузов грузовика.

Оба жандарма вернулись с берега. Море было пустынно, волны сразу же сделались больше, их гул и шум усилился. Несчастный, очевидно, утонул вместе со своим спасателем, великаном в купальном халате. Лодка беженцев тоже исчезла, подхваченная течением, и сейчас опускалась на глубину сто, двести, четыреста метров. Луна засияла ярче, звезды тоже.

— Я была там, — сказала женщина, вытирая ребенку голову, — пока не уехали машины, от которых на песке остались только следы шин. Не думаю, что кто-нибудь из жандармов меня заметил. А потом я пошла по песку домой, спать. На следующее утро, когда я, как обычно, завтракала в кактусовом саду, подошла одна из тех, богемных, и, постучав по стволу пальмы, спросила, может ли она меня ненадолго побеспокоить. Оказалось, что великан, чью смерть в воде я наблюдала, ее брат. Наш разговор

на какое-то время принял форму вопросов и ответов. — Каким образом вы приехали сюда? — спросила я. — Самолетом через Мадрид, — ответила она. — Вышка — ваших рук дело? — Нет, это американка, живущая по соседству, соорудила, она видеооператор. — И зачем ты сюда приехала? — Я потеряла подругу, и мне надо отдохнуть. — Так это твой брат утонул в море? — Да, и незнакомец, которого он хотел спасти. — Это ужасно, скажи, если я могу чем-то помочь. — Ты не знаешь всего: он жил в мире, для меня не полностью доступном. — Разве не все мы так живем? — Я хочу сказать — теперь ему лучше, чем тогда, когда он жил, всеми презираемый чудак, среди нас. — Откуда тебе это знать? — Я и не знаю, возможно, мне тоже лучше было бы умереть, возможно, это было бы лучше для всех остальных; возможно, Джону Леннону сейчас лучше, чем в студии с "Imagine there's no heaven" и всей прочей дрянью. — Мы случайно не встречались? — Тебе лучше знать. — Ты училась в гимназии Сёдра Латин? — Да, естественные науки, меня зовут Эсперанца Голдинг. А ты не была знакома с моей подругой, она недавно умерла? — Подожди-ка: Рут! Это она убила вахтера! Или не убивала, что нам, в сущности, известно?

Сбоку по траве прошелестел прохладный ветерок, и рассказ женщины стал восприниматься как голос во сне. Подступал вечер, игры разом прекратились. Киоск скоро закрывался, и хотя тени еще не начали удлиняться, все почувствовали, что день не продлится вечно. Тем летом я уже пару лет жил один, после изматывающего развода. Каждую вторую неделю я проводил с детьми, а остальное время посвящал работе. Искать новую спутницу жизни мне еще было не по силам, и я иногда говорил себе, что больше никогда не буду заниматься подобной чепухой. И все же впервые за несколько лет я ощутил слабый электрический разряд, подсказавший мне, что следовало бы попытаться найти случай и снова встретиться с женщиной и ее приемным сынишкой. Я вдруг вспомнил, что мать моих детей заберет их как раз этим вечером, буквально через полтора часа. Только я открыл рот, чтобы спросить мою новую знакомую, где она живет, как она представилась: Ингрид Фальк.

В ту же минуту я заметил у края парковой кулисы мужчину с видеокамерой. Вполне возможно, он долго простоял в мерцании теней, но порыв ветра раздвинул ветки, на него упал свет и вызвал яркий блик в объективе. От вида этого человека на меня навалилась страшная усталость: душа отяжелела от пыли, оглушенная тем ветром, которого я не ощущал целый день из-за других ветров. Жизнь представилась мне недостижимой, как заброшенная деревушка в углу грозового пейзажа какого-нибудь фламандского мастера: несколько цветных мазков под тяжелыми тучами, в чьи ущелья дождем льется свет.

Но цветные мазки были купальниками детей. Медленно, словно под водой, я пошел через солнечный свет по травяному полю, к человеку с видеокамерой. На аппарате имелся небольшой боковой экранчик, где кадры проецировались в уменьшенном виде. Меня поразила мысль, что изображение на экранчике с расстояния двух-трех метров выглядит столь же странно, как изображение на большом экране в кинотеатре для автомобилистов с расстояния в два-три километра, и наверняка дает зрителю больше, чем иллюзорный показ в так называемых идеальных условиях: в темной комнате, где обрамленное действие полностью подавляет сознание.

— Одно из двух: или убирайся, или мы позвоним в полицию, — сказал я, в бешенстве от того, что мой голос прозвучал не слишком решительно. Он взглянул на меня покрасневшим, слезящимся глазом из-под козырька кепки. "Сейчас вынет пистолет и пристрелит", — подумал я без всякого страха. Но он без возражений молча уложил камеру в сумку, стоявшую неподалеку под вроде бы освещенным солнцем, а на самом деле просто местами пожелтевшим кустом папоротника.

Я вернулся к Ингрид, чей сын, дрожа от холода, сидел между ног своей мамы и грыз бутерброд, когда-то бывший теплым, зато сейчас ставший вкуснее. Он, хохоча, рассказывал о том, что случилось в бассейне: один мальчик взобрался на надувного крокодила, свалился и оказался по другую его сторону, или что-то в этом роде. Я сразу вспомнил свое детство и наши забавы в воде, как мы часами могли прыгать с мостков, стараясь приземлиться на надувной матрас; что нас больше веселило — свалиться или удержаться — не знал никто. Я позвонил бывшей жене и договорился, что передам ей детей на расположенной поблизости площади Энебю. После чего целую неделю буду свободен.

— Отсюда не видно, какого цвета небо, — сказала позднее Ингрид, приглашая меня — широким и в то же время усталым жестом — в гостиную. В комнате господствовало нечто, чего в ней не было, но в точности походило на реальность: фантомное помещение, зеркально отраженное в широком окне между комнатой и террасой, — выступающий козырек ее крыши и вызвал, очевидно, комментарий по поводу вида. "Действительно, — думал я, одной рукой опираясь на спинку кожаного дивана, а в другой держа стакан с джин-тоником, — небо лишь угадывается в виде узкой бесцветной полоски между краем крыши террасы и крышей дома напротив".

Когда мы устроились на диване и сын, по имени Ипполит, звавшийся при этом Иппо, уснул, она возобновила свой рассказ о женщине, встреченной ею на берегу к западу от Гибралтара. Я откинулся назад, тут же закурил после нескольких лет воздержания и принялся слушать рассказ, сопровождавшийся странной, полосатой — от забора — тенью человека, которая то появлялась, то резко исчезала, чтобы потом появиться вновь: это сосед несколькими террасами дальше возился с лодочным мотором.

Короче говоря, про ее Иппо, находившегося среди детей на берегу, все забыли. Тогда ему исполнился всего год, родителей не было, и, наверное, он бы умер, если бы Ингрид не нашла его. А получилось так, что она после разговора с Эсперанцей снова отправилась на мыс. Преодолев песчаные завалы, она обнаружила мальчика между двумя невысокими дюнами — он спал в тени старой брошенной доски для серфинга. Вероятно, ночью он сам уполз от остальных. На песке до сих пор виднелись его следы, похожие на следы черепахи. Обе женщины после этой находки оставались в Пунта-Палома всего один день. Эсперанца тоже поехала в Мадрид. Она помогала Ингрид в долгих беседах в марокканском посольстве и в больнице. Процедура усыновления заняла три месяца, после чего они смогли вернуться в Швецию. Дома они узнали, что родителей Эсперанцы по причине их неадекватного поведения поместили в дом престарелых. Теперь она могла продать дом и еще долгое время не думать о работе.

— Вообще-то она придет ко мне сегодня вечером, — сказала Ингрид. — Мы собирались посмотреть кино на видео, если хочешь, присоединяйся.

В этот момент позвонили в дверь. Когда Ингрид рассказывала о событиях на берегу и своем малыше, я листал книгу по археологии. Это было популярное, но хорошо документированное роскошное издание с цветными фотографиями захоронений вождей времен железного века в Саттон-Ху в Англии и в Вальсерде в Упланде. Я смотрел в пустые глазницы железных масок. На вошедшей Эсперанце была похожая маска, надетая, чтобы посмешить подругу, игрушечная копия из пластмассы в подарок мальчику. Я указал на сходство фотографий в книге и маски. От меня не ускользнула красота Эсперанцы, и я почувствовал, что во мне впервые за много лет зарождается чувство, похожее на влюбленность. Только я собирался смешать коктейль для Эсперанцы, как вошел мальчик. Наверное, ему приснился кошмар.

— Привет, Иппо! — сказал я, удивленный тем, что он забрался ко мне на колени.

Говорят, что трагедии начинаются вполне мирно, а заканчиваются бедами и потрясениями, комедии же, напротив, начинаются полной неразберихой, а в конце все улаживается. По большому счету, беря в пример библейскую историю о сотворении мира, это означает, что человеческий язык до грехопадения, являющегося, так сказать, завершением трагедии, не может быть комичным, а после грехопадения — трагичным. И по мере того как жизнь отдельного человека становится биографией, средний возраст, возможно, представляет собой то время, когда человек впервые начинает сознавать, что количество потерь и испытаний слишком велико, поэтому даже собственная жизнь уже теряет форму трагедии, движущейся к своей чудовищной развязке, и приобретает форму комедии, стремящейся к надежной стабильности.

Все сказанное — лишь скромная попытка объяснения: когда теперь, спустя несколько лет, я вспоминаю об отношениях, завязавшихся тем вечером в Тэбю, меня не оставляет мысль, что это была сцена из комедии, по крайней мере с моей точки зрения. Но слово "отношения" без сомнения чересчур абстрактно, чтобы охватить то, что происходит между двумя людьми во время такого путешествия, в какое мы с Эсперанцей отправились той осенью и зимой.

Во всяком случае, по-моему, ни один из нас той зимой не воспринимал то, что между нами происходило, как "связь". Скорее речь шла о свободном падении и распаде личности, оставивших память, даже после всех этих лет, о том, как свет, раньше удерживавший наши боязливые жизни вместе, в эти долгие зимние ночи промчался белыми клочками мимо между стенами домов.

Сейчас тот, в чьи руки когда-нибудь попадет мой текст, сочтет, что речь шла об эротической страсти, и я не собираюсь это оспаривать. Но ощущение свободного падения берет свое начало не в этом аспекте нашего путешествия, нашего танца, нашего взаимного расточительства, поэтому я больше не буду задерживаться на наших с Эсперанцей эротических переживаниях. Вместо этого я хочу передать несколько фрагментов из ее истории, которую она всю зиму, прилагая немало усилий, пыталась изложить. Рассказ ее вялым водоворотом мгновенных впечатлений крутился вокруг одного или, вернее, двух центров: двух мгнове-

ний более сильного света или более черного провала, чем все другие, двух ослепительно четких воспоминаний, пробивших дыру в ее иллюзии о естественном присутствии в чувственном мире. Две дыры, стало быть, продолжавшие поглощать время ее жизни.

— Сцена из комедии, — сказал я. — Она часто смеялась, это мне стало ясно уже в первую нашу встречу дома у Ингрид. По какой-то причине книга по археологии пролежала весь вечер на столе, раскрытая на фотографии с маской вождя, и мы время от времени на нее поглядывали, словно в ней крылся ответ на наши недоуменные вопросы о сущности бытия.

Несколько месяцев спустя в ее новой двухкомнатной квартире с кухней-баром в мансарде дома на Репслагаргатан в южном районе города: она стоит у окна, ее лицо в крапинах от теней, которые снег отбрасывает при свете уличного фонаря, в руках она вертит глиняную скульптурку, вылепленную ее покойным братом, — маленькое неуклюжее изображение Будды, покрашенное, покрытое глазурью, растрескавшееся.

— Первое, что я почувствовала, когда Курт утонул, — говорит она, не поворачиваясь ко мне, — было облегчение. Теперь, подумала я, я наконец-то освобожусь не только от него, но и от этих двух старых чудовищ в вонючем доме, окруженном запущенным садом, где яблоки неделями падают каждые три секунды — бумс, бумс, бумс, — а потом лежат на земле, точно бугристый ковер из поверженных, гнилых сердец, и даже птицы ими пренебрегают. Я освобожусь от необходимости ездить туда, сидеть в холодной "библиотеке" — так Адам называл закуток за книжным шкафом с "Лучшими книгами за тридцать лет", — от необходимости слышать, как она со скрипом размешивает свой пересахаренный кофе, жалуясь на что-то, что она сама толком не понимала: мол, друзья ее больше не навещают, шум от движения стал намного сильнее, молодежь совершенно посходила с ума, птицы начали летать по-другому, стало быть, они отравлены. Теперь, думала я, я буду от всего этого избавлена.

Дойдя до этого места в своей исповеди, Эсперанца повернулась ко мне, и я предложил пойти в ресторанчик поесть суши или что-нибудь из индийской кухни, что угодно, лишь бы выйти из дома. И в баре, куда мы зашли после ужина, "El rinocernte ojeroso"[1] на Бундегатан, баре, где в особом ресторанном отсеке подавали аргентинские бифштексы, я рассказал ей о том, какие мысли пробудила во мне ее мечта о свободе.

Разглядывая изможденного носорога на стене, я говорю:

— Жил когда-то датский писатель по имени Мартин А. Хансен. Его новелла "Жертва", о средневековой крестьянской общине, в которой свирепствует чума и которая во время жары решает принести в жертву двух младенцев, похоронив их заживо, вполне возможно вдохновила Роя Андерсона на создание отвратительной сцены жертвоприношения в фильме "Песни со второго этажа". Я часто вспоминаю и другую новеллу — "Дикий всадник" норвежца Тарьей Весоса. Она повествует о писателе, страдающем от творческого бессилия, а его маленькому сыну требуется операция на мозге. Он едет с сыном в город на операцию, оканчивающуюся трагически: мальчик умирает. И что испытывает отец? Удовлетворение, освобождение, облегчение. Его ошеломляет

1. "Изможденный носорог" (*исп.*).

многообразие мира, которое раньше его гений раскрывал перед ним, и он понимает, что теперь наконец-то снова сможет творить. В то же время он думает: что же я за тварь такая, если способен испытывать подобные чувства у могилы моего сына? Мы все зависимы и смертны, и любая попытка жить, словно это не так, все глубже погружает нас в несчастье.

Когда Эсперанца после ужина рассказала свою историю — ее, в сущности, можно было бы назвать "Убийца по нужде", — мне припомнилась долгая одинокая велосипедная прогулка по южным окраинам города, которую я совершил через пару месяцев после знакомства с ней. Стояло бабье лето, и жизнь города давно вошла в привычную колею после отпусков: лето устроило великолепное прощание с этим чуть рассеянным светом над ломящимися от фруктов деревьями в садах возле вилл, над аллеями, где уже кружились желтые листья, подхватываемые какими-нибудь грузовиками — лица их водителей от трудового напряжения приобретали все более жесткие черты, становясь поразительно похожими на лица тех, кто дремлет на пляже в июле. Я катался на своем новом велосипеде, "Centurion Eternity", больше трех часов и наконец вернулся, через Бьёркхаген и Черрторп в Сканстуль. Кинокадры воспоминания прокрутились до того момента, как я въезжаю в город по мосту Сканстульсбрун, и тут я вновь очутился в ресторане и поразился тому, что рассказ Эсперанцы освободил меня от всякой ностальгии по прошлому: я понял, что в моей жизни нет ни единого события, заставившего бы меня тосковать по нему. Но заметьте, что именно благодаря этому ощущению ценность моих воспоминаний скоро возросла: именно как воспоминания они превратились в чрезвычайно важные сцены (или сосуды), наполненные светом, который тебе не принадлежит. Именно благодаря интенсивному осознанию того, что в этом отсутствует ностальгия, и того, что само это отсутствие есть ценность, я сумел оценить и как персональную милость принять в моей жизни то, что не было моим, — бóльшую ее часть.

Но я не для того вспомнил с некоторым ужасом свою встречу с Убийцей, слушая ее рассказ об отце. Дело в том, что вилла ее родителей находилась недалеко от моего собственного дома, где я жил в детстве, и я однажды сам оказался в пределах досягаемости его угрожающе вытянутых и огромных — как они мне запомнились — рук, с испачканными в земле, потрескавшимися пальцами, царапавшими мне затылок, пока я пытался — как оказалось, безуспешно — увернуться.

Ибо в том портрете отца, который она запечатлела в первом из своих моментальных снимков, я почти сразу узнал самую страшную фигуру моего собственного детства: человек из виллы № 3, считая от дороги, тот, кого прозвали Убийцей и который всегда ходил в солнечных очках — довольно-таки большая редкость для того времени, — тот, о ком говорили, будто он ловит и пытает детей в подвале своего небольшого, но устрашающе вытянутого в высоту узкого дома за ельником, который он яростно прореживал каждый год, изрыгая потоки проклятий на всех, кто появлялся поблизости.

Убийца выращивал и яблоки, и в сентябре начинались наши рейды за фруктами. Как-то вечером он, притаившись за гамаком, молча набросился на меня сзади, схватил за шиворот и втащил в дом. Я вполне серьезно решил, что сейчас умру, и не мог выдавить ни слова: у меня было ощущение, что рот мой целиком заполнил язык, сросшийся со щеками

и нёбом. Убийца посадил меня на какое-то подобие козел, почему-то стоявших в комнате, и вперил в меня взгляд узких черных глаз-щелочек на потном, бледном, точно отлитом из пластмассы, лице.

— Сейчас, гаденыш, я тебя отколошмачу так, что ты будешь считать звезды до конца своих дней, — сказал он.

И тут из-за портьеры вышел громадный человек — подобного великана я никогда не видел. Очевидно, он совсем недавно достиг таких размеров, потому что черты его лица и взгляд были совсем детскими.

— Отпусти его, отец, — произнес он тихо.

К моему несказанному удивлению, чудовище, не говоря ни слова, подошло к дверям веранды и выпустило меня в ночь.

Вот об этом-то кротком великане, брате Эсперанцы, был ее первый рассказ. Точнее, о том мгновении, когда она увидела, как отец столкнул десятилетнего брата с лестницы, ведшей в подвал, с явным намерением убить его. Сын упал навзничь на бетонный пол, но, к счастью, приземлился на тюки со шпаклевочной шерстью, купленной недавно отцом для утепления веранды осенью (пока она рассказывала, я вдруг вспомнил, что, выскакивая на улицу, чтобы никогда больше не приближаться к вилле Убийцы, заметил торчавшие между досками веранды желтые клочья). На этих-то тюках и лежал Курт, истерически смеясь, когда Эсперанца, в то время семи лет от роду, спустилась к нему. Отец, осознавший, что у него есть свидетель, с тех пор ни словом не упоминал про этот случай. Но в мире Эсперанцы именно это насилие, эта попытка убийства остановили развитие Курта, сделали его "особенным" и в то же время дали сыну перевес над отцом.

Она сидела напротив меня за ресторанным столиком, и по лицу ее скользили такие же тени от беспрерывно падавшего снега. Мне страстно захотелось туда, к ночным, тихим заснеженным тротуарам, где не видишь, кто идет по другой стороне улицы, но где все тем не менее чувствуют мгновенную общность темноты и вечности, и это чувство помогает легко заснуть тому, кто приходит домой в одиночестве и кто не представляет себе, каков будет завтрашний день. Я сразу же понял, что нашим отношениям с Эсперанцей придет конец, когда она расскажет о втором мгновении. Как я и догадывался, речь шла о подруге Рут, ее самоубийстве и роли в смерти школьного вахтера.

Сейчас, много лет спустя, я сижу на террасе ресторана "Гондола", пью сухое белое вино, смотрю на панораму Старого города на фоне вечернего неба Упланда и отчетливо, как во сне, чувствую — сквозь чересчур тонкие туфли — мягкий, только что выпавший снег. Помню, я встал и сказал, что сегодня собираюсь ночевать дома, история про Рут оставила в душе неприятный осадок, мне надо поразмышлять над ней.

Я оглядываю сидящих на террасе: кто угодно из этих молодых, хорошо одетых, оживленно беседующих женщин мог бы быть Рут — такой занятой во всех смыслах слова и мило забывшей об этом факте. История Эсперанцы про Рут была, как и ожидалось, полна темных закоулков и белых пятен, но вкратце можно все-таки сказать, что вахтер каким-то образом оскорбил ее безо всяких, скорее всего, сексуальных поползновений. Рут же, напротив, была влюблена в него, чернокожего американца, который остался в Стокгольме, попав туда по студенческому обмену, но не сумел найти способ продолжить учебу. Быть может, она подкра-

лась к нему, когда он менял лампочки, и толкнула стремянку, а может, то был всего лишь слух, доставлявший ей тайное удовольствие. Ее трагедия, наверное, началась именно тогда, но мы никогда не узнаем, сама ли она убила себя, убив — если она действительно убила — этого человека, или же ее убил много лет спустя мир без любви.

Помню, что в каком-то месте рассказа Эсперанцы я начал понимать, что она все выдумывает, просто врет. Это прозрение сыграло роль бикфордова шнура, вплетенного в наше общее прошлое. Все распалось в огне на куски, все, вплоть до моего знакомства с Ингрид. Единственное, что я знал наверняка, — Убийца существовал, как и его высоченный сын-подросток. Я выпил немало вина в "Изможденном носороге", но сразу же протрезвел: все было завершено, и я видел, как бледнеют, растворяются в дымке ее черты, как стол и обивка дивана, на котором она сидела, проступают сквозь ее исчезающее тело. Остался лишь снегопад снаружи, мои следы на уже ждавших меня улицах, все дни, которым предстояло камнем упасть сквозь тело и устремиться дальше, в бездну, пока не наступит этот вечер с его горящими над городом красками.

Теперь, когда я, стоя около лифта Катарины, пытаюсь поймать такси, мне остается добавить всего несколько слов. "Иппо!" — кричит девушка мчащемуся на роликах атлетически сложенному чернокожему парню с двумя отражателями на спине. Он с улыбкой оборачивается и на огромной скорости исчезает в направлении Шепсбрун. На какое-то мгновение у меня появляется желание попросить шофера такси пуститься за ним в погоню, но такси уже уехало.

Стокгольм, 1999–2002

Черстин Нурборг

Ассизи

Перевод Елены Ермалинской

Я не верю в чудеса. И сейчас не верю. Только... Все же они случаются.

Это было в Ассизи, городе святого Франциска. Был май, и всю центральную часть города заполонили туристы: они сновали между церквями и сувенирными лавочками — и я была одной из них; мой взгляд привлекла группа молодых людей, которые репетировали мистерию на сцене перед базиликой Святого Франциска; все они были даунами. Не знаю, почему они мне так запомнились; помимо того, о чем я собираюсь рассказать, эти юноши и девушки, их пластика, их счастливые — странно, но мне именно так показалось — лица, их полная поглощенность сюжетом и своей ролью, стали самым сильным впечатлением от этого города.

Я приехала в Ассизи на поезде. Многие знакомые говорили, что стоит там побывать, и в конце концов, пожав плечами, я подумала, а почему бы и нет, и купила билет.

В дорогу я отправилась одна, это путешествие я не могла разделить ни с кем, даже с мужем, хотя поначалу он было обиделся. Но мне совершенно не хотелось, чтобы кто-то наблюдал за мной со стороны, чтобы чье-то присутствие вынуждало меня видеть себя со стороны, критически себя оценивая. И муж меня отпустил. Он часто предоставлял мне свободу, вряд ли я смогу отплатить ему тем же. С другой стороны, думала я, сидя в поезде, пускай он лучше побудет дома, послушает радио, отдохнет в одиночестве.

Муж и вправду любил наш дом. Не дом, собственно, а квартиру. Мы прожили там несколько лет, и я потихоньку стала к ней привыкать, ос-

© Kerstin Norborg, 2005
© Елена Ермалинская. Перевод, 2007
© Leif Hansen. Фотография

тавляя в комнатах следы своего пребывания. И все же по-настоящему дома я чувствовала себя лишь в одном месте — в домике на побережье, который снимала много лет назад, в мансарде с видом на море. Тот дом был словно причал: я ложилась в постель и чувствовала небо, ветер и море за окном, я была совсем рядом с ними, но — под защитой дома. В городе я никогда не испытывала подобного чувства. Даже в нашей квартире.

Сев в поезд, я пустилась в мысленное странствие по Европе. Не помню, что за путеводитель я взяла с собой, не помню, что в нем было написано, помню лишь, что ушла в книгу с головой и, переходя от пейзажа к пейзажу, готовила себя к тому, что́ мне предстояло увидеть.

В Ассизи я прибыла поздним вечером и, едва сойдя с поезда, ощутила удивительное спокойствие, разлитое по всему городу. Может, здесь был особенный воздух, какой-то мягкий и нежный, а может, солнце както иначе освещало здания песочного цвета высоко на горе.

Я забронировала комнату в американском женском монастыре, который мне посоветовали знакомые.

— Проси двенадцатую комнату! — сказали они мне, и когда я раскрыла ставни, то поняла почему. Весь город лежал передо мной. Солнце клонилось к закату и ослепительно сияло в окнах, несколько ласточек вились в солнечной дымке между домами, а колокола собора Святой Клары звонили к мессе.

Но несмотря на эту красоту, в первые дни я равнодушно бродила по городу, осматривая достопримечательности в надежде найти что-то особенное, то, что навсегда привязало бы меня к этому месту. Может, именно поэтому на третий день я так долго стояла у той сцены под открытым небом и завороженно смотрела на молодых людей, репетировавших мистерию. Уже тогда я понимала, что идеализирую их, отказываясь видеть на их лицах следы тяжелого труда, разногласий, сомнений в собственных силах — а как же без этого? Но какое все это имело значение? Здесь, у базилики, на фоне гор и полей, они были прекрасны, оставаясь при этом людьми из плоти и крови.

Утром в монастырской библиотеке я познакомилась с одним послушником. В Ассизи он прибыл в качестве паломника, принявшего обет ученичества, и, вернувшись в Лондон, должен был отчитаться о своем там пребывании. Совсем еще мальчик, с угреватой кожей, он горбился, словно чувствовал себя в чем-то виноватым — мне стало жаль его: возникало впечатление, будто возложенная им на себя ноша оказалась непосильной. Мы разговорились, и он спросил, верю ли я в Бога. Я ответила, что не верю, и стала задавать ему извечные вопросы: о всемогуществе Бога и мировом зле, о владычестве Церкви на протяжении столетий, о том, как он сам пришел к вере. Он отвечал немногословно, доводы его казались жалкими и непродуманными, и я ощутила разочарование, как будто ожидала чего-то большего. Через несколько минут я почувствовала, что едва сдерживаю рыдания. Возможно, на меня подействовала атмосфера Ассизи, пропитанная чаяниями людей, которые испокон веку приходили сюда, лелея надежду. А может, дело было именно в юном послушнике, который не смог высказать словами то, что было у него на душе; в заученных фразах, испуганных глазах, которые он едва осмеливался поднять на меня, в прыщавом лице, угловатой неуклюжести — во всей этой убогости, так меня тронувшей.

На следующее утро, выйдя к завтраку, я встретила ее. Я сразу поняла, что она из Скандинавии и что ей не терпится с кем-нибудь познакомиться — об этом говорили ее жесты и горящие глаза, — а во мне сразу же вспыхнул протест, я опустила глаза и, разглядывая свой столик, старательно избегала ее взгляда.

— Can I sit here?[1]

Норвежский акцент — я сразу его узнала.

Что тут скажешь? Она уже стояла возле моего столика, даже поставила на него свою чашку.

Ее движения выдавали беспокойство: то, как она намазывала масло на хлеб, как откидывала рукой челку (которая то и дело норовила попасть ей в глаза), как пододвигала стул, чтобы пропустить тех, кто хотел пройти к другим столикам, а я проклинала себя за то, что, пусть я и не отрывала глаз от тарелки, невольно оказалась той самой губкой, что вынуждена впитывать ее нервозность — только из-за того, что она решила сесть за мой столик.

Она была обречена. Когда я узнала об этом — за тем первым завтраком или на следующий день, когда мы прогуливались вокруг базилики Святого Франциска? Точно не помню, хотя странно, что я не помню, где именно услышала эти страшные слова, ведь я всегда хорошо запоминаю обстановку: где я стояла, что было вокруг. Но где она рассказала мне, что вскоре должна умереть, я не помню. Просто вдруг я об этом узнала. Мы зашли в базилику и рассматривали фрески Джотто, она много прочла о Джотто, показывала, рассказывала, а я смотрела на нее сквозь призму своего знания: врачи дали ей полгода, самое большее — год.

Вечером мы сидели в монастырском саду, она потягивала вино. Наш разговор все время прерывался, потому что она то и дело отходила к винному автомату, который монахини поставили в фойе. Это напомнило мне, как я в детстве бегала к автомату, наливавшему горячий шоколад, — он стоял на станции, где я отдыхала летом: август, воскресенье, и мы едем домой с сумками, полными ноготков и яблок. По-моему, я даже сказала ей об этом: букеты оранжевых ноготков неизменно встают у меня перед глазами, когда я вспоминаю о нашем тогдашнем разговоре, о том, как она бегала к винному автомату, и о том, как посылала за вином меня, когда сама уже не очень твердо держалась на ногах.

Я помню подозрительные взгляды монахинь, когда я вновь и вновь возвращалась к автомату и рылась в кармане, выискивая мелочь.

"Ей это нужно, — думала я, глядя на них в упор, — знали бы они, как ей это нужно!"

Она побывала у нескольких врачей, жалуясь на боли в груди. Один врач сказал, что это застарелая простуда и что нужно просто подождать. Другой, выслушав ее жалобы на внезапные приступы удушья, сообщил, что панический страх у женщин ее возраста нормальное явление. А третий — боли упорно не проходили, и она решила обратиться еще к одному врачу, — третий послал ее на рентген, а рентген показал запущенный рак легких. Уже через два дня после этого ей начали курс лучевой терапии. Теперь, в перерыве между сеансами, она приехала сюда.

Чего она хочет? Верит ли она в то, что Ассизи ей поможет?

1. Могу я сесть здесь? (*англ.*)

Через полгода ей, возможно, уже будет не до таких размышлений. Да и есть ли у нее другой выход? Она побывала в Ассизи, прошла по родному краю святого Франциска, какая разница, во что она в действительности верит? Она просто видела эти места, она молилась.

Не потому ли меня так к ней потянуло? Не потому ли я просидела с ней рядом всю ночь, рассказывая о своей бездетности, о неудавшихся беременностях, о врачах, которые говорили мне, что надо смириться, что бесплодие — это факт и нужно принять все таким, как есть. Не потому ли, что я хотела, чтобы ее вера — или, если угодно, неверие, отсутствие выбора, полная и беспросветная безысходность, — чтобы все это, затронув и меня, оказало какое-то воздействие и на мою жизнь? И если так, не значит ли это, что я ее использовала?

— Молись Деве Марии! — сказала она мне на прощание той ночью.

Если бы кто-нибудь услышал нас тогда, я бы смущенно улыбнулась и отделалась шуткой, и, хотя мы не говорили об этом, я знаю, что точно так же поступила бы и она, потому что она тоже испытывала неловкость при одной мысли о молитве. И все же она сказала:

— Молись Деве Марии! — И добавила: — Я и за тебя помолюсь.

— А я за тебя, — ответила я.

Хотя эти слова застревали у меня в горле, но я все-таки произнесла их и потом действительно молилась, полагая, что это самое малое, что я могу для нее сделать.

На следующее утро после завтрака мы расстались, она уезжала в Рим навестить подругу, а я должна была остаться еще на день в Ассизи, а затем отправиться в длинное путешествие домой. Расставание вышло несколько сумбурным: у нее размагнитилась банковская карточка, и надо было сломя голову мчаться в банк, но мы все же успели обменяться адресами.

Вернувшись домой, я, как вы, наверное, догадались, забеременела. Это естественный и, пожалуй, чересчур логичный финал моей истории, однако было именно так. Все говорили, что это невозможно, но зародыш жил во мне, рос и развивался, и даже доктора не находили этому объяснений. Только на четвертом месяце я отважилась рассказать ей обо всем, отправила открытку в северную Норвегию и недели через две получила ответ. Ей стало хуже, начался новый курс лучевой терапии, сын переехал к ней, потому что ей стало трудно оставаться одной и к тому же она уже не могла обходиться без посторонней помощи: изнеможение и усталость пронизывали тело до самых костей, она даже с трудом читала или слушала музыку.

Шли месяцы, мой животик рос, и в январе я родила девочку, на несколько недель раньше срока. Из-за дыхательной недостаточности она некоторое время пролежала в отделении интенсивной терапии для новорожденных, но быстро поправилась, и нас выписали.

Я часто вспоминала о моей встрече в Ассизи, особенно первое время. Думала, не написать ли мне еще одну открытку или хоть как-то о себе напомнить и узнать, как она. Но будничные заботы захватили меня целиком, и чем дальше, тем сложнее было решиться на телефонный звонок. А если ее уже нет в живых?

Вера, моя дочка, росла; научилась ползать, ходить, говорить и петь. Прошло два года с тех пор, как мы сидели с той женщиной в монастыр-

ском саду. Ей оставалось жить не больше года, иногда я вспоминала о ней и хотела даже связаться с ее сыном, но как бы я представилась?

"Здравствуйте, я познакомилась с вашей мамой в Ассизи года два назад и хотела бы узнать, жива ли она?"

Собственно говоря, я почти не знала ее, есть ли у меня право бередить его раны?

Итак, она для меня исчезла. Или, вернее, не совсем исчезла, случалось, я вспоминала о нашей встрече, и тогда мне хотелось хоть что-нибудь о ней узнать. Но я смирилась с тем, что никогда ничего не узнаю.

Спустя несколько лет меня пригласили на конференцию в Норвегию, в Тромсё. Это было неожиданно, я немного волновалась, что мне придется провести столько времени вдалеке от Веры. В аэропорту всего за несколько часов до рейса, на котором я должна была лететь домой, я вспомнила о своей знакомой из Ассизи и подумала, что стоит все же отыскать ее номер в телефонном справочнике: она жила в нескольких милях от Тромсё. Это был внезапный порыв, и я так загорелась этой мыслью, что меня бросило в дрожь, когда я взяла в руки телефонный справочник и стала разыскивать ее имя. Я его нашла. Я была более чем уверена, что она давно умерла, но вот в справочнике ее имя, адрес, номер телефона — все, как в моей записной книжке.

"Как долго имя человека значится в телефонном справочнике после его смерти?" — раздумывала я, слушая длинные гудки и поджидая, чтобы на том конце сняли трубку. Но вот мне ответили, и я сразу узнала ее голос на автоответчике: она диктовала номер мобильника — он тоже был записан в моей книжке.

Я покружила по залу ожидания, меня мучили сомнения: она, быть может, при смерти, в больнице. И все-таки я позвонила.

Она сама подошла к телефону, она была дома и просто не слышала звонка, потому что пылесосила. Чувствует она себя хорошо. Я рассказала о Вере, о втором ребенке, которого ждала, выспросила, насколько могла, о ее болезни.

Нам не удалось встретиться, и, наверное, это к лучшему, ведь прошло столько лет. Но она была жива. Теперь я это знала. Ее тело выдержало все атаки недуга, а врачи только разводили руками.

Нет, я не верю в чудеса. Я верю, что все могло сложиться по-другому: она бы умерла, а я осталась бездетной, но зато родились бы дети у какой-нибудь другой женщины. Я не верю в силу, которая превращает нас в избранных или отвергнутых. Но все же чудеса случаются. Никто этого не ожидал, но это произошло. И потому я должна об этом рассказать.

Я знаю историю еще одной женщины — думаю, история эта будет здесь к месту.

Случилось это в родильном доме в те самые две недели, когда Вера лежала в отделении интенсивной терапии. Время было трудное; я помню писк аппаратов, сигнализирующий о падении пульса или задержке дыхания, помню безутешных родителей и крошечных младенцев в респираторах, лежащих в кувезах. Не помню, чтобы я особенно тревожилась, хотя сейчас понимаю, как это было наивно. Однако многие дети были намного меньше Веры и чувствовали себя намного хуже. Среди

родителей существовало негласное правило: не заглядывать в кувезы, но я все же его нарушала, очень сложно было не нарушить. Дети были невероятно крохотные, каждый грамм на счету, они казались щуплыми куклами. На меня смотрели искоса; теперь, по прошествии времени, я понимаю, что в нашем отделении царила своеобразная иерархия, и Вера казалась другим матерям вполне здоровым ребенком с гигантским весом — целых три килограмма двести граммов.

С другими мамашами мы встречались в специальной комнате. В ней стояло несколько кресел, четыре электрических молокоотсоса и радио, мурлыкавшее умиротворяющие мелодии, — здесь мы сцеживали молоко для детей. Хотя Вера была достаточно большой, чтобы сосать самостоятельно, у нее были какие-то сложности с сосательным рефлексом, и поэтому ее кормили через зонд, как и других младенцев, родившихся раньше срока. Эта комната была свободной зоной, куда можно было уйти от аппаратов, капельниц, больных детей, диагнозов и лекарств, названия которых мы выучивали, ничего в них не понимая. В отделении мы были вынуждены доверять детей врачам и медсестрам, а в этой комнате делали что-то сами: производили еду для наших малышей. В комнате было жарко, изнуряюще жарко, считалось, это способствует выработке молока, и мы томились там в духоте под тихую музыку и жужжание электрических молокоотсосов.

У нее было много молока. Это первое, что бросалось в глаза. Мы обращали внимание не на величину груди, а на то, с какой скоростью наполнялись бутылочки молокоотсоса: ей хватало пяти минут, чтобы заполнить их до краев, но после этого она частенько задерживалась в комнате.

Мне она не нравилась — уж очень болтлива, все время рассказывала о страшных случаях в больнице, о младенцах, которых поспешно крестили, понимая, что ребенок не жилец, о том, на какой неделе у плода могут развиться патологии центральной нервной системы, о жутких операциях на сердечной мышце: все это стало сутью ее жизни, ведь ее сын был в очень тяжелом состоянии, и она уже не один месяц провела в больнице. Но я все-таки раздражалась, старалась избегать встреч с ней, отмечала, когда она ходит сцеживать молоко, и выбирала другое время. Но однажды в конце второй недели я ошиблась: дело было вечером, в комнате остались только я и она, остальные, кажется, уже легли спать или разъехались по домам. А она, как обычно, говорила и говорила.

Беременность была для нее полной неожиданностью. Забеременела она случайно. Прожив со своим приятелем всего несколько месяцев, вдруг заподозрила неладное. Совсем недавно ей удалось получить работу, о которой она давно мечтала. Едва только беременность подтвердилась, она тут же решилась на аборт — для нее и ее друга это было естественным, ведь они еще так молоды, у них будет еще так много шансов. Операция прошла безболезненно, и уже на следующий день она вернулась на работу — жизнь пошла своим чередом.

Через два с половиной месяца ее стали беспокоить боли в животе, и она попала в больницу. Осмотрев живот, врач выкатил ультразвуковой аппарат; когда датчик скользил по животу, она зажмуривалась: не хотелось видеть на мониторе свою внутреннюю жизнь. Закончив обследование, врач попросил ее сесть к столу. Он пролистал журнал, выяснил, что аборт делал другой врач, откашлялся и заявил, что обнаружил заро-

дыш – срок приблизительно девятнадцать недель. Все это можно объяснить только тем, что внутри матки были две оплодотворенные яйцеклетки, и врач, делавший аборт, удалил только одну. "Я никогда не встречался ни с чем подобным", – добавил он.

Конечно, она была потрясена известием, что уже пять месяцев беременна и не подозревала об этом; поначалу она места себе не находила от мысли, как судьба обвела ее вокруг пальца. Потом начала всем об этом рассказывать: другу, родителям, сослуживцам. Начальник разозлился, посчитав, что она намеренно скрывала от него беременность.

Через пять недель на свет появился мальчик, на тридцать четвертой неделе. Она только-только смогла свыкнуться с мыслью, что ждет ребенка, как он взял и родился.

И вот теперь она живет в роддоме. Она была одной из немногих, кто почти ни разу не уезжал домой, а пользовался семейной палатой, где можно было вздремнуть пару часов после того, как просидишь рядом с ребенком целый день и чуть ли не всю ночь.

Не знаю, что случилось с ней дальше, но от кого-то я слышала, что вроде бы еще через несколько месяцев она вернулась домой вместе с сыном, и сейчас ему уже лучше. Точно узнать я не могла, роддом таких сведений не предоставляет. Но я все же надеюсь, что в один прекрасный день их встречу. Мальчику, должно быть, уже лет десять. Примерно как Вере.

Нинни Хольмквист

F*lower power*

Перевод Анны Фоменковой

Другие девочки уже играли на школьном дворе. Анна остановилась на лестнице между вторым и третьим этажами и прижалась лбом к окну. Солнце светило так, что ей пришлось зажмурить правый глаз, чтобы не ослепнуть. Если бы одноклассницы посмотрели наверх, то могли бы ее заметить, но им было не до Анны: они прыгали через резиночку. Две девочки — одну звали Лиза, имени второй она не помнила — стояли друг напротив друга на расстоянии двух метров, а между ними была натянута резинка. У Лизы штаны были голубые, в мелкий красно-белый цветочек, а у второй девочки — салатовые, с оранжевыми и темно-синими цветочками. Резинка образовывала прямоугольник, в каждом углу которого стояла нога в мелкий цветочек. Остальные девочки из класса прыгали через резиночку такими же цветастыми ножками: снаружи внутрь, изнутри наружу. Они словно выпрыгивали какие-то фигуры. Со стороны казалось, что это сложно. Анна отошла назад, в тень, на случай, если кто-нибудь все же посмотрит наверх — кто-то из другого класса или какой-нибудь мальчишка. Посмотрит и расскажет Ангелике, что она стояла наверху и шпионила.

Ангелика была главной. Анна еще не выучила все имена, но сразу поняла, что лидер в классе именно Ангелика, потому что перед ней все заискивали, занимали ей место в столовой, в школьном автобусе и даже в туалете, все говорили так же, как она, и пытались ей подражать — все, кроме одной девочки, которую звали Лиселот. Лиселот всегда ходила одна, и с ней никто не разговаривал — если не считать тех случаев, когда

© Ninni Holmqvist, 2002
© Анна Фоменкова. Перевод, 2007
© Tove Falk-Olsson. Фотография

ее задирали и дразнили. Все было совершенно так же, как в городской школе, другими были только имена: в городе все подражали Роз-Мари, а с Беттан никто не водился.

На прошлой перемене Ангелика сказала, что Анна *завидущая*: "Ты завидущая, потому что у тебя нет штанов в цветочек".

Анна не поняла этого слова, но узнала его, она слышала его раньше, только не могла вспомнить когда и где. Как бы то ни было, у всех девочек, даже у Лиселот, были штаны в цветочек. Flower power — Анна знала, что *это* означает, но казалось, здесь это знает она одна. Во всяком случае, никто другой так не говорил, все говорили просто "цветастые". У нее самой были обычные брюки-стретч, красные, со штрипками, потому что в городской школе не важно было, во что ты одет, главное, чтобы ты слушал правильные поп-группы: "Ola and the Janglers", "The Monkees", "Hep Stars".

"Завидущая..." — подумала Анна, быстро осмотрелась — на лестнице никого — и тихо произнесла это слово, сперва на своем сконском диалекте, а потом более растянуто, как говорили здесь: "Завиду-у-щая". Звучало грубо и сдавленно, как позыв к рвоте. Некрасиво. Отвратно. "Вот, наверное, и Ангелика думает, что я отвратная, потому что у меня нет flower power штанов", — подумала она и посмотрела на свои красные брюки.

— Анна? Ты что здесь делаешь? — По лестнице поднималась учительница. Она остановилась на площадке рядом с Анной. — Почему ты не на улице?

Анна пожала плечами:

— Не знаю.

— Ты что, плохо себя чувствуешь?

— Не знаю.

Учительница положила прохладную, сухую руку Анне на лоб:

— Температуры вроде нет.

Потом посмотрела вниз, на школьный двор, на девочек, которые прыгали через резиночку.

— Ведь это не из-за Ангелики?

— Что?

— Ну, я случайно услышала... — сказала учительница.

— Что?

— Как она сказала, что ты завидуешь, что у них эти брюки flower power. Ты только не обращай внимания! Она наверняка просто не подумала. Ну, давай беги на улицу, подыши воздухом. До конца перемены еще минут пять.

Анна медленно и неохотно спускалась по ступенькам. "Завидуешь", — стучало у нее в голове. "Ничего я не завидую!" Однако слово звучало снова и снова, все быстрее и быстрее, а она продолжала спускаться, медленно, но с каждым шагом все решительнее. Открыв тяжелую дверь и выйдя на школьный двор, она так же решительно подошла к девочкам, которые играли в резиночку. Была очередь Карин прыгать. Анна прошла мимо Карин, Лизы и еще одной девочки, имени которой не помнила, мимо всех остальных; она подошла прямо к Ангелике, ее сердце колотилось, ладони вспотели, а голова кружилась как будто от

высоты. И оказавшись перед Ангеликой, у которой штаны, кстати, были красные в синий и желтый цветочек, и глядя ей прямо в глаза, Анна сказала: "Если ты думаешь, что я завидущая, то ты ошибаешься, я *ни капельки* не завидую вашим цветастым штанам, так и знай!"

Стало очень тихо. Карин перестала прыгать. Ангелика, казалось, потеряла дар речи, вылупившись на Анну. Но постепенно глаза ее сузились, рот закрылся, и тогда Анна быстро добавила — сама толком не понимая, откуда берутся слова, потому что она не придумала их заранее, а как будто кто-то другой вложил их ей в рот, и когда она открыла его, слова сами из него и вылетели:

— Вообще, они красивые, я бы тоже такие носила, но я *не завидую.* Понятно?!

Анна шагнула назад, немного в сторону от девочек. Она просто стояла, а сердце ее бешено билось, словно норовя выскочить через рот, и она положила потную руку на грудь, чтобы успокоить сердце и не дать ему вырваться наружу.

Карин снова начала прыгать через резиночку, снаружи внутрь, изнутри наружу, хотя и медленнее, чем раньше, как-то неуверенней. Словно сомневаясь. Но потом — бросив беглый взгляд на Ангелику — она запрыгала так же быстро и легко, как раньше, и Анна подумала: сколько же минут осталось до конца перемены? Ей хотелось, чтобы сейчас зазвонил звонок на урок, чтобы он зазвонил *немедленно* и чтобы урок этот никогда не кончался, а Ангелика сказала — совершенно обычным голосом, как будто не теряла только что дар речи и не стояла с разинутым ртом:

— Можешь прыгать с нами, если хочешь.

Анна отняла руку от груди, но не могла придумать, что ответить, потому что она никогда раньше не прыгала через резиночку, только в классики и через скакалку. Но ей нужно было быстро что-то сказать, потому что теперь перемена могла закончиться в любую секунду, а она не знала, насколько серьезно предложение Ангелики, не знала даже, останется ли оно в силе хотя бы до следующей перемены, так что ей пришлось сказать правду:

— Я попробую, но раньше я никогда не прыгала через резиночку, потому что в городе почти всегда прыгают в классики.

Она хотела сказать "потому что в городе *мы* почти всегда прыгаем в классики", но в последний момент передумала и как бы для того, чтобы подтвердить свое новое положение, еще и добавила:

— Понимаешь, там, в городе, они все время прыгают в эти классики.

Ангелика пренебрежительно цокнула языком. Потом покачала головой и фыркнула:

— В классики прыгает только малышня.

— Да знаю, — сказала Анна и закатила глаза, а Карин, которая только что закончила прыгать, вдруг оказалась рядом с ней и воскликнула:

— Да мы тебя научим! Скажи, Ангелика?

— Конечно научим, — ответила Ангелика, и в это время зазвонил звонок. — На следующей перемене, — добавила она. — Забито!

Анна и Ангелика стукнулись кулачками и пошли к школе, а Карин и остальные девочки хвостом потянулись за ними.

Фредрик Нюберг

Перевод Галины Палагуты

Из *сборника* "Цветочные часы"

Пролог

Я просто взрослею.
Твоя голова нереально светла и спокойна.
Если история Европы не врет, я выучу ее, как учат
песню. Сегодня, когда я вышел купить цыпленка и
чипсы, лестничная клетка скользко пахла мылом. В отеле
"Лотреамон"
цитаты просто рвутся из текста. *Ты розой*
вытер лоб и расхвалил шипы.

И *если ты умрешь, ты – озеро*

Я сплю.
Просыпаюсь и слышу: тебя разбудил дождь.
Мы будем ругаться из-за денег. Все, кто невидим, существуют.
Вода в Мёльндале затопила Восточное кладбище и
поднимается выше. Все, что невидимо, существует.
За прикрытыми веками ты почти всегда дома.

Вспоминаю 99-й год.
Может, боль в животе – это просто симптом?
Мы гуляли вокруг озера под дождем. Ставили
длинные скобки.
Я верю в Бога. Бог добр ко мне (но жесток ко многим
другим). Под водою природа шевелится еле-еле.
Этот год тоже когда-нибудь кончится.

Закрываю глаза в темноте.
Лед срывается с крыши, осколки летят на ладонь.
По ночам ты звучишь, как гроза.

© Fredrik Nyberg, 2000
© Галина Палагута. Перевод, 2007

Невыносимо. (Хочу написать "зола").
Если звезды похожи одна на другую, то как?
Теперь постоянно штормит. Тополя заурядны.
И если ты умрешь, ты медленно поднимешься во мне озером.

Galanthus (L. mask.)

Диагонали.

Запах хлорки.

Наверное, я спал, раз просыпаюсь.

Голова и затылок — все еще жилище опыта.

Февраль.
Птицы почти невесомы.
В сквере, прямо рядом с площадью Густава Вазы,
есть дерево — его видно из трамвая — чьи могучие ветви
никнут к земле.
Я должен быть тем, кто утешится.

Солнце

А дождей все нет.
На парковке резвятся собаки и дети. Одна машина
заслоняет блестящие детали другой.
Свежая мысль редко бывает свежей. В туннеле между
вокзалом и Эстра-Нурдстаном воняет мочой.
Мошки вьются вокруг животных, у самых глаз.

Ты сейчас мое солнце.
Я держу твое тело внизу своей собственной массой.
Философия — чушь. Спуск к воде становится только круче.
Завтра я должен исчезнуть, таков порядок.

Я пью много пива.
Отпустив на секунду висок, позволяю времени идти.
И потом, раз за разом — даже во сне — повторять
четкие движения руками.
Солнце истерто, оно — круглый стол, стул в высокой
травянисто-зеленой траве. Стихи — не контракт.
Когда я был маленьким, я не хотел
ставить правую ногу перед левой (или наоборот).

Ларс Микаэль Рааттамаа

Перевод Галины Палагуты

Из сборника "Политическое насилие"

Я – *Гертруда Стайн*

> Как будто существует болото, а
> американцы где-то в стороне. Я в это
> не верю. Американцы и есть болото.
> И болото есть в любой стране.
>
> Линна Юхансон

Я тоже Гертруда Стайн. А вы не верили!
Хо-хо, Билли Боб, в эдакое про меня
ты не верил. Но у меня наикрутейшие в мире
шузы из змеиной кожи. И я купил их в Оклахома-Сити.
Рядом с Кэтлманс-кафе. На сыромятной подошве.

Хи-хи, Шарон Стоун, погляди-ка на другую
Гертруду Стайн. На полном газу по трассе 666.
С копами на хвосте. Н-но! Ну да,
превысил малость. И все же, все же. Просто хотел успеть
в Долину Монументов до темноты. 200
долларов. А тебе, тебе придется ночевать в Кайенте.
В урановых рудниках.
Да-да, вообще-то я тоже Гертруда Стайн.
Хе-хе, мисс Ричардс. Скажи-ка мне. Давай, хоть раз
скажи правду. Ты знала, что Луизиана
в Миссури? Не, ну я мог бы себе представить. Хотя,
даже сделай я крюк, оказался бы на Мисс-
исипи в половодье. Прямо перед Ганнибалом
с белым забором. И этот лоурайдер. Бахито Онда.

Фантастика. Это же я, который тоже Гертруда
Стайн. Вы это знали уже, герр Питт? Во как, вот так,
так-то вот. И я, который... Но все равно просто фантастика.
Так много американцев. В грязи. Почему мы все не можем
быть
Гертрудой Стайн. Хоть на минуточку. Ха-ха. Побузим.
Споем все вместе: "By the time I get to Phoenix..."[1]

© Lars Mikael Raattamaa, 2003
© Галина Палагута. Перевод, 2007

1. "К тому времени, как я доберусь до Феникса..." (*англ.*) – заглавная строка хита Глена Кемпбелла (1967). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Global Warming[1]

ночь южный стокгольм собираются дети
вдоль забора на эльвчеллевэген
ждать колониальной войны

и ты не спрашивай зачем
не лезь в наши планы
лежи себе в широкой кровати
пока мы методично прочесываем свалку

я беру красный пылесос и кидаю его за ограду
я беру коричневое кресло и кидаю его за ограду
я беру маленькую шкатулку и кладу ее за пазуху
я беру зеленый монитор и кидаю его за ограду
и ты не спрашивай зачем

из сарая уходит воздух
луна освещает поле
и тысяча девочек строит стену из холодильников и столов
ночью в южном стокгольме
пока мы ждем колониальной войны

маловато уже твоих молитв
теперь когда автобусы не ходят
и ты не можешь положиться на безопасность улиц
кое-где бог оставил такие большие пробелы
маловато уже твоих азбучных истин
теперь когда мы умеем находить без подсказок
и слишком поздно спрашивать зачем
мы выбрали именно эти двери

я мог бы сказать давным-давно
что хватит одного матраса
но война начинается и не время для поздних песен
я мог бы рассказать тебе давным-давно
как готовят густой картофельный суп
но этой ночью не время для басен
и кажется тебя не колышет больше
откуда берется сырье

я беру большое одеяло и кидаю его за забор
я беру голубую коляску и кидаю ее за забор
я беру пластмассовую вазу и кидаю ее за забор
я беру розовую сумку и кидаю ее за забор
и ты не спрашивай зачем мы пробыли здесь так долго

Ларс Миккаэль Раатамаа

1. Глобальное потепление (*англ.*).

Хелена Эриксон

Перевод Екатерины Чевкиной

Из сборника "Серп"

Die Rosen blühen und die Jasmin,
dessen Duft ich seit meiner Kindheit
liebe...

Unica Zurn[1]

(тело обуздай
дай ему волю)

лицо недоступно
мерцает
Ощутив лицо как то что неявно
Что ли спрятано в знак

формулы суть игра
формой похоже не только на нож
Буквы раскалены снаружи
Выплескиваешь из груди наружу
свет и во мглу обернутый свет
розы мглы, розы распускаются

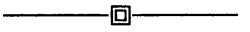
Нарастание движения
розы рушатся через край
Цветонос – поднимает розы
над розовым ложем
Мои руки опасны
Мои руки упали
в розовый сад

© Helena Eriksson, 2001, 2004
© Екатерина Чевкина. Перевод, 2007

1. Розы цветут и жасмин, чей запах с детства люблю...
Уника Цурн (*нем.*)
(*Здесь и далее – прим. перев.*)

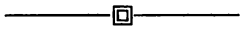
Склоны
где недвижно лежа, в мольбе

Выступает с рассветом Когда
наступит рассвет



То бесчестье что прячет (созвездие)
еще не время открыть Все
должно совершиться
Все должно быть при нас

Грех Плоть Шнуровка и разрез



...А сады растут

Не ускользнуть

на дереве между мраком и мраком

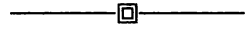
Ослабла петля Земля все ближе

вкруг головы
поверх глазной оболочки

горы цветов
Воздают охотно
Отдают охотно то, что бренно

Все должно превратиться
Уйти — это норма Что делать
когда нормы не действуют

или ищет погибели роз
их раскрытых губ обращенных кверху заметных



вдоль всего этого
мрака и открыто наружу
моих рук

не замечая
больше как бьет волна предсказанье
больше не больше

слуха или больше
не

Мрак и роса

Но в этой внезапной светлой ночи
действительно бьет волна

раскраивая парчу

раскроив структуру
костюма раскрой...

Что же это тогда манит Я
желаю знать...

вдоль этой светлой узорной насечки

Сады это только тропы...

Но уже прежде –
Явились посреди зимы
Всадники наклоняются: затылки
затылков томление воротник
тени гонит
вдоль тел как теплые облачка
Тепло из парчи угол,
образуемый ее пальцами и воротником

Истина та же
Ответишь за все
Ночью мы ближе к добру

Ты ничего от меня не прячешь

Но кто войдет туда по доброй воле?
"Тот, кому должно разбудить Лауру"

Руки стиснутые в дожде
посветлевшая кожа

бьется о мрак домов

Губы пробуют в дожде...
Эти движенья чужды но остается...

Миры во мраке тела; темницы
золотая парча, лазоревый
...и тогда никто не умолкнет

умолкнет перед дождем
(все что светло, все что темно)

Из книги "Strata"

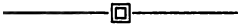
Больше всего она любила вот это движение: крутить и крутить золотое кольцо-печатку на среднем пальце. Камень в кольце был такой большой, что краями исподволь царапал указательный палец и безымянный на унизанной кольцами руке.

Отметим также ее корректный наряд и ту корректность, с какой она его носила, а также усугубившуюся строгость ее черт, иначе говоря, лаконизм, скупость ее повадки и жеста.

I

1

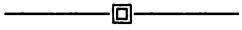
Они должно быть красивы Почему она должна быть красивой



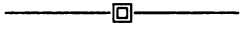
в отсвете вдоль фасадов

ветром Атлантики
ног облаченье ножки мерцанье у кромки моря
как ее жмет и бьет и объемлет пенный бурун

море нежно к ее



“Мое тело внезапно стало источать тьму”

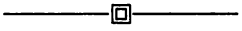


в недвижности между зданий; зелень

перекрестье звериных троп, где покой
где цвета вожделенья

Простерты
Затерты

обратно, дальше назад и брошены
наобум
Пародия — вместо
Месть и не-месть



я ступаю это ее ступени

тяготенье навыворот

История в общем-то сходится на предмет этой тьмы

посреди соразмерного образа

перемещенных, не
подключенных к машинерии

покуда
цвета возвращаются. Можно писать что угодно

что его найдут
подлинным: голос и все смертно

Не имеешь права отречься от назначенья. Говорю от нас и за нас. Озираешься в комнате, будто прежде тут тебя не было. Я тебя одерну. Да: они мертвы. Тебе мнится, что он вернулся, но это — лишь облаченье.

2

сперва у речки Крёз, затем у речки Бьевр

машинерия: ткачи

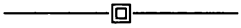
или речка
Воздух светлый, сыпучий, будто у моря

Сплетают, перебирают нити. Она выбирает шпильки
Пусть трудится речка

ты их спрячь в волосах
и печатку сбереги для наряда
следуй за красными приводными ремнями
камень печатки померк. Он — облаченье

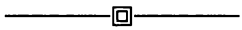
Серебро окисляется.
Шпильки вонзаются в кожу

До того как настанет зима
До того как промерзнут реки



Речное ложе, плоские камни мостят подмостки
финальной сцены

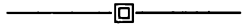
Вымысел — связка



Причалив на северо-западе, где оконечность

охватив эти блистающие запястья
язык протискивается в рот

Плыть и плыть в открытое море языки показать каменной
кладке

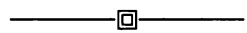


в ожидании кораблей в полуденный зной
эти чистые руки: он чист, он чист!
Грудная клетка, эти руки (позднее — мертвые)

костюм обрастает его
эмблемой, разросшейся так, что включает даже и брата
которого числят его прямым подобьем однако же мы не
находим
малейшего сходства маскировка под копию
брата возлюбленный каменщик Жиль

никаких переходов, поэтому так нестерпимо прекрасен сей
бутафорский сумрак, бутафорские эти
кинжалы

И в-третьих, эта фальшивая сцена
(Но Жиль, он вправду любимый, — боготворимый, по крайней
мере)



Прижимаясь к каменной кладке и отражая
Он заслуживал милосердья

Слепо шарить лицо, что лишено его черт,
становясь все более непохожим

Там внутри ничего, больше там не вместить ничего. Пора прощаться, нет, еще не пора Ближе срывая с себя кольца, испуганно
надевает кольца

Она узнала его, но не призналась, всякий ведь может обознаться. Она на него похожа

Она засыпает, он разглядывает отраженье
They multuply, infinitely[1]

Города этого нет. Они лишь играют роли. На самом деле
Все происходит в памяти моей.

IV

3

вуалью. Той же, собственно, оболочкой

Судно, что видно теперь в окно, черно

Колеса, дрожанье картинки

Ничто (такова моя воля) не посмеет подняться над сим
нижним уровнем (абсолютная тень от тел)
Не прельщайся напрасно отсюда хоть что-нибудь
унести — напротив сплошной подлесок мысля об этом

медленней Письмена коротка жидка и недальнозорка

1. Они преумножают, до бесконечности (*англ.*).

тоска по земле, полям, по тяжелой влажной
земле железнодорожным путям, дорогам

пути-дороги!

Никак не определиться с "подлинностью" эпохи
моих марионеток

Отметь и вот эти кольца — каждую
руку облегшее золото, серебро

Швы головы что все
это костюм.

Что же здесь явствует?
Предательство? Двойственность двойника? Он же
претворяется в копию. И пребудет неузнанным вне присущего
копии свойства (сходства)

Хочешь вступить в этот пакт — станешь копией
и преступишь. Только тогда предательство совершится и
завершится
преданием

Осе Берг

Перевод Екатерины Чевкиной

Из сборника "Упланд"

* * *

Ух, как звездопадалица
Звезданет по Упланду:
Опа, опа, Упланд!
Пламя — гляди — ясно!
Плавит — гляди — грани!

* * *

Стрекоза,
светозавр,
возле уха воздуха —
коромысло
смысла

* * *

Стрекоза в стремленье к солнцу
Тает, голову теряет.
Безголовой буквы Т

дребедень,
Тени нет.

Побудка

Пронзи стрекозу,
пробудись стрекозой!

© Aase Berg, 2005
© Екатерина Чевкина. Перевод, 2007

Свежий компостроф

Плодовитолитры –
яблочному духу:
отлежится благо вонь –
станет благовонием!

Сверхуправление

Бывает не-бывает.
Его не существует.
А поди же – держит!

Арладно

Осень, ясен горный блеск
сентябрических пластов.
Птичьим лётом,
самолётом
всё нацелилось на юг...
...Пережизимуем!

Мартин Хёгстрём

Перевод А. Лисина

Из *сборника* "Т*рансфутура*"

* * *

(выбранное поле)

обвести чертой, на карте в профиль
слабо различимо *предназначение*

стынущие руки тянутся на помощь
по следам идем свидетельствуем *Имя*

ходя вдоль да около хороши обводы , послойная правка

1

подобье моря и отлива
в первой же строке описка

искусство как нехватка

2

беглые заметки
, подступая выше выплеснуться на

раздробленное зрение сетчатка
отблеск древних отложений на куски разрезанных
вдоль линий межевых

(твердые фрагменты белизны)

© Martin Högström, 2005
© А. Лисин. Перевод, 2007

1

как память как уходить
через прочерк *ускользать*

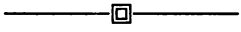
2

материал остаток тело на полях

(честные останки, этот же формат)

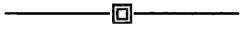
3

последняя попытка
шкурой



вот ведь зараза
супротив *какой* говорит *красный*
надо же налился-раскраснелся
и влажный весь (липкий)

дрожь по каждой клетке но
она *уходит*



1

с математическою точностью пора бы нам обоим
понять

2

еще можно выйти
через арку вдвоем под сводами

Боб Хансон

Перевод Алексея Прокопьева

* * *

Под железнодорожным полотном со скоростью триста
километров
в секунду мчатся наши голоса. Несутся коммерческие сделки и
объяснения в любви, летят — со всеми нашими глупостями и
полуфабрикатами спасения. На земле под рельсами они
превращаются в свет,
чтобы снова стать голосом, стать хриплым
"черт возьми, как я хочу тебя!"

Хотя ты давно это знаешь:
что наши голоса с самого начала предназначены для света.

дышать это сделать выбор,
поцеловать незнакомого человека в затылок и сказать: "опля";

дышать это сделать
неожиданный выбор, проехать свою станцию, прозреть что-то
новое, и прижавшись лицом к жизни, к ее нежной коже,
сказать: "вау";

дышать это войти танцующей походкой в купе с
вытаращенными
глазами, высунуться в окно вагона и огласить пением весь этот
гнусный мир,
плеснуть соседу ликер Drambuie и сказать: "привет";

дышать — это заставить двигаться день,
повернуться
задницей к солнцу и сказать: "поехали!"

делать то, что никогда раньше не делал,
покраситься в яркий цвет, рыдать в голос на
работе, крича:
"да пошли вы все к черту!"

и шатаясь войти в автобус,
но на этот раз попросить водителя погнать туда,
где нежность не надо втискивать в багажное отделение,
где единственное слово, которое осталось в своде законов,
это:

"ё!"

© Bob Hansson
© Алексей Прокопьев. Перевод, 2007

дышать
это улечься на стол и попросить начальника
помассировать тебе ногу;

дышать это залезть на дерево и через мгновение,
расправив плечи, исчезнуть,

улететь совершенно без
стыда и срама, и орать

“пора есть чернику!”

дышать — это порвать билеты,
рвануть домой со станции с хот-догом в руке,
и кричать: “эге-гей”;

остановиться на площади, глаза с барабан,

увидев в мыслях пирог с черникой,
написать открытку
с чудесным видом и подушками во весь горизонт;

дышать это сесть
и произнести “теперь мы у цели”;

позвонить собственному успеху и сказать:
“больше мы не знакомы”;

а потом позвонить соседу,
поставить бутылку вина у двери,
утверждая, что начинается праздник, что вот сейчас что-то

начнется...

Стаффан Сёдерблум

Заметки о новой шведской литературе

Перевод Марии Людковской и Александры Поливановой

Перемены, отметившие последние десятилетия XX века, не обошли стороной и шведскую литературу, коснувшись главным образом нарративных жанров, их законов и структуры. Отправная точка этих перемен — та же, что и в остальной Европе: эстетические эксперименты модернистов, недоверие к политическим "конструкциям" в массмедиа (на телевидении), неспособность романа объять современность. Однажды неколебимые эпические формы в 90-е потерпели крушение и в Швеции, разлетевшись осколками в виде малой прозы и, в частности, *новелл*.

1

Новелла занимала прочные позиции в истории шведской литературы прошлого столетия, писатели нередко обращались к французским и русским образцам, и Август Стриндберг был не единственным писателем в Швеции, блиставшим в этом жанре. Но ближе к концу XX века, в начале 70-х, на шведском книжном рынке случился кризис, который больнее всего ударил именно по новелле, в результате чего издания новеллистики значительно сократились. Причины кризиса крылись не собственно в литературе — причины носили скорее структурный, коммерческий характер. В 60-е, так называемые рекордные годы, шведский книжный рынок столкнулся с перепроизводством, и проблему предстояло решить путем снижения числа изданий в сочетании с увеличением государственной поддержки издательствам. Ценность литературных жанров стала определяться исходя исключительно из их коммерческого успеха — "потребитель жаждал романов". Однако новелла долгое время служила для шведских писателей важным источником дохода. Еще в 60-е годы многие газеты и журналы регулярно публиковали новеллы, обеспечивая стабильный заработок их авторам. Поэтому новелла была не только классическим жанром мастеров, но и литературной поденщиной — сомнительной формой с сомнительной, в общем-то, репутацией: новеллы писались "ради денег". К ним зачастую и относились как к "недожанру", не дотягивающему до разряда полноценных литературных произведений, таких, как роман или стихотворение. В 70—80-е годы отдельные сборники новелл осмеливались печатать преимущественно признанные романисты — новеллистов как таковых было немного.

Такое положение дел господствовало на шведском книжном рынке почти четверть века. Но вскоре ситуация кардинально изменилась. В середине 90-х явилось новое поколение писателей, для которых новелла была terra incognita, интересным форматом, его предстояло освоить, покорить и наполнить актуальным содержанием. Не-

© Staffan Söderblom, 2006
© Мария Людковская, Александра Поливанова. Перевод, 2007

ожиданно для всех жанр новеллы привлек молодых писателей, и с тех пор малая проза переживает свое возрождение, если не золотой век. Именно это поколение и представлено в нашем номере.

2

Ульф Эриксон — наверное, старший среди вошедших в подборку авторов. Его проза проливает свет на шведскую среду обитания последних десятилетий. Дебютировал Эриксон в 1982 году, выпустив книгу стихов; его творчество весьма многогранно: поэзия, проза, эссеистика — в общей сложности около двадцати книг, которые отличает разнообразие литературных приемов и гуманистическая компонента. Кроме того, он в гораздо большей мере, чем другие шведские писатели его поколения, занимался литературной критикой, сотрудничал со многими газетами и журналами. Эриксон совершенно бескомпромиссный писатель, он не подстраивается под аудиторию и не заигрывает с читателем, его тексты весьма непросты как по форме, так и по содержанию. Долгое время произведения Эриксона были объектом самых противоречивых оценок, но сегодня уже мало кто оспаривает их значение. Несмотря на то, что Эриксон постоянно пробует себя в новых жанрах, его первый сборник новелл появился только в 1996 году, правда, вслед за ним вышло еще два. Вероятно, Эриксон поздно соприкоснулся с новеллой именно потому, что во время его становления как писателя климат для нее был неблагоприятен. Однако сегодня новеллы — костяк его творчества. Среди прочего Эриксон стал проводником новых литературных течений и теорий на шведскую почву, особенно из испаноязычного мира, что наглядно прослеживается в рассказе "Цвет неба, цвет надежды" (из последнего сборника "Прикосновение во время ненастья", 2003); в нем можно, пожалуй, увидеть квинтэссенцию литературного метода Эриксона: здесь переплетены тонкие наблюдения над современной ментальностью, интерес к загадочным судьбам и исследование природы насилия, чувства вины... И неустанное испытание границ и возможностей повествования.

3

Есть еще один критерий, по которому Ульф Эриксон выбивается из общего ряда, — он слишком "стар" и никогда не учился на *курсах литературного мастерства*. Подобные курсы — относительно новое, но важное явление в шведском литературном пространстве. С конца 50-х годов существовали скромные, безликие кружки, но уже в 80-е писательские курсы стали понятием, прежде всего связанным с "народной школой" на острове Бископс-Арнё (которая долгое время оставалась центром межскандинавского литературного общения). Раньше в Швеции профессионального образования для людей пишущих не существовало, ведь считалось, что "писателями не становятся, а рождаются", и эта формула также отражена в самом названии таких курсов, где отсутствует собственно слово "писатель" (författare). Буквальное значение слова "skrivarkurs" — курс письма, то есть обучение вроде как для любителей. Подобная практика бросала вызов устоявшемуся шведскому представлению о Писателе с большой буквы образца 30-х годов. Речь идет о так называемых пролетарских писателях, в первую очередь нобелевских лауреатах Эйвинде Юнсоне и Харри Мартинсоне. Как правило, эти авторы родились и выросли вдали от Стокгольма с его литературной элитой, были крестьянами или рабочими, не получили академического образования, но именно они совершили переворот в шведской словесности — не только потому, что наполнили свои тексты неведомым ей дотоле народным опытом, но и потому, что благодаря им Швеция открыла для себя модернизм (спустя десять лет после того, как он пришел в шведоязычную

литературу Финляндии). Пролетарские писатели перекроили и перелицевали поэзию и роман. Тогда и возник образ идеального писателя как неотъемлемой части существующего социал-демократического самосознания: мужчина (почти всегда мужчина) из народа, который, не испытав воздействия академических теорий, неожиданно врывается в литературное пространство, словно необузданная стихия. То, что шведский социальный проект с 1930 года в корне изменился, а вместе с ним и принципы рекрутирования новых авторов, не оказало заметного влияния на образ идеального писателя: для шведского литературного самосознания эта фигура была слишком значима, чтобы так просто от нее отказаться.

Как бы то ни было, курсы обучения литературному мастерству бросили вызов (ненамеренно) именно этому представлению, и реакция истеблишмента была однозначной — неприятие и скепсис. Настоящие писатели должны быть "необразованными", утверждали издатели и критики, не надо нам никаких дипломированных авторов, выращенных на специальных курсах. И по мере того как в 80—90-е годы появлялось все больше писателей — выпускников самых различных школ, критики породили презрительное выражение "продукт курсов", подчеркивая несерьезность новой литературы, отмеченной, по их мнению, формальной "правильностью" при отсутствии значимого содержания. Одной из ее характеристик была приверженность малым формам: стихотворения в прозе, лирическая проза, новеллы — то есть формату, который наиболее подходил для обсуждения на занятиях, как утверждали противники подобных школ. Роман никак не может уложиться в рамки курсов литературного мастерства. Это утверждение безусловно достойно внимания, но едва ли оно справедливо. Во-первых, есть целый ряд хороших романов, написанных именно во время обучения; во-вторых, интерес к новелле объясняется куда более важными факторами. Однако можно не без основания предположить, что плодовитость и любопытство студентов литературных курсов способствовали появлению новой качественной новеллистики, несмотря на равнодушие со стороны критики и издателей.

Сегодня курсы стали важной частью шведской литературной жизни — в немалой степени после открытия в 1996 году в Гётеборгском университете творческой мастерской "Художественное воплощение" ("Litterär Gestaltning") — школы для шведских, норвежских и датских писателей, большинство из которых дебютировали еще *до* поступления туда. Кстати сказать, среди преподавателей школы была Лотта Лутасс, а Ульф Эриксон преподает в ней до сих пор.

4

Многие из авторов, представленных в этом номере, не только учились на курсах литературного мастерства, но и занимались в Гётеборгской школе: Нинни Хольмквист, Матс Кемпе, Черстин Нурборг и Йеркер Вирдборг, а также поэты Фредрик Нюберг и Мартин Хёгстрём. Нинни Хольмквист дебютировала в 1995 году и конечно же прежде всего является новеллистом, хотя совсем недавно, в 2006-м, опубликовала и свой первый роман. Ее новеллы — камерные пьесы с привкусом эротики и психологии, в которых речь идет об отчужденности и борьбе за власть, свойственных современным людским взаимоотношениям. В этом смысле довольно характерна новелла "Flower Power" со "счастливым" концом: девочка отказывается от своего "я", которое не может приспособиться к норме, принятой в кругу ее одноклассниц. Такое решение — вроде бы признак самостоятельности, но при этом героиня совершает предательство по отношению к себе самой, и ей открывается одиночество более глубокое, чем раньше, темное, невидимое. Сесилия Давидсон — тонкий

новеллист; после яркого дебюта в 1994 году она написала еще три книги. Темой своих новелл выбирает будничную жизнь женщины, хотя в них всегда ощущается какая-то неявная, глухая угроза.

Ханс Гуннарссон тоже начинал как новеллист, у него вышли три сборника новелл и два романа. Гуннарсон исследует то, что скрывается за вполне тривиальными сюжетами из шведской жизни, нередко подсмотренной в предместьях большого города. Его новеллы — сжатые, емкие картины одиночества и разлаженности в стране всеобщего благосостояния, где люди живут скученно, но в то же время отчужденно, замкнутые в своих беспомощных судьбах и своем молчании. Это сродни одиночеству героев новелл Матса Кемпе. Как и Ханс Гуннарссон, Кемпе дебютировал в 1996 году. И тоже сборником новелл, а с тех пор издал еще три книжки — два небольших романа и новеллы (сборник, в который вошла "Санна", включенная в этот номер "ИЛ"). Языковая техника Матса Кемпе близка минимализму, когда почти все скрыто от глаз и происходит на уровне подтекста, как в представленной новелле, где герой как будто управляет обеими женщинами именно благодаря своему отсутствию; его черты причудливо проскальзывают в облике незнакомца на автомобильной стоянке возле кафе, в котором разыгрывается действие. Что касается Черстин Нурборг, то она с осторожностью и даже некоторой опаской перемещается в пограничных областях литературных жанров. В дебютный сборник вошли короткие стихотворения в прозе, которые вместе образуют единое, но очень обрывочное повествование; жанровая принадлежность ее второй книжки также неопределенна. Затем Нурборг написала роман (удостоенный премии Шведского радио), хотя новеллы в привычном понимании слова появляются лишь в четвертой книге, "Missed abortion" (2005), откуда и взят рассказ "Ассизи". В последнем сборнике все новеллы объединены двумя схожими темами — бездетность или потеря ребенка. В любом тексте Нурборг прослеживается почти сакральное отношение к языку, добавим, что в них нередки отсылки к христианской морали — черта, не очень свойственная современной шведской прозе.

Последним среди авторов новой волны шведской новеллистики следует назвать Йеркера Вирдборга. После яркого дебюта в 2000 году он оставил малую прозу и написал два романа. В сценах из шведской действительности, тщательно прослушанной Вирдборгом, неожиданно приоткрывается пропасть устрашающей неизвестности — недосказанное и тайное, такое, о чем не принято говорить. Его описания обнаруживают темные пятна на вроде бы освещенной поверхности общества.

Всех этих писателей нельзя причислить к какой-либо "группе", но их произведения единит безусловное родство. Все они предлагают "реалистичный" взгляд на шведскую повседневность. Городские окраины, лестничные пролеты, окна кухонь — зарисовки бессюжетного, "буднично серого", но доведенного до отчаяния и невыносимого существования, от которого до насилия один шаг. Их герои живут в упорядоченном с виду обществе, но это общество *в стагнации.* И потому они одиноки, беспомощны, *брошены...* непонятно только кем или чем. Они не могут стать героями масштабного социального или политического полотна, эпического романа, их истории могут проявиться лишь на моментальном снимке — *в новелле.*

5

Такая *осколчатая* малая проза 90-х, которую зачастую отмечает плотность письма, характерная для поэтических текстов, собственно и приблизилась к поэзии и даже переняла некоторые ее средства выражения. С другой стороны, в поэзии примерно в то же время велись радикальные поиски новых выразительных средств. Говоря проще,

шведская поэзия отказалась от "повествовательной" роли и теперь превратилась в "языковую лабораторию", смежную с музыкой и изобразительным искусством, подобно критике языка и языковому материализму[1].

Для иллюстрации этой тенденции можно упомянуть два ключевых события.

Одно из них — рождение поэтического журнала "OEI" (название состоит из трех гласных слова *poesi*). Первый выпуск увидел свет в 1999 году с подзаголовком "Неопознанные вербальные объекты", и с тех пор вышло множество номеров, в которых представлена серьезная подборка зарубежной и шведской поэзии и критических статей радикального толка. "OEI" сводит некоторые важные направления шведской поэзии последнего десятилетия в своего рода манифест, определяющий ее роль (разумеется, с этим определением согласны не все шведские поэты). Теоретически и практически "OEI" близок экспериментальным литературным течениям США и Европы, ставящим во главу угла такие пограничные формы, как "звуковая поэзия" и "визуальная поэзия", а также столь важному для шведской литературы явлению, как конкретизм, мимолетный расцвет которого пришелся на 60-е годы. "OEI" — это, пожалуй, наиболее квалифицированное литературное издание в Швеции начала XXI столетия, пусть и довольно узко ориентированное.

Не менее важное значение для шведской поэзии имело, вероятно, издание большой (почти 400 страниц) антологии французской поэзии 70—80-х годов, вышедшей в 2000 году под названием "Я пишу в твоих словах. 12 + 1 французский поэт". В книгу включены разделы, посвященные таким поэтам, как Анн-Мари Альбиак, Эммануэль Окар и Жак Рубо, а также американскому поэту Майклу Палмеру; кстати, одним из составителей и переводчиков была поэт Хелена Эриксон, редактор "OEI". Можно сказать, что эта книга стала фундаментом и ориентиром для шведской поэзии последнего десятилетия: многие состоявшиеся молодые поэты не только обрели в ней своих единомышленников, но и нашли новые творческие импульсы. Ведь будучи носителями "маленького" языка, шведские поэты всегда оглядывались на зарубежную поэзию; к примеру, в истории шведского модернизма есть несколько переводных изданий, главным образом с французского, которые заметно повлияли на развитие отечественной литературы, и многое указывает на то, что антология "Я пишу в твоих словах..." тоже будет восприниматься как веха в становлении новой шведской поэзии.

"OEI" несомненно занимает важное место в современном литературном пространстве Швеции, что видно даже по составу этого номера "ИЛ": Фредрик Нюберг, Ларс Микаэль Рааттамаа, Мартин Хёгстрём и, как я уже говорил выше, Хелена Эриксон входят в редколлегию "OEI".

6

За последние десять-пятнадцать лет в Швеции возникло несколько новых литературных течений. И произошло это, несмотря на "маргинализацию" литературы, по нескольким причинам: растворение "образованного среднего класса" в экономических структурах, изменения в школьной программе, "медиализация" общественной дискуссии. Литература стала играть менее заметную роль в политических дебатах и формировании общественного мнения. Пресса по-прежнему внимательно отслеживает новые издания, но положительная рецензия уже давно перестала гарантировать

1. Языковой материализм — направление в современной шведской поэзии, коренящееся в конкретизме 60-х (Бенгт Эмиль Юнсон, Эрик Бекман): в качестве "рабочего материала" поэты используют уже существующие тексты — рекламу, цитаты, вырезки из газет, разговорную речь. (*Здесь и далее – прим. переводчиков*)

широкий круг читателей. Расцвет малой прозы является отражением своеобразной литературной тенденции: *способу повествования* отводится роль не меньшая, нежели *предмету повествования*. Тем самым литература (по крайней мере, на какое-то время) смогла определить свои *приоритеты*. В результате некоторые центральные задачи, которые раньше стояли перед романом, теперь перешли к иной литературе. *Социально-критическую* миссию почти целиком выполняет детективная литература, которая часто пишется журналистами и криминологами. А за *исторические* темы теперь отвечают литературно одаренные профессиональные историки, и, хотя они не чужды традиционным приемам романистики, тексты их романами не назовешь. Задачу описания *современной народной жизни* выполняют не романы, а телевизионные сериалы о жизни в предместьях больших городов и в провинции. Однако многое свидетельствует о том, что художественная литература вновь вернется к этим и другим — "эпическим" — целям, и не исключено, что благодаря кому-то из представленных здесь молодых писателей. Но до этого еще далеко.

7

Особое положение среди шведских прозаиков, заявивших о себе в начале нового столетия, без сомнения занимает Лотта Лутасс. Здесь мы представляем ее последний роман (2006), публикуемый in extenso[1]. Особое положение Лутасс отчасти связано с беспрецедентной продуктивностью: с тех пор как вышел дебютный роман "Чистый источник" (2000), удостоенный литературной премии Буросской газеты (самой престижной премии для дебютантов), Лутасс написала еще пять романов и одну пьесу, а также защитила диссертацию. Но не столь важна продуктивность, сколько тот факт, что Лутасс вдохнула жизнь в искусство шведского романа — как на уровне тематики, так и на уровне языка. Ее сочинения часто имеют документальную основу, но в них всегда отчетливо проступает провидческое начало. Они описывают крайности человеческой природы, нарушения, отклонения или "безумия" — состояния, которые также можно рассматривать как некую внутреннюю цельность. Подчас в романах Лутасс явлен сплав таких тем, как техническое первопроходчество (американская аэродинамика, освоение космоса Советским Союзом) и метафизика. Герои Лутасс подвергаются чудовищным физическим и психологическим искушениям, они в каком-то смысле добровольно приносят себя в жертву, задавшись целью разрушить границы человеческих возможностей; но позиция автора укоренена в истинно христианском гуманизме. Роман "Голоса в пространстве" был встречен шведской публикой с некоторым недоумением. Ведь рассказ о серийных убийцах принято почти автоматически рассматривать как принадлежность коммерческих развлекательных жанров, использующих насилие в качестве основной темы, — подобные сюжеты увязывают главным образом с голливудским кино. После выхода романа в свет, в частности, обсуждалось, есть ли у писателя моральное право сочувствовать преступникам. Герои романа, бóльшая часть которых имеет реальные прототипы в криминальной истории США, настолько чужды нашему сознанию, что многие склонны считать их "чудовищами", выродками племени человеческого, которым нет места в обществе. Лутасс пытается понять, можно ли увидеть в них людей или, вернее, можно ли увидеть *человеческое* сквозь призму их ужасающих преступлений. Разумеется, она не защищает эти преступления и, судя по всему, не стремится "объяснить" их, но она ставит под сомнение наше право называть преступников нелюдьми. Лутасс спра-

1. Полностью, без сокращений (*лат.*).

шивает, может ли она сама как писатель и мы как читатели полюбить и таких людей, и что, если любовь к ним просто необходима. В книге "Голоса в пространстве" Лутасс выполнила, пожалуй, самую сложную из всех поставленных перед собой задач в исследовании человеческих пределов, а именно природы зла, сочувствия и милосердия.

8

Одним из самых важных изменений, произошедших в шведской литературе за последнее время, стало проникновение в нее "новых шведов", а вместе с ними *иммигрантского языка*.

Шведская письменная культура — явление однородное, так как шведские писатели всегда говорили на одном языке, независимо от того, в какой части страны родились, ведь существует общая для всех орфография и синтаксические правила. Диалекты крайне редко пробивались в литературу, разве что в обличье темных языковых структур, как в последних романах Сары Лидман и Торгни Линдгрена. Диалектальная ("деревенская") речь с позиций стокгольмской элиты всегда считалась немного комичной, и книги, написанные на диалекте, причислялись к литературе второго ряда, утехе сельских жителей. Хорошая литература должна писаться на "хорошем шведском", который тождествен "правильному шведскому".

Конечно же, такое положение вещей устраивало не всех, и его не раз пытались изменить, прибегая не только к диалектам как носителям провинциального самосознания, но и к столичным языковым практикам, отмеченным печатью современности. Правда, все эти литературные нападки на "хороший шведский" были исключительно "шведскими", они никогда не касались вопроса национальной идентичности. О провокации, направленной против *шведскости* шведского языка, заговорили лишь с приходом в литературу иммигрантской речи — в первую очередь устной, бытующей в районах или гетто, расположенных в предместьях больших городов. Это язык (естественно, распадающийся на множество внутренних "диалектов"), в который вплетены заимствования из разных языков — арабского, испанского, турецкого, — а также свойственные им грамматические конструкции и порядок слов. Таким образом, он характеризуется множественными "ошибками", никак не вяжущимися с представлением о "хорошем шведском". Он лишен ярко выраженной этничности и в первую очередь маркирует маргинальное положение в обществе — конфронтацию не только языковую, но и до определенной степени классовую. Шведы всегда относились к иммигрантской речи слегка презрительно, она расценивалась как своего рода примитивная абракадабра, лишенная нюансов, — другими словами, "дурной" язык.

Первым, кто всерьез обратился к иммигрантской речи, превратив ее в художественный язык, был Алехандро Лейва Венгер. Его дебютом стал сборник новелл "В нашу честь" (2001), в который вошел представленный здесь рассказ "Эликсир". Орфографические ошибки, корявый синтаксис и явно беспорядочное употребление прописных и строчных букв введены, разумеется, не ради внешнего эффекта. Это очень точная форма выражения отчаяния и агрессивности, часто беспомощной, по отношению к шведскому читателю, к тому самому шведу, который, читая эти новеллы, приоткрывает для себя мир, куда ему нет доступа и куда ему лучше не соваться (при том, что полностью отгородиться от него он не имеет права). Сборник "В нашу честь" был воспринят с большим интересом, но и он, конечно же, вызвал дискуссии на тему, может ли "дурной", безграмотный язык иммигрантов быть хорошей литературой; говорили даже о том, что автор не владеет письменным шведским и что его книга — очевидный результат языковой не-

полноценности. Но дискуссии лишний раз доказывают, что "В нашу честь" — одно из важнейших событий современной шведской литературы, обладающее мощной пробивной силой и несущее в себе новые социальные и политические смыслы.

Иначе был воспринят дебютный роман Юнаса Хассена Хемири "На красном глазу" (2003). Он также написан на языке иммигрантов, но в нем нет той языковой агрессии, которая характерна для новелл Алехандро Лейвы Венгера. Роман "На красном глазу" очень скоро стал бестселлером. Мечты мальчика о силе и власти, безусловно, трогательны, а его язык (или язык романа) можно расценивать как невинную детскую игру и проявление беспомощности, что подчеркивается в самом романе, когда отец спрашивает его, почему он пишет на "дурном" языке, хотя на самом деле вполне владеет нормальной речью. Дискуссия вокруг романа "На красном глазу" не столько касалась вопроса о языке — хорошо это для литературы или плохо, — сколько того, имеет ли писатель "право" использовать чужой социально маркированный язык и может ли (именно в данном случае) выдавать себя за того, кем на самом деле не является. Но несмотря на подобные споры роман "На красном глазу" остается сенсационным дебютом, привлекшим тысячи читателей и сделавшим своего автора одной из ключевых фигур в новой шведской литературе.

9

Рассказ о литературе даже небольшой страны волей-неволей выходит односторонним, однобоким. Конечно, за последние двадцать лет в шведской словесности произошло и много такого, о чем мы здесь, в силу понятных причин, рассказать не можем. Но тенденции, представленные в этом номере, а именно сильные позиции малой прозы, углубление интереса поэзии к языку, проникновение языка иммигрантов в повествование о шведском обществе, без сомнения являются важными чертами новой шведской литературы. Мы пытались показать, что литература, ограниченная небольшим языковым пространством, способна изобретательно маневрировать в рамках своих собственных традиций и что в ней найдется место для яркого, самобытного голоса, который сделал бы честь и любому великому языку.

Мальте Персон

Современная шведская литература: научно-фантастическое эссе

Перевод Елены Серебро

Согревая пальцы на своем допотопном лэптопе в ожидании парникового эффекта, я пытаюсь составить прогноз шведской литературы будущего. Это не так-то просто, даже если у вас есть доступ к метеорологическим базам данных кафедры прикладного литературоведения и астроэкономики в Кируне[1]. (Как ожидалось, шведы в космос так и не полетели[2], поэтому кафедра переориентировала свою деятельность в соответствии с требованиями научной фантастики, вернее, фантастики иного рода...) Согласно прогнозам, фронт высокого давления, как всегда, приходит с запада, с самой Атлантики, или по крайней мере с Британских островов, влияя на нерешительную отечественную погоду и высушивая наши прославленные заросли морошки и знаменитый шведский крыжовник, к которому гений и подозреваемый в убийстве отравитель Альмквист[3] обращал из своего вынужденного американского изгнания полные ностальгии и иронии слова, ставшие крылатыми: "И только в Швеции крыжовник шведский есть".

Но кто теперь стал бы всерьез тосковать по шведскому крыжовнику? Ведь ягоды, равно как и их сборщиков, мы импортируем из Польши и Балтии. Вообще наша ягодная экономика сильно выиграла от того, что сотни лет назад из-за безграмотной военной политики мы потеряли обе территории... "Отвоевать Швецию внутри ее границ" — так в то время звучал лозунг наиболее реально мыслящих экономистов. Но лозунг мог бы звучать и так: "Отвоевать Швецию внутри границ *шведского языка*". Борьба, которую мы на кафедре пока еще не считаем совсем безнадежной.

Когда человек недоволен настоящим, вполне естественно, что он либо оглядывается назад, либо заглядывает в будущее. Самовосприятие шведов, как и у многих других народов, формировалось на основе не только абсолютно вымышленного прошлого (благородные викинги, боги-асы, воины-конунги), но и абсолютно вымышленного будущего (Народный дом, полная занятость, построенное путем реформ и всеобщего согласия бесклассовое общество). Это нормально. Однако сейчас речь идет о шведской литературе, а когда речь заходит о шведской литературе, мы на нашей кафедре, если говорить серьезно, тоже не совсем довольны настоящим. Так что давайте оглянемся назад, а потом заглянем в будущее.

С тех пор как шведская литература, достойная называться литературой, только появилась — а произошло это не далее как в XVIII веке, — в разговорах о ней бытует образ

© Malte Person. 2006
© Елена Серебро. Перевод, 2007

1. Кируна — самый северный город Швеции (140 км к северу от Полярного круга), крупный центр космических исследований. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, — прим. перев.*)
2. Статья была написана до того, как 9 декабря 2006 года шведский космонавт, Кристер Фуглесанг, таки отправился в космос. (*Прим. ред.*)
3. Карл Юнас Луве Альмквист (1793—1866) — шведский писатель, в творчестве которого отразились все веяния времени — от романтизма до реализма. Его пытались обвинить в убийстве, и он был вынужден жить в изгнании, сначала в Америке, а потом в Германии.

скандинавского холода. Один из афоризмов поэта-классициста и журналиста Чельгрена[1] гласит: "Шведский гений все равно что шведское солнце. У нас выпадает несколько летних дней в году, столь же красивых, как в южных странах, но все остальное — осень и зима". Его враг Турильд[2] пишет, что шведский Парнас — "это холодная и голая скала, на которой то здесь, то там встречаются полузасохшие цветы. Место Аполлона на ней занимает дохлая белка. Скала покрыта льдом, окутана тучами". Поэт-романтик и епископ Тегнер[3] так отзывается в одном из писем о том же Турильде: "А что такое сам Турильд? То же, что и многие другие, то же, что мы все в Скандинавии: талант, который не может получить никакого развития; замерзший кокон, которому не суждено стать бабочкой".

Иными словами, если шведская литература недостаточно хороша, виноват климат. Позже оценка становится менее однозначной, и другие романтики переворачивают образ с ног на голову: суровый холод Швеции — это наоборот ее сила, ее стойкость, источник ее (былого и/или грядущего) величия. До того как Альмквист начал заигрывать с кустом крыжовника, в своей программной статье "Значение шведской бедности" он сравнивал Швецию с непритязательным шиповником, и образ всего шведского как непритязательного, но морозоустойчивого кустарника повторяется потом в литературе, по крайней мере, вплоть до Харри Мартинсона[4] — моряка, лауреата Нобелевской премии и поэта-фантаста (который, подобно многим другим шведским писателям, питал особое пристрастие к можжевельнику).

Позже, в начале второй половины XX века, шведскую бедность в экономическом и политическом смысле фактически искоренили. А значит, тем самым исчезло и ее значение? Следовательно, мы должны искать новые символы, чтобы вернуть шведской литературе веру в собственные силы. Быть может, таким символом могла бы стать герань? Или, из-за отсутствия настоящего холода, что-нибудь позабористее?[1] Наши пиарщики придумывают новые логотипы каждый божий день, но боюсь, это пустая трата времени и денег. И хуже того, боюсь, что добрая часть наших современных писателей скорее хотела бы оказаться на месте пиарщиков... В стокгольмском метро среди рекламных щитов еще встречаются подборки стихов о природе, но я не думаю, что это может что-то изменить.

Куда же идет шведская литература? Можно ли сделать ретроспективный анализ, чтобы обозначить тенденцию? Да, если где-то и можно сделать такой анализ, так это здесь, на нашей кафедре. В общих чертах шведская литература XX века имела тенденцию к цикличному развитию. Каждый цикл длился двадцать лет: десятилетие поиска новых форм сменялось десятилетием стабилизации и реакции и так далее. За модернистскими фейерверками 40-х годов последовала блеклая неоромантика 50-х. Экспериментальная лаборатория 60-х сменилась политическими догмами 70-х, а постмодернистская полемика 80-х — неспешной автобиографической прозой 90-х. Предположим, что эти циклы можно превратить в синусоиду и послать на радиоволне какой-нибудь мирной цивилизации для прослушивания на

1. Юхан Хенрик Чельгрен (1751–1795) — шведский поэт, критик, публицист.
2. Томас Турильд (1759–1808) — шведский поэт-сентименталист и критик. Выступал против эстетики французского классицизма, что стало одной из тем острой полемики с Чельгреном.
3. Эсайас Тегнер (1782–1846) — шведский поэт, епископ (с 1824 г.), глава национально-романтической школы.
4. Харри Эдмунд Мартинсон (1904–1978) — шведский писатель, член Шведской академии, лауреат Нобелевской премии (1974).

1. С климатически-исторической точки зрения в XVIII в. и вправду было холоднее. Но, конечно, гораздо холоднее, чем в Стокгольме, было в Санкт-Петербурге и Москве, которые мы, несмотря на несколько суицидальных попыток, так и не смогли завоевать — еще в те времена, когда нам хотя бы казалось, что у нас есть шанс. (*Прим. автора*)

расстоянии многих световых лет. Какое же сообщение передаст радио "Свободная Швеция" на этой синусоидной волне?

Может быть, вот такую математическую формулу шведского мировоззрения: "Два закона правят нашей жизнью. Способность желать — это первый. Необходимость жертвовать — это второй"? Такую характеристику в начале XIX века дал тогдашней ситуации еще один романтик, канцелярист-гностик и поэт Стагнелиус[1]. Много позже в своем эссе писатель и флейтист-любитель Ларс Густафссон[2] скажет по этому поводу, что с тех пор шведские писатели следовали почти исключительно второму закону, то есть необходимости жертвовать. Что само по себе вполне разумное разделение труда, поскольку остальное население усердно отдавалось власти желаний.

А потому неудивительно, что в XX веке под руководством социал-демократов благосостояние неуклонно росло, а уважение к литературе и литературному наследию так же неуклонно падало. Ценой экономического роста среди прочего стала и галопирующая языковая инфляция. Но раз эпоха благосостояния, доставшегося без труда, уже десять лет как закончилась, смеем ли мы надеяться на ренессанс литературы? Этот вопрос и является предметом обсуждения на нашей кафедре.

Исходя из описанной выше циклической модели и чисто технического анализа, текущее десятилетие должно быть очередным периодом литературной экспансии. Но, увы, создается впечатление — ведь до конца десятилетия осталось всего три года, — что оно по-настоящему не реализовало тот потенциал, которым бесспорно обладает. Новые писатели демонстрируют большой разброс ориентиров и движутся в различных многообещающих направлениях — таким образом, что возникает желание узнать, куда же они в конце концов придут. Однако сомневаюсь, что они создали хотя бы одно действительно достойное произведение[1].

Как знает каждый серьезный инвестор, технический анализ следует использовать только в качестве дополнения к внимательному чтению отчетов компаний. Здесь, на кафедре, мы, конечно, проводим экспертизу и того, и другого, а поскольку государственные субсидии для финансирования нашей деятельности выделяются в недостаточном объеме, мы теперь начали давать еще и частные финансовые консультации[2]. Так, например, мы публикуем биржевые советы для тех, кто собирается вкладывать культурный капитал в недавно зарегистрированные малые шведские компании. Вкратце можно сказать, что высоко котируется Юнас Хассен Хемири, хотя вначале его явно переоценили, но, возможно, в него по-прежнему стоит вкладывать, судя по последнему впечатляющему отчету компании. Лотта Лутасс: ждать стабильной прибыли. Алехандро Лейва Венгер и другие — прекрасные объекты для биржевых спекуляций[3]...

1. Эрик Юхан Стагнелиус (1793–1823) — шведский поэт и философ, стремившийся объединить учение Шеллинга с гностической мистикой.

2. Ларс Густафссон (р. 1936) — шведский писатель и поэт. Много лет прожил в США. В 2006 г. вернулся в Швецию. На русском языке выходили его романы "Смерть пчеловода", "День плиточника" и др.

1. Только как это проверить? Когда журналы, адресованные массовому потребителю, исследуют качество различных джинсовых марок, джинсы за короткое время много раз стирают и искусственно изнашивают в специально предназначенных для этого машинах. Можно ли подобным образом сымитировать литературный круговорот, чтобы понять, какие книги выдержат повторные издания, а какие будут лежать, никому не нужные, в ящиках букинистов "все по пять крон"? И как расценить тот факт, что мода последних лет предписывает потертые джинсы? (*Прим. автора*)

2. В ожидании того, что кто-то из нас получит объединенную Нобелевскую премию в области литературы и экономики. (*Прим. автора*)

3. Не будь это нарушением профессиональной этики (но, откровенно говоря, разве нарушение профессиональной этики в литературе такая уж редкость?), я бы, пожалуй, вложил небольшую сумму и в себя, и в нескольких близких мне людей. (*Прим. автора*)

Заметьте, сейчас я говорю только о писателях, которые заявили о себе в последние десять лет. Из поколения постарше можно выделить нашего самого перспективного прозаика Ларса Якобсона. Он настолько перспективен, что предпочитает описывать будущее в прошедшем времени — например, в книге "Замок Красной дамы", одном из лучших шведских романов последних лет. Поскольку Якобсон становится все более важным источником вдохновения для все большего числа молодых прозаиков, в скором времени мы без сомнения можем ждать взлета научной фантастики. (Как и взлета исторических романов, заметим в скобках.) Часто встречающаяся у Ларса Якобсона тема — язык и коммуникативность — роднит его с современными поэтами, в частности с Ларсом Микаэлем Рааттамаа.

С точки зрения вложений поэзия — дело не очень выгодное. Тем не менее мы наблюдаем ее в наши телескопы и без особого труда прогнозируем ее будущие орбиты. Есть основания полагать, что после долгого периода столкновений, упадка и разобщенности осколки снова станут притягиваться друг к другу, чтобы собраться в единые тела по законам классической небесной механики и метрики. И может быть, на одном из этих тел когда-нибудь получат свое развитие новые, разумные формы жизни...

Что касается среднесрочного литературного прогноза, здесь легко впасть в пессимизм, а это скучно. У оптимистически настроенной половины нашей кафедры, к которой принадлежу и я, есть два любимых сценария: традиционный и альтернативный. Первый предполагает, что появится некто, кто напишет нечто в духе "великого шведского романа". Разумеется, великий шведский роман должен повествовать исключительно о закате и падении уровня шведского самовосприятия (уж что-что, а самовосприятие стало нашей, в границах Швеции, завоеванной империей). Лучше всего в каком-нибудь традиционно амбициозном стиле буржуазного романа, а-ля "Будденброки". Пусть там будет убийство Улофа Пальме и рассказ о неудавшемся расследовании. Или другие раны, которые мы с мазохистским рвением так любим бередить. Как, например, политика нейтралитета (особенно сомнительные сделки с нацистской Германией). Или построение равноправного Народного дома (особенно насильственная стерилизация бродяг). Такой роман стал бы, естественно, величественным памятником необходимости жертвовать. И получил бы прекрасные рецензии. Только я сомневаюсь, что он когда-нибудь будет написан.

Согласно второму сценарию надо в принципе забыть все изложенное выше. Забыть о ягодах, лиственных деревьях и прочей сырьевой экономике. Может быть, забыть даже о необходимости жертвовать или же "возвести эту необходимость в свободу" — так, как первоначально представлял себе это Стагнелиус. Сейчас у нас экономика мобильных телефонов. Экономика Интернета. Если зайти в шведские интернет-форумы, коммьюнити, блоги, фэнзины и дневники, то, конечно, выдающейся литературы там не найти, зато можно найти новую и в высшей степени живую письменную культуру. Такую письменную культуру, на основе которой когда-то был создан шведский литературный язык — во времена, когда Чельгрен и Турильд препирались и жаловались на погоду. Так почему бы не создать его еще раз? До вторжения англоговорящих космических существ. А может быть, в соавторстве с ними?

Вот это, по-моему, и есть будущее. Ведь из такого будущего мы, пожалуй, сможем пробраться назад и отвоевать прошлое. Но уже вряд ли наоборот.

А погода? Погода как погода. Сейчас идет дождь. И, надеюсь, не я один сижу дома и пишу.

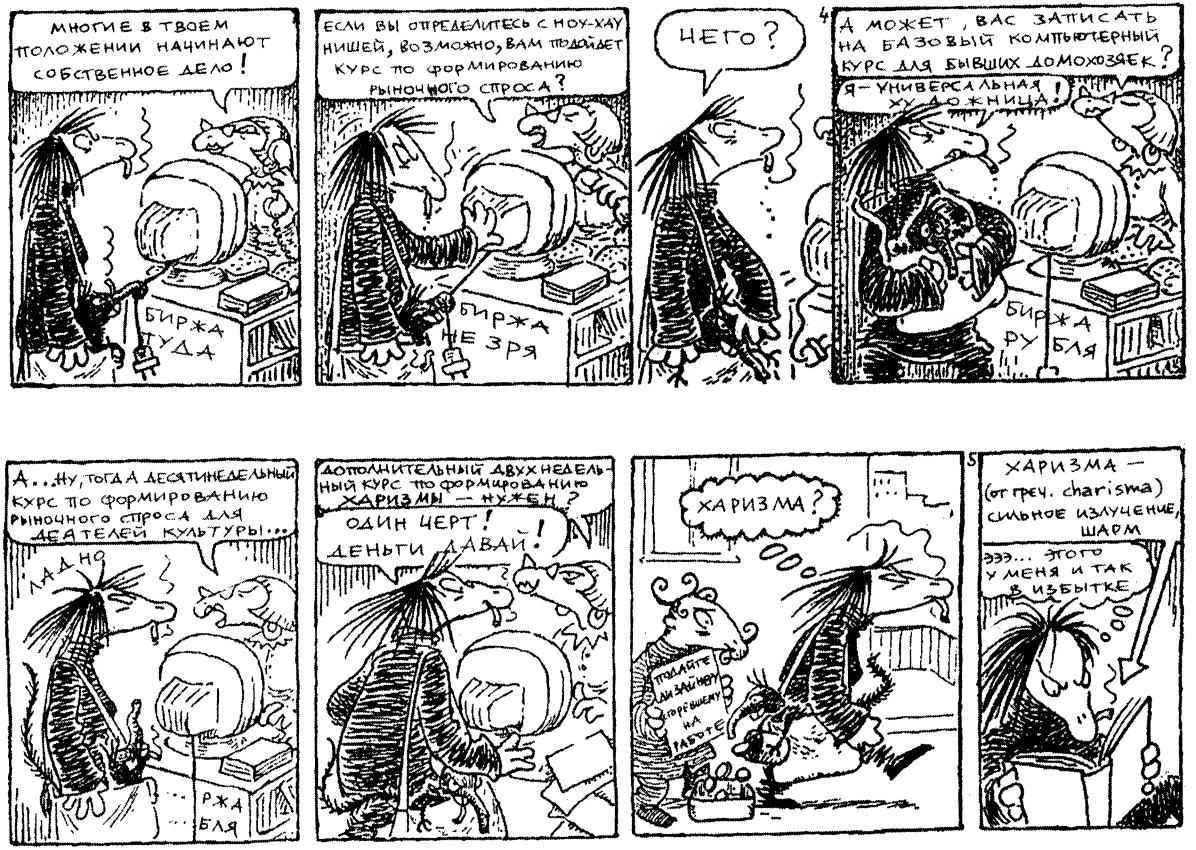
Ингер Эдельфельдт

Самка обретает себя

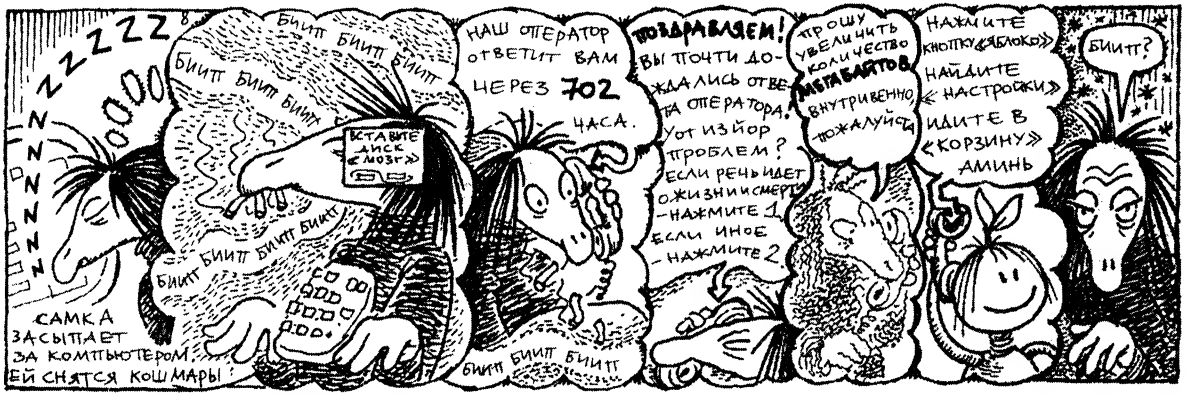
Комиксы

Перевод Анны Зайцевой

© Juger Edelfeldt, 1999
© Анна Зайцева. Перевод. 2007


МНОГИЕ В ТВОЕМ ПОЛОЖЕНИИ НАЧИНАЮТ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО!
БИРЖА ТУДА
ЕСЛИ ВЫ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С НОУ-ХАУ НИШЕЙ, ВОЗМОЖНО, ВАМ ПОДОЙДЕТ КУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЫНОЧНОГО СПРОСА?
БИРЖА НЕ ЗРЯ
ЧЕГО?
4
А МОЖЕТ, ВАС ЗАПИСАТЬ НА БАЗОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КУРС ДЛЯ БЫВШИХ ДОМОХОЗЯЕК?
Я – УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХУДОЖНИЦА!
БИРЖА РУБЛЯ
А...НУ, ТОГДА ДЕСЯТИНЕДЕЛЬНЫЙ КУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЫНОЧНОГО СПРОСА ДЛЯ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ...
ЛАДНО
РЖА БЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ КУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ ХАРИЗМЫ – НУЖЕН?
ОДИН ЧЕРТ! ДЕНЬГИ ДАВАЙ!
ХАРИЗМА?
ПОДАЙТЕ ДЯДЕ ЗАЙЧИКУ ТОРТИШКУ НА РАБОТЕ
5
ХАРИЗМА – (от греч. charisma) сильное излучение, ШАРМ
ЭЭЭ... ЭТОГО У МЕНЯ И ТАК В ИЗБЫТКЕ

НАДЕЮСЬ, ТЫ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ВСЕ ЭТО Я ДЕЛАЮ ТОЛЬКО РАДИ ТЕБЯ, ДАРМОЕД!
АУДИТОРИЯ
ПРОЕКТ
КОНЦЕПТ
ФРРР
ВЭЛКОМ ВСЕМ! НАМ ПРЕДСТОИТ СОВЕРШИТЬ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ТРИПТ — ОЛЛ ТУГЕЗЕР!
КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!
НЯМ НЯМ
МНОГО ЧАСОВ СПУСТЯ ...
...И... ДОУН'Т ФОРГЕТ: ВЫ УНИКАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ ... ВАША КРЕАТИВНОСТЬ — ВАШ КАПИТАЛ, РЫНОК — ВАША ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА! ВЫ САМИ РЕШАЕТЕ КАК СЕБЯ ПРОДАВАТЬ!
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО РЫНКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНО КОСНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТЕМ БЛАГАМ, КОТОРЫЕ НАМ ДАРИТ СОВРЕМЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО.
НО И ВЫ САМИ, КОНЕЧНО, ДОЛЖНЫ ПОСПЕВАТЬ В НОГУ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРЕССОМ!
ДЕЙЗИ, ДЕЙЗИ, ГИВ МИ ВОР АНСВЕР
И ОН ПРОБУДИТ ВАС ОТО СНА!
Z?


ZZZZ
NNNNNN
САМКА ЗАСЫПАЕТ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ. ЕЙ СНЯТСЯ КОШМАРЫ
БИИПП БИИПП БИИПП
БИИПП БИИПП БИИПП
ВСТАВИТЕ ДИСК «МОЗГ»
БИИПП БИИПП БИИПП
НАШ ОПЕРАТОР ОТВЕТИТ ВАМ ЧЕРЕЗ 702 ЧАСА.
БИИПП БИИПП БИИПП
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВЫ ПОЧТИ ДОЖДАЛИСЬ ОТВЕТА ОПЕРАТОРА. УОТ ИЗЙОР ПРОБЛЕМ? ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О ЖИЗНИ И СМЕРТИ - НАЖМИТЕ 1. ЕСЛИ ИНОЕ - НАЖМИТЕ 2
ПРОШУ УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО МЕГАБАЙТОВ ВНУТРИВЕННО ПОЖАЛУЙСТА
НАЖМИТЕ КНОПКУ «ЯБЛОКО» НАЙДИТЕ «НАСТРОЙКИ» ИДИТЕ В «КОРЗИНУ» АМИНЬ
БИИП?

ДЕСЯТИНЕДЕЛЬНЫЙ КУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЫНОЧНОГО СПРОСА ОКОНЧЕН...
И ВОТ, ПЕРЕД ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ КУРСОМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ХАРИЗМЫ, Я ПРОШУ КАЖДОГО РАССКАЗАТЬ О ПИАР-СТРАТЕГИЯХ, КОТОРЫЕ ВЫ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СВОЕГО КОНЦЕПТА В БУДУЩЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Я БУДУ ПРЕЗИДЕНТОМ
Я ПЛАНИРУЮ ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА ВИЗУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННУЮ ТАРГЕТ-ГРУППУ
Я БУДУ ВЫХОДИТЬ НА ИНТЕРНЭШНЛ МАРКЕТ
ЕСЛИ Я БУДУ РИСОВАТЬ МАРМЕЛАДОМ, ТО, МОЖЕТ БЫТЬ, МЕНЯ ЗАХОЧЕТ СТОШНИТЬ
КОНЦЕПТ СНОВА БУДЕТ В ЦЕНЕ!
НАСТУПИТ ДЕНЬ, И НЕКОММЕРЧЕСКИЙ
А МНЕ ПРОСТО ВЕРНИТЕ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Шведская литература на страницах "ИЛ" 1956–2006

1956

Густав Хеденвинд-Эрикссон — *Проезжая дорога.* Рассказ. Перевод Н. Каринцева [10]

Йозеф Чельгрен — *Золотой песок с Аляски. Случай из жизни.* Рассказы. Перевод И. Эльконинoй [10]

1958

Артур Лундквист — *Стихи.* Перевод Л. Горлиной и Ю. Вронского [7]

1959

Эрик Лундквист — *Бали.* Главы из книги. Перевод Л. Жданова [1]

1962

Сара Лидман — *Я и мой сын.* Роман. Перевод Л. Жданова [5]

1963

Артур Лундквист — *Стихи.* Перевод Н. Тихонова [10]

1964

Артур Лундквист — *Десять и тысяча.* Стихи. Перевод А. Суркова [6]

Эрик Бломберг — *Стихи.* Перевод Л. Горлиной и К. Богатырева [6]

Карл Венберг — *Прощание.* Стихотворение. Перевод Е. Долматовского [6]

Харри Мартинсон — *Стихи.* Перевод Л. Озерова [6]

Тумас Транстрёмер — *Поездка.* Стихотворение. Перевод Е. Долматовского [6]

Ларс Форсель — *Десять солдат.* Стихотворение. Перевод О. Берг [6]

1965

Кар де Мумма — *Церквушка. Подающий надежды.* Рассказы. Перевод Н. Ширяевой [7]

Эрик Лундквист — *Мать-Индия.* Главы из книги. Перевод Л. Жданова [9]

Эрик Линдегрен — *Ариозо.* Стихотворение. Перевод Е. Головина [12]

Артур Лундквист — *"...Илона, ты исчезаешь в своих мечтах..."* Стихотворение. Перевод Е. Головина [12]

1967

Сванте Фёрстер — *Я коллекционер, как вам, вероятно, известно.* Рассказ. Перевод С. Халипова [9]

Артур Лундквист — *Маки из Ташкента.* Отрывки из книги. Перевод Н. Дехтеревой [5]

1968

Из шведской поэзии. Карл-Эмиль Энглунд. Перевод и вступление И. Бочкаревой [10]

1969

Сара Лидман — *Рудник.* Главы из книги. Перевод Л. Горлиной [5]

1971

Майя Экелёф — *Записки уборщицы.* Отрывки из книги. Перевод Д. Ершова [11]

1974

Арвид Рундберг — *Мемуары шведского рабочего.* Отрывки из книги. Перевод Н. Крымовой [11]

1975

Ханс Лидман — *Рассказы.* Перевод и вступление В. Якуба [10]

1978

Таге Даниэльсон — *Ларс Форселъ.* Юмористические стихи. Перевод К. Мурадян [4]

1979

Шведский юмор. Ларс Юлленстен. Таге Даниэльсон. Пекка Лангер. Перевод К. Мурадян [2]

1980

Ларс Юлленстен — *"Я – лишь чей-то отзвук, чей-то след".* Эссе. Предисловие и перевод К. Мурадян [1]

1982

Ларс Густафссон — *Стихи.* Перевод А. Парина, Н. Булгаковой. Вступление А. Парина [2]

1984

К 90-летию со дня рождения Эрик Блумберг — *Стихи.* Перевод и вступление Т. Бек [5]

Ханс Лидман — *Рассказы.* Перевод с норвежского и предисловие В. Якуба [10]

1985

Арвид Рундберг — *Путешествие в Новый Орлеан.* Роман. Перевод З. Буловской [3]

1987

Густав Фрёдинг — *Стихи.* Перевод Т. Бек, К. Мурадян. Вступление К. Мурадян [2]

1988

Афоризмы шведских писателей. Перевод К. Мурадян [2]

1989

Ингмар Бергман — *Laterna Magica.* Перевод А. Афиногеновой [9—11]

1990

Рикард Фухс — *Рассказы.* Перевод Н. Френкель [7]

1991

Ханс Бьёркегрен — *Стихи.* Перевод Г. Айги, И. Кутика и А. Афиногеновой [12]

1992

Герд Реймерс — *Жены и музы. Портреты спутниц великих мужей.* Фрагменты. Перевод Н. Френкель [1]

Эмануэль Сведенборг — *Из книги "Истинная христианская религия".* Перевод с латинского А. Вашестова [8-9]

1993

Гуннар Экелёф — *Из книги "Диван о князе Эмгиона".* Стихи. Перевод и вступление А. Парина [6]

1994

Ингмар Бергман — *Благие намерения.* Роман. Перевод А. Афиногеновой [5]

1995

Ингмар Бергман — *Воскресный ребенок.* Перевод А. Афиногеновой [9]

Ларс Густафссон — *Искусство пережить ноябрь.* Рассказ. Перевод Е. Чевкиной [9]

Тумас Транстрёмер — *Стихи.* Перевод И. Кутика. Вступление Г. Айги [9]

Маргарета Экстрём — *Рассказы.* Перевод Е. Серебро и М. Макаровой [9]

Торгни Линдгрен — *Легенды.* Перевод О. Дробот [9]

Никлас Родстрём — *Эйфелева башня.* Рассказ. Перевод Е. Глухарева [9]

Бьёрн Гуннарсон — *Внуки "шведской модели благоденствия" уходят в себя.* Перевод Е. Серебро [9]

1997

Карин Бойе — *Стихи.* Перевод и вступление А. Щеглова [6]

К 90-летию со дня рождения Гуннар Экелёф — *Стихи.* Перевод и вступление А. Щеглова [12]

1999

Петер Корнель — *Пути к раю (Комментарии к потерянной рукописи).* Роман. Перевод Ю. Яхниной. Вступление Милорада Павича [5]

2000

Пер Улов Энквист — *Пятая зима магнетизёра.* Роман. Перевод Ю. Яхниной [11]

Биргитта Тротциг — *Кузнец.* Рассказ. Перевод Е. Самуэльсон [12]

2001

Пер Улов Энквист — *Низверженный ангел.* Любовный роман. Перевод А. Афиногеновой [4]

Ингер Эдельфельдт — *Прогулка.* Рассказ. Перевод Е. Ермалинской [5]

Шведская литература в России

Книжные издания 1994–2006 годов

Настоящая библиография охватывает только издания авторов, впервые вышедших на русском языке в последние годы. Многочисленные издания и переиздания Августа Стриндберга, Сельмы Лагерлёф, Астрид Линдгрен, Пера Лагерквиста и пр. в библиографию не вошли.

Аксельссон Майгулль (Axelsson Majgull)
Апрельская ведьма: Роман / Пер. Екатерины Чевкиной. — М.: Иностранка, 2002.

Алин Гуннель и Ларс (Ahlin Gunnel och Lars)
Ганнибал-победитель: Роман / Пер. Татьяны Доброницкой. — М.: Армада, 1997.

Альвтеген Карин (Alvtegen Karin)
Wanted: Роман / Пер. Аси Лавруши. — СПб.: Лимбус-пресс, 2005.

Бергман Ингмар (Bergman Ingmar)
Картины: [Воспоминания] / Пер. Александры Афиногеновой. — Москва-Таллинн: Aleksandra, 1997.
Содерж.: *Картины, Латерна Магика.*
Исповедальные беседы: Воспоминания, романы / Пер. Александры Афиногеновой. — М.: РИК "Культура", 2000.
Содерж.: *Дети воскресения*; *Латерна Магика*; *Исповедальные беседы.*
Жестокий мир кино [Воспоминания] / Пер. Александры Афиногеновой. — М.: Вагриус, 2006.
Содерж.: *Картины*; *Латерна Магика.*

Бергквист Эрик (Bergqvist Erik)
Другой пейзаж: Эссе, стихи / Пер. Елены Ермалинской, Иосифа Трера, Дмитрия Воробьева // Скандинавия—Поволжье: Международный поэтический фестиваль. — Чебоксары: [free poetry], 2006.

Боэтиус Гунилла (Boëthius Gunilla)
Женщина, которая вышла замуж за индюка: Пьеса / Пер. Ирины Фьелльнер Патлах // Четыре шведские пьесы для детей. — М.: Новая пьеса, 2001

Бруннер Эрнст (Brunner Ernst)
Пассионата: Стокгольмский роман / Пер. Елены Самуэльсон. — СПб.: Инапресс, 1997.

Бурман Карина (Burman Carina)
Десятая муза: Роман / Пер. Марии Магнуссон, Анны Савицкой. — СПб.: Европейский дом, 2000.

Бьёркегрен Ханс (Björkegren Hans)
...За короля! Роман / Пер. Ирины Макридовой. — СПб.: Инапресс, 1995.
Русские идут: Роман / Пер. Ирины Макридовой. — СПб.: Инапресс, 1999.

Вальгрен Карл-Йоганн (Vallgren Carl-Johan)
Ясновидец. История удивительной любви: Роман / Пер. Сергея Штерна. — М.: Олма-Пресс, 2004.
То же, 2005.
Доктор Сускарапель. Личное дело игрока Рубашова. Книга 1: Роман / Пер. Сергея Штерна. — М.: Олма-Пресс, 2005.
Адские вариации. Личное дело игрока Рубашова. Книга 2: Роман / Пер. Сергея Штерна. — М.: Олма-Пресс, 2005.
Попытка отшельничества. Личное дело игрока Рубашова. Книга 3: Роман / Пер. Сергея Штерна. — М.: Олма-пресс, 2005.
Женщина-птица: Роман / Пер. Сергея Штерна. — М.: Олма-Пресс, 2005.

Любовь. История удивительной любви чудовища. Книга 1: Роман / Пер. Сергея Штерна. — М.: Олма-Пресс, 2005.
Счастье. История удивительной любви чудовища. Книга 2: Роман / Пер. Сергея Штерна. — М.: Олма-пресс, 2005.
Месть. История удивительной любви чудовища. Книга 3: Роман / Пер. Сергея Штерна. — М.: Олма-Пресс, 2005.

Вирдборг Йеркер (Virdborg Jerker)
Черный краб: Роман / Пер. Марии Людковской. — М.: Baltrus, 2004.

Висландер Джуджа и Томас, Нордквист Свен (Wieslander Jujja och Tomas, Nordqvist Sven)
Мама Му на качелях: Рассказы / Пер. Бориса Жарова, Валерия Роньшина. — СПб.: Азбука—Классика, 2006.

Вэнблад Матс (Wänblad Mats)
Птенчик Короткие Крылышки: [Книжка-картинка] / Пер. Елены Ермалинской. — М.: Текст, 2001.

Гардель Юнас (Gardell Jonas)
Гора искушений: Роман / Пер. Юрия Гурмана. — СПб.: Инапресс, 1998.
Жизнь и приключения госпожи Бьёрк: Роман / Пер. Юлианы Яхниной // *Охота на свиней*: Шведская современная проза. — СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1998.
Хочу домой / Пер. Лидии Стародубцевой. — М.: Фантом-пресс, 2004.
Содерж.: *Хочу домой*; *Детство комика.*

Гарпе Маргарета (Garpe Margareta)
Все дни, все ночи: Пьеса / Пер. Александры Афиногеновой // *Все дни, все ночи*: Современная шведская пьеса. — М.: Новое Литературное Обозрение, 1997.

Гийу Ян (Guillou Jan)
Путь в Иерусалим: Роман / Пер. Татьяны Чесноковой, Анны Фоменковой. — М.: Текст, 2000.

Грипе Мария (Gripe Maria)
Навозный жук летает в сумерках / Пер. Марии Людковской. — М.: ОГИ, 2004.
Сесилия Агнес – странная история / Пер. Н. Федоровой. — М.: ОГИ, 2005.
Тень на каменной скамейке / Пер. Елены Ермалинской, Ирины Матыциной, Елены Серебро, Марии Хохловой. — М.: ОГИ, 2005.
...И белые тени в лесу / Пер. Анны Зайцевой, Оксаны Коваленко. — М.: ОГИ, 2005.
Дети теней / Пер. Галины Палагуты. — М.: ОГИ, 2005.
Тайник теней / Пер. Елены Ермалинской, Елены Энеруд. — М.: ОГИ, 2005.
Дети стеклодува / Пер. Людмилы Брауде. — СПб.: Азбука-классика, 2005.

Густафссон Ларс (Gustafsson Lars)
Смерть пчеловода: Роман / Пер. Н. Федоровой. — М.: Текст, 2000.
День плиточника: Роман / Пер. Н. Федоровой. — М.: Текст, 2001.

Дельбланк Свен (Delblanc Sven)
Пасторский сюртук. Гуннар Эммануэль: Романы / Пер. Александры Афиногеновой, Н. Федоровой. — М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2000.

Ершильд Пер Кристиан (Jersild P. C.)
Охота на свиней: Роман / Пер. Александры Афиногеновой // *Охота на свиней*: Шведская современная проза. — СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1998.

Здесь начинаются дороги: Антология писателей Баренц-региона / Ред. Валерий Лемесов. — Архангельск: Правда Севера, 2001.

Корнель Петер (Cornell Peter)
Пути к раю. Комментарии к потерянной рукописи: Роман / Пер. Юлианы Яхниной. — СПб.: Азбука, 1999.

Лагеркранц Улоф (Lagercrantz Olof)
От Ада до Рая. Книга о Данте и его комедии / Пер. Н. Федоровой. — М.: Прогресс—Традиция, 2006.

Ларссон Бьёрн (Larsson Björn)
Долговязый Джон Сильвер: Роман / Пер. Татьяны Доброницкой, Натальи Кракопольской. — М.: МИК, 2000.

Ларссон Стиг (Larsson Stig)
И. О.: Пьеса / Пер. Евгения Глухарева // *Все дни, все ночи*: Современная шведская пьеса. — М.: Новое Литературное Обозрение, 1997.

Линдберг Маргарета (Lindberg Margareta)
Мыши и монстр / Пер. Инны Стребловой. — СПб.: Азбука-классика, 2002.

Линдгрен Торгни (Lindgren Torgny)
Шмелиный мед: Роман / Пер. Александры Афиногеновой. — СПб.: Инапресс, 1997.
Вирсавия: Роман / Пер. Н. Федоровой. — М.: Текст, 1999.

Линдквист Юн Айвиде (Lindkvist John Ajvide)
Блаженны мертвые: Роман / Пер. Натальи Банке. — М.: Флюид, 2006.

Лисандер Пёр, Остен Сюзан (Lysander Pär, Osten Suzanne)
Дети Медеи: Пьеса / Пер. Марии Людковской // Четыре шведские пьесы для детей. — М.: Новая пьеса, 2001.

Лундберг Кристиан (Lundberg Kristian)
Все и это счастье из Ничто / Пер. Иосифа Трера (Дмитриева). — Чебоксары: free poetry, 2005.
Простое описание облегчит вступление / Пер. Иосифа Трера // Скандинавия—Волга: Альманах Международного поэтического фестиваля им. К. М. Бельмана. — Чебоксары: free poetry, 2005.

Манкелль Хеннинг (Mankell Henning)
Бегущая к звездам: Роман / Пер. Татьяны Доброницкой. — М.: МИК, 1999.
Тени вырастают в сумерках: Роман / Пер. Сильвии Белокриницкой. — М.: МИК, 1999.
Мальчик, спящий на заснеженной кровати: Роман / Пер. Елены Ермалинской. — М.: МИК, 2000.
Путешествие на край света: Роман / Пер. Марии Людковской и Александры Поливановой. — М.: МИК, 2000.
Пятая женщина: Роман / Пер. Марии Людковской, Ирины Матыциной. — М.: МИК, 2000.
Убийца без лица: Роман / Пер. Сергея Штерна. — М.: МИК, 2000.
Белая львица: Роман / Пер. Н. Федоровой. — М.: МИК, 2001.
Ищейки в Риге: Роман / Пер. Елены Ермалинской. — М.: МИК, 2001.
Ложный след: Роман / Пер. Оксаны Анисимовой, Анны Зайцевой. — М.: МИК, 2001.
Стена: Роман / Пер. Сергея Штерна. — М.: МИК, 2001.
Отставая на шаг: Роман / Пер. Ирины Матыциной. — М.: МИК, 2002.
Возвращение танцмейстера: Роман / Пер. Сергея Штерна. — М.: Иностранка, 2004.
Перед заморозками: Роман / Пер. Сергея Штерна. — М.: Иностранка, 2004.
На шаг сзади: Роман / Пер. Сергея Штерна. — М.: Иностранка, 2005.
Человек, который улыбался: Роман / Пер. Сергея Штерна. — М.: Иностранка, 2006.

Марклюнд Лиза (Marklund Liza)
Подрывник: Роман / Пер. Юрия Гурмана. — М.: МК МЕТА, 2002.

Масетти Катарина (Mazetti Katarina)
Парень с соседней могилы: Роман / Пер. Татьяны Доброницкой. — М.: Текст, 2004.
Не плачь, Тарзан! Роман / Пер. Оксаны Коваленко. — М.: Текст, 2006.

Мудиссон Лукас (Moodysson Lukas)
Покажи мне любовь: Киносценарий / Пер. Александры Поливановой // Киносценарии. 1999, № 4.
От 16 до 26: Стихотворения / Пер. Андрея Щеглова. — М.: Thomas Books, 2003.

Ниеми Микаэль (Niemi Mikael)
Популярная музыка из Виттулы: Роман / Пер. Руслана Косынкина. — М.: Текст, 2003.

Нурдквист Свен (Nordqvist Sven)
Переполох в огороде / Пер. Виктории Петруничевой. — М.: Кладезь, 1997.
Петсон в походе / Пер. Виктории Петруничевой. — М.: Кладезь, 1997.
Петсон грустит / Пер. Виктории Петруничевой. — М.: Кладезь, 1997.
Чужак в огороде / Пер. Виктории Петруничевой. — М.: Кладезь, 1997.
Именинный пирог / Пер. Виктории Петруничевой. — М.: Открытый мир, 2006.
Охота на лис / Пер. Александры Поливановой. — М.: Открытый мир, 2006.
Петсон идет в поход / Пер. Александры Поливановой. — М.: Открытый мир, 2006.
Рождество в домике Петсона / Пер. Виктории Петруничевой. — М.: Открытый мир, 2006.
Чужак в огороде / Пер. Виктории Петруничевой. — М.: Открытый мир, 2006.

Нурен Ларс (Norén Lars)
Осень и зима: Пьеса / Пер. Юлианы Яхниной // *Все дни, все ночи*: Современная шведская пьеса. — М.: Новое Литературное Обозрение, 1997.
Мужество убить: Пьеса / Пер. Анны Зайцевой // Шесть новых шведских пьес. — М.: Три квадрата, 2006.

Остен Сюзан (См. Лисандер Пер)

Плейель Агнета (Pleijel Agneta)
Летними вечерами: Пьеса / Пер. Ирины Зориной // *Все дни, все ночи*: Современная шведская пьеса. — М.: Новое Литературное Обозрение, 1997.
У реки: Пьеса / Пер. Оксаны Коваленко // Шесть новых шведских пьес. — М.: Три квадрата, 2006.

Похъянен Бенгт (Pohjanen Bengt)
Брат облаков: Роман / Пер. Елизаветы Султанаевой. — Петрозаводск: Издательство Владимира Ларионова (LPUBLISHER), 2002.
Река всегда была: Стихи, поэмы / Пер. с фин. и швед. Марата Тарасова. — Петрозаводск: Скандинавия, 2005.

Сеннстрём Мария (Zennström Maria)
Советские переживания Катарины / Пер. Ирины Карлсон. — Чебоксары: free poetry, 2006.
Почему я не могу писать ни о чем, кроме России: Эссе / Пер. Галины Палагуты // Скандинавия— Поволжье: Международный поэтический фестиваль. — Чебоксары: [free poetry], 2006.
Мое место всегда было в полумраке / Пер. Ирины Волчанской // Скандинавия—Волга: Альманах Международного поэтического фестиваля. — Чебоксары: free poetry, 2005.

Силкеберг Мария (Silkeberg Marie)
Стихи / Пер. Галины Палагуты // Скандинавия—Волга: Альманах Международного поэтического фестиваля. — Чебоксары: Free poetry, 2005.

Скандинавия—Волга: Альманах Международного поэтического фестиваля им. К. М. Бельмана.—Чебоксары: free poetry, 2005.

Скандинавия—Поволжье: Международный поэтический фестиваль. Чебоксары: free poetry, 2006.

Смедс Барбру (Smeds Barbro)
Любовное действо: Пьеса / Пер. Александры Афиногеновой // *Все дни, все ночи*: Современная шведская пьеса. — М.: Новое Литературное Обозрение, 1997.

Старк Ульф (Stark Ulf)
Чудаки и зануды: Повесть / Пер. Ольги Мяэотс. — М.: ОГИ, 2003.
Умеешь ли ты свистеть, Йоханна? Повесть / Пер. Ольги Мяэотс // *Мы разные, но мы дружим*. — М.: Рудомино, 2003.
То же. М.: Самокат, 2005.
Содерж.: *Сикстен; Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?*

Стольтц Лина (Stoltz Lina)
Король кинов / Пер. В. Нури. — Петрозаводск: Издательство Владимира Ларионова, 2001.

Стрёмстедт Маргарета (Strömstedt Margareta)
Великая сказочница: Жизнь Астрид Линдгрен / Пер. Елены Ермалинской, Елены Энеруд. — М.: Аграф, 2002.

Сурандер Буби (Sourander Bobi)
Время действовать: Роман / Пер. Юрия Кузнецова. — М.: Иностранка, 2002.

Тидхольм Тумас (Tidholm Thomas)
Путешествие в Угри-ла-брек: Пьеса / Пер. Александры Поливановой // Четыре шведские пьесы для детей. — М.: Новая пьеса, 2001.

Тор Анника (Thor Annika)
Остров в море: Роман / Пер. Марины Конобеевой. — М.: Самокат, 2006.

Транстрёмер Тумас (Tranströmer Tomas)
Траурная гондола: Стихи / Пер. Юрия Гурмана. — М., 1997.
Избранное: Стихотворения / Пер. Александры Афиногеновой, Алексея Прокопьева. — М.: ОГИ, 2002.

Тротциг Биргитта (Trotzig Birgitta)
Предательство: Роман / Пер. Н. Федоровой // *Охота на свиней*: Шведская современная проза. — СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1998.
Двойственность. Три саги / Пер. Елены Самуэльссон. — СПб.: Издательство журнала "Звезда", 2002.

Тунстрём Ёран (Tunström Göran)
Сияние: Роман / Пер. Н. Федоровой. — М.: Текст, 2001.
Рождественская оратория: Роман / Пер. Н. Федоровой. — М.: Текст, 2003.
Послание из пустыни: Роман / Пер. Татьяны Доброницкой. — М.: Текст, 2004.

Удденберг Эрик (Uddenberg Erik)
Письмо от NN: Пьеса / Пер. Елены Ермалинской, Елены Серебро // Четыре шведские пьесы для детей. — М.: Новая пьеса, 2001.
Отцеубийство: Пьеса / Пер. Александры Поливановой // Шесть новых шведских пьес. — М.: Три квадрата, 2006.

Флорин Магнус (Florin Magnus)
Братцы-сестрицы: Роман / Пер. Елены Самуэльсон. — СПб.: Издательство журнала "Звезда", 2004.
Сад: Роман / Пер. Н. Федоровой. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2005.

Фредрикссон Марианн (Fredriksson Marianne)
Книга Евы: Роман / Пер. Евгении Грищенко. — СПб.: Амфора, 2005.
Книга Каина: Роман / Пер. Евгении Грищенко. — СПб.: Амфора, 2006.

Халльстрём Анн (Hallström Ann)
Тоска: Эссе, стихи / Пер. Марии Людковской // Скандинавия—Поволжье: Международный поэтический фестиваль. — Чебоксары: free poetry, 2006.

Хеллер Франк (Heller Frank)
Входят трое убийц: Роман / Пер. Юлианы Яхниной. — М.: Издательство Ольги Морозовой, 2004.
Миллионы Марко Поло: Роман / Пер. Юлианы Яхниной. — М.: Издательство Ольги Морозовой, 2004.
Доктор Z: Авторский сборник. — М.: Издательство Ольги Морозовой, 2005.
Финансы великого герцога / Пер. Анны Зайцевой. — М.: Издательство Ольги Морозовой, 2005.

Хельсинг Леннарт (Hellsing Lennart)
Кракель-спекакель: все кувырком: Стихи / Пер. Ирины Голубевой. — М.: Материк-Альфа, 2000.

Хольмберг Оке (Holmberg Åke)
Тюре Свенсон, частный детектив / Пер. Юлии Колесовой. — М.: ОГИ, 2005.

Центроферия: Антология юных писателей Баренцева региона: [на русском, финском, шведском и норвежском языках / Сост.: Лидия Стародубцева, А. Кохкойнен]. — Петрозаводск: Периодика, 2005.

Четыре шведские пьесы для детей / Пер. Елены Ермалинской, Марии Людковской, Александры Поливановой, Елены Серебро, Ирины Фьелльнер Патлах. — М.: Новая пьеса, 2001.

Чурклюнд Вилли (Kyrklund Willi)

Восемь вариаций / Пер. Александры Афиногеновой // *Охота на свиней*: Шведская современная проза. — СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1998.

Шесть новых шведских пьес / Пер. Елены Ермалинской, Анны Зайцевой, Оксаны Коваленко, Марии Людковской, Александры Поливановой. — М.: Три квадрата, 2006.

Эдельфельдт Ингер (Edelfeldt Inger)

Удивительный хамелеон: Рассказы / Пер. Ксении Анисимовой, Елены Ермалинской, Анны Зайцевой, Марии Людковской, Александры Поливановой. — М.: Текст, 2001.

Эйнхорн Ержи (Einhorn Jerzy)

Избранный выжить / Пер. Сергея Штерна. — СПб.: Всемирная литература, 1999.

Экман Черстин (Ekman Kerstin)

Происшествия у воды: Роман / Пер. Юрия Гурмана. — СПб.: Инапресс, 1996.

Серый: Повесть / Пер. Ирины Матыциной. — М.: МИК, 1999.

Экхольм Ян-Улоф (Ekholm Jan-Olof)

То да Се из города Авось да Небось / Пер. Людмилы Брауде. — Тула: Сантакс-Пресс, 1997.

Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и др.: Хитрая сказка. Для младшего школьного возраста / Ян Экхольм; Пересказ с швед. Евгении Грищенко, А. Максимовой. — М.: Стрекоза, 1997.

Энквист Пер Улов (Enquist Per Olov)

Гамсун: Киносценарий / Пер. Юлианы Яхниной. Киносценарий. 1997. № 2—3.

Ночь трибад: Пьеса / Пер. Александры Афиногеновой // *Все дни, все ночи*: Современная шведская пьеса. — М.: Новое Литературное Обозрение, 1997.

Визит лейб-медика: Роман / Пер. Анны Савицкой. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2004.

Книга о Бланш и Мари: Роман / Пер. Анны Савицкой. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2006.

Пятая зима магнетизера. Низверженный ангел: Романы / Пер. Александры Афиногеновой, Юлианы Яхниной. — М.: Иностранка; Б.С.Г.-Пресс, 2001.

Юсефсон Эрланд (Josephson Erland)

Летняя ночь. Швеция: Радиопьеса / Пер. Елены Берлин // О Тарковском. Воспоминания. — М.: Дедалус, 2002.

Роль: [Воспоминания] / Пер. Елены Берлин. — М.: Baltrus; Новое издательство, 2005.

Януш Катерина (Janouch Katerina)

Как я появился на свет / Пер. Руслана Косынкина. — М.: Открытый мир, 2006.

Составила
Александра Поливанова

Лотта Лутасс
Lotta Lotass
Писательница, драматург. Лауреат премии газеты *Бурос Тиднинг* за лучший дебют [2001], литературной премии газеты *Афтонбладет* [2001] и газеты *Гётеборгс-Постен* [2004], премии Эйвинда Юнсона [2004], премии Шведского радио [2005].

Автор романов *Чистый источник* [*Kallkällan*, 2000], *Аэродинамические числа* [*Aerodynamiska tal*, 2001], *Третья космическая скорость* [*Tredje flykthastigheten*, 2004], *в сумерках, на заре* [*skymning, grynning*, 2005, был номинирован на самую престижную шведскую литературную премию Августа Стриндберга] и пьесы *Коллекционеры* [*Samlarna*, 2005].
Публикуемый роман печатается по изданию *Min röst skall nu komma från en annan plats i rummet* [Bonniers, 2006].

Юнас Хассен Хемири
Jonas Hassen Khemiri
[р. 1978]. Писатель из шведско-тунисской семьи, лауреат премии газеты *Бурос Тиднинг* за лучший дебют [2004] и литературной премии газеты *Ви* [2006].

Автор дилогии, состоящей из публикуемого романа *На красном глазу* [*Ett öga rött*, 2003] и романа *Монтекор: уникальный тигр* [*Montecore: en unik tiger*, 2006], ставших бестселлерами в Швеции и переведенных на многие языки мира, а также пьесы *Вторжение* [*Invasion*, 2006].
Роман публикуется по изданию *Ett öga rött* [Norstedts, 2005].

Сесилия Давидсон
Cecilia Davidsson
Писательница, лауреат премии *Катапульта* [1995] за лучший дебют.

Автор романов *В ожидании ветра* [*Vänta på vind*, 2002] и *Затонувший мозг* [*Sjunken hjärna*, 2005], сборников новелл, а также серии детских книжек-картинок в соавторстве с сестрой Хеленой Давидсон Неппельберг.
Публикуемые рассказы взяты из дебютного сборника *Одна из тех ночей* [*En av dessa nätter*. Bonniers, 1994].

Йеркер Вирдборг
Jerker Virdborg
[р. 1971]. Писатель, лауреат премии газеты *Ви* [2002].

Автор романов *Черный краб* [*Svart krabba*, 2002, рус. перев. 2004] и *Исчезнувшие* [*Försvinnarna*, 2005].
Публикуемая новелла взята из дебютного сборника *За ночь земля поднимается на два сантиметра* [*Landhöjning två centimeter per natt*. Norstedts, 2000].

Алехандро Лейва Венгер
Alejandro Leiva Wenger
[р. 1976]. Писатель, сценарист чилийского происхождения.

Публикуемый рассказ взят из дебютного сборника *В нашу честь* [*Till vår ära*. Bonniers, 2001].

Матс Кемпе
Mats Kempe
[р. 1966]. Писатель.

Автор романа *Повернись к любящим* [*Vänd dig mot de älskande*, 1998], сборников рассказов.
Публикуемая новелла взята из сборника *Редко скучаю по тебе так сильно, как сейчас* [*Saknar dig sällan så mycket som nu*. Norstedts, 2001].

Ханс Гуннарсон
Hans Gunnarsson
[р. 1966]. Писатель, сценарист, лауреат премии *Катапульта* [1997] и премии Людвига Нурдстрёма [2002].

Автор сборников рассказов *Февраль* [*Februari*, 1999], *Такой вечер, как сегодня* [*En kväll som den här*, 2001] и др., романа *Проклятая зима* [*En jävla vinter*, 2003].
Публикуемая новелла взята из сборника *За стеклом* [*Bakom glas*. Bonniers, 1996].

Ларс Якобсон
Lars Jakobson
[р. 1959]. Писатель, лауреат литературной премии газеты *Гётеборгс-Постен* [1997] и газеты *Афтонбладет* [2000], премии Эйвинда Юнсона [2000], премии Сельмы Лагерлёф [2006], литературной премии газеты *Свенска Дагбладет* [2006].

Автор многих сборников новелл, романов *Зимний квартал* [*Vinterkvarteret*, 1985], *Дети строителей канала* [*Kanalbyggarnas barn*, 1997], *В замке Красной дамы* [*I den Röda damens slott*, 2000, номинирован на премию Августа Стриндберга].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Рассказы о животных и не только* [*Berättelser om djur och andra.* Bonniers, 2004].

Ульф Эриксон
Ulf Eriksson
[р. 1958]. Писатель, поэт, эссеист, лауреат премии Биргера Доблоу [1998], литературной премии газеты *Гётеборгс-Постен* [2002] и премии Герарда Бонниера [2003].

Автор многочисленных сборников стихов, романов *Ульрика улыбается* [*Ulrike ler*, 1986] и *Тайна Хавьера* [*Xaviers hemlighet*, 1993], сборников новелл *Рай* [*Paradis*, 1996], *Лед* [*Is*, 1999] и др., сборников эссе *Комната для чтения* [*Rum för läsande*, 1990] и *В зеркало и прочь* [*In i spegeln och bort*, 2000].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Прикосновение во время ненастья* [*Beröring under oväder.* Bonniers, 2003].

Черстин Нурборг
Kerstin Norborg
Писательница и поэт, лауреат премии Шведского радио [2002].

Автор сборников стихов *Неспящая земля* [*Vakenlandet*, 1994], *Как только я уйду* [*Så fort jag går ut*, 1998], романа *Дом моего отца* [*Min faders hus*, 2001].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Missed abortion* [Norstedts, 2005].

Нинни Хольмквист
Ninni Holmqvist
Писательница.

Автор сборников рассказов *Костюм* [*Kostym*, 1995], *Единица* [Enhet, 2006].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Роли второго плана* [*Biroller.* Norstedts, 2002].

Фредрик Нюберг
Fredrik Nyberg
[р. 1968]. Поэт, драматург и литературный критик.

Автор многих поэтических сборников, пьесы *Песнь туннелей* [*Tunnelsång*, 2003].
Публикуемые стихи взяты из сборника *Цветочные часы. Объяснения и Стихи* [*Blomsterur. Förklaringar och Dikter.* Norstedts, 2000].

Ларс Микаэль Раттамаа
Lars Mikael Raattamaa
[р. 1964]. Поэт и издатель. Лауреат премии Стига Карлсона [1997], поэтической премии Шведского радио.

Автор сборников стихов *Ничего другого (материя)* [*Ingenting annat (materia)*, 1996], *Политическое насилие* [*Politiskt våld*, 2003] и др.
Публикуемые стихи взяты из сборника *Politiskt våld* [OEI Editör – Modernista, 2003].

Хелена Эриксон
Helena Eriksson
Поэт.

Автор сборников стихов *Здание для меня* [*En byggnad åt mig*, 1990], *tholos* [1998] и др.
Публикуемые стихи взяты из сборников *Страты* [*Strata.* Bonniers, 2004] и *Сеpп* [*Skäran.* Bonniers, 2001].

Осе Берг
Aase Berg
[р. 1967]. Поэт, литературный критик, переводчик, издатель.

Автор сборника стихов в прозе *У косули* [*Hos rådjur*, 1997], сборника стихов *Возить сало* [*Forsla fett*, 2002, номинировался на премию Августа Стриндберга] и др.
Публикуемые стихи взяты из сборника *Упланд* [*Uppland.* Bonniers, 2005].

Мартин Хёгстрём
Martin Högström
[р. 1969]. Поэт, лауреат премии *Катапульта* [2006].

Публикуемые стихи взяты из дебютного сборника *Трансфутура* [*Transfutura*. Modernista, 2005].

Боб Хансон
Bob Hansson
[р. 1970]. Популярный шведский эстрадный поэт.

Автор сборников стихов *А вот и мы* [*Här är vi*, 2004], *Типа Аллилуйя* [*Halleluja liksom*, 2005] и др.; выпустил диски со своими стихами *Давай Солнце Давай* [*Kör Solen Kör*, 2003] и *Человек из стали умер* [*Stålmannen är död*, 2005].
Публикуемые стихи взяты с личного сайта Боба Хансона в Интернете [http://www.bobhansson.nu/].

Стаффан Сёдерблум
Staffan Söderblom
[р. 1947]. Писатель, поэт, литературный критик, издатель, переводчик, лауреат поэтической премии Шведского радио [1988].

Автор многочисленных сборников стихов, документального романа *Народная жизнь* [*Folkliv*, 1989], романа *Неистовство* [*Ursinnet*, 1991], биографии Харри Мартинсона [1994].
Публикуемое эссе написано специально по заказу *ИЛ*.

Мальте Персон
Malte Persson
[р. 1976]. Писатель, поэт, критик, эссеист.

Автор романа *Жизнь на этой планете* [*Livet på den här planeten*, 2002], сборника стихов *Проект "Аполлон"* [*Apolloprojektet*, 2004].
Публикуемое эссе написано специально по заказу *ИЛ*.

Ингер Эдельфельдт
Inger Edelfeldt
Писательница, иллюстратор и поэт, лауреат премии Нильса Хольгерсона [1995], Карла Веннберга [1996], Ивара-Лу Юхансона [1997].

Автор книг для детей и юношества, романов для взрослых *Книга Камалы* [*Kamalas bok*, 1986], *Созерцая собак* [*Betraktandet av hundar*, 1997] и др.; и многочисленных сборников рассказов *В животе рыбы* [*I fiskens mage*, 1984], *Удивительный хамелеон* [*Den förunderliga kameleonten*, 1995, рус. перев. 2001].
Публикуемые комиксы взяты из книги *Самка* [*Hondjuret*, 1989–1999].

Переводчики

Нина Николаевна Федорова
Переводчик с шведского, немецкого, норвежского, нидерландского, английского и польского языков. Лауреат Австрийской государственной премии в области литературного перевода [1994], премии им. Жуковского [2004].

В ее переводе печатались произведения И. Бергмана, Х. Мартинсона, Л. Густафсона, С. Дельбланка, Т. Линдгрена, Ё. Тунстрёма и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Оксана Коваленко
Переводчик с норвежского и шведского языков, редактор серии *Скандинавская линия* издательства *Флюид*.

В ее переводе печатались произведения Л. Ульман, М. Грипе, А. Плейель, И. Эдельфельдт, Х. Манкелля, К. Масетти. В *ИЛ* публикуется впервые.

Лидия Владимировна Стародубцева
Переводчик с шведского.

В ее переводе печатались произведения Ю. Гарделя, У. Лунделя, тексты шведских и норвежских авторов в антологии юных писателей Баренцева региона *Центроферия*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Анна Владимировна Савицкая
Переводчик с шведского.

В ее переводе публиковались произведения С. Лагерлёф [*Император Португальский*], К. Бурман [*Десятая муза*], П. У. Энквиста [*Визит лейб-медика* и *Книга о Бланш и* Мари] и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Наталья Вадимовна Банке
Переводчик с английского и шведского языков.

В ее переводе публиковались произведения К. Бушнелл, Дж. Адамс, Ю. А. Линдквиста. В *ИЛ* публикуется впервые.

Мария Борисовна Людковская
Переводчик с шведского.

В ее переводе выходили произведения Ч. Вестё, Й. Вирдборга, М. Грипе, П. Лагерквиста, Х. Манкелля, А. Стриндберга, А. Халльстрём, И. Эдельфельдт, а также пьесы С. Остен и Н. Родстрёма. В *ИЛ* публикуется впервые.

Александра Поливанова
Переводчик с шведского.

В ее переводе выходили пьесы Т. Тидхольма, Э. Удденберга, Р. Лагеркранц, произведения Х. Манкелля, И. Эдельфельдт, Л. Мудиссона, С. Нурдквиста, Ю. Гарделя и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Татьяна Викторовна Доброницкая
Переводчик со скандинавских и английского языков, кандидат филологических наук.

В ее переводе издавались романы и рассказы А. Стриндберга, Ю. Боргена, Т. Весоса, Ю. Гордера, К. Гьеллерупа и других шведских, норвежских и датских писателей. Перевела несколько научных трудов по истории. В *ИЛ* [2003, № 6] в ее переводе публиковался роман Иселин К. Херманн *Par avion*.

Александра Александровна Афиногенова
Переводчик со скандинавских языков, лауреат лауреат премии Шведской Академии, премии Шведского литературного фонда, обладатель ордена Полярной звезды I степени [2004].

В ее переводе публиковались новеллы А. Стриндберга и его пьесы *Игра снов*, *Пляска смерти*, *На пути в Дамаск*, романы *Местечко Сегельфосс* и *Дети века* К. Гамсуна, пьеса *Ночь Трибад* и роман *Библиотека капитана Немо* П. У. Энквиста. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны книги И. Бергмана *Laterna Magica* [1989, № 9—11] и *Благие намерения* [1994, № 5], роман П. У. Энквиста *Низверженный ангел* [2001, № 4], сказка Х. К. Андерсена [2005, № 7].

Елена Юрьевна Ермалинская
Переводчик с шведского.

В ее переводе публиковались произведения Х. Манкелля, М. Стрёмстедт, М. Грипе, Ю. Гарделя и др. В *ИЛ* был опубликован ее перевод рассказа И. Эдельфельдт [2001, № 5].

Анна Владимировна Фоменкова
Историк-скандинавист, переводчик с шведского.

Среди ее переводов — древнейший шведский областной закон [Старшая редакция Вестгёталага], роман Я. Гийу *Путь в Иерусалим*, фильм М. Кранц об Астрид Линдгрен *В далекую страну*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Галина Анатольевна Палагута
Переводчик с английского и шведского языков.

В ее переводе публиковались произведения Р. Дала, Л. М. Буджолд, П. Энтони, Ф. Лейбера, Ф. Дика, М. Грипе, М. Сеннстрём, О. Росси, М. Силкеберг. В *ИЛ* публикуется впервые.

Екатерина Максимовна Чевкина
Переводчик с английского и скандинавских языков.

В ее переводе опубликованы стихи П. Лагерквиста, В. фон Хейденстама, Г. Хофму, Й. Хьяульмарссона, роман М. Аксельссон *Апрельская ведьма* [2002] и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны рассказ Л. Густафссона *Искусство пережить ноябрь* [1995, № 9] и рассказ Х. Хербьёрнсрюда *Юханнес Хёуге, 63 года, крестьянин* [2005, № 11].

А. Лисин
[р. 1966]. Переводчик с английского и скандинавских языков. Кандидат филологических наук.

В его переводе выходили роман Хелен Филдинг *Оливия Джоулз, или Пылкое воображение* [2004] и другие произведения.

Алексей Петрович Прокопьев
[р. 1957]. Поэт, переводчик с немецкого, английского и шведского языков. Лауреат премии журнала *Лик Чувашии* за переводы чувашского фольклора [1995].

Автор поэтического сборника *Снежная Троя* [2003]. В его переводах выходили стихи Р. М. Рильке, Г. Бенна, Г. Тракля, Г. Гейма, О. Уайльда, Дж. Мильтона, Э. Паунда, Т. Транстрёмера. В *ИЛ* в его переводе публиковались сонеты А. Грифиуса [2006, № 2].

Елена Иосифовна Серебро
Переводчик со скандинавских языков.

В ее переводе публиковались произведения Т. Весоса, Ю. Боргена, Б. Карпелана, П. Лагерквиста, Х. Манкелля, М. Грипе и др. В *ИЛ* печатались ее переводы рассказов М. Экстрём и статьи Б. Гуннарссона [1995, № 9].

Анна Игоревна Зайцева
Переводчик с немецкого, шведского и английского языков.

В ее переводе публиковались произведения М. Грипе, Л. Мохой-Надя, Л. Нурена, А. Стриндберга, Ф. Хеллера, И. Эдельфельдт и др. Редактор каталогов выставок современного искусства, переводчик статей по современной эстетической теории. В *ИЛ* публикуется впервые.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
- оптимальные условия подключения,
- бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использована фотография Хенрика Лёфгрена.

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в в киосках "Новой газеты".
Обращайтесь по адресу:
Страстной бульвар, дом 4.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая")
Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12:00 до 17:30 часов.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 22.2.2007
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 150.
Тираж 8500 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

БРИТАНСКИЙ СОВЕТ В РОССИИ / ПОСОЛЬСТВО ИРЛАНДИИ В РОССИИ / ЖУРНАЛ "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА" / ГАЗЕТА "КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ" / СОЮЗ "МАСТЕРА ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА"

объявляют конкурс "Единорог и Лев"
на лучший перевод на русский язык литературы Великобритании и Ирландии

В 2007 г. премия за лучший перевод будет присуждена в двух номинациях: **Non-fiction** (публицистика, автобиографии, биографии, документальная проза, дневники, путевые заметки, записные книжки, мемуары, эссе, письма, и т. п.) / **Детская литература**

На конкурс принимаются переводы произведений авторов из Великобритании и Ирландии. Произведения для конкурса должны быть впервые опубликованы на языке оригинала с 1980 по 2006 гг.; переводы на русский язык — с 2000 по 2006 гг.

Выдвижение на соискание премии могут осуществлять: издательства, / редакции газет и журналов, регулярно освещающих литературный процесс, / библиотеки федерального подчинения, областные научные универсальные библиотеки, национальные библиотеки республик, краевые библиотеки.

Каждая организация может выдвинуть не более **трех** произведений в каждой номинации.

Выдвижение на соискание премии будет производиться с **1 марта по 30 апреля 2007** г. **Заявку, оригинал текста в одном экземпляре и 4 копии издания**, содержащего номинируемый перевод, необходимо прислать до 30 апреля по адресу: 129272, Москва, Сущевский вал, 64. Редакция газеты "Книжное обозрение".

На конверте должно быть указано: Премия "Единорог и Лев".

Организаторы оставляют за собой право не рассматривать заявки, поступившие после 30 апреля.

Заявка должна содержать в себе следующую информацию название произведения (на русском и английском языках) / фамилию и имя автора (на русском и английском языках) / фамилию и имя переводчика и краткую информацию о нем / контактные координаты номинирующей организации / фамилию и имя представителя номинирующей организации.

Объявление итогов конкурса состоится на Втором Московском международном открытом книжном фестивале, который пройдет с 8 по 12 июня 2007 г.

Премия победителям — участие в международном семинаре, посвященном современной британской литературе и вопросам перевода, который пройдет в Кембридже в июле 2007 г.

Премия "Единорог и Лев" учреждена в 2006 г. Ее первыми лауреатами стали Марина Бородицкая в номинации "Перевод поэзии" и Елена Суриц в номинации "Перевод прозы".

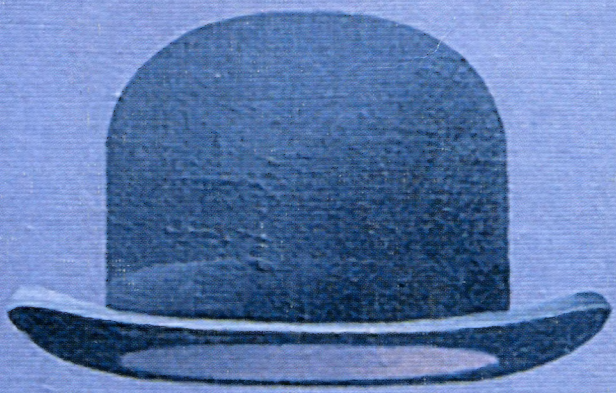
За дополнительной информацией обращайтесь в Британский Совет к Татьяне Ильиной: tatiana.ilyina@britishcouncil.ru, тел. +7 (495) 782 0215

---

[4] 2007

ПОВЕСТЬ ДЖЕЙМСА ПАТРИКА ДОНЛИВИ "ДАМА, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА ЧИСТЫЕ ТУАЛЕТЫ" / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: "CURRICULUM VITAE" МЮРИЕЛ СПАРК / "ЛОЛИТА И НЕМЕЦКИЙ ЛЕЙТЕНАНТ" МИХАЭЛЯ МААРА /

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2007, №3, 1-320